ФЕДОР ГЛАДКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЭНЕРГИЯ

Роман

в пяти частях

ЧАСТИ IV И V

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Повесть

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Примечания Ю. С. Пухова

ЭНЕРГИЯ

Роман

Части IV и V

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I. ДРУЗЬЯ

1

С Арбата машина свернула в родной переулок. Здесь пахло провинцией и столетним прошлым. Вот сдавленная домами шатровая колоколенка семнадцатого века, низенькая, маленькая, грустная. От креста на соседнюю крышу, опадая на середине, тянулась антенна. Когда-то здесь было, вероятно, просторно: кругом трава и огороды, по дорогам грязь или деревенская пыль, и церковка была разноцветная, нарядная, как девка. Звонили по утрам и вечерам колокола, и в открытые двери видно было, как в далекой тьме мерцали рои свечей. А теперь эта церковка — запоздавшая умереть старуха. Звон замолк, и свечи погасли. Скоро весь квартал обнесут забором, церковку разрушат, разберут домики восемнадцатого века, вырастут строительные леса, и этот уголок исчезнет навсегда. Впрочем, эти леса уже выпирали на мостовую. За сизой огорожей краснела кирпичная кладка стен.

Мирон вышел из машины у четырехэтажного дома в стиле модерн и с чемоданом в руке направился к парадному входу.

Тот же запах кошек, пыли, нечистоплотности на лестнице. На ступенях — сор, плевки, окурки. Где-то внутри квартиры лаяла собака. Где-то плакал ребенок. И вверху и внизу приглушенно рычало радио.

На третьем этаже Мирон постучал в дверь и сразу же вспомнил, что ключ-то от квартиры, должно быть, у соседей, у Гордеевых. Ведь Ольги нет — в санатории. Михайло Семеныч, конечно, на заводе. Наташи, по обыкновению, тоже нет дома — в институте.

Немножко волнуясь, Мирон хотел пройти к Гордеевым. Но неожиданно дверь открылась, и в ее распахе выросла глазастая, широкоскулая девушка в синей блузе без пояса. Белокурая, стриженая, она сердито уставилась на него, и вдруг у нее радостно вспыхнули глаза.

— Ну, здравствуй, Наташенька!

Он вошел в маленькую прихожую, такую знакомую и давнишнюю, обнял Наташу и поцеловал. Глаза ее поголубели и посвежели еще больше и смеялись ему, неожиданному и долгожданному. Она захлопотала, заволновалась и закричала:

— Ну, дай же поглядеть на тебя, дядя Мироша!.. Ой!..

По прежней привычке Мирон видел в ней еще подростка. Когда-то она по утрам и вечерам врывалась в его комнату, крикастая, беспокойная. И теперь, встретив ее в своей квартире, совсем не удивился. Он с насмешливой ласковостью схватил ее за подбородок и, вглядываясь в ее лицо, завистливо покачал головой.

— Эх, Наталка, Наталка... какая ты стала славная девка!.. Где мои сгоревшие двадцать лет?..

Наташа подхватила его под руку и стремительно потащила в комнату.

— Вот, дядя Мироша, все по-старому. Ничего не изменилось. Только ты чуток постарел, да я стала чересчур нахальной.

Она вся играла здоровьем, и круглое ее загорелое лицо и большие глаза сияли счастьем.

— Когда же я тебя видела, дядя Мироша, в последний раз?.. Понимаешь, ведь это — вечность по нашим временам. Я же росла на твоих глазах. Помнишь, как я когда-то наматывала ниточки вольфрама на Ольгиной фабрике?.. Как это было давно!

Она усадила его, сама села напротив, — колени в колени.

— Ну, ну, дядя Мироша... Ух, как я рада!.. До чертиков!.. Я сейчас позвоню Ольге...

— Как? Разве она уже прискакала?

— А ты и не знал?

— Нет, нет — и не думай звонить: пусть будет неожиданно. Это ей — месть...

— Ах, сколько лет вы уже мстите друг другу!.. Мстите, а любовь от этого растет все больше...

Мирон схватил ее руки и потянул к себе.

— Ну, а ты, Наталья? Кому ты отдала свое доверчивое сердце?

— Сердце мое веселое, но не легковерное, дядя Мироша. Я на него могу положиться. Пока я довольна его поведением.

— Ах, Наташа, Наташа, как ты рассудительна!..

— Моя любовь умная, дядя Мирон.

Она вдруг спохватилась и ахнула.

— Бежать, бежать!.. Опаздываю на замечательную драку...

Мирон подошел к столу и увидел очень сложный и тонкий чертеж трех пятиэтажных домов в виде огромной буквы П со скверами по обе стороны среднего корпуса. Кое-где эти дома уже были художественно выполнены красками и выступали рельефно на бумаге, а во многих местах пересекали друг друга вертикальные и горизонтальные параллели. На бумаге разложены были чертежные принадлежности: готовальня, циркуль, логарифмическая линейка, лекала, треугольник.

— Ого, Наташа, браво!.. — искренне изумился Мирон и нагнулся над чертежом; Наташа так и вспыхнула от его похвалы. — Что это за проект?

— Жилые дома, дядя Мироша. Ну, где-нибудь, скажем, у вас... Кстати, Мирон Васильевич, ты же в курсе дела... хотя ты не архитектор, но твое мнение важно...

Она как будто опять забыла, что ей нужно бежать, что где-то совершается «замечательная драка», участие в которой ей так необходимо.

— Тут я нуждаюсь в консультации таких людей, как ты...

— Ну, куда мне!.. Я же ведь больше насчет другой архитектуры — партийного и хозяйственного строительства. А ты вон какие причудливые дворцы возводишь...

Попыхивая трубочкой, он внимательно, вдумчиво стал изучать чертежи. Он перенес эти дома в свой социалистический город, прикинул их расположение на широкой улице и на площади, и ему стало досадно. Поторопились с постройкой коробок в стиле Корбюзье. Надо было бы посерьезнее подумать над проектами общежитий. Паша права. И вот этот дом, созданный Наташей, — красив, добротен и величав. Он радует глаз и орнаментами, и пилястрами, и монументальной легкостью.

— Видишь ли, Мирон Васильевич... Я создавала проект, исходя из практических надобностей и из потребностей красоты. Надо было соединить и то и другое. Я это не из головы выдумала. Мне до смерти надоели все эти бездарные эксперименты людей, которые в нашей жилищной проблеме ни черта не смыслят. А я — пролетарка, и я мечтала все время о создании нашего, своего, социалистического жилища — культурного, удобного, прекрасного.

Мирон заявил, что он хоть и не специалист в архитектуре, но ее проект ему нравится. Тут нет ни одного угла, где не было бы солнца. Кухня — просторна и светла. И это хорошо: ведь кухня не только место, где люди готовят пищу, а комната, где женщина проводит определенные часы своего рабочего дня. Это — лаборатория. Нужно кухню сделать опрятной и уютной. Он подходит к ее работе со стороны культуры нашего быта.

— Вот именно, дядя Мироша. Я это и хотела выразить в своей работе. Ведь ты говоришь это без всякого снисхождения?

— Совершенно беспристрастно, Наташа. Надо тебя перетащить к нам: ты внесешь свежесть и творческое беспокойство. Хороший у нас есть старик архитектор — Митрохин.

Наташа раскраснелась от возбуждения.

— Я два раза выступала с товарищами на собрании архитекторов. Стычка между нами была страшная...

— Вот это же самое главное, Наташа. Ты уже можешь торжествовать победу.

— Сегодня опять будет буча... и я должна выступать... Не хочешь ли пойти со мной? Впрочем, я черт знает что с тобой сделала... Даже чаем не угостила...

— И не надо, Наташенька. Я отдохну, вымоюсь в ванне...

— Ах, дядя Мироша, как я рада!..

— Иди, иди, Наташенька... И знай, что я незримо с тобою в твоей драке...

Наташа чмокнула его в щеку и стремительно вылетела из комнаты.

2

После ее ухода стало пусто и тревожно. Эта комната хранила незабываемые следы былого. Ему было хорошо и грустно, как всегда в первые минуты возвращения. И родное все, и как будто чужое. Вон в карнизе остались и дырки от юнкерских пуль. Он когда-то очень заботливо охранял их. Комнату белили каждый год, но дырок не замазывали. Эти выщелученные ямки глубоко взволновали Мирона. Он даже остановился и долго смотрел на них. В этих раночках в стене он почувствовал кровную связь с Ольгой. Вспомнил он ее приезд на стройку, бессонную ночь, душевную близость, ее слезы и горячее расставанье, в котором завязались новые узлы их жизни. Как развяжутся эти узлы? Да, все по-старому в комнате, как было три года назад, как в восемнадцатом году, как и в тот день, когда исчез Кирюшка. Ольга, очевидно, сознательно оставила все вещи на своих местах. Кровать у стены та же, те же две белые подушки в прошивках и белое покрывало, тот же диван с дряблыми пружинами и ковровой обивкой. А вон в углу, под голубым покрывальцем, узенькая кроватка Кирюшки. Она стоит как мучительная

реликвия. Он подошел к ней, открыл покрывало и увидел постельку сынишки — ту самую, на которой он спал последнюю ночь перед бегством. И Мирон впервые ощутил какой-то суеверный страх. Он отошел к окну и посмотрел на улицу, но в первый миг ничего не увидел, кроме размытого сияния.

Бедная Ольга! Ей мучительно жить в этой комнате, полной жутких призраков. Все здесь дышит ее запахом, все смотрит на него пристальными ее глазами. За окном, упираясь в вечернее небо, вздымались гранитными утесами многоэтажные дома. В прорывах стен ютились старинные церковки с шатровыми звонницами, с кучей главок в золотых крестах. Когда-то этот участок Москвы, располосованный кривыми переулками, гремел восстанием. От снарядов ломались стволы древних колонн, металлическим дождем вонзались в карнизы тысячи пуль. Мирон тогда командовал отрядом красногвардейцев, которые прокладывали путь к Кремлю. В этих домах сидели юнкера и офицеры. Красногвардейцы били их из винтовок, строчили из пулеметов. Несколько часов отряд занимал весь верхний этаж этого дома, а сам он с несколькими бойцами укрепился в своей комнате. Юнкерские пули дырявили стекла, позади на стене взрывалась штукатурка. Ольга с ребенком отсиживалась внизу. Вечером, когда отряд занял два квартала и наступал на Знаменку, Мирон внезапно увидел Ольгу с узелком в руках. Шла она обычным легким шагом, точно не слышала посвистывания пуль. И в лице ее совсем не было страха. Она сунула ему узелок и сказала:

— Тут хлеб и селедка. Поешь обязательно.

Мирон очень испугался и не знал, что с ней делать.

— Да ты с ума сошла... ты обалдела!..

Ольга засмеялась и, удивленная его страхом, беспечно затараторила:

— Что я, дура, что ли, сидеть крысой в норе? Не хочу... Я уже достаточно насиделась... Хватит... Когда ты был в тюрьме, я не протестовала и переносила... Тогда мне это было с руки: ведь я тоже чем-то

пользу принесла. А теперь — пожалуйста! — я тоже сумею найти себе дело...

С тех пор он уже не видел ее до того дня, когда улицы опять заплескались многолюдной жизнью. Как член Московского комитета и депутат Совета, Мирон не знал отдыха и по нескольку дней не бывал дома. Да и на квартире он не заставал Ольги. Кирюшку она водворила к соседям — Гордеевым — и поручила его в первую голову Наташе. Однажды Ольга налетела на него в коридоре МК, озабоченная, пылающая.

— Оля! наконец-то... Теперь я знаю, где тебя искать.

— А разве ты меня искал?

— Когда же ты дома-то бываешь, Оленька?

— Я-то бываю, Мироша, а ты?.. Тебя и Кирюшик стал забывать...

Мирон спохватился:

— Да, да, Кирюшка... Понимаешь, Оля... себя не помню... Даже закусить нет времени... Так как-то... на бегу... Как же с Кирюшкой-то?..

— Теперь он дома. Кирюшик молодец. Один в поле воин... живет самостоятельно...

И они опять разбежались в разные стороны.

В последующие годы он дрался на гражданской войне, наступал, отступал, бил врага, сам был ранен несколько раз, а потом возвратился в Москву и работал секретарем райкома. С тех пор он уже не жил так, как живут в семьях, со своими женами. Его комната сохранила запах и все следы восемнадцатого года. Они стали равными и независимыми друг от друга, и эта Ольгина независимость и самостоятельность делала ее неузнаваемой. Приходила она домой утомленная, приносила с собой кучу дел, над которыми сидела часами. Она была всегда захвачена множеством планов и оперативных заданий и по партийной и по общественной работе. Ему уже казалось, что былая ее любовь сгорела вместе с прошлым, а ее привязанность осталась только в воспоминаниях. В глазах ее, по-прежнему милых и открытых, он встречал равнодушие к своим назойливым ласкам

и видел, что она насиловала себя и подчинялась ему молчаливо. И он озлоблялся. Тогда же решил, что, если бы Ольга жила отдельно от него, она испытывала бы настоящую полноту существования и ни разу бы о нем не вспомнила. Выходило так, что ее любовь питалась раньше только маленькой жизнью домашней бабы. Когда-то он очень убежденно говорил: «Уважая в женщине человека, всегда о ней суди по себе. А если ты подлинный революционер и большевик, разрушай все бытовые преграды, чтобы превратить жену в активного борца за дело партии и рабочего класса». А теперь вот нежданно-негаданно почувствовал в себе другого человека. По ночам не раз у них были размолвки, и она жестоко обличала его в том, что он не уважает женщины, не ценит в ней самого важного и дорогого — товарища и соратника. Она загружена делами и общественными обязанностями не меньше его, она имеет такое же право на отдых, как и он, поэтому она вовсе не обязана ухаживать за ним и быть его домашней работницей. Кирюша лежал на своей кровати, и им обоим в голову не приходило, что он может слышать их ссоры. И на раздраженные выкрики Мирона Ольга с ненавистью в глазах только холодно отвечала:

— Нельзя ли, Мирон, обуздать себя? Ты забываешь не только обо мне, но и о ребенке.

А он, не слушая ее, язвил:

— Упрек не по адресу, милая моя: ты первая бросила его на произвол судьбы. У нас не семья, а ночлежка.

Свою злобу он переносил и на ребенка.

После исчезновения мальчика Ольга сначала металась, как безумная, обвиняла Мирона в этом несчастье. Они уже не переносили друг друга. Ольга замкнулась в своей тоске и неугасимой муке.

Воспоминания были грустны, и эта комната уже теснила и тревожила его: и стены, и вещи бередили былые боли. Он стал иным за эти годы — умнее, глубже; то, что раньше ожесточало его, теперь возбуждало стыд и брезгливость. Противно и мерзко жил он тогда: думал одно — делал другое, перед

людьми слыл за героя, выступал перед массами велеречиво, вдохновенно, размашисто, а в семье держал себя как самодур. И хотя по характеру самодуром не был, но постоянные обиды, неприютность в квартире, обособленность Ольги, погруженной в дела фабрики, вызывали в нем мстительный протест. И он яростно наслаждался, когда ссорился с нею, — оскорблял ее, сваливал на нее вину за разрушение своего гнезда, за капризы и замкнутость Кирюшки, за его безнадзорность. Позорное это было время в его жизни...

Он вымылся в ванне, и ему стало легче. Нечего терзать себя ошибками прошлого: надо устраивать жизнь разумно и любовно. И он и Ольга достаточно пострадали за эти годы: жизнь научила их многому.

Перед вечером Мирон вышел на улицу. Он решил пройти пешком до Гнездниковского — в первую голову посетить Илью Евсеича Прихромова. Он мог бы отложить до следующего дня даже самое срочное дело, но не побывать у Прихромова было немыслимо.

Приятно было идти по бульварам: все знакомо с детства, но все казалось новым. И деревья были такие же, как в юности, и скамейки те же, а этот старенький флигель в конце Никитского так же безмятежен и дряхл. Так же, как раньше, играют детишки на широких аллеях — в мячик, в классы, в веревочки, и по-прежнему толпятся зеваки у скамьи: следят за игрой в шашки. У старика Гордеева любимое присловье: «Эх, шашки-деревяшки!..» Должно быть, когда-то, в незапамятные времена, он тоже сражался где-нибудь здесь, под этими липами... Вот задумчивый Пушкин мечтает о «заре пленительного счастья».

Через проходной двор Мирон вышел на Гнездниковский. Здесь было тихо и уныло. В вестибюле, темном, пыльном, по-прежнему загроможденном какой-то рухлядью, он спросил у скучной женщины, дома ли Прихромов. Она ответила, не глядя на него, что Прихромов сегодня никуда не выходил и никого не принимает, — нездоровится ему, а товарищ Минодора приказала гнать всех, невзирая на лица. Грозная Минодора! Твое сердце по-прежнему самоотвер-

женно бушует от суровой любви... Отзвуки твоего голоса еще гуляют в гулких просторах вестибюля...

Он прошел в темноту и поднялся по лестнице. Позади загремел усиленный эхом голос женщины:

— Вы куда, товарищ?.. Говорят вам, нельзя к Прихромову.

— Я на крышу, — утешил ее Мирон.

— На крышу не возбраняется... — успокоилась женщина. — А к товарищу Прихромову и не думайте: товарищ Минодора бурю устроит. Не вы, а я пострадаю...

3

Прихромов занимал те же две комнаты, знакомые Мирону давно. Те же голые стены, высокие, беззвучные. Висела над письменным столом фотография в дубовой раме — Владимир Ильич с «Правдой» в руках, а над диваном — Сталин за письменным столом. Полки забиты книгами. На столе — два телефона, городской и вертушка. По диагонали, в противоположном заднем углу, стоял небольшой круглый стол, без скатерти. Около него — два стула. Вот и все в этой комнате. И стены молчали, и книги молчали, и время строго сгущалось в рабочие секунды.

Так ощущал эту комнату Мирон раньше, так он почувствовал ее и сейчас. Прихромов сидел за столом и писал. На Мирона он взглянул неприветливо, вонзаясь дальнозорко, из-за очков:

— Ну, иди, иди!.. Целуй!..

Мирон почему-то входил в эту комнату сутуло. Отмечал это уже потом, но побороть себя не мог. Может быть, это было потому, что сам Прихромов сутулился — не от седых лет, а от сверхсильной нагрузки. Очень густые и длинные усы накрывали стриженую бородку. Весь он дышал вдумчивой чистотой и правдивостью. Встал он только тогда, когда Мирон уже подошел к нему. Сухопарый, утомленный, он обнял его, и борода его и усы тепло пощекотали губы и подбородок. И, когда откинул голову, вздохнул добродушно и растроганно:

— Ну, вот... Миронталь... очень рад, очень... но взгреть тебя все-таки надо... Информация — бумажная, из третьих рук... Очень хорошо, что показался... У Серго был?..

— Нет, не был еще, Илья Евсеич...

— Ну конечно не был... — уверенно пробасил Прихромов и хотя отмахнулся сердито, но в глазах свежо играла ласковая насмешка. — Не подготовился? Крыть нечем?

— Нет, почему же?..

Мирон любовно смотрел на Прихромова — изучал его, следил за его лицом, тронутым тлением, и видел: человек бодрится, старается подстегивать свои силы, показывает вид, что этих сил у него — переизбыток.

— Ну, как живешь, Илья Евсеич? Как здоровье?

— Вот уж не нашел лучшего вопроса!.. Стожильный я... Меня ничто не берет... А что такое здоровье? Работаю, ем, сплю... Впрочем, плохо сплю... боли какие-то... в желудке какая-то чепуха... и астма там какая-то...

— И по-прежнему — тьма нагрузок, конечно...

— Ну, что — нагрузки... сегодня — одно, завтра — другое. Вчера поменьше, сегодня побольше... Жизнь усложняется, культура развивается бурно, массы растут невероятно... По своей стройке суди... Тебе это лучше знать. Недавно взял на себя еще две обязанности — очень ответственные... чрезвычайно важные и интересные: одну в институте Маркса—Энгельса—Ленина, а другую — на научно-историческом фронте... журнал, организация кадров...

— Удивляюсь твоей работоспособности, Илья Евсеич. Как ты только выкраиваешь время? Это непостижимо.

Прихромов свирепо ощетинил усы, но неожиданно засмеялся:

— Идол, идол! Тонкая бестия! Потешается: хорошо, мол, вам, лешим, по кабинетам-то сидеть... в нашей бы шкуре побыли... Плут! Погоди же...

— Не жалеешь ты себя, Илья Евсеич. Смотри, как бы катастрофы не было...

— Не егози, пожалуйста!.. Тоже хорош! Вот Бай-

калов там у вас... Забросили парня... совсем, кажется, плох? Чего смотришь? Товарищ погибает, а ты...

— Байкалов умер, Илья Евсеич.

— Как умер? Что ты говоришь!..

Прихромов даже привстал и в ужасе посмотрел на Мирона. А Мирон отметил: Прихромов находит даже время заботливо подбривать щеки, часто менять сорочки, хорошо завязывать галстук. Сколько же обязанностей несет этот неуемный человек! И редактор большого журнала, и научная работа, и преподавание в институте философии, а теперь — две новые ответственные нагрузки... Вот бы о ком надо позаботиться, вот бы кого надо поберечь... В нем сгущалась большая внутренняя сила и могучая мысль. Он дышал той человеческой целеустремленностью, которая осталась у него от прошлого. Он горел каждой минутой, и каждая минута преображалась в нем в новую мысль, в новую страницу, исписанную тесно связанными буквами, похожими на тонкие штрихи, неразборчивые издали, но четкие и внезапно ясные при чтении.

Ватагин и робел перед ним, и чувствовал себя приподнято. Вот и сейчас все трудности и беспокойство на стройке, все пережитое за последние месяцы казалось ему ничтожным. И ему было странно, как это он там волновался, болел, весь отдавался ежедневной сутолоке, думал только о текущих событиях, разменивался на часы, на поденщину, когда самое главное не в этом было, а в великих задачах всей страны.

«Я работник малого масштаба, — думал он. — А вот он — настоящий герой нашего времени...»

— Не уберегли товарища... — Прихромов сел и с упреком поглядел на Мирона. — Как это бездушно выходит насчет человека!.. Жил товарищ... боролись вместе, работали вместе... А он, оказывается, существовал сам по себе... Забываем, что дело должно быть глубоко человечным. Не понимаем, что процессы нашего созидания только тогда творчество, когда они душевны, когда в нашем хозяйственном плане бьется живое человеческое сердце... Ты-то где был, когда погиб Байкалов?

Мирон улыбнулся: вот волнуется этот по внешности суровый человек, больно ему за Байкалова, а сам, вероятно, ни разу не тревожился о себе, о своем здоровье.

— Байкалов умер хорошо, Илья Евсеич...

— Ну, это ты, Ватагин, дурака валяешь... Что значит «умер хорошо»?

— Байкалов говорил, что обычное понятие смерти в наших условиях — нелепость. То, что люди называют смертью, для нас должно быть высшим проявлением жизни. Это значит — достигнуть высших пределов. Надо, говорит, сохранить пожизненную молодость. Очень умозрительно...

Прихромов приложил ладонь к груди и испуганно прислушался к себе.

— Опять эта канитель... Надоедная штука... Почти каждый день.

— Ты лег бы, Илья Евсеич. Может быть, послать за врачом?

— Брось, Миронталь!.. Глупости!..

Прихромов судорожно хватался за грудь, за край стола, за книги, которые рассыпались под его руками.

— Илья Евсеич, дорогой... ты же очень болен! Я вызову сейчас доктора...

Мирон обнял его и повел к дивану. Илья Евсеич обмяк и рыхло отяжелел.

Мирон уложил его, поправил подушку. И — заметался по комнате.

— Живет человек, и даже воды под рукой нет...

Графин стоял на полу, за креслом, а стакан на столе, среди груды бумаг: очевидно, Прихромов держал воду и стакан наготове.

— Я вызову врача...

— Какой там врач... Ошалел ты, Миронталь...

— Не убивай себя, Илья Евсеич... умоляю тебя...

Прихромов пил воду, и Мирон впервые увидел его толстые губы и волосы, увеличенные водой, как линзой.

Лежал Прихромов долго. Минутами казалось, что он задыхается. Мирон порывался к телефону, но встречал сердито поднятую руку. Наконец Прихромов открыл глаза и вздохнул — ему стало легче.

— Кто это там у вас — Ситный?

— Молчи, Илья Евсеич... Лежи и молчи.

Прихромов строговато посматривал на Мирона, точно лишний раз проверял его: тот ли это парень, которого он знал давно, не испортила ли человека склока, не измельчал ли он, нет ли в нем тех пороков, которые приписывались ему этим неведомым Ситным? Мирон привык давно чувствовать эти свежие, холодноватые глаза и сразу ухватывать в них невысказанные мысли. Он эти глаза переживал так же, как и слова Ильи Евсеича, и давно носил их в себе, как и его глуховатый бас, как и его добродушную воркотню. И, когда встречал эти острые, проверяющие глаза, он усмехался про себя и растроганно отмечал:

«Прощупывает... не верит на слово...»

И знал, что если Прихромов заметит изъянец в поведении, фальшь в словах — заволнуется, взъерепенится.

— Ситный этот крепко тебя там пригвождает... Минодора, уж будь покоен, угостит тебя его литературой... Мешает? Демагог?

— Я его не уважаю...

— За что же ты его не уважаешь?

— А вот... как бы тебе точнее сказать... ночная птица... сова.

Прихромов посмотрел на Мирона с лукавым упреком.

— Ну, это ты, Миронталь, зря... Была когда-то, говорят, у Минервы сова, которая вылетала только по ночам... мудрая птица...

— Мы сейчас нуждаемся, Илья Евсеич, не в совах, а в мятежных петухах.

Прихромов заулыбался:

— Как, как?.. Повтори... Мы нуждаемся в ком? В петухах? Это неплохо: совы вылетают только по ночам... А петухи бьют тревогу... орут во все горло... Так, что ли?

— Кое-кто из нас не прочь поспать, а сейчас сон — вредная и опасная штука. Один рабочий во время обсуждения вопроса о прорыве сказал: мы спали, товарищи, и видели хорошие сны, а это оппортунизм.

— Оппортунизм... гм... В этом есть смысл, Миронталь.

— Так вот этот рабочий — настоящий тревожный петух: он не проспит своего дела, он знает цель своего труда.

Прихромов закрыл глаза, и лицо его стало вдруг сосредоточенным, точно он внимательно следил за той болью, которая грызла его грудь.

Мирон откинулся на спинку стула и даже сдержал дыхание. Стало тихо и глухо в комнате до звона в ушах. И от этого Мирон почувствовал внезапно и самого себя, бездельного и необычного, и Прихромова, который тоже показался ему не таким, каким видел его всегда.

Илья Евсеич — этот полуседой человек, погруженный в массу дел, — недавно женился на молодой девушке, студентке института философии. Со старой женой, очень юркой, маленькой старушкой в очках, надоедливой болтуньей, работающей в политпросвете, он уже не жил давно. Она всегда мешала, заполняя собою все комнаты, бросая всюду домашние вещи, забывая всякую чепуху в его кабинете. Он постоянно гнал ее, голос его гремел на всю квартиру, а она, неряшливая, чудаковатая, не понимала его гнева и прибегала с пронзительным криком:

— В чем дело, Илья?..

Она очень любила кошек и собак и подбирала их на улице, бездомных и паршивых. Он наступал им на лапы, и они орали от боли; он швырял их ногами, и борода его тряслась от ярости. Эти звери плодились и множились — мяукали, лаяли, дрались и играли у него на диване, на столе, на кресле, на полу, залезали в шкафы с книгами и портили редкие издания.

Разошелся он с этой своей стародавней женой незаметно и шутливо: достал ей комнату, перевез ее вещи, а за ней послал машину, чтобы из политпросвета отвезти на новую квартиру. В записке он строго приказал ей не приходить к нему больше:

«Ты занята своим делом, я — своим, а посему не будем мешать друг другу. Я принужден мобилизовать

рабочих коммунхоза для основательной чистки моего логова, которое принадлежит теперь мне, как принадлежало твоим окаянным тварям».

Прихромов опустил ноги на пол и поднялся, опираясь на локоть.

— Обязательно съезжу к тебе на стройку, Миронталь. Всенепременно. С Серго поедем: нарком звал меня, да дел до черта. Не хватает меня для дел — вот в чем главная беда. Очевидно, стареть начал. Что-о? — Он выпрямился и грозно посмотрел на Мирона. — У нас не может быть старости. Это чушь. Старость — это пассивность, атрофия воли, когда желание покоя поглощает стремление к борьбе. А я еще юн, юн! Еще горю неутолимой жаждой к кровопролитной войне за каждый новый день. Я создаю коммунизм не в меньшей мере, чем ты, и увижу его: я буду таким же сопричастником на пире, как и ты, как и мой современник — комсомолец.

Он встал с дивана, зыбко прошел к столу, выдвинул ящик и выхватил оттуда пионерский галстук. Потрясая им перед Мироном, он с торжествующим лукавством и неподдельной радостью басил ему в упор:

— Ты еще не имеешь такой эмблемы юности, а я имею. И ношу ее, и надену вот назло тебе... Ну? Скрипишь зубами от зависти?

Он ликующе заулыбался:

— Понимаешь, как вспомню, так и заволнуюсь, Миронталь, точно мне шестнадцать лет. На юношеский день был я в одном нашем районе. Ну, что-то вроде доклада делал, что ли. И вот врывается на трибуну этакая орава шкетни. Блестят глазенки, зубишки, пышет от них жаром, держатся уверенно, победно, воинственно... Подносит мне этот галстук такая бой-девчушка — грудь вперед, носишко вверх — и на шею мне эту штучку. «Вот, говорит, с этого часа ты, товарищ Прихромов, дорос до пионера. Будь, говорит, готов биться с нами плечо в плечо». Тут — овации, в театре — целая армия, свет, красные полотна, бушует жизнь, все вскакивают с места, а у меня — спазмы... слезы душат... сказать ничего не могу...

У него задрожали усы.

— Нет, нет, брат Миронталь. Мы еще погодим насчет старости. Байкалов умница. Сохранить пожизненную молодость... Это, Миронталь, здорово сказано.

Его уже было трудно остановить: он загорался внезапно и не мог слушать никого, пока не пронесется буря в душе.

— Вот ты не знаешь, даже предположить не можешь, что лежит вот здесь у меня на столе, под моей волосатой рукою...

Он похлопал широкой ладонью по бумагам, исписанным и его и чьим-то чужим почерком. На пальцах, между суставами, искрились волосы, и пальцы были беспокойны и любовно ползали по бумагам. А бумаг было много — целые вороха.

Тут, очевидно, были человеческие документы многих эпох — они были и желтые, и как будто закопченные, и белые, и голубые.

Мирон наклонился и поглядел на них с любопытством, но ничего не мог узнать из текста, который он, кстати, и не мог разобрать.

— Что-нибудь из истории марксизма, Илья Евсеич. Ведь ты специалист в этой области.

Илья Евсеич как будто обрадовался неведению Мирона, — подхватил большую кипу листов и поднес к его лицу.

— Нюхай, ну! Чем пахнет?

Прихромов бережно положил бумаги на стол.

— Это изумительная сокровищница человеческого ума. Здесь, в этих письмах, ослепительно блещет гений Маркса и Энгельса. И вот... видишь? Ради них стоило бы страдать, тратить последние силы, даже жизнь... Мы дали жизнь жизни, и она ринулась великим ураганом. И посему ни у тебя, ни у меня не может быть старости, не может быть агонии, то есть покоя и пустой созерцательности.

«Его может полюбить самая юная девушка...» — подумал Мирон и вспомнил, что всякое дело воспламеняло Илью Евсеича и каждая мелочь этого дела вырастала в его мозгу в огромную проблему.

Когда Мирон сидел в тюрьме, для него было самой большой радостью получить обычную зашифрованную записочку от Ильи Евсеича.

Только во время гражданской войны на юге, когда Прихромов возглавлял политотдел той армии, где находился Мирон, командуя бригадой, у них произошло бурное объяснение, которое чуть не стоило жизни Илье Евсеичу. Прихромов вмешался в одно рискованное распоряжение Мирона и отменил его. Мирон в бешенстве влетел в помещение штаба и ринулся на Прихромова с револьвером в руках. Он помнил, что рвался из рук товарищей, в том числе и Байкалова, и хрипел, задыхаясь от исступления:

— Я его сейчас... гада и предателя... уложу на месте... Я не позволю вмешиваться в мои действия трусам...

А Прихромов бесстрашно подошел к нему, дружески привлек к себе и обнял его.

И тогда еще болел грудной жабой Илья Евсеич, но никто об этом не догадывался. Только в годы нэпа узнали о его недуге. Он и тогда старался скрывать свою болезнь: в момент приступа уходил в другую комнату и лежал там один до тех пор, пока припадок не проходил. Потом опять возвращался на свое место, бледный, утомленный, потухший. Но однажды его накрыли, отправили домой и уже следили в оба за его состоянием. Неотступно наблюдала за ним Минодора, с которой Прихромов и Мирон работали еще в подполье. Тогда это была студентка высших курсов Герье, бывшая учительница — сухая, длинноногая девушка. Она пробила себе путь от рабочего квартала до курсов своим упрямым характером, непримиримостью и какой-то озлобленной настойчивостью. Ни с кем она не говорила тихо, спокойно, тепло: голос ее был грубый, сварливый. Она казалась недоброй и до болезненности самолюбивой. Но Мирон понял ее после одного столкновения с ней. Они повздорили на конспиративном собрании. Он назвал ее кликушей. Она ответила ему ядовито и зло. Товарищи тоже не любили ее, но вынесли Мирону порицание.

Прихромов сидел тогда, как обычно, в тени и усмехался в усы. А в конце собрания свел их вместе и сказал:

— С сего часа вы будете чудесными друзьями. Она, Миронталь, очень добрая. Не верь глазам и ушам своим.

Минодора любила Илью Евсеича какой-то особой, таинственной любовью. Она следила за ним постоянно, и на заседаниях, и дома, и на работе. В первые годы после гражданской войны она находила время примчаться к нему через весь город раза два в день, как будто по делам, а когда находилась в командировках, засыпала его телеграммами и письмами, но в искренность его ответов не верила и обязательно, хоть на сутки, отрывалась от дела, чтобы прилететь к нему домой или в служебный кабинет и намылить ему голову.

Вспоминая о прошлом, Мирон на мгновение перестал слушать Илью Евсеича. Он вздрогнул от руки Прихромова, которая встряхнула его за плечо.

4

За дверью эхом запели голоса, зашаркали стремительные шаги, и Мирон еще издали учуял по раскатистому голосу и шагам Минодору. Илья Евсеич покосился на дверь, пошевелил усами, и в глазах у него вспыхнул веселый блеск.

— Минодора несется. Ты уж меня не давай в обиду, Илья Евсеич.

— Ага, идол!

В комнату ворвалась с злым лицом костлявая Минодора.

Она как будто не узнала Мирона и размашисто пронеслась мимо него к Прихромову.

— Вламывается сюда каждый без надобности, отрывает человека от работы и укладывает в гроб. Надо же иметь хоть крупицу ума, Ватагин, чтобы догадаться пройти мимо этого дома.

Прихромов тыкал в нее пальцем и басил:

— Вот, Миронталь... ворвалась, как буря... Мой особый отдел.

Минодора не обратила на слова Ильи Евсеича никакого внимания, ринулась к Мирону и схватила его за уши.

— Ну, целуй!

Она рванула его к себе и чмокнула в губы. Потом сердито оттолкнула от себя, сняла жакетку и бросила на стул.

Мирон следил за Минодорой и улыбался. Совсем не изменилась: груба, напориста, сварлива, постороннего человека может смять и обратить в бегство. А вот ему, Мирону, рада, даже руки у ней дрожат от неожиданной встречи. Хочется ей приласкать его, улыбнуться, а мешает стародавняя гордость.

— Ну, чего сюда приперся?.. Как не стыдно беспокоить человека, когда знаешь, что это для него — убой... Был в ЦК-то?

Она носилась по комнате, и от нее дул на Мирона ветер.

— Устала я — страсть: с заседания... огромная повестка... Чего пялишься на меня? Как раз считали кости таким же вот, как ты. Я предлагала снять тебя со стройки и послать в Казахстан. Слышал, озеро такое есть — Балхаш?

— Про Балхаш кое-что знаю, а на озеро не поеду. Назло тебе не поеду. У нас скоро свое озеро будет — сами сделаем.

Минодора фыркнула, осмотрела Мирона с ног до головы и обратилась к Прихромову:

— Илья, эта фигура заявляет, что не поедет на Балхаш. Как ты это расцениваешь?

Илья Евсеич укоризненно покачал головой.

— Ты что же это, Миронталь, дурака валяешь? Что за самообольщение?.. Минодорушка, мы его сумеем на место поставить.

— Ясное дело...

Она уже успокоилась: голос стал глуше, и в нем зазвучало что-то похожее на добродушие. Мирон удивился: впервые за эти годы он услышал в зати-

хающих выкриках Минодоры какую-то задумчивость и мягкость.

— Да, Минодора, дела у нас героические. Поедем со мной — покажу тебе, какие чудеса делает рабочий класс.

— Эка, будто без тебя мы не знаем этих чудес! Когда вас бахнули, тогда вы и за чудеса взялись.

Она подошла к Прихромову и настойчиво усадила его в кресло.

— Сиди и молчи.

— Я и так молчу, Минога. Молчу и наслаждаюсь вами обоими. Чудесные вы люди, изумительные друзья...

Минодора встала позади его кресла и стала гладить его голову и плечи.

— Вот еще чертушка... Страстотерпец какой!.. Презрения достойно... Ты сочиняешь свое сердце и объективируешь его, как христианин своего бога...

Илья Евсеич подмигнул Мирону и ласково положил свою руку на пальцы Минодоры.

— Это она, Миронталь, Фейербаха начиталась. Скажи по правде, когда ты читала Фейербаха?

Мирон не удержался и погладил ее по спине.

— Эх, Минодора, всегда ты такая! Рычишь свирепо, разносишь всех впрах, а сердце выдает тебя предательски...

— Я тебе, Ватагин, не лошадь, чтобы шлепать меня по спине.

С давних пор за ней осталась, а с годами укрепилась слава самой прямодушной и грозной силы. Ничего в делах партийных, хозяйственных и советских аппаратов не ускользало от ее внимания. И если она находила, что партийная линия ослабла, что работники плохо боролись за проведение решений ЦК, что ошибки их не исправлялись, что парторганизации были недостаточно бдительны, — она беспощадно карала не только руководителей, но и рядовых исполнителей.

Мирон вспомнил, как в первые дни Октября Минодора вызвала Ольгу в МК.

По неопытности Ольга явилась к ней с завитыми кудерками, в шелковой кофточке и в какой-то странной мантильке. Минодора сидела в толпе женщин и встретила ее сварливо:

— Ну, чего тебе там?

— Да вот... явилась по вашему вызову...

— По какому там вызову? Разве я всех упомню?

Ольга опешила. Недоброе лицо и злой басок Минодоры смяли ее. Не могла не знать ее Минодора: ведь во время боев она была под рукой этой большевички. Что за издевательство — ставить ее в смешное положение перед женщинами, которые улыбались в переглядках.

— Я же — Ватагина... вы же знаете меня, товарищ Минодора...

— А, Ватагина, говоришь? Ишь ты, явилась какая... расфуфыренная — с гривочкой, в шелковой тряпочке... Ты бы лучше по бульвару прогулялась...

Стыд и обида кипели в сердце Ольги. Ее никто так не оскорблял до сих пор. В первое мгновение она хотела выбежать из комнаты и опрометью удрать домой, чтобы больше сюда и носа не показывать и не иметь дела с Минодорой. Но, взбешенная этим противным карканьем, она крикнула:

— А какое тебе дело, что я расфуфырилась?.. Я и без тебя знаю, где мне гулять...

— Ну, ну?.. Дальше?

— Что — дальше... На охальство и я хорошая охальница...

Женщины заволновались, запротестовали, закричали на нее, некоторые даже испугались.

Минодора очень внимательно и спокойно слушала и улыбалась. Она выпрямилась, помолодела и в восторге ударила кулаком по столу.

— Вот это — да!.. Молодчина! Ишь ты, горячая какая!.. Ну-ка, ну-ка, иди сюда!.. Вот он, что называется, правильный характер...

Ольга заупрямилась и повернулась к двери, но Минодора приказала женщинам:

— А ну-ка, товарищи, тащите ее!..

И сама подошла к ней.

Прихромов хотел встать с кресла. Но Минодора бросилась к нему и погрозила сухим пальцем:

— Не сметь! Сиди и слушайся старших.

Задребезжал телефон. Мирон взял трубку.

— Машина подана.

Минодора размашистым движением набросила на себя жакет, напялила шляпу и подлетела к Прихромову. Он встал, потянулся и вышел из-за стола. Лицо его было измято. Он как будто стеснялся Мирона: его подчинение Минодоре и неуклюжая беспомощность конфузили его. Но он старался скрыть это в своей усмешке и снисходительной шутке.

— Минога, не проявляй мужественности Брунгильды. Берегись, как бы я не ринулся на тебя Зигфридом.

— Не финти, Илья!.. Не кокетничай перед Ватагиным... Издыхаешь, как старая кляча, а туда же... Зигфрид!..

Она взяла его под руку и повела к двери. Прихромов забунтовал: вырвал руку, как-то весь встряхнулся и сердито зарокотал своим басом:

— Минога, не шали!.. Протестую против возмутительного насилия... Подожди: мне надо захватить папки, документы...

— Никаких папок, никаких документов!..

И она бросилась к столу и погрозила кулаком. Мирон смеялся. Он обнял Прихромова и повел к двери.

— Мошенники! Налетчики!.. Дайте хоть спрятать все эти бумаги... ведь это же бесценные памятники.

Минодора подошла к столу, сгрудила бумаги, втиснула их в ящик и щелкнула ключом.

Они спустились на лифте в вестибюль.

У подъезда стоял лимузин. Мирон открыл дверцу.

Прихромов протянул ему руку и заругался:

— Я тебе, Миронталь, не прощу... Ты — трус и тряпка. Изволь искупить вину и прибыть ко мне на дачу.

— Пихай его, Ватагин!..

Чтобы доказать, что он здоров и бодр, Прихромов быстро юркнул в кабину и загудел оттуда:

— Не угодно ли вам финик сей принять...

Минодора не подала руки Мирону, не взглянула на него и не простилась. Она влезла в машину и захлопнула дверцу.

II. ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ

1

Мирон шел по переулку, взволнованный свиданием с Прихромовым и Минодорой. Около этих людей он, как всегда, чувствовал себя свежим, обновленным. Многие дни он хранил в себе радость общения с ними. Улица заливалась огнями фонарей и витрин, и мостовая блестела накатанным гудроном. Трудно было идти по тротуару, — это были не потоки людей, а толкучка: его били в грудь и в бока.

Он сошел на мостовую, обгоняя людей. Давно он уже не ходил по московским улицам и теперь чувствовал себя неудобно.

...Какой будет Москва через десять — пятнадцать лет? Этот завтрашний город уже рождается: он вырастает, как друза кристалла. Вот Охотный ряд. Почему — Охотный? Нет здесь больше охотнорядских лачужек и красномордых барышников, из которых в царские времена вербовались черносотенные дружины. Разрушена давно и белая купецкая Прасковья-пятница. Дом профсоюзов когда-то царственно вздымался над этими лавочками и старинными домишками, и коринфские капители колонн видны были издалека. Здесь в январе 1924 года Мирон стоял в почетном карауле у гроба Ленина, здесь многотысячные толпы заполняли площадь, чтобы подняться по мраморной лестнице вверх и пройти в дуновении медных оркестров мимо покоящегося на холме цветов и венков тела Владимира Ильича.

Теперь по обе стороны площади, там, где раньше ютились лавчонки и домишки, высятся серые заборы, а за ними строительные леса, а над лесами голово-

кружительно высокие подъемники. Здесь же, против «Националя» и на Свердловской площади, громоздятся за заборами вышки метро, окутанные паром и пылью.

Он прошел мимо казарменного здания Малого театра и увидел знакомый, грубо сделанный барельеф Кропоткина. И вспомнил первые годы Октября в Москве. Как и вся страна, Москва, лохматая, голодная, нищая, разрушенная войной, была грязная, бестрамвайная, облезлая. Не было ни полена дров, не было мануфактуры, чтобы сшить рубаху, не было обуви, не было даже хлеба. В богатых особняках и многоэтажных домах ютились толпы людей разных социальных прослоек — от рабочего до мирового ученого. Рабочие массы бурлили на заводах, в общежитиях, на улицах в дни демонстраций и с энтузиазмом шли в ряды Красной Армии. С боевыми песнями, в ливне штыков проходили через Красную площадь, слушали Ленина и мчались на юг, на север, на последний и решительный бой с Деникиным, с Колчаком, с интервентами. Товарищи! Пролетарская революция в опасности... Деникин приближается к сердцу советской страны, к красной столице... Волга — под ярмом белых генералов, Юденич — у красного Петрограда. Рабочие и Красная Армия нуждаются в хлебе... На продразверстку, товарищи! Бей всех гадов — вошь, беляка, интервента и бандита!.. Революция — в опасности!..

И вот в эти времена Наркомпрос распахнул двери искусству. Художники — скульпторы, живописцы — на скорую руку лепили гигантские фигуры мускулистых пролетариев и ставили их на постаменты из старых ящиков и досок, писали красками на фанерных щитах высотою в два-три этажа колоссальные портреты Маркса, Энгельса, Ленина или монументальных красноармейцев с винтовками. Стены облупленных купеческих и доходных домов испещрялись аршинными буквами лозунгов и полосовались разноцветными молнийными линиями. Работники ИЗО мечтали об украшении перекрестков улиц и площадей Москвы статуями и карнавалом красок, ТЕО устраивало костюмированные

шествия. Искусство свободно! А на фронтах?.. а на заводах?.. а в общежитиях рабочих?.. Миллионы разутых, раздетых, голодных красноармейцев дрались с белыми армиями, с разными бандами... Сотни тысяч рабочих, голодных, разутых, раздетых, работали день и ночь на оборону своей социалистической республики... Революция в опасности.

Мирон растроганно улыбался, вспоминая это далекое прошлое. Даже в таком сплошном празднике неуклюжего, но задорного искусства было здоровое зерно жизни... Это маскарадное искусство звало вперед и выше, оно ободряло, веселило, опьяняло своим гиперболизмом.

Его схватила за руку девушка. Он испугался, извинился и отступил в сторону. Девушка звонко и весело захохотала.

— Ах, чтоб тебя, Наталка!

Привлекательная дурнушка, она неожиданно показалась ему красивой. Может быть, от электрического света? Может быть, оттого, что она молода?

— Ты куда шагаешь, дядя Мироша?

Он ласково прижал к себе ее руку.

— А я как раз спешила на трамвай, чтобы нарушить твое одиночество.

— Подожди, Наташа... Расскажи-ка лучше, почему ты так радостна. Такое волнение бывает только после ожесточенных побед.

— Вот именно, Мирон Васильевич. Эти ожесточенные победы даются нелегко...

— Эх, Наталка! Поедем со мной социалистический город строить.

— Учиться надо, дядя Мироша. Дай учебу закончить да у стариков уму-разуму набраться...

— Эти ваши старики и всякие бонзы у нас понагородили не дома, а тару для упаковки людей...

— Зато мы уже дерзко ставим проблемы социалистического стиля.

— Ого! Как же выражается этот стиль?

— Не притворяйся, Мирон...

— Я говорю серьезно, Наташа. В вопросах искусства я полный невежда.

Наташа сдвинула брови.

— Передо мной не лги и не наивничай, Мирон Васильевич. Ты даже и сейчас вот, говоря о таре для людей, смотрел в корень этой проблемы... Не выношу лицемерия...

Наташа всегда отличалась пылкой правдивостью: она принимала как личное оскорбление неискренность, уклончивость и двоедушие. У нее бледнели губы, мертвел носишко, а в глазах начинали играть горячие капли. Она бросалась на всякого — будь это рабочий, мать, отец, ответработник, профессор — с неотразимой прямотой.

На Мирона она нападала уже не первый раз. Особенно памятным остался день, когда исчез Кирюшка. Всегда веселая, звонкая, страстная, она вошла к ним с окаменевшими губами. Ольга убивалась от горя, а Мирон мрачно ходил по комнате. Наташа подошла к Ольге, наклонилась к ней и стала ласкать ее. А он злобно повторял:

— Ах, негодяй!.. Ну, и прохвост!..

Когда Наташа уходила домой, она взглянула на него с ненавистью и сказала, уже отворив дверь:

— Не он негодяй, Мирон Васильевич, кто-то другой.

И быстро скрылась.

...Они шли вверх, к площади Дзержинского — по Театральному проезду. Было сыро, хотя воздух был очень прозрачный, в лучистых огнях, и небо — по-осеннему холодное, высокое и звездное. Хлопотливо спешили куда-то вереницы людей, толкались, обгоняли друг друга.

— Мне кажется, Наташа, что раньше, когда ты сидела на лампочках, ты была проще, — с сожалением сказал Мирон. — Я тогда ощущал тебя всю, сердце твое ладошкой трогал...

— То было раннею весной... — засмеялась Наташа. — А теперь мы выросли... С трудом, но росли хорошо.

Она вдруг остановилась и удивленно оглядела Мирона.

— Подожди, дядя Мироша: куда же мы идем?

— Я хотел на часок зайти к Даше. Ольга ведь возвратится поздно. Пользуюсь временем: потом и минуты свободной не выкроишь...

— Да. Я уже звонила Ольге, — живо подхватила Наташа. — Она очень обрадовалась... Но, понимаешь...

— Понимаю, понимаю, Наташа...

— Замечательно! — крикнула она. — Это очень кстати, Мирон Васильевич. Я тоже давно ее не видела.

«Она возбуждается от каждого пустяка», — подумал Мирон и чувствовал, как легко ему с этой девушкой и как она заражает его своими порывами.

— Дашу я люблю, как Ольгу, но иначе. Даша очень строга и к себе и к людям... Мне кажется, Мирон Васильевич, что она немножко одинока... — Наташа прошептала ему в ухо: — А Ольга, знаешь ли, недолюбливает ее... избегает... Но сегодня прилетит.

2

Дашу они увидели в длинном, широком коридоре. Она шла за кипятком.

Наташа приветливо махнула ей рукой и крикнула:

— Даша! Я веду к тебе редкого зверя и знаменитость.

Даша, не останавливаясь и не выражая радости, с оттенком насмешки ответила:

— Вижу, вижу. Проходите в комнату. Я сейчас...

И скрылась за выступом стены.

— Выдержанная женщина... — снасмешничал Мирон, и в голосе его Наташа услышала одобрение и что-то похожее на досаду.

— Ты на нее не обижайся, дядя Мироша: она тебе очень рада.

— Да ты уж не посредничай, девочка... — усмехнулся Мирон. — И без тебя знаю ее повадку.

— Ты, дядя Мироша, все-таки злой. Нехорошо. Видно, что ты обижен на женщин.

— На тебя — нет. А эти мужние вдовы и мужеподобные супруги все время стараются говорить густым басом...

— Я запрещаю тебе злословить, Мирон Васильевич... Ты им завидуешь...

Они открыли дверь и разделись в крошечной, ярко освещенной прихожей. Комната была маленькая, очень чистая, оклеенная новыми обоями стального цвета. Книжки — в строгом порядке; на столе, на бюваре и чернильном приборе — ни пылинки. На стене — фотография маленькой девочки и Глеба. Чувствовалось, что здесь не распахнешься, не развалишься на стуле, не забудешь себя, не засидишься долго.

Наташа поправляла волосы перед зеркалом и казалась сконфуженной. Потом подошла к телефону, схватила трубку и нахмурила брови. Вдруг она вспыхнула, глаза заиграли задором.

— Ольга, здравствуй! Это я... Ну конечно опять я... Так вот слушай. Я окончательно убедилась в твоем преступном поведении. Да, да. Приехал законный муж, целый вечер томится в тоске, а ты — ноль внимания. Да ты подумай, поразмысли, директор лампового завода, в какое ты себя ставишь положение перед партией и народом? Ну, то-то же... А теперь, не теряя ни минуты, садись в машину и кати к Даше. Мы с Мироном совершенно случайно, но с явным намерением очутились в этот момент в ее целомудренном жилище. Все ясно? Не дам. Товарищу Ватагину запрещено подходить.

Мирон подкрался к Наташе, быстро нагнулся к трубке и крикнул с радостным надломом в голосе:

— Оленька, здравствуй!.. Жду — не дождусь...

Наташа с притворной яростью бухнула его кулаком по спине.

— Это называется контрабандой, Мирон Васильевич. Гнусность, дорогой товарищ... мерзость...

Она бросила трубку и с презрением поглядела на Мирона.

— Вы, Мирон Васильевич, — не партийный руководитель, а говядина.

Он сгорбился и виновато вздохнул.

Наташа расхохоталась и бросилась к нему на шею.

— Дядя Мироша!.. Жулик! Какой ты хороший!

Он подхватил ее под мышки и вскинул кверху.

В этот момент вошла Даша и остановилась у порога. Она изумленно смотрела на них и смеялась.

— Разрешите пройти к столу, дорогие друзья.

Наташа быстро выхватила у нее чайник, поставила его на стол и кинулась ей на шею.

— Даша, золото мое!.. Целую глаз — раз! Целую рот — вот!.. Целую лоб — стоп!..

И завертела ее, прыгая, как озорная девчонка.

— Ну, совсем обезумела... — смеялась Даша.

Она с притворной холодностью оттолкнула Наташу и протянула руку Мирону.

— Ну, здорово, Ватагин... очень рада... Давно прибыл?

— Сегодня, золото мое... сегодня... — радостно сообщила Наташа. — Глеб Иванович, твой супруг, прислал тебе два килограмма поцелуев...

— Как будто я спрашиваю ее! — Даша с недоумением взглянула на Мирона. — Как будто не ты, а она привезла эти килограммы поцелуев...

Мирон уважительно пожал ей руку. Он всегда чувствовал неустранимое расстояние между ней и собою. Что-то в этой женщине было недоступное, надежно и навсегда скрытое. Знал, что жизнь Даши была полна событий, что в прошлом, в гражданскую войну, она пережила большую трагедию: перед ее глазами замучили и расстреляли близких товарищей, и сама она была под дулом винтовки и с веревкой на шее; долго не могла оправиться от смерти своей единственной девочки (это ее фотография на стене); на несколько лет она ушла от Глеба, хотя оба любили друг друга, — не стерпела унижающих ее достоинство припадков ревности. С юга она уехала раньше Глеба, сначала в краевой центр, потом ее командировали в Свердловку. Из Свердловки ее выдвинули в ВЦСПС, но она добилась командировки в ПУР на военно-политическую работу.

Даша готовила посуду на другом столе, покрытом белой скатертью, и делала все продуманно, основательно, без лишних движений.

Она как будто совсем не обращала внимания на Мирона, точно он был не редкий гость, а близкий человек, с которым она сталкивается каждый день. Но Наташа видела, что она рада его приходу, что она возбуждена, что голос ее светится и поет. А Мирон чувствовал себя связанным. Эта ее холодная простота угнетала его. Но он не верил в ее рассудочную холодность: это вырабатывалось ею личной муштровкой, насилием над собой, чтобы завоевать себе место в жизни и обеспечить самостоятельную роль в борьбе. На самом же деле она таит в себе и страстную любовь к мужу, и тоску материнства, и мечту о семье... Мирон был уверен, что наедине с собою она совсем другая и, может быть, нередко плачет, уткнувшись в подушку.

Наташа возилась рядом с нею у стола, гремела посудой, мешала ей и как будто нечаянно целовала ее.

Даша ласково отталкивала ее и посмеивалась.

— Ну, скажи, пожалуйста, Наталья, что тебе нужно? Почему ты путаешься? Ты хочешь ошпарить меня кипятком, да?

— Да, да, хочу целовать тебя... Хочу, чтобы ты понежничала с Мироном.

— Ой, и дуреха же ты, Наташка!.. Глядеть на тебя горестно...

Наташа подбежала к рабочему столику и сняла портрет девочки со стены.

— Посмотри, дядя Мироша: правда, эта мордочка — вылитая Даша?

Действительно, сходство этой лупоглазой девчушки на фотографии с Дашей было поразительно — Мирон в первый раз заметил это, когда всмотрелся в фотографию. Казалось, что эта девочка — Даша в раннем детстве.

Он встретился глазами с Дашей и увидел в них внезапный испуг и боль.

— Теперь моей Нюрочке пошел бы восемнадцатый год... Наташа старше ее только на семь лет...

Чтобы скрыть свое волнение, она встала.

— Ну, будем чай пить. Водвори мою девочку на место, Наталья.

И опять со строгим удивлением оглянулась на Мирона.

— Распоряжается здесь, как дома... точно ей все позволено... В ее возрасте я уже четыре года замужем была...

Наташа уткнула кулачки в бедра и откинула голову назад.

— Эка, чем вздумала корить!.. Вы тогда женились без всякого воспитания...

— Это верно: тогда для супружества воспитания не требовалось...

— Да ведь тогда и супружества-то у вас не было.

— Она смеет рассуждать, Ватагин! — кивнула на нее Даша, будто ища поддержки у Мирона. — Она, видишь ли, и здесь авторитет.

Наташа подкралась к ней и попросила вкрадчиво и нежно:

— Дашенька, золото, поговори сердечно с дядей Мирошей. Ну, пожалуйста... Мне его жалко.

Посмеялись.

— Что же ты, Даша, не спрашиваешь о муже? — спросил Мирон, еще бессильный найти «линию связи» с ней.

— А о чем спрашивать? Я и без тебя знаю, как он себя чувствует. Каждый раз он производит у меня здесь настоящий погром. Под стать Наташе.

— Поэтому-то он и замечательный парень... — убежденно подтвердила Наташа.

— Ты хочешь со мной спорить, Наталья? — сдвигая брови, спросила ее Даша. У нее вздрагивал подбородок от сдержанного смеха. — Но ведь я, кажется, раньше тебя познакомилась с этим замечательным парнем.

Мирон наблюдал за женщинами и завидовал теплоте и дружеской непринужденности их разговора. Почему же все-таки он не может найти себя у Даши? Почему она не дается ему и он не может «обнять ее душу»? Отчего так трудно встречаться с ней? Откуда эта фальшь в их отношениях? Он знал, что Даша очень уравновешенная и твердая женщина, совсем не способная лукавить и кривить душою, а он, Мирон, как раз и ценил это больше всего в людях. Казалось бы, что их дружба должна вылиться в сердечную привязанность и оба они должны были бы понимать и чувствовать один другого. Около нее Мирон мог бы дышать полной грудью, как в яркий, солнечный день на берегу реки. Вот и сегодня, когда Мирон шел к ней от Прихромова, он с удовольствием чувствовал, что его тянет увидеть ее, как настоящего близкого человека. Но уже в коридоре и особенно здесь, в комнате, он опять испытывал странную неловкость. Она несомненно рада его приходу и рада услышать его слово о Глебе, но почему-то он все время встречал иронический отпор его попыткам подойти к ней близко и сердечно. Он видел, что она сама ждет от него этих порывов и дружеских слов, — той товарищеской, нерассуждающей ласки, какая волнует душу, — но заранее знал, что ни у него, ни у нее ничего не выйдет из этих попыток: будет только бесплодное и досадное насилие над собою. Мирон невольно сравнивал ее с Ольгой и уже не находил в них ничего общего.

«Наташа чувствует себя с ней непринужденно только потому, — думал он, — что знает ее другую, настоящую. А я для нее — человек, который по праву мужа угнетал женщину, калечил ей жизнь... А может быть, я сам виноват, что ставлю себя перед ней каким-то чужаком? Она думает, что я стесняюсь, пасую перед нею...»

Даша как будто хотела доказать, что знает его пристрастие к крепкому чаю, и налила прямо из чайника. Он улыбнулся ей. Брови ее дрогнули, и глаза стали ясными. На мгновение она вся потеплела, и в ней исчезла привычная настороженность.

Ложечка переламывалась в винном настое чая надвое: сверху — серебряная, в чаю — золотая.

— Эх, Даша! — Мирон вздрогнул завистливо. — Очень мне хочется перетащить тебя к нам секретарем райкома. Вот тоже и предрабочкома сильный нужен. А людей нет.

— Как же нет? Вот хотя бы Паша Погадаева. Я ее хорошо знаю. Вместе в Свердловке учились.

— Но тебя-то очень уж хочется перетянуть...

— Нет, Ватагин, армии я не оставлю. Я, может быть, об академии мечтаю...

— Ого, вот это дерзание!..

— Почему дерзание? — усмехнулась Даша. — Просто потребность.

Наташа вскочила и забунтовала:

— Нет!.. ни черта у вас не вытанцовывается... Оба вы такие важные, ответственные, деловые... Носороги какие-то... Уж настрою я вас на музыкальный тон... Ладно!..

Она юркнула за занавеску и сейчас же появилась с гитарой в руках. Даша с упреком покачала головой.

— Вот-с инструмент, который нежно именуется гитарой. Даша, — да будет тебе известно, дядя Мироша, — в минуты уединения перебирает певучие струны и поет чувствительные романсы. Эта привязанность к гитаре у нее еще с дней юности...

— Нехорошо, Даша, скрывать свои таланты... — пошутил Мирон. — Оказывается, при строгости своего нрава, ты скрытна: ты обращена к нам только одной стороной, как луна.

— Я живу, как мне нравится...

— Это ново, Даша, — съязвил Мирон. — Ты как будто раньше высказывалась за самоотречение и жертвы.

— Все мы приносим и будем приносить жертвы. Как же иначе? — возразила Даша. — Я не стыжусь своего прошлого, а горжусь им.

— Кстати, дядя Мироша, — озорничала Наташа, — гитара — это чудесно. Но она, честное слово, спит на досках — у нее принципиально нет тюфяка...

— Кто к чему привык... Придется, может быть,

спать и на земле, и под дождями, и снегом... а может быть, и просто на ногах...

Наташа настраивала гитару и напевала:

Ми-илая Да-аша,
Твой ле-епет деловой,
Горяч, как простокваша...

Даша засмеялась первая, — от души засмеялась, и Мирон заметил, что глаза у нее играют веселым лукавством.

Высказывает она примитивные мысли, но считает их глубокой мудростью. Она вся еще в «первоначальном накоплении», еще неуклюжа, не отшлифована, топорна, — но самобытна, со своим звонко выкованным характером. И Ольга такая же, и даже Минодора, которая выросла в высокой культуре прошлого. Старое поколение революционерок, героинь гражданской войны... Это — суровое племя воительниц и первых строителей и каменщиков нового мира. В них есть своеобразная красота ветеранок, которые знают, что такое мучительная ломка самих себя.

Мирон уже прощал Даше все ее шероховатости, ее суровость и рассудочность. Иной она ведь и быть не могла. Когда рассказывал ему Глеб об ее прошлом — о том, как она боролась с ним с первого же дня его возвращения из армии, не подпускала к себе, как сгорела ее Нюрка, как пуритански нетерпима она была к его мыслям о семейном уютном гнезде, — Мирон и восхищался и возмущался ею. Но, когда в это же время думал об Ольге и о своей былой судьбе, ему было стыдно и больно: ведь и они с Ольгой прошли через эти испытания, ведь и Ольга пережигалась на таком же огне, ведь и она потеряла ребенка. Но Ольга мягче, чувствительнее; она острее переживала свои боли, чем Даша. Даша боролась самостоятельно: каждый ее шаг был над пропастью, каждый миг насыщен опасностью.

Нет, эти женщины особой породы: беспощадная боевая жизнь разметала их семейные норы, вооружила их для беззаветной борьбы. И мужья, возвра-

тившиеся к ним после нескольких лет разлуки, не узнавали и не понимали их.

Как будто подводя итог этим мыслям, Мирон раздумчиво сказал:

— А ведь неплохо бы сейчас, Даша, обзавестись ребятами. Мы иначе бы их воспитали...

— Конечно, это совсем не глупо. Но у меня, Ватагин, этот вопрос снят: опоздала...

— Что за чепуха! Ты же молода, полна сил...

— Опоздала, Ватагин... — настойчиво повторила она. — Мы строим — да. Мы создаем социализм — да. Но, дорогой мой, мы живем и боремся в обстановке войны. Я не могу думать о детях, когда знаю, что враг рвется через наши границы. Я чувствую себя больше воином, чем матерью.

— Одно другому не мешает...

— Мешает. Война идет и внутри страны.

— Но вспомни, что храбрые женщины рожали и на фронте...

— Да, но выбывали из строя.

Она пытливо всмотрелась в его лицо и некоторое время изучала его с недоверием и неприязнью. Мирону стало даже неловко от ее проверяющих глаз. Странно, глаза ее были и холодные и обжигающие. «Нет, — решил Мирон, — жить она с Глебом не может — безнадежное дело».

— Ты извини, Ватагин. Я не сваха и не посредник... — Она склонилась с затаенной усмешкой. — Я говорю как товарищ и большевичка. Вы с Ольгой ведете себя трусливо и безобразно...

— То есть?

— Вы долго будете жить на разных полюсах?

— Я могу задать тебе, Даша, такой же вопрос.

— Обо мне такой вопрос не стоит. Я уже сказала. А Ольга страдает. Неужели ты этого не замечаешь?

— Я зову ее к себе, но она не хочет бросить фабрику.

— Быть только твоей женой она, конечно, не может. Я сама помешала бы этому. Ольга не такая женщина. Она должна вести там большую работу.

— Безнадежное дело, Даша. Разве она бросит

свою фабрику? Поговори с нею, может быть, она тебя послушает.

— Вот это настоящий разговор...— встрепенулась Наташа.— А то ползают вокруг да около... Молодчина, Даша, начала мужественно...

— Мне нечего говорить с ней,— резко ответила Даша.— Я не сваха, повторяю. Ты сам должен добиться. Ты причинил ей много страданий. Если ты созрел для примирения, скажи ей, — она поймет.

— Я беру на себя роль свахи... — задорно откликнулась Наташа.

— Почему же ты думаешь, Даша, что только я один в ответе? — спросил Мирон недоброжелательно. — Это не так просто. Мы отвечаем оба в равной степени.

И поймал себя в непоследовательности: ведь до сих пор он сам признавался и себе, и Татьяне, и Вакиру, что вся вина за прошлое падает на него, а теперь вдруг идет на попятную. Если бы невзначай заговорила с ним об этом Наташа или сама Ольга, он тоже обвинил бы себя во всех грехах. Но Даша вызвала в нем своим решительным тоном судьи невольное раздражение и протест: она слишком много берет на себя, она валит с больной головы на здоровую. Глеб от нее не меньше пострадал, чем Ольга от него: судя по словам Глеба, она очень грешна и расправилась с ним немилостиво.

— Нет, ты, Ватагин, еще не созрел... — вздохнула Даша. — И едва ли созреешь.

Мирон тугим взглядом прошелся по ее лицу, но она этот взгляд выдержала без всякого смущения, точно видела его насквозь и знала, что раздражается он от собственного бессилия.

— Ну, уж мне не придется обращаться к тебе за помощью, Даша,— сухо сказал он.— Я не пытался защищать Глеба и обличать тебя в нечуткости.

— Я свою судьбу определила, Ватагин,— с кроткой улыбкой ответила Даша.— Мне хорошо, у меня все ясно. Я не жалуюсь.

— И я не жалуюсь...— все больше раздражался Мирон.— Но вот Глеб жалуется...

— Ты лжешь, Ватагин, — с холодным спокойствием обличила его Даша. — Глеб тебе никогда не жаловался.

— Но ведь и Ольга тебе не жаловалась...

— Жаловалась. Иначе я бы с тобой не говорила.

— К дьяволу ссору!.. — крикнула Наташа и громко ударила по струнам. — Мимо!.. Прошу внимания. Песня, друзья мои!

Она еще раз ударила по струнам, потом взяла несколько аккордов и запела хорошим, звонким альтом:

Мы — кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи,
Вздымайся выше...

У Мирона дрогнуло сердце, и он едва сдержал освобождающий вздох. Даша как-то сразу прислушалась к себе, и глаза ее вдруг вспыхнули изумлением.

Наташа звала их и лицом и всем телом — войти в песню, нетерпеливо манила взмахами руки, а Мирону делала злое лицо.

— Да пойте же, черти!..

И опять запела сначала. Когда она всей грудью выкрикнула призывно:

Вздымайся выше... —

Мирон не вытерпел и подхватил песню. Он даже встал, подброшенный горячей волной.

Вздымайся выше... наш тяжкий молот!..

Наташа подбадривала его немного опьяневшими глазами и пела вся — восторженно, пылко...

Как хорошо, как все могуче и стремительно!.. Когда он переживал этот взлет и эту молодую радость? Это было когда-то очень давно, это было, кажется, в дни юности, а может быть, в гражданскую войну... Да, такой же шквал подхватил его в душной избушке при свете лучины, когда с бою была взята деревня у дроздовцев, а он, весь грязный, оглохший от пушек, вскочил на табуретку и, босой, начал плясать...

Он услышал около себя неожиданный голос Даши. Она обнимала спинку стула и пела, поднимая голову:

В стальную грудь сильней сту-чи!..

Изумление не сходило с ее лица. Она сидела боком к ним, и ее нежный голос обвивал их, ласкал и задушевно рассказывал о чем-то далеком и бесконечно близком, чем жил и он, Мирон, и Наташа, и Ольга.

Мы светлый путь куем народу...
Мы счастье родине куем...

Казалось, что вместе с ними пели и стены, и воздух, и вещи...

Несколько раз раздавался настойчивый стук в дверь, но они не замечали его. И, когда Даша скрылась за занавеской, Мирон оборвал песню взмахом руки на самой высокой ноте.

Эх, какой был подъем!..

Наташа звенела струнами гитары и разливалась с прежней радостью, но вдруг испугалась и жалобно взглянула на Мирона.

В прихожей звенел немного надломленный голос Ольги.

3

Ольга выскользнула из-за занавески и сверкнула зубами в улыбке. Лицо ее залилось румянцем.

Мирон обнял ее и крепко прижал к груди.

— Да не так же, Мирон!.. — в отчаянии взвыла Наташа. — Не то и не так!.. Весь эффект пропал... Фу, какие вы неудачники!..

Ольга обнимала Мирона, гладила его волосы и целовала. Потом оба схватились за руки и смотрели друг на друга издали.

— А я услышала, как вы поете, и стала у двери: не хотела мешать. Потом позавидовала — дай, думаю, войду незаметно и тоже присоединюсь... Но дверь была заперта. Здорово это у вас!.. Уж конечно без Натки не обошлось...

— Ну, не возмутительно ли, Оленька! Они сидели и каркали, как вороны. И оба играли не на тех инструментах.

Мирон поразился, как изменилась Даша при появлении Ольги: и голос стал приятным и веселым, и фигура стала гибкой, несмотря на полноту. Казалось, что сейчас она подхватит Ольгу и зальется девичьим смехом. И уже исчезла ее настороженность, строгость, гордая обособленность. Мирон уже не стеснял ее, и она как будто совсем забыла о нем. Но он заметил и другое — Ольга как будто чуждалась Даши и радости от встречи с нею как будто не испытывала.

— Выдержала все-таки, Оленька... — пошутил Мирон с притворной ревностью. — Я приехал в три часа, а теперь — девять. Вот как ты с мужем-то обращаешься...

— А ты думал, она бросится к тебе со всех ног?.. — с веселым торжеством оборвала его Даша. — Ты уверен был, что ты ей дороже дела и она очертя голову помчится к тебе? Какой ты прелестный!..

— Вот в чем великая трагедия несчастного Глеба... — сокрушенно вздохнул Мирон и сделал скорбное лицо.

Все засмеялись, а Даша, к удивлению Мирона, громче всех.

— Понимаешь, Мироша, — горячо оправдывалась Ольга, — понимаешь, как нарочно, весь этот день полон был всяких забот и неприятностей. Нагрянула комиссия. Брак начал нас захлестывать... За мое отсутствие тут таких дел натворили, что долго придется расхлебывать...

Мирон вглядывался в нее и чувствовал какое-то странное замирание сердца, как в день ее приезда на стройку. И в глазах ее, и во всем облике, и даже в голосе было что-то тревожное и неуловимо-печальное. И в лице и в движениях было какое-то ожидание.

— Ну, как там чувствует себя размашистый Глебушка?

Наташа дразнила Мирона играющим задором в зрачках: ага, не я ли, мол, говорила тебе?..

— Хоть бы телеграфировал о приезде... — с ласковым упреком сказала она. — Я бы приготовилась. Это счастливая случайность, что Наташа оказалась дома.

Одета она была очень опрятно: серый костюм английского покроя, новенькая батистовая блузка. Волосы были туго, до глянца, приглажены, и круглое ее лицо от этого казалось свежим, только по краям рта были морщинки скорби. Она бессознательно поправила прическу над ушами, разгладила блузку и как-то вдруг похорошела.

— Кокетничаешь ты с ним... — с шутливым неудовольствием буркнула Даша. — Подумаешь, какой герой...

Мирон взял руку Ольги — маленькую, белую, с розовыми ногтями, — притянул ее к губам и поцеловал, как у ребенка. Даша, к удивлению Мирона, не вознегодовала, не фыркнула, как обычно, а как будто даже взволновалась и с завистью посмотрела на Ольгу. Она смягчилась, и глаза ее влажно вспыхнули.

— Ну, начинается...

— Превосходно, потрясающе!.. — ликовала Наташа. — За горсточку удачи и успеха прощаю вагон ошибок... Это мой лозунг...

— Очень плохой лозунг, Наталья... — оборвала ее Даша, но улыбнулась растроганно.

Наташа подскочила к Мирону и прижалась щекой к его голове.

— Мой хороший дядя Мироша...

Ольга смотрела на Мирона с пристальным и беспокойным вопросом, но смеялась от ласки Наташи.

Как и всегда бывает при радостных встречах, они не находили слов для разговора: справлялись о здоровье, об успехах в работе. Шутили. Ольга спросила, с какой целью он приехал и долго ли пробудет. Мирон с лукавой улыбкой ответил, что прискакал сюда для того, чтобы узнать у Наташи о судьбе Ольги, так как она, Ольга, со дня их встречи исчезла, как мимолетное виденье. Наташа отрезала: «Врешь, дядя Мироша: ты о ней вспомнил, когда я хотела позвонить ей». А Мирон весело упрекнул ее, что она только

забежала вперед и не поняла его деликатности. «Об Оленьке ты обязан был спросить сразу же... Вот это — деликатность!» — обличила она его. Ольга смеялась, а Даша качала головой.

— Не архитектор, а судья. Тебе бы правила поведения писать, Наталья.

Наташа и тут за словом в карман не полезла:

— Наша жизнь и поведение — это тоже архитектура.

Мирон похлопал ей в ладоши и сообщил, что приехал вместе с начстроем для доклада наркому. В связи с проведением сквозного договора нужно разрешить массу вопросов в главках. Балеев привез с собою одну девочку-калечку с матерью: девочку надо поместить в больницу. Что-то уж очень возится с ней Балеев. Ольга живо подхватила: «Значит, очень хороший человек». Даша недовольно покосилась на Мирона.

Замолчали. Даша сидела, сдвинув брови. Ольга пила чай, Наташа перебирала струны гитары. Мирон переглянулся с Ольгой и улыбнулся.

Наташа тихо, про себя запела:

Наша жизнь хороша...
Веселится душа...

— Это что же за песня? — озадаченно спросил Мирон. — Новая какая-то... Ни разу не слышал...

— Новая... моя песня...

Сердце радостно бьется, ликуя...

— Надо жить без утайки, дядя Мироша, без насилия над собой. Будем дышать во всю грудь и творить, и работать, и наслаждаться в нашем прекрасном саду... Создавать нашу жизнь под солнцем...

А в чудесных садах
Все деревья в цветах...

— Нет! — убежденно и сурово сказала Даша. — Пока еще рано о садах да о цветах думать... Рано, Наталья, когда душа горит от злобы и ненависти к дьяволам... Я не способна наслаждаться, когда фашизм бесится.

В глазах у нее блеснул колючий огонек. Лицо у Ольги дрогнуло от боли. Даша встала и взяла с письменного столика пачку бумажек разного размера. Она ожесточенно стала бросать их на скатерть. Это были иллюстрации из газет и журналов. Тут были и трупы большевиков, расстрелянных интервентами и белогвардейцами, тут и повешенные и изуродованные тела, тут и груды убитых детей... Все эти картинки были знакомы Мирону, но в эту минуту, когда Даша бросала их на стол, ему вдруг стало жутко. Даша, должно быть, собирала их изо дня в день и складывала, сцепив зубы от ужаса и негодования. Ольга встала и отошла в сторону.

— Извините, товарищи, я испытала кое-что и на своей собственной шкуре... И не забуду никогда... Вся жизнь моя — для последней борьбы... Наталья не знает ни ужасов, ни крови...

Ольга глухо и недружелюбно сказала:

— Можно не забывать... нельзя забывать, Даша... и — верно: готовиться. Но именно поэтому мы и должны создавать и украшать свой сад. Я здоровой и радостной хочу быть... Чтобы победить, мы обязаны жить... сильно и свободно... Ты права, но правда и на стороне Наташи...

Разговор не клеился: что-то испортилось в их настроении. Посидели еще с полчаса, поговорили о заводе, о стройке, о политработе.

Наташа ходила с гитарой по комнате и напевала вполголоса: не то ей было грустно, не то она устала. Вдруг она остановилась за спиной Ольги и решительно ударила по струнам.

— Оленька! Для тебя, родная... Споем ту, которую с тобой певали...

Она прокашлялась и с улыбкой запела:

С радости, веселья
Кудри хмелем вьются...

Ольга молчала.

Наташа с удивлением и обидой оглядела всех и умолкла.

Даша как будто тяготилась гостями. Она зевнула и закрыла рот рукою. Встали все сразу. Мирон и

Ольга пригласили ее к себе, но она прямо заявила, что не придет — времени нет. С Мироном простилась молча и сдержанно.

Ольга нехотя поцеловала Дашу и взялась за ручку двери.

Наташа, будто назло Даше, запела:

А в чудесных садах
Все деревья в цветах...

— Прощай, золото. Я ведь знаю, о чем ты думаешь, о чем мечтаешь...

Даша, пораженная, подняла брови и шлепнула ладонями.

— Батюшки! она уж и в душу проникла...

Все вышли в коридор и опять простились, но Даша проводила их до самой лестницы и стояла на площадке до тех пор, пока они не скрылись совсем из глаз. Когда Мирон взглянул вверх в последний раз, он ясно увидел, что Даша расстроена: глаза ее смотрели на него неподвижно и как будто ожесточенно, а лицо вздрагивало от печальной улыбки. Ему впервые стало жалко ее.

— Какая-то в ней есть раздвоенность, — сказал он на улице.

— Тяжело ей... — вздохнула Ольга. — Никак я не найду с ней общего тона... И тянет она меня, и отталкивает...

А Наташа задумчиво напевала:

Наша жизнь хороша...

III. У НАРКОМА

1

В одиннадцать часов утра за Мироном заехал Викентий Михайлович. В те минуты, когда Мирон одевался, раздался стук. Он подошел к двери и, повернув задвижку замочка, дернул ее к себе.

— Входи, Наташа!..

— Для Наташи бородат и грузен... — рассмеялся Балеев и бойко вошел в прихожую.

— Вот это хорошо, Викентий Михайлович... — обрадовался Мирон.

— Я на минутку, поглядеть ваше жилье. Жены, конечно, нет?

Они вошли, одетые, в комнату, и Балеев с любопытством огляделся. Мирон заметил, что он растроган.

— Здесь живет хорошая женщина... — сказал Балеев.

Его внимание привлекли дырки на карнизе, и он кивнул на них головой.

— Должно быть, они, Мирон Васильевич, поют... не поют, а гремят: помни о борьбе, о врагах, о боевой юности!..

— Да, эти пульки предназначались для нас...

Помолчали, подумали, вглядываясь в гнездышко круглых отверстий, и оба чувствовали, что в этот миг они по-новому связывались друг с другом.

Балеев подошел к кроватке, потрогал ее и многозначительно посмотрел на Мирона.

А Мирон уклончиво и неохотно сказал:

— Ольга очень дорожит ею. Нечто вроде реликвии.

— Ваша жена — превосходный человек, Мирон Васильевич.

— Да, Ольга — сложная женщина.

— Извините, она умеет мужественно страдать. Вы, дорогой мой, должны относиться к ней с величайшим почтением.

И он решительно направился к двери.

— Поехали!

И сразу же обернулся, беспокойно осматривая Мирона.

Мирон провел ладонью по щекам и подбородку.

— То-то! — одобрительно кивнул головой Балеев. Он был выбрит, бородка подстрижена, из-под пальто виднелся свежий крахмальный воротничок.

Мимо окон лимузина пролетел людный Арбат, промелькнула Арбатская площадь со строительным

забором и подъемной вышкой за ним. Повернули на улицу Коминтерна.

— Девочку Шепеля я устроил. Я обязан каждый день с матерью заходить к ней. Умница не по летам; держится твердо и даже — представьте себе — утешает мать. Вере Сергеевне надо пожить здесь, иначе они обе сгорят.

Балеев изумленно поднял брови.

— Понимаете, Мирон Васильевич, как-то сроднился я с этим ребенком. Неужели все калеки так богаты духом? Вчера она говорит мне: «Викентий Михайлович, каждый новый шаг должен быть решительным. Я вот, говорит, перешагнула, и мне хорошо». Откуда это у нее? Ведь ей только пятнадцать лет.

Мирон в первый раз видел Балеева таким встревоженным и откровенным.

«А ведь он нежный и душевный человек, — удивился Мирон. — С кем он еще так разговаривает?»

Он вспомнил Варвару Михайловну, Константина и решил, что они не понимают Балеева, что около них он одинок и для них непроницаем. Неужели эта барыня, с жемчужной нитью и важно закинутой головой, может чувствовать его душу? А Константин занят собою, бредит о каком-то эпохальном искусстве, которое едва ли ощущает сам.

В приемной у наркома, очень просторной и светлой, Балеева и Мирона встретил с привстливой улыбкой бледнолицый секретарь в гимнастерке.

В разных местах сидели несколько человек и тихо разговаривали между собою. Очевидно, все это были руководители строек и заводов. Они с любопытством последили глазами за Балеевым и Мироном и опять стали шептаться. Вдруг из двери кабинета выскочил с красным лицом полнотелый человек в сером пиджаке. Он выразительно похлопал себя по небритым щекам и показал рукою к выходу.

Один из посетителей, сухощавый, длинный человек, с неврастеническим лицом, испуганно потер пальцем щеку и вышел из приемной.

Секретарь скрылся за дверью кабинета и сейчас же вышел обратно, виновато улыбаясь. Он пригласил

Мирона и Балеева кивком головы и проводил их пытливым взглядом.

Балеев был холодно замкнут. Мирон же не удержался и перемигнулся с секретарем.

Впереди, очень далеко, как показалось Мирону, за большим письменным столом стоял Серго в оливковом френче, немного бледный, с знакомым орлиным лицом. Его глаза, пристальные и проникновенные, сразу приковывали к себе, и каждый чувствовал, что от этих глаз, душевных, испытующих, нельзя утаить своих мыслей. С этим человеком, который как будто открывал свои объятия, нельзя было фальшивить и кривить душой. Чувствовалось в нем какое-то неугасимое горение и зоркая устремленность. У него, должно быть, никогда не было спокойного сна и холодных мыслей. Доступный и простой, он дышал мудрой скромностью богатого опытом, много пережившего, передумавшего человека. Казалось, что он весь светился, и от него неудержимо излучалась сердечная доброта, но в то же время чувствовалось, что есть какое-то волнующее расстояние, которое и возвышало, и заставляло пристально проверять себя и следить за собою.

Он осторожно коснулся пальцами черных усов и с изумлением поднял брови. В глазах его лучились лукавые искорки. С добродушным и мягким упреком он шутливо сказал, выходя из-за стола:

— Ага, вот они, гидростроители!.. Тяжелы, тяжелы на подъем... Зачванились на своих живописных берегах.

Пожав им руки, он опять погладил усы и, не угашая улыбки, обличительно посмотрел и на того, и на другого. Потом подтолкнул их к столу, показал на кресла. На свое место за столом он не возвратился, а сел тоже в кресло, напротив них.

Балеев был, как всегда, сурово сдержан и официален. Улыбнулся он только в тот момент, когда пожал руку Серго, но улыбка эта была мимолетной, как вежливый ответ на шутку наркома. Мирон же никак не мог побороть в себе странной дрожи в сердце. Он не спускал глаз с Серго и чувствовал, что

весь отдается его обаянию, что с ним он незримо и неразрывно связан был все годы подполья и революции, что он, этот величавый и простой человек, несет в себе целую эпоху, что жизнь его, Мирона, слита с жизнью этого большого революционера и задушевного человека. И это восторженное волнение охватывало Мирона каждый раз, когда он встречался с Серго. Не отрывая от него глаз, думал, что вот он был близок с Лениным, постоянно слышал его голос и вместе с ним решал сложнейшие вопросы эпохи революции.

— Ну, что у вас там?.. Всё парки да сады рассаживаете?.. — шутил Серго. — Дворцы для инженеров и рабочих строите?.. А плотину проваливаете?..

Балеев сдержанно улыбнулся, но ничего не ответил: он ждал значительных и резких слов.

Мирон, влюбленно смотря в глаза Серго, сказал почтительно и убежденно:

— Мы пережили очень трудные дни, товарищ Серго. Последствия вредительства сказываются и сейчас. Но мы удержали все основные силы: инженерно-технический персонал и кадровые рабочие остались у нас на местах. Мало того, мы успели подготовить новые кадры. И это, между прочим, потому, что мы в первую голову строили хорошие дома и сажали деревья.

Серго вскинул голову, и в глазах его блеснула веселая насмешка.

— Но, насколько я знаю, вы, Ватагин, протестовали против этой роскоши, и с начстроем у вас была, кажется, война.

— Да, товарищ Серго, была затяжная война, но мы поняли, что ошибались. Викентий Михайлович и Чумалов были правы. Зато актив выдержал блестящую борьбу за план.

Серго добродушно отмахнулся от Мирона.

— Ну, это пока слова. Ваш план трещит по всем швам. Средний проток вы обязаны были давно подготовить к бетонировке, а у вас он еще до сих пор забит скалой. Шестнадцать бычков вы должны были уже забетонировать до высоты тридцати метров, но

сейчас сентябрь, а вы еще не думаете о бетоне. Чем же вы хвалитесь?

Вдруг он вспомнил что-то и ласково сказал:

— Впрочем, там у вас девчата отличаются. Бригада Кати Бычковой дерется неплохо.

«И о Кате уже знает...» — с восхищением подумал Мирон.

— Таких, как Катя Бычкова, у нас много, товарищ Серго. План в шестьсот тысяч бетона и полмиллиона скалы мы с этими людьми выполним к сроку... Мы и прибыли к вам, товарищ Серго, чтобы рапортовать о развернувшейся борьбе.

Откинувшись на спинку кресла, Серго задумчиво трогал усы. С присущей ему задушевностью он сказал:

— Кое-что мне уже известно... Для этого у вас — все возможности. Ваша стройка — одна из самых культурных, но боролись вы больше между собою. А государственные задачи? Конечно, мы все учимся, — учимся каждый день и каждый час...

— Мы многому научились, товарищ Серго: и головы трещат, и бока болят... — сконфуженно сказал Мирон.

— И долго были малоспособными учениками... — буркнул Балеев.

Серго как будто забыл о Балееве и даже ни разу не взглянул на него, но чувствовалось, что, обращаясь к Мирону, он все время подчеркивал исключительное значение стройки, ее высокую организацию и размах. Видно было, что этим он давал понять огромную роль Балеева как начстроя и автора проекта.

— Все-таки нужно признать, что напрасно спорили с вами, Викентий Михайлович, — засмеялся он, обращаясь к нему так, точно он с ним и беседовал. — Ваш опыт культурно-бытового строительства нужно распространить на все предприятия страны. Взять Магнитку и Кузбасс. Отвратительно с жилищами, отвратительно с питанием. Вы избежали катастрофы благодаря тому, между прочим, что упрямо делали свое дело по созданию культуры быта. На Магнитке

и других стройках думали наоборот: сначала, мол, построим заводы, закончим всю систему предприятий, а потом уже займемся бытом. Грубая ошибка, граничащая с вредительством. Сажайте сады и парки, Балеев, делайте хорошие дела, клубы и театры, боритесь за прекрасное общественное питание, создавайте все условия для удовлетворения растущих потребностей рабочих. Ведь эти рабочие завтра у вас будут инженерами и техниками. У вас есть много чудесных людей, воспитанных революцией: Братцева, Отдушина, Баранников, из стариков — Шепель, Вихляев. А Катя Бычкова — это же будущий гидротехник. Кстати, она прислала мне письмо...

Серго растроганно передал содержание письма Катюши, наивного и страстного.

— Что вы скажете насчет ее «мухи»?

— Это уж после нас... — смешался Мирон.

— Ну, вот видите... Выходит, что вы руководите вообще, а ведь живая конкретность — самое главное.

Он нахмурился и взглянул на них как-то сбоку, сердито и осудительно.

— А хвалитесь. Но Катя Бычкова произвела своей «мухой» целый переворот в работе подающей стрелы. Норма подъемов теперь увеличилась в три раза.

Мирон и Балеев переглянулись и растерянно отвели глаза в сторону.

— Я запросил телеграфом о подробностях и поздравил Катюшу. Не сомневаюсь, что она выдержала большую борьбу... бой-женщина...

Его глаза стали очень прозрачными и нежными.

— А ведь не может быть, чтобы эта ее «муха» родилась только в эти дни... Комсомолка мучилась над нею давно, штурмовала всяких педантов и бюрократов. А вам, руководам, и невдомек...

— Не может быть, товарищ Серго...— запротестовал Мирон. — Если бы это было раньше, я знал бы. А Викентий Михайлович лично принял бы участие...

— Вы меня не защищайте, Мирон Васильевич, — с грубоватой иронией сказал Балеев. — Товарищ Серго прав, мы с вами занимались делами больших

масштабов, а о какой-то Кате Бычковой и понятия не имели.

— Это неверно, — закипятился Мирон. — Катю я знаю хорошо: она одна из лучших бетонщиц на плотине... Бригада ее, из бывших школьниц, организована летом.

— Ну, вы, кажется, и здесь не прочь поспорить, товарищи... — засмеялся Серго. — Давайте-ка лучше займемся конкретными вопросами.

Балеев развернул приготовленный письменный доклад и откашлялся.

— Нет, товарищ Балеев, вы лучше кратко расскажите о том, что у вас нового, какие у вас затруднения и что вы будете делать до конца года... А письменный доклад оставьте...

Балеев начал говорить о тех потрясениях, которые пережила стройка, о бедности кадров, о недостаточном и неумелом использовании механизмов, о календарном графике выполнения работ, который был фактически сорван летними событиями. Но сейчас — перелом в жизни стройки. До конца года решено не только осуществить план управления, но завершить план встречный. Сопротивление старых специалистов, возглавляемых Стрижевским, сломлено. Он, Балеев, тоже колебался до последних дней, но сомнения его рассеялись...

— Очень рад, — усмехнулся Серго. — Но что же вы предпринимаете для ликвидации последнего сопротивления?

Да, борьба еще не закончена, и волей-неволей с оппозиционными элементами приходится считаться. Нужно обратить внимание наркома на тот факт, что в самом Тяжпроме эти элементы находят поддержку, и он, Балеев, очень опасается, что противодействие будет упорным и организованным: будут задерживаться и кредиты, и отпуск оборудования, и выполнения обязательств заводами-поставщиками, как это происходит с конструкциями мачт для воздушной передачи, и с кабелем, и с рельсами, и с паровозами...

Серго слушал и чуть-чуть улыбался. Эта улыбка была как будто себе на уме, точно он делал вид, что

внимательно слушает Балеева, а на самом деле старается уловить в голосе начстроя какую-то скрытую суть — его характер, душу его, интимное его, балеевское, дыхание. Все они, эти начальники строек, директора заводов хвалятся, хитрят, клянчат или стараются показать себя государственными умами, но Балеев — европеец, он никогда не распояшется, он надежно замкнут и непроницаем. И слова его правдивы, скупы и бесспорны, как рапорт. А что он чувствует, чем живет, что его тревожит и волнует, когда он останется один, как относится к людям, — этого, вероятно, не узнает никто.

2

Серго встал и прошел к огромному окну. Балеев на секунду остановился, провожая его глазами, но Серго поощрительно кивнул ему головой. Викентий Михайлович продолжал говорить об условиях сквозного договора, о топливе, о включении в сеть обслуживания стройки еще нескольких цементных заводов, о вербовке рабочей силы, о десятках и сотнях тысяч кубометров бетона и камня, о задачах техники безопасности и так далее.

Мирон не слушал Балеева и смотрел на Серго. Вот он стоит настороженно и чутко. Время от времени поглаживает усы. Вот лицо его видно в профиль: высокий лоб и энергичный изгиб носа. Брови нахмурены: это у него признак гнева. Сейчас он повернется к ним, и они встретят обжигающий его взгляд. Серго вскипит и обрушится на них: «Что вы мне говорите одни громкие слова! Где ваши конкретные дела? Покажите!»

Но он спокойно смотрел в окно и как будто совсем не интересовался тем, что говорил Балеев. Там, за неощутимой прозрачностью стекол, каменной толпой поднимаются на взгорье многоэтажные дома. Крыши, трубы, террасы стен... Внизу — узкая, горбатая Варварка; кишат люди на тротуарах, по булыжной мостовой несутся навстречу друг другу машины,

медленно скользят трамваи. Вдоль Китайской стены, по бульвару, торопятся прохожие. В воздухе солнечный туманец, а небо кажется сиреневым.

Что-то привлекло внимание Серго: он живо подвинулся ближе к стеклу. Мирон встал и тоже подошел к окну. Внизу, на бульваре, трое парнишек нападали на одного очень юркого мальчика. Он храбро отбивался от них. Серго взглянул на Мирона и улыбнулся.

Он оторвался от окна и, не погашая улыбки, подошел к Балееву.

— Скажите, Викентий Михайлович: ругали вас когда-нибудь рабочие? Этак без стеснения, в лоб?..

Балеев встал и насупился. Он затеребил бороду и сдержал вздох.

Серго понимающе и строго понукал его взглядом.

— На собраниях больно били...

— Собрания — дело другое: там не страшно. А вот с глазу на глаз, один на один...

Он трунил над Балеевым, и в его шутливом тоне слышался упрек строгого добряка. Эта добродушная язвительность Серго была неприятна Викентию Михайловичу: он не знал, что и отвечать наркому на эти его многозначительные шутки, — в них он чувствовал серьезное обвинение в отрыве от тех людей, которые, по существу, несут на своих плечах всю тяжесть больших работ. Это было равносильно разносу.

— Приеду на стройку и обязательно натравлю на вас этих строптивых парней. Есть они у вас — много строгих критиков...

— С волнением критикуют, с гневом, товарищ Серго, — подтвердил Мирон.

Серго обрадовался, но повернулся к Мирону медленно.

— А как же иначе? Борются и страдают... А послушали бы, помогли бы вовремя, человек-то, глядишь, совершил бы чудеса...

Он опять вспомнил о чем-то, в глазах его вспыхнули огоньки.

— Был я как-то на одном большом заводе. Хожу по цехам. Вижу — стоит у станка хмурый такой

седоусый рабочий. «Ну, как работаете, старина?» — «Работаем, товарищ нарком, как говорится, ни шатко, ни валко. Капиталист остался бы доволен». — «То, говорю, капиталист, а вы-то? вы-то, хозяин, довольны?» — «А я-то, ежели судить по-хозяйски, недоволен». — «Почему?» — «Потому что системы настоящей нет, не знаем и не хотим расставить силы, не помогаем друг другу. У нас у каждого своя система». — «Какая же у вас система?» — «Не обижайтесь, товарищ нарком; я привык правду-матку выражать напрямик. Ежели бы, к примеру, дали мне свободу подобрать людей и поставить на свои места да связать смежные звенья, я дал бы на своем оснащенном станке пять норм...» — «Давно, спрашиваю, на производстве?» — «Пережил, говорит, три революции, товарищ нарком». Не успел я приехать в Москву, как получаю телеграмму: «Даю на своем станке шесть норм высокого качества». Это имя вы знаете: оно гремит по всему Союзу. Человек пережил три революции и был безвестным, как многие из миллионов, а теперь у него всесоюзное имя, и им гордится страна. Главное, вовремя услышать человека, вовремя оценить его опыт, вовремя подхватить творческую инициативу, поощрить, вовремя почувствовать его порыв. Очень важно, чтобы эта мысль не перезрела, не поблекла.

Разглаживая усы, он прислушивался к себе, вероятно вспоминая встречу за встречей с рабочими на разных производствах. Сколько у него знакомств, сколько в памяти его людей, которые полны мятежных замыслов, требований, протестов!.. Сколько писем и проектов присылают ему со всех концов Союза! Он, должно быть, слышит постоянно, как бьются сердца этих людей, и видит тысячи глаз, горящих надеждой. Вся страна в бесконечных своих далях живет трудовым беспокойством — и на заводах, и на полях, и в шахтах, и в Красной Армии, — и эти безвестные люди сейчас вот, когда Мирон и Балеев беседуют с Серго, мечтают о переменах, о переворотах в производстве. Эти рабочие, пережившие три революции, и эти молодые парни не желают топтаться на месте, не хотят покоя, бунтуют, приспособляют свои машины к себе,

к революции, чтобы побеждать время и людскую косность. Катя Бычкова, удалая ударница, горит в борьбе за плотину. И вот она пишет письмо Серго о своей какой-то «мухе». А Мирон не знал об этом, и Балеев не знал. Они еще наверху, а сотни и тысячи людей, в общей массе, — внизу. А ведь Катюшу Мирон встречал у Осокина, в блоке на плотине; он был свидетелем несчастья с ней и Максюком. И, если честно признаться, он забыл о ней, как только сел в вагон.

— Ваша жена, Ватагин, хорошо работает на своей фабрике. Прекрасно освоила технику. Не дает себя подвести. Каких она девушек выдвинула!.. Хвалилась мне недавно, что одна из ее работниц — архитектор...

— Наташа Гордеева, товарищ Серго... Выросла на моих глазах...

— Да, помню, Гордеева. А другая — в Комакадемии по философскому отделению... Прихромов очень высоко ее ценит... Вы вот, товарищ Балеев, даже жениться не смогли: суровый вы человек...

Балеев дрогнул и бросил беспокойный взгляд на Серго. Мирону показалось, что у начстроя ощетинились и зашевелились волосы и в ушах, и в носу, и в бровях. Но Викентий Михайлович мгновенно оправился и пошутил:

— Пушкин уверяет, товарищ Серго, что любовь — это наука страсти нежной. К этой науке особого интереса не проявлял. Бездарен.

— А вот Ватагин иного мнения... как, Ватагин? — поощрительно улыбался Серго.

Мирон густо покраснел.

— Было время, товарищ Серго, не скрою... А сын вот исчез... бесследно...

Серго устремился к нему и дернул один и другой ус.

— Дрянные родители! — с гневом в глазах, но спокойно сказал он. — Хороший революционер не может быть плохим отцом.

Мирон ослабел и понурил голову. Лицо его горело.

Серго пристально оглядел Мирона; в зрачках его было печальное раздумье.

Он прошел к столу и сел на свое место. Сели и Мирон с Балеевым.

— А сколько мы людей потеряли в течение этих лет! Но ведь люди — рабочие, колхозники, дети — должны быть в центре нашего внимания. Миллионы удивительных талантов всюду, а мы часто равнодушны к ним... Вот у меня у самого дочь... — Лицо его умиленно засветилось. — Она требует к себе не снисходительного внимания, а уважения... иначе и быть не может...

Болезненная дрожь мелькнула в его лице, и он отвернулся.

— И знаете... кто не испытывал любви и уважения к детям, тот не знает, что такое уважение и любовь к людям. А сколько свежих и ярких людей всюду!.. И мы, руководители, ответственны за каждого из них. Идешь по заводу, заглядываешь в цех, и бьется сердце. Как-то встретят? Что-то скажут? Говорю как-то в кучке рабочих — а все больше молодежь, — что талантов в нашей стране множество, надо только уметь видеть их, а мне один из юнцов запальчиво отвечает: «Товарищ Серго, не в том дело, что талантов много, а в том, чтобы эти таланты сделать». Очень хорошо сказал... Молодец!..

3

Немного склонный к полноте, в своем френче оливкового цвета, он казался здоровым и сильным. Но Мирон знал, что Серго тяжело болен, что недавно у него была сложная операция.

Уж седина серебрится в его волосах, лицо сосредоточено на неугасимой мысли, в глазах — блеск и глубина. Неужели этот человек не утомляется? неужели он не испытывает той слабости, которую иногда переживает Мирон? А ведь многие годы несет он в себе тяжесть огромных дел и свершений... Они — Мирон и Балеев — бойцы только одного из отрядов индустриальной революции, а сколько этих отрядов, фронтов и армий в стране!..

Да, надо обладать могучими силами, большим умом и сердцем, чтобы постоянно ощущать кровную связь с людьми, с каждым из миллионов рабочих и инженеров и преображать неисчерпаемую энергию народа в творческое движение эпохи.

И в годы гражданской войны Серго был таким же сердечно простым и стремительным, таким же чутким и нежным к каждому из бойцов. И тогда, в боевые дни, он находил время проводить часы около раненого товарища, ухаживать за ним, ободрять и воспламенять его душу. Мирон вспомнил его молодым, стройным, горячим, с черной шевелюрой, которая играла на ветру. Выступал он перед бойцами страстно, с неотразимой силой, и люди шли в бой с энтузиазмом и верой в победу.

Мирон и Балеев встали. Серго подошел к ним, положил им руки на плечи и прошелся с ними по комнате.

— Как ваше здоровье, товарищ Серго? — осторожно спросил Мирон.

— Нет ничего скучнее, как разговоры с врачами. Чепуха. Чем люди живы? Толстой был великий художник, а на этот вопрос отвечал, как ханжа: люди живы не устроением своего бытия, а покорным ожиданием смерти. Между тем это был человек стихийной любви к жизни и врагов ненавидел. А мы врагов уничтожаем беспощадно, чтобы создать и утвердить здоровую и прекрасную жизнь, чтобы человек наслаждался счастьем ненасытно. Что — здоровье? Ну, немного недужу... Зато жизнь-то какая создается!.. Знаете, как в «Коммунистическом манифесте»: буржуазия погасила священные огни, разменяла на деньги все чувства человека, его любовь, науку, поэзию. А мы эти священные огни зажгли. И человеческие чувства, любовь, наука, искусство — это наше дыхание, наше поведение...

Он дружески встряхнул их за плечи.

— Вот встретились, поругались. Это хорошо. Почаще встречаться надо. Чумалов всегда врывается ко

мне с бурей претензий и вопросов. Витязь в тигровой шкуре...

«Ты сам витязь... — подумал Мирон с невыразимой любовью к Серго и чувствовал, что за этого человека он с наслаждением отдал бы свою жизнь. — Ты сам витязь... красавец...»

— Ну, а плотину-то все-таки дайте нам к сроку. Можно надеяться?

Балеев с внезапной живостью ответил:

— Без всякого сомнения, товарищ Серго... Но ваша помощь...

Серго строго и проницательно взглянул на него и на Мирона.

— У вас достаточно сил и средств, чтобы добиться победы. И люди и механизация. Скоро вы нам покажете образцы высших форм труда. Не ждите, чтобы вам указали на предельную экономию... Мы теперь свободны от иностранных заказов...

Балеев энергично предупредил:

— Мы руководимся, товарищ Серго, лозунгом: строить дешево и хорошо. Ни одной копейки за границу. Вот здесь-то и нужна ваша поддержка.

— Телеграфируйте при всяких затруднениях непосредственно мне.

Он потряс руку Балеева и засмеялся. Балеев тоже горячо жал руку Серго. Он был растроган, и в лице его была невиданная мягкость и веселье.

Пожимая руку Мирона, Серго посоветовал:

— Не забудьте Прихромова проведать, Ватагин.

— Я уже был у него, товарищ Серго. На дачу к нему поедем.

— Ну, привет ему передайте. Совсем он — швах. Вот кого лечить надо. Никак не уломаешь. Даже Минодора ничего с ним сделать не может. Боюсь, как бы его не потерять преждевременно.

— Неисправимый и неподатливый он человек, товарищ Серго. Вчера с ним тяжелый припадок был.

Серго проводил их до самой приемной и, когда они обернулись назад, он приветственно поднял руку.

IV. СТАРАЯ РАНА

1

Так как был выходной день, Ольга не поехала на фабрику. Мирон сидел за столом и брился перед зеркальцем. Ольга одевалась и напевала какую-то веселую песенку.

— Ну, так расскажи, Оленька, как ты сбежала из санатория...

— А я и не видела санатория-то... Да и не думала туда ехать...

Мирон быстро повернул к ней изумленное лицо и чуть не порезался.

— Вот тебе — здравствуйте!..

— Путевка в санаторий у меня была, верно. Но я предпочла другой отдых...

— Ловко! Где ж ты была?

Она с притворной строгостью предупредила его:

— Торопись. Сейчас подъедет Балеев.

Он посматривал на нее исподтишка, стараясь угадать смысл ее слов. Она молчала и улыбалась, не отрываясь от зеркала. В новом синем костюме, в белой блузке, немного припудренная, гладко причесанная, она казалась молодой и свежей.

Он умылся и, намочив одеколоном полотенце, стал вытираться.

— Ну, так как же?.. разоблачай себя до конца, жена дорогая...

— А я, Мироша, экскурсии по трудовым коммунам совершала...

Он нахмурился.

— Это что за странные экскурсии?

— Очень интересные экскурсии...

Конечно, он с первых же слов догадался, почему она не поехала в санаторий. Обидно было, что она скрыла тогда от него свои планы, точно он мог помешать ей свободно располагать собою. Значит, доверия-то к нему у нее все-таки нет...

— Ну, разумеется, безрезультатно?..

— Да. Никаких следов. Посетила я несколько коммун... Ездила даже на Север...

— А у Шастика была?

— А откуда ты знаешь Шастика? — поразилась она.

— У нас есть инженер — Братцева... может, знаешь, такая красивая девушка... Шастик ее воспитал... Оттуда же недавно прибыл к нам один юнец... Вакир... любопытный до странности... Тоже — из Москвы... и смылся-то в один год с Кирюхой...

Ольга насторожилась.

— Ну? И ты говорил с ним?

— Он даже ночевал у меня... Вперегонки бегали... И вот что меня поразило: головой дрыгает...

— Из-за него, Мирон, я бы, честное слово, еще раз к вам поехала...

— Ну и поедем, Оленька... — обрадовался Мирон. — Прекрасно! Решено и подписано.

— Да что ты, Мирон!.. Куда тут ехать... — возмутилась Ольга, — разве можно?.. Разъезжала вот, а душа была на фабрике... Домой и домой... Приехала, а тут без меня напутали разные прохвосты...

За окном завыл гудок автомобиля.

— Балеев приехал... — заторопился Мирон. — Шагай, Оленька.

Мирон подал ей пальто, и она вспыхнула от удовольствия.

— Всегда у нас как-то так... — усмехнулся Мирон. — Начнем разговор о личных делах, а кончим экономикой и политикой...

— А как же? — удивилась Ольга. — Одно с другим связано.

— Уж не знаю, какая связь между Кирюшкой и новой организацией труда...

— Как чувствует себя Паша? — будто между прочим спросила Ольга.

Он небрежно пробурчал:

— Ты меня о Паше спрашиваешь второй раз...

— А почему бы мне не спросить о ней и во второй раз?..

Мирон пошел к двери, но сразу оглянулся и встретил испытующий взгляд Ольги. Она немного наклонила голову, надевая перчатки. Он возвратился, взял ее под руку.

— Ты что же это? Ревнуешь, что ли?

— Пожалуй, ревную. Говорят, что ревность мучительна, а мне вот — приятно.

— Ну что ж, — благодушно возразил он, — поревнуй...

Опять заревел гудок автомобиля, но уже более настойчиво и нетерпеливо.

— Потолковали мы с этим Вакиром... — уже на лестнице опять заговорил Мирон. — Здорово он меня срезал. Чего, говорит, вы хлопочете? Ведь вы, говорит, и сына-то не знаете, да и он вас не знает: чужие, дескать, люди.

Ольга раздраженно перебила его:

— Я ищу *своего* ребенка. Мы его потеряли, мы и должны его найти. Я, может быть, не только его, но и себя ищу.

В этих ее словах Мирон услышал упрек.

— Я разослал запросы в несколько коммун... — ответил он, желая подчеркнуть, что и он не равнодушен к судьбе сына. — Только едва ли что-нибудь выйдет из этого.

— Это отписка, Мирон: бумажками не исправляют ошибок, а тем более жизни.

До машины они шли уже молча, впервые за эти дни встревоженные друг другом.

2

Балеев почтительно пожал руку Ольге и очень заботливо попросил ее сесть рядом с шофером:

— Там вам будет тепло и уютно.

Он вежливо справился:

— Ольга... простите... ваше отчество?

— Просто — Ольга. Меня все так зовут, Викентий Михайлович, и я привыкла...

— Извините... но как-то неловко...

— Не беспокойтесь...— засмеялась Ольга.— Все в порядке...

День был на редкость ясный и солнечный, но прохладный. В мутно-синей вышине летали самолеты. На улицах было очень много народу. Около Зоологического сада толпились экскурсии пионеров. Мирон увидел что-то новое и величественное и на площади Восстания, и на Красной Пресне. Здесь он не был уже лет пять. Улица, которая в те времена была грязной, неряшливой, купецки-мещанской, сейчас как-то посвежела, вычистилась. Много новых больших домов с универмагами.

Балеев с любопытством и удовольствием посматривал в окна лимузина.

— Москва переживает период весеннего цветения... Может быть, это профессиональное чувство, но я сужу о наступательном движении жизни по строительской и реконструктивной работе города. Эти места мне знакомы с детства и юности, но я воспринимаю их сейчас как новые. Когда-то я здесь дрался на баррикадах...

И он с теплотой в глазах посматривал в окна и в ту и в другую сторону.

— Вот в этом месте,— торопливо указал он в окно,— мы дрались вместе со Шмидтом... Прекрасный был юноша... А ведь буржуа, владелец мебельной фабрики...

— Я был тогда мальчишкой...— живо перебил его Мирон.— Но очень хорошо помню... Мы с ребятами совсем не боялись пуль и шныряли всюду под огнем... Кое-кто из нас даже помогал бойцам...

Ольга обернулась и сообщила серьезно:

— У меня здесь отца убили. Мы очень потом с матерью бедствовали.

— Нет худа без добра...— засмеялся Мирон.— Если бы не сложилась так твоя жизнь, я не встретил бы тебя...

— Лучшая школа воспитания — это революция,— как бы про себя заметил Балеев.— И когда мы начинаем сбиваться в сторонку, в так называемый профессионализм, мы теряем себя. Самый крепкий

характер становится изломанным и непоследовательным.

«Это он о себе размышляет...» — подумал Мирон, усмехаясь.

— Я кое-что слышал о ваших испытаниях, Ольга. Не шутка — перенести потерю сына... Вы извините меня: я знаю, что этот разговор для вас — лишняя пытка...

— Я и сейчас еще не пережила этого, Викентий Михайлович. — Глаза Ольги блеснули слезами. — Но он жив, и я найду его.

Мирон откинулся в угол и сердито покосился на Балеева. Культурный человек называется, а чуткости — ни на грош: какого черта завел он этот разговор?..

— Разрешите и мне принять участие в розысках вашего мальчика.

— Этому мальчику сейчас девятнадцать лет, — сдерживая раздражение, сказал Мирон. — Мы каждый год публикуем в газетах объявления о розыске и — никакого результата. Если он благополучен и жив...

— Он жив, Мирон... — звонко крикнула Ольга.

— Если он жив, то, зная свой род и племя, откликнется когда-нибудь. Но он или погиб, или не имеет особого стремления возвратиться к дорогим родителям. В этом очень откровенно и жестоко признался другой такой же беглец...

— Вакир, да? — живо спросила Ольга.

— Да, этот самый Вакир. И у меня есть основание думать, что судьба этого парня мало чем отличается от судьбы нашего Кирилла. Это особый, мало нам знакомый народ: его надо завоевать. О нас у них осталась очень плохая память.

— Как бы я с ним хотела поговорить!..

— Он мне рассказывал странные вещи... Просто диву даешься, как он уцелел. Ему одна торговка даже ухо отжевала.

— Какой ужас, Мирон!..

— Ухо? — мрачно отозвался Балеев. — Черт знает что...

— Если бы не дела, сейчас бы поехала...

— Я ловлю вас на слове, Ольга, — подхватил Балеев. — Вы воспользуетесь первой же возможностью...

— Непременно, Викентий Михайлович!

— При каждой вспышке электричества я буду вспоминать вас, — пошутил он, — и готовиться к встрече...

Эта внезапная симпатия между Ольгой и Балеевым удивила Мирона. Балеев обычно никому не нравился при первом знакомстве: он был неразговорчив, давил всех, и его недоброе лицо отталкивало людей. Мирону и Глебу много пришлось потратить сил и такта, чтобы подойти к нему.

«Неужели он всегда такой с женщинами?» — недоброжелательно думал он.

Машина неслась в лесу, уже совсем прозрачном, в фиолетовой дымке голых ветвей. Деревья были печальны и задумчивы. Только ели и сосны стояли попрежнему непроглядно зелены, в тяжелых гирляндах и кружевах хвои. Они казались среди белых стволов берез, воздушных, странно прозрачных в струях и брызгах ветвей, вылитыми из позеленевшей меди. По обе стороны дороги за деревьями проносились дачи разных стилей: и старорусские хоромы, с резьбой, фигурными балконами и колонками, и швейцарские шале, и коттеджи, и просто деревенские подмосковные избы.

Мирон указал шоферу просеку, и автомобиль остановился у старого деревянного дома былинного вида, с широкой площадкой перед фасадом. И площадка и широкие дорожки были посыпаны желтым песком.

Все трое вышли из машины и немного постояли, оглядывая дом с просторной открытой верандой, площадку, цветы и густую стену столетних елей по обе стороны участка. Воздух был прохладный и терпкий от осеннего, немного хмельного аромата опавших листьев, грибов и умирающей травы.

Ольга упоенно вдыхала лесной воздух осени, и ноздри ее раздувались от наслаждения.

— В кои-то веки приходится испытать такое удовольствие...

Мирон и Балеев, казалось, были равнодушны к этим запахам и просторам. Они осматривали дом и как будто оценивали его красоту и удобство.

— Мы строим слишком холодно, скучно, упрощенно, — говорил Балеев. — Здесь красота стиля и любовь художника сказывается и в главном и в мелочах. Вы посмотрите на эти резные колонки, на кружевные наличники, балконы, теремки, перекрытия, даже на бревна стен: все живет, поет, трепещет и сказки рассказывает. Мы строим примитивно, как будто нарочно для того, чтобы в зародыше убить в людях потребность прекрасного. Дом должен возвышать и волновать жильца. Человек в доме должен жить, а не только существовать. У нас, Мирон Васильевич, люди относятся к жилью равнодушно — не любят своих квартир.

— Жилой площади не хватает, Викентий Михайлович. Не до жиру, быть бы живу...

— Ерунда! — грубо срезал его Балеев. — Это мы с вами виноваты. Мы преподносим рабочим безобразные казармы, как ночлежные дома, и внушаем им: живи пока в том, что дают. Требуем от них высшего качества работы и мастерства, а водворяем их в пересыльный барак. Жилье должно воспитывать человека — возвышать культурно.

Мирон вспомнил, как возмущалась Паша казарменными постройками в соцгороде, как жаловалась она на то, что ее поселили в каменном ящике. Да, Балеев прав. Наташа впервые поразила Мирона своими мечтами о прекрасных жилищах и работой над проектом, такой вдохновенной и полной любви к человеку. Он почувствовал себя неловко и замолчал.

3

На веранду вышел сам Прихромов с ликующим лицом. Он раскинул руки и зарокотал в густые усы и бородку вздыхающим басом:

— Друзья мои, чего же вы здесь стоите? Милости прошу в горницу...

Ольга первая бросилась к нему вверх по ступенькам и крикнула радостно, как девушка...

— Илья Евсеич, дорогой!.. Как я вас давно не видела!..

Она с разбегу обняла его и поцеловала. Прихромов прижал ее к себе, потом оттолкнул за плечи назад.

— Я до тебя еще доберусь, Ольгушка... Я тебя распеку...

Балеев вежливо поздоровался с ним за руку, и Мирон отметил что-то общее в обоих — и в росте, и в лицах, и в суровости.

— Очень рад вас видеть, Викентий Михайлович. По-прежнему... зверь... и, кажется, еще больше озверели...

— Озвереешь... — с суровой усмешкой пошутил Балеев.

— Миронталь!.. Не гляди на меня так трагически. Спасибо тебе, что пригнал ко мне этот милый народ...

Из двери вышла молодая женщина, рослая, с широким крестьянским лицом и белокурыми стрижеными волосами. Она очень приветливо улыбнулась всем и сказала певуче:

— Здравствуйте, товарищи!.. Немедленно в комнату: здесь прохладно.

И с материнской заботой, плавными и емкими движениями накинула на плечи Прихромова широкий теплый плед. Потом обняла Ольгу и поцеловала.

Из открытой двери грозно кричала Минодора:

— Ну, идите, идите!.. Что за дурная привычка стоять на холоде. Раиса! толкай их сюда...

— Ну, пошли, друзья, а то Минога приходит в раж... Миронталь, Миронталь, где твое мужество?..

Прихромов взял под руку Балеева и повел его к двери. Раиса с Ольгой обнимались, как близкие подруги. Мирон удивился: Ольга, оказывается, уже успела сойтись с этой женщиной. Его взгляд поймала Раиса и улыбнулась.

— Разве для вас новость, товарищ Ватагин, что мы дружны?

— Мирон не знает, что Раиса когда-то была у нас работницей в цеху.

— Значит, с Наталкой в одно время?

— С Наташей мы редко встречаемся, — с сожалением вздохнула Раиса. — У нее, кажется, большие успехи: прекрасно защитила какой-то архитектурный проект и чуть ли не получила премию.

— Вот какая негодница!.. — весело возмутился Мирон. — Мы с ней видимся каждый день, провели хороший вечер, а она мне и словом не обмолвилась...

— Скромность художника... — шутливо заметила Раиса.

В большой светлой комнате с огромным камином из старинных коричневых изразцов, с причудливыми барельефами и карнизами их встретила Минодора. Она осмотрела через пенсне каждого, как строгий судья, потом угрожающе шагнула к Балееву и протянула ему руку.

— Нечего сказать, Балеев... Хорош!.. Успел поседеть за это время... переплавился в спеца... А помнишь, как тебя напутствовал Владимир Ильич?

Балеев смутился и что-то пробормотал в ответ. Мирон впервые увидел его замешательство и почему-то почувствовал удовлетворение: Балеев не такой уж сильный и жесткий, как его представляют. Минодора оттолкнула Балеева, подошла к Ольге и сердито поцеловала ее в щеку.

— А с тобой я и разговаривать не желаю. Выпрыгнула из одной двери фабрики, а впорхнула в другую...

— Затосковала, Минодора... Я по фабрике, а фабрика — по мне. Какое уж лечение, когда душа в тревоге... По первому сигналу и приехала.

— Ну, значит, плевые у вас порядки, когда фабрику без тебя лихорадит.

Раиса безмятежно улыбалась и своими мягкими движениями создавала какую-то просторную легкость. Мирон отметил, что не Минодора здесь главная сила, а эта скромная, сияющая женщина. При ней дышалось легко и приятно. Минодора здесь казалась безобидной и немножко забавной. Раиса

молчала и совсем себя не проявляла как хозяйка, но в ее неугасающей, приветливой улыбке была какая-то широкая уравновешенность и полнота. Все чувствовали, что от этой белокурой и крупнотелой женщины с белым лицом и материнскими глазами излучается доброта и обаяние. Прихромов здесь был по-новому жизнерадостным и простым.

Комната с бюстом Ленина на простой тумбочке и портретами Маркса, Энгельса и Пушкина на стенах, с большим письменным столом впереди, у окна, с диваном напротив него и старенькими стульями была, вероятно, рабочим кабинетом Прихромова. В огромное окно виднелись рабатки и клумбы в цветах, а далеко, в воздушном просторе, расстилалась холмистая равнина в перелесках на том берегу Москвы-реки. Толпились в лесу избы с белой шатровой колокольней.

— Этот пейзаж, — пророкотал Прихромов, указывая в окно, — такой же, как был во времена Грозного: та же пустынная дичь. А рядом — величавый мировой центр культуры.

— Земля стара, а люди молоды... — заметил Мирон.

— Но скоро не узнаешь и этих мест, — продолжал Прихромов. — Пройдет канал Волга—Москва, и на этих берегах будут новые поселения и города, заводы и фабрики. Пожить бы еще этак годиков сорок и умереть в коммунистическую эпоху. Какие чудеса совершили мы за эти годы!..

Балеев добродушно снасмешничал:

— Мы очень жадны до чудес. Чем больше их делаем, тем ненасытнее к ним. Эти чудеса — как буря, поневоле теряешь голову.

«Это он по-своему исповедуется...» — подумал Мирон, и опять как будто открыл в нем что-то новое.

— И вы должны признаться, Викентий Михайлович, — строго пошутил Илья Евсеич, — что умирать нам сейчас несвоевременно и глупо.

— Я не думаю об этом... — как-то торопливо и резко ответил Балеев. — Я умру внезапно и незаметно — в самый разгар работы. А когда — это неважно.

Раиса и Ольга сидели на диване и о чем-то оживленно разговаривали вполголоса. У Ольги блестели глаза и лицо зарумянилось. Раиса хотя и с интересом слушала ее и сама увлекалась разговором, но по-прежнему была ясной и безмятежной. Она уверенно и зорко следила за гостями, за Прихромовым и готова была каждую секунду встать и подойти к ним, если бы вдруг заметила какую-нибудь тревогу. Минодора вышла куда-то, и, когда опять появилась, Раиса не обратила на нее внимания. Но Ольга видела, что Минодора здесь была не такой, как в городе: в присутствии Раисы она стушевывалась, укрощалась, светлела. И эта перемена в ней происходила не потому, что она вынуждена была подчиняться жене Прихромова, а потому, что ей, очевидно, нравилась спокойная уравновешенность Раисы. Когда эти женщины встречались взглядами, Ольга видела, что Минодора нежнела и по-своему ласково улыбалась в ответ.

— Завтрак подают, товарищи... — крикнула Минодора и сразу же ринулась к мужчинам. — Ты что же это, Балеев, протрубил на всех перекрестках, что твои спецы на стройке чисты и непорочны? Однако поймана у вас рыба довольно крупная. Проморгали с Ватагиным. Смотри не прозакладывай головы...

Балеев вежливо и сдержанно улыбнулся и попробовал отшутиться.

— Но штаб вредителей, товарищ Минодора, был как будто организован в Москве. Корчуй корни здесь... Бубликова и компанию мы выбросили по своей инициативе. Оцени нас по достоинству.

— Ты, Балеев, всегда был упрям и самоуверен. По существу ты никогда не был коллективистом, а в партии состоял как любитель.

Балеев, к удивлению Мирона, совсем не обиделся, а повеселел. Правда, он как будто вздрогнул от слов Минодоры, но в жестких глазах его блеснул смех. Он пристально посмотрел ей в лицо и сам сказал вызывающе:

— Не забывай, товарищ Минодора, что не кто иной, как я, вкупе с тобой, дрался когда-то за ленинскую

линию. Вспомни, что я шел с тобою, а не с такими пономарями, как Богданов, хотя он был другом моей юности.

— Когда-то... мало ли что было когда-то... А теперь?

Балеев задвигал бровями, потешаясь над Минодорой.

— А теперь мы прибыли сюда рапортовать о победах. Наша стройка признана наркомом самой культурной. Но мой заместитель Стрижевский создает здесь враждебный фронт против нас. Хоть бы ты помогла этот фронт ликвидировать.

— Да уж решим в свое время, кого и как ликвидировать...

— Не ссорься с нами, Минодора...— вмешался Мирон с видом бойца, которому до смерти хочется броситься в драку.— Люди мы великодушные, но очень суровые.

Минодора смерила его сердитым взглядом, но не могла сдержать довольной улыбки. Даже Балеев видел, что она ликует от общения с ними. Уж такая Минодора: чем радостнее у нее на душе, тем она грубее.

Мирон вынул трубку и приготовился набить ее табаком.

— Ну, ты, Ватагин, здесь не распоясывайся... Ты не на стройке: здесь есть кому тебя одернуть...

— Наоборот, Миронталь, действуй...

Мирон спохватился и спрятал трубку в карман.

— Пасую! в этом разе я дал маху...

Около них незаметно очутилась Раиса. Она любовно взяла под локоть Прихромова и пригласила всех в столовую.

Прихромов нежно пророкотал:

— Истинная красота рождается любовью, а красота действенная — это мудрость. Не угодно ли вам финик сей принять?..

Все направились к двери в столовую. Минодора пошла впереди вместе с Балеевым. Мирон за ними, а Ольга замешкалась позади. Прихромов пытливо по-

смотрел на нее и на Мирона, а потом вопросительно на Раису.

— Ольгуша! — пробасил он. — Иди-ка сюда, постреленок... Иди-ка, иди-ка!..

И, когда со смехом подошла к нему Ольга, он с шутливой строгостью стал пробирать ее:

— Ты что же это, товарищ Ватагина, егозишь? Чего это ты санаториев не жалуешь?

— А я, Илья Евсеич, совсем не была в санатории...

— То есть как это не была в санатории? Объясни популярнее...

— Да я же, Илья Евсеич, целый месяц по Советскому Союзу разъезжала. В кои-то веки поездишь... Страну-то мы создаем, а ее не видим. Я хороший пример показала. Чтобы учиться и воспитываться, надо, Илья Евсеич, видеть своими глазами.

— Хм, это ты, положим, говоришь основательно...

Раиса пожала руку Прихромова, предупреждая его не нападать на Ольгу.

— Для Оленьки, Илья, эта поездка была необходимой. Она окрепла и приободрилась.

— Ну, ну, не спорю: ей виднее. Ты, Ольгуша, очень нас обрадовала, что приехала.

И наклонился к ее уху.

— Ну, а как с ним?.. Проблемы нет?

— Не знаю, Илья Евсеич.

— То есть как это — не знаю? Кому же знать? Нелепые люди! Я вот выведу его на чистую воду...

— Нет, нет, Илья Евсеич, — испугалась Ольга. — Пожалуйста, не надо...

В столовой — просторной и светлой комнате с голыми стенами, с огромным старинным буфетом и пианино — все сели за стол. Хозяйничала Минодора. Подали омлет и кофе с молоком.

Мирон стал рассказывать о беседе с наркомом. Прихромов посмеивался добродушно и рокотал задушевно:

— Кристальной чистоты человек! Изумительный организатор и поэт дела. Одного боюсь — сгорит быстро: не жалеет себя...

— А он очень беспокоится о тебе, Илья Евсеич... — озабоченно заметил Мирон. — Вам обоим нужно насильно всыпать здоровья... Иначе с вами не сговоришься...

Раиса спросила у Балеева, когда будет готова плотина. Балеев ответил неохотно, точно ему надоело говорить о вещах, давным-давно известных. Все зависит от четкой, крепкой организации масс и от налаженности всех секторов управления — от механизации, от железнодорожного транспорта, от отдела кадров, от помощи центра. Последнее собрание актива показало, что все готовы к борьбе.

— Не только готовы, Викентий Михайлович, — поспешил сказать Мирон, — но бой уже идет.

Викентий Михайлович резко возразил, что бой-то хоть и идет, но такелажники, крановые и паровозные машинисты еще на счету. Они работают иногда по две смены подряд. Люди еще ломают паровозы и стрелы из-за недостатка квалифицированных кадров и из-за того, что люди не выдерживают напряжения и спят на ходу.

— Ну, это, знаете ли, того... — сурово пробасил Прихромов. — Энтузиазм энтузиазмом, но нет ли у вас, Миронталь, этакой излишней романтики...

— Пошлю-ка я им туда комиссию, Илья...—с угрозой сказала Минодора, но в ее спокойствии вовсе не было ничего угрожающего.

Мирон с ироническим негодованием запротестовал против пессимизма Викентия Михайловича: говоря о неизжитых недостатках, начстроя забыл упомянуть о густой сети технических курсов, а они уже дали хороших работников. Он забыл похвалиться «мухой», о которой сегодня говорил Серго.

Раиса мягко и невозмутимо направила разговор о воде — на какую высоту поднимается река. Балеев оживился и начал рассказывать, как будут затоплены берега, на которых стоят сотни деревень. Эти деревни уже выселяются на другие места. Вода поднимется у плотины на пятьдесят метров, и это озеро будет длиною в сто километров. Пороги скроются под во-

дою на глубину тридцати метров. Канал соединит три моря.

Прихромов удивленно поднял брови.

— Это несомненно величественно. А с холмами-то как? Тоже погрузятся, извините, в эту пучину? Не поехать ли нам, Раиса, полюбоваться таким великолепным зрелищем? Когда это будет у вас, товарищи?

— В мае. Приготовим моторный катер, Илья Евсеич... или яхту... смотря по желанию... — самодовольно обещал Мирон.

— А меня что же не приглашаешь, Ватагин? Яхта!.. — разгневалась Минодора.

Мирон мстительно подсек ее:

— Ты же, Минодора, решила сослать меня на Балхаш?

— Да уж не беспокойся: о судьбе твоей позаботимся.

Но глаза их улыбались друг другу.

Прихромов шевелил густыми усами, качал головой и посматривал на них укоризненно. Потом вдруг глухо захохотал.

— Скрестили рыцари мечи... Хотя Минога и могуча, как Немезида, однако ты, Миронталь, не одинок: Ольгуша у тебя надежная опора. Я же по правилу: vitam impendere vero — жертвовать жизнью за истину — обнажаю шпагу в твою защиту. Хотя некий буржуазный мудрец и уверяет, что истина скучнее заблуждений, все же я должен заявить, что наша действительность прекраснее и богаче мечты.

— Понес!.. — огрызнулась Минодора, но слушала внимательно.

Балеев усмехался в бородку и переглядывался с Ольгой. А она улыбалась ему с радостной и милой доверчивостью. Прихромова же слушала, как восторженная ученица любимого учителя. Раиса была довольна этой минутой и с ласковой певучестью в голосе напоминала гостям, что надо закусывать откровенно и честно.

Пошутили и посмеялись над этим необычным выражением: «честно и откровенно закусывать».

— Замечательно, Раисонька!.. — восхитился Прихромов. — Ты дала мне ключ к разоблачению этих людей. Начну с Ольги. Бабенка — как свечка: горит с обоих концов, — в жизни самоотверженна, скромна, последовательна, хорошая большевичка. А вот вилку и ножик берет испуганно, с трепетом, как будто гложет ее какой-то червяк или тоскует по Мироншталю...

Он лукаво подмигнул ей. Ольга вспыхнула. Все засмеялись, а Балеев откинулся на спинку стула, любуясь ею. Только Раиса осталась спокойной и величавой.

— Теперь — Миронталь. Хоть слава о нем неплоха, хоть мужик он боевой и даже бешеный... чуть было меня однажды не ухлопал... с добрым сердцем и жестокой мыслью, лобастый черт... но ест осторожно, с оглядкой, скрытно, как будто защищается, вилку и ножик кладет беззвучно. Совесть нечиста. Что — не правда? Кайся! Есть, брат, у тебя, лицемера, поступочки, которые ты хранишь в тайне и боишься испугать память... Dixi.

— Эко какую новость сказал!.. — разочарованно фыркнула Минодора. — Я давно уже настаиваю, что его надо протереть с песком.

Мирон захлопал в ладоши.

— Браво, Илья Евсеич! Ясновидец! Завтракать у тебя опасно.

Мирон встретил глаза Ольги, знающие, проникновенно-встревоженные. Тенью прошли в них боль и раздумье.

— Нет, Илья Евсеич, ты неправ: Мирон — очень правдивый и прямой человек. В этом отношении он бывает беспощадно красивый...

— Красивый?.. да еще беспощадно?.. — изумился Прихромов. — Не угодно ли вам финик сей принять...

— Ты внушаешь мне серьезную тревогу, Ольга, — пробурчала Минодора. — Ты стараешься казаться перед ним умнее, чем ты есть.

— Минога! — Прихромов погрозил ей вилкой. — Ты повторяешь слова некоей буржуазной литературной дамы, которая бесстыдно утверждает, что жен-

щина почти всегда старается казаться чем-то бо́льшим, чем она есть на самом деле. Отсюда у нее, мол, склонность к подделке и лжи в разных формах.

— Учитель! Начетчик!.. Протри глаза: не видишь, что ли, как она принарядилась: костюмчик... блузка... не забыла и припудриться...

— Это — чистоплотность и уважение к месту и людям... — кротко пояснила Раиса, но в голосе ее и в улыбке сияла гордость за Ольгу.

— Вот-с, Минога: вот она, истина, рожденная нашей эпохой. Dixi.

— У нас, ламповщиц, — с достоинством продолжала Раиса, — чистоплотность и изящество — производственная особенность. Поглядите на ее руки: такие руки только у музыкантш. Ольга прозрачна, как лампочка, и я ее очень люблю.

— Да что вы, черти, напали на меня, — взъярилась Минодора и быстро поднялась со стула. — Этот красавец (она ткнула пальцем в сторону Мирона) не сто́ит ее мизинца... хотя я и здорово ее жучила...

Она подошла к Ольге и поцеловала в лоб.

— Минога, ты — великая женщина... — растроганно провозгласил Прихромов.

4

Все шумно и говорливо вышли из-за стола и опять направились в кабинет Прихромова.

Балеев задержался, ожидая Ольгу с Минодорой. Он хотел что-то сказать им, но только дружески улыбнулся и прошел в комнату Прихромова.

— Какой он хороший, Минодора!.. — в восторге сказала Ольга, а Минодора, к ее изумлению, по-старушечьи ласково и словоохотливо сообщила:

— Владимир Ильич очень его любил... Не сумели мы его удержать в партии — закомчванились. Чувствовал он себя одиноким. А когда-то горячий был, и журналист хороший.

— И ты хорошая, Минодора... — Ольга интимно прижала ее сухую руку к себе и прошептала ей на

ухо: — Ах, если бы только не эта твоя показная грубость!..

— Чего ты мне ерунду плетешь! Чучело!

— Я тебя знаю, Минодора... глубоко чувствую...

— Ты ничего не можешь знать... Следи лучше за собой... и береги свое здоровье...

Минодора быстро пошла назад и скрылась за дверью.

...Прихромов просматривал какое-то письмо и в крайнем изумлении хватался за бородку, за густые усы и поднимал то одну, то другую бровь. Раиса взмахом руки поманила Ольгу к себе на диван. Ольга подбежала к ней и села около нее, подобрав под себя ноги.

Балеев уютно сидел в кресле и рассеянно просматривал альбом с фотографиями.

— Так вот. Если он с тобою не говорил откровенно, значит, ты, Миронталь, не пользуешься его доверием, как друг и товарищ. Это не делает тебе чести.

— В чем тут дело? — забеспокоилась Ольга.

Раиса тихо и успокоительно положила ей руку на плечо, предупреждая, чтобы она молчала и слушала.

— Все то, что он описывает, верно, — вдумчиво говорил Прихромов. — Я очень хорошо помню это событие: взял он на себя чрезвычайно ответственную задачу. Почему он тогда же не сообщил, при каких обстоятельствах застрелил бойца? — из письма видно, что он пережил сильное нервное потрясение. Верно, болел он долго. А потом...

— Шкуру свою спасал... заметал следы... — вспылил Мирон и тяжелый свой взгляд перевел на Раису, на Ольгу, на Балеева, точно они были в чем-то виноваты. — Гнать, и больше ничего!..

Раиса слушала с тихой, знающей улыбкой и светлым спокойствием в глазах. Ольга не отрываясь смотрела на Мирона, и лицо у нее сразу же сделалось страдальческим. Она как будто совсем не вслушивалась в разговор, как будто даже не понимала, о чем идет речь, но поразил ее только один Мирон. Должно быть, ее испугал его голос, глаза и весь его облик. Прихромов тоже, очевидно, почувствовал этот

его упрямый напор и ледяные глаза и говорил осторожно, деликатно, но поглядывал на него с досадой и удивлением. А Балеев очень старательно занят был альбомом и делал вид, что не интересуется спором.

— Ты, Миронталь, относишься к этому событию, я бы сказал, схематично. Цезарь здесь ясно говорит, что хотел сам пережить это в себе. Сначала не придал этому поступку никакого значения: трус мог его предать и выдать военную тайну. Но потом стал болезненно переживать это событие...

— Его надо арестовать, а не только гнать из партии... — злобно кричал Мирон. — Ишь тонкости какие — переживать!.. Прохвост!..

Прихромов осторожно перебил его:

— Ты забываешь, Миронталь, что человек обладает свойством страдать. Чудесное свойство! Я говорю не о трагической покорности судьбе, а о мятежном стремлении к раскрытию противоречий. Чтобы понять человека во всей его сложности, надо самому уметь жить. Это трудно, но необходимо. И радостно, Миронталь. Вспомни Байкалова... Возьми вот Оленьку... себя, наконец... Есть такая мудрость: только то, что не случается, никогда не стареет. Ты в поведении Цезаря видишь эгоиста, а я думаю, что он претерпел большие жертвы в ущерб своей личности. Очень основательно выражается Энгельс по поводу Штирнера: человеческое сердце прежде всего непосредственно является именно в своем эгоизме неэгоистичным и способным на жертвы.

Мирон леденел и ожесточался от поучений Прихромова: он упрямо тер ладонью череп и усмехался, слушая вздыхающий бас Ильи Евсеича, точно воспринимал слова его как наивную болтовню старика, далекого от жизни.

— Если стать на точку зрения твоих суждений, Илья Евсеич, то мы оправдаем всех наших врагов и должны разоружиться. Это — толстовство.

Прихромов поднял голову, усы его оттопырились, и в глазах вспыхнуло лукавство.

— Но ты не отрицаешь, что взрыв моста — это самоотверженный поступок?

Мирон раздраженно подтвердил:

— Раз задание получено, оно должно быть выполнено. Это в порядке вещей.

— Как сказать. Не всякий мог это выполнить. Человек шел на верную гибель. Его находчивость спасла армию от возможного разгрома. Это важно или не имеет значения?

Мирон опять усмехнулся, давая понять, что хитрость Прихромова для него детская игра. Он уже не интересовался, как относятся к их схватке близкие люди, которые сидели около него. Он считал, что только он прав, что никакие психологические тонкости Ильи Евсеича не могут поколебать его принципиальной твердости.

— Это к делу не относится, Илья Евсеич. Мне важно не выполнение задания, а то, что человек скрывал от партии свою тайну много лет. Он совершил преступление, поэтому он — мой враг.

— Но это стоило ему больших мук... Это — не злостная тайна, а ошибка. Невольный промах в исключительные моменты жизни.

Мирон упрямо отверг этот довод Прихромова:

— Это меня не интересует, Илья Евсеич. Свои муки он считал, очевидно, меньшим злом, чем чистосердечное раскрытие своей тайны. Всякий субъект, страдающий угрызением совести, в потенции — вредитель и гнус. Я не верю таким людям.

— Значит, ты не веришь и себе, Мирон?.. — вдруг с негодованием спросила Ольга. Она крепко схватила руку Раисы, спустила ноги с дивана и выпрямилась. Пораженная чем-то, она с надеждой ловила его взгляд. — Тогда ты не должен верить и мне... Говори прямо, как ты умеешь!..

Раиса забеспокоилась и склонилась к ее плечу. Потом поднялась, взяла ее за руки и потянула с дивана.

— Пойдем, Оленька, я покажу тебе мою девочку. Она уже проснулась и просит есть.

Где-то далеко плакал ребенок.

— Нет, подожди, Раиса. Я хочу услышать ответ Мирона.

Он не смотрел на нее, как будто не слышал ее вопроса, но заметно было, как он напрягся и вздрогнул от ее голоса.

Раиса со строгой лаской приказала Прихромову:

— Ты забыл, Илья Евсеич, что нужно принимать лекарство?

Но в этот момент вошла Минодора с рюмкой какой-то жидкости и устремилась к Прихромову.

Прихромов послушно выпил лекарство и отдал рюмку Минодоре, потом с кроткой нежностью обратился к Раисе:

— Ты, Раисонька, иди — выполняй свои материнские функции.

— Ты чего тут разбушевалась? — удивилась Минодора.

Но Ольга, не обращая на нее внимания, сказала со страстным трепетом в голосе:

— Чтобы решительно казнить других, имей мужество честно карать себя. Разве мы с тобой не скрывали от партии нашу позорную жизнь, жертвой которой явился наш ребенок? Ты скажешь, что это частное, чисто семейное дело. Да, я тоже так думала. Тут мы не находили с тобой преступления. Но мы только утешали себя, а чувствовали другое. Разве тебя никогда не грызла совесть?

Мирон повернул к Ольге застывшее лицо и с насмешливой резкостью заключил:

— Одним словом, кто считает себя чистым, пусть первый бросит камень. Откуда у тебя, Ольга, такое христианское смирение?

— Ольга — открытая и чуткая натура, — с невозмутимой издевкой заметила Минодора, — а ты — дуб.

Мирон не вытерпел и встал со стула. Руки у него дрожали, — это заметила одна Ольга и по этой дрожи (как в былые годы) знала, что Мирон оскорблен и взбешен. Балеев тоже встал и прошелся по комнате. Раиса переглянулась с Прихромовым и встретила его добродушную улыбку. Переглянулась она и с Минодорой, а Минодора откровенно утешила ее:

— Иди, Раиса. Тут только веселый разговор.

— Я поняла, в чем суть дела... — взволнованно говорила Ольга. — Если все для тебя ясно и просто, Мирон, я тоже подам заявление. Пусть партия разберется в том, что мы от нее скрывали. Мы с тобой тоже погубили человека... своего единственного ребенка... — У нее затряслись губы, и в глазах блеснули слезы. — Я высказала только свое мнение, и оно вполне законно, как и твое. Что же сделаешь, если наши точки зрения не одинаковы!

Она быстро подошла к двери, где стояла Раиса, и на ходу улыбнулась Балееву.

Прихромов прислушивался к себе с беспокойным ожиданием. Глаза его стали мутными и далекими. Сидел он расслабленно, устало, будто размышляя о чем-то важном и недоуменном. Мирон, отчужденный и злой, стоял у окна и смотрел в сад.

Минодора ахнула и бросилась к Прихромову.

— Илья!..

Лицо Ильи Евсеича побагровело, а глаза застыли в бессмысленном ужасе.

— Товарищи, перенесите его, пожалуйста...

Мирон и Балеев бросились к Прихромову и перенесли его на диван. Большой и беспомощный, он лежал, жадно хватая воздух, и шевелил пальцами. Минодора вдруг стала простой, седенькой старушкой, испуганной и тщедушной.

Она жалобно посмотрела на Мирона и на Балеева мокрыми глазами.

— Пожалуйста, не тревожьте Раису... Не поднимайте шума, товарищи... Ничего не говорите... Это у него пройдет скоро. Лишь бы она не перепугалась: у нее ребенок...

Мирон с отчаянием озирался и упавшим голосом повторял:

— Это я виноват... Идиот! Я же должен был знать его состояние... Я не прав, Илья Евсеич...

— Ну, ты еще! — с судорогами в лице отмахнулась от него Минодора. — До смерти боюсь... что-то больно часто...

Балеев стоял в ногах Прихромова и смотрел на него с хмурым состраданием.

V. РАЗРЫВ

1

Ольга сидела рядом с шофером и глядела в окно. Балеев покашливал и теребил бородку. Мирон угрюмо молчал.

И только на площади Восстания, когда машина остановилась перед красным огнем светофора, Ольга неожиданно крикнула:

— Наталка-то, Наталка-то!.. Поглядите-ка на нее!.. Фигура-то какая красивая у чертовки!..

Мимо лимузина шла колонна физкультурниц в голубых майках и трусах. Русые, каштановые, черные волосы мягкой зыбью волновались по рядам. Воздух был прозрачный и золотой, как вино. Солнце уже уходило в предвечерье, тени от домов пластались пепельными полями. Телесно-горячие фигуры девушек, выступая из тени на солнце, обливались оранжевым блеском; голубое трико упруго обрисовывало линии спин, грудей, бедер. Наташа шла впереди. Широкое лицо ее было строго сосредоточенно, но глаза играли веселым задором.

Ольга открыла дверцу кабины и крикнула, протянув руки к девчатам:

— Наталка! Наталка!..

Девчата поворачивали к ней головы и улыбались, играя зубами.

— Ах, какие красавицы... милые!.. — умиленно восхищалась она.

Наташа отсалютовала ей голой рукой.

— Оленька, здравствуй!..

Мирон тоже смотрел в окно и тоже махал рукою, но Наташа, должно быть, его не заметила. Пока проходили ряды, Ольга не закрывала дверки и следила за ними счастливыми глазами.

— Замечательно хорошо, товарищи!.. Сказать не могу... А? Викентий Михайлович?

Балеев почему-то вздохнул.

— Хорошо. Все как будто обыкновенно, но кажется неожиданным и чудесным...

— Вот именно!.. Как вы хорошо сказали!..

Мирон озабоченно соображал:

— К чему это они готовятся?

Ольга с досадой крикнула:

— А тебе не все равно?.. И совсем это неважно. Тут — жизнь и радость большая... Ну, просто, радость жизни...

— Бесцельной радости жизни не существует... — дидактически разъяснил Мирон.

Ольга быстро отвернулась и замолкла.

Балеев усмехнулся в бородку и подмигнул Мирону.

— Мы привыкли с Мироном Васильевичем планировать даже свои чувства...

Когда машина остановилась у подъезда, Ольга распахнула дверцу, но не тронулась с места, точно ей совсем не хотелось идти домой вместе с Мироном. А он дружески пожал руку Викентию Михайловичу и выскочил на тротуар.

— Я завтра утром заеду за вами, Мирон Васильевич, — предупредил его Балеев. — В Главэнерго нам придется долго провозиться. Приготовьтесь к войне. Мы должны разрушить всю их дипломатическую игру. Они будут водить нас за нос, путать карты, оттягивать, разводить формалистику...

— Не напрасно же мы ходили к наркому, Викентий Михайлович, — утешал его Мирон. — Уж будьте уверены, справимся с этими вельможами.

— Не скажите... — с сомнением усмехнулся Балеев. — Это не так просто. Мы не на стройке. Они уже осведомлены обо всем: наш приезд и свидание с наркомом для них не тайна.

Балеев дотронулся до шляпы и захлопнул дверцу. Мирон подошел к кабинке шофера, чтобы помочь Ольге выйти, но она вдруг спросила Балеева:

— Вы куда сейчас, Викентий Михайлович?

Он живо предложил:

— Да, очень кстати! Поедемте со мною... Я по-

знакомлю вас с Верой Сергеевной, и мы вместе слетаем к ее дочке, Анечке. А потом мигом обратно.

— А я не стесню?

— Ну, что за церемонии!.. Вы принесете им большую радость, а мне удовольствие. Они же знают вас и желают видеть.

— Я еду, Мирон.

Она решительно захлопнула дверцу, и машина понеслась по переулку. Мирон озадаченно пожал плечами и раздумчиво пошел к подъезду.

Он поднялся по лестнице, но вспомнил, что ключ остался у Ольги. Невольно прошелся по площадке, подумал, извлек трубку и набил ее табаком. Спичку сразу же потушил, но не бросил, а посмотрел на нее с рассеянным удивлением и подошел к двери квартиры Гордеевых. Да. Она уехала с удовольствием и, кажется, с желанием подольше побыть рядом с Балеевым. В ее характере появилась своенравная неуравновешенность: то она восторженна и чувствительна, то вызывающе правдива. У Прихромова он держал себя по-дурацки: письмо Цезаря взбесило его, и он закусил удила. Вероятно, этот тягостный спор и столкновение с Ольгой потрясли его и вызвали тяжелый припадок. Мирон злобно махнул трубкой. «Дубина!..» Ольга почувствовала в его непримиримости глумление над человеческим страданием. Этот ее крик был из глубины сердца, этот крик должен был вырваться не сегодня, так завтра. Смятение Ольги всегда казалось ему слишком болезненным: он считал, что она извращает каждый его шаг, каждый поступок, каждое слово... И они перестали понимать друг друга. Ее приезд был для него мучительно-желанным. Она почувствовала тогда, что он страдает, что он любит ее, что несчастье сделало его мягче, отзывчивее. О Паше она, конечно, не догадывается. Если и есть тревога, то глухая, инстинктивно-женская. Спрашивает она о Паше как-то исподтишка, как о женщине, которая в счет не идет, — шутя спрашивает, играючи, но вопросы ее похожи на намек. А по сути между ними всегда был разрыв: тут и работа, которой они отдавались целиком, тут и тень

Кирюшки, отравляющая душу. Крикнула она с надрывом: «А разве тебя не грызла совесть?» Уж не начало ли это какой-то новой драмы?.. Да, у него — тайна... Но эту тайну он никогда никому не откроет... Никто, даже Ольга, не сможет коснуться этого события в его жизни... Это скрыто навсегда. Счастье это или несчастье — пусть останется внутри. И если бы он сам себе сказал об этом вслух, он оскорбил бы в себе и в Паше человека.

2

За эти несколько минут езды до гостиницы Ольга и Балеев еще больше сблизились. Он сидел, склонившись к ней в неудобной позе, а она часто оборачивалась к нему, словоохотливо разговаривала и все время изучала его лицо.

— Я слышала, Викентий Михайлович, вас считают суровым человеком.

Балеев озадаченно поднял брови.

— Правда, вы немного кажетесь нелюдимым. Но это потому, может быть, что вы ответственность большую несете.

Балеев пошутил:

— Вы приблизительно в той же шкуре, что и я. Но ведь вас никто не считает суровой и нелюдимой?

— Ну, что я в сравнении с вами, Викентий Михайлович!..

Балеев наклонился к ней и сказал внушительно:

— Вы не знаете себя, поэтому не цените своих богатств.

— Ну, зачем это вы, Викентий Михайлович? — обиженно пролепетала Ольга, краснея. — Вам ли это говорить?.. Вы такой большой человек... Вас знает вся страна.

— Да, знает... что знает? кого знает?.. Знает только одно мое имя... Есть некий Балеев, который проектировал ГЭС и который состоит начальником строительства — и только. А что это за человек, какие у

него душевные качества, счастлив ли он, несчастен ли, — никто об этом не знает. Да никому эти вопросы и в голову не приходят. Балеев — старый инженер, единица в личном составе стройки. По существу только некая абстракция для миллионов...

— Не в этом дело, Викентий Михайлович, а в том, как вы на близких людей действуете. Я так полагаю, что почувствуешь тогда человека, когда от него задумаешься, а еще лучше, когда поплачешь...

Балеев очень внимательно слушал Ольгу. Ее мысли были для него неожиданны, потому что высказаны из глубины сердца, выстраданы ею.

— Но от меня вы не поплачете... увы, никогда не поплачете... — опять пошутил он.

— Когда по-своему чувствуешь хорошего человека, Викентий Михайлович, новое что-то в себе открываешь... И от этого какое-то особое счастье испытываешь... ну, да про себя, может быть, и всплакнешь...

Балеев откинулся к спинке сиденья и стал смотреть в окно лимузина. Проносились мимо дома, толпы пешеходов, автобусы, легковые машины, проплыла громада постаревших лесов нового здания Ленинской библиотеки. Промелькнула коричневая Троицкая башня и белая Кутафья. Все это быстро улетало назад и забывалось. И странно, рядом с Ольгой он чувствовал себя немножко грустным, задумчивым, простым и беспокойным.

Вера Сергеевна, тощенькая, с испуганным лицом, вышла из подъезда гостиницы. Она остановилась сбоку дверей, у стены, ожидая Балеева. Дешевенькое черное пальтишко и синяя шляпа котелком казались неряшливыми и безвкусными. Очевидно, она чувствовала себя без Викентия Михайловича беспомощной и сиротливой. Когда вышел Балеев, она рванулась к нему и жалко улыбнулась. Он взял ее под руку и заботливо посадил в машину. Ольга встретила ее сдержанно, с участливым любопытством.

— Познакомьтесь, — сказал Балеев, чем-то недовольный и встревоженный.

Машина неслась вниз, к площади Ногина. Деревья в сквере были уже голые, на зеленом смятом газоне ковром лежали яркие желтые листья, и от этого зелень травы казалась сочной и свежей. По дорожкам бродили старики со старушками, быстро шли группами и попарно девушки и парни, играли ребятишки, катали в колясочках своих младенцев матери.

Промелькнул подъезд дома, где жила Даша.

«Что она сейчас делает?.. — подумала Ольга недружелюбно. — Читает? или корпит над кипой дел? Муштрует себя...»

И спохватилась, негодуя:

«Нельзя так думать о Даше. Не имеешь права. Она крепка и мужественна».

Вера Сергеевна сидела безмолвно, несмело, застенчиво. Она, должно быть, стеснялась Ольги и, с мерцающей улыбкой, прислушивалась к Балееву в позе настороженной готовности.

— Давно это у вас с девочкой-то? — с состраданием спросила ее Ольга.

Вера Сергеевна, к ее удивлению, с покорным спокойствием ответила:

— Девять лет уж... Туберкулез... Лежит без ног...

— Изумительная девочка!.. — отозвался Балеев как бы про себя.

Эта женщина с каждой секундой все больше нравилась Ольге. Она чувствовала, что тревожная ее покорность и застенчивость — многолетняя привычка скрывать свою скорбь.

— Я не знаю, как я переживу разлуку... Что я буду делать без Анечки?..

Говорила она живо, с дрожью в голосе, но без всякого волнения.

— У вас, Вера Сергеевна, есть ребенок... Пусть тяжело больной... Но вы смотрите ему в глаза, чувствуете его сердце...

— Но это ведь ее обычное состояние... — торопливо заметила Вера Сергеевна. — Правда, она неподвижна и, конечно, страдает...

Ольга вздохнула.

— А у меня вот... Тоже когда-то чувствовала около себя своего мальчика... Мучительно сознавать, что нет его, а есть... не живет и не умер...

— Да, я знаю ваше горе, товарищ Ватагина. Нужна большая сила, чтобы переносить эту пытку... Но вы найдете его или он придет к вам...

— Правда? Вы тоже так думаете?

— Мать не может думать иначе... Я и Викентию Михайловичу сказала... Я думала о вас... сравнивала с собою... и плакала... Заодно уж... — улыбнулась она стыдливо. — И тут же сердце подсказало: нет, надо верить в счастье. И неизвестно, хватит ли сил пережить его...

«Какая славная женщина!..»—растрогалась Ольга.

3

В воздушно-белой комнате, залитой электрическим светом, стояли в три ряда кровати. Под синими байковыми одеялами лежали мальчики и девочки разных возрастов. Здоровые, полнолицые, они заняты были своими делами: одни перебирали игрушки, другие перелистывали книжки, третьи рукодельничали. В комнате рокотал говор, смех, невнятная возня. Впереди, у дальнего окна, звенел голос Анечки.

— Мамочка! Викентий Михайлович!.. Скорее, пожалуйста!.. Я жду вас целую вечность...

Над кроватью призывно поднялась тонкая, бледная рука. Вера Сергеевна побежала между кроватями к этой ручке, смеялась и лепетала:

— Анечка, мы же не опоздали... Викентий Михайлович даже раньше времени приехал...

Она упала перед кроватью на колени и стала целовать и лицо и руки девочки. Издали голос Анечки показался Ольге совсем не детским.

— Ой, Викентий Михайлович! Как чудесно!.. — Она протянула ему обе руки и засмеялась.

Балеев светлел и улыбался. Он бережно взял ее ручку и поцеловал. Анечка не выпустила его руки, а потянула ее к своим губам и тоже поцеловала. Ее

сияющие глаза, вдумчивые и глубокие, казались огромными на худеньком личике.

— Ну, как ты, Анюша, чувствуешь себя?.. — дрожащим голоском спросила Вера Сергеевна.

— Прекрасно, мамочка. Только, пожалуйста, сядь на стул. Никак я не отучу тебя от этой странной позы...

Вера Сергеевна с испуганной готовностью встала с колен и сконфузилась.

— Ну, ну, извини, Анечка: я забылась... Мне ведь так очень хорошо...

— Вот, Анечка, изволь: это — Ольга... — сказал Балеев, как будто хвастаясь. — Как видишь, слово свое я сдержал.

— Ну конечно же Ольга!.. — заликовала Анечка и даже приподнялась на локте. — Я вас именно такой и представляла... и глаза такие... милые... и фигура...

Она схватила руку Ольги, сильно пожала и пристально всматривалась в ее лицо.

— Очень хорошо!

И опять легла на подушку.

Ольга не сводила глаз с Анечки и чувствовала какое-то влекущее любопытство к ней и странное очарование. Она думала, что увидит жалкую калечку, истерзанную болезнью и терзающую мать своими капризами. Но перед нею лежала девочка с чудесными голубыми глазами. Странные глаза: сначала они кажутся кукольными, а потом проникновенными, тревожными. И этот восторг, и слова ее, наивные и значительные, поразили Ольгу до сердцебиения.

— Викентий Михайлович, сядьте ко мне поближе... — Анечка опять приподнялась на локте.

С кроваток смотрели в их сторону дети со стрижеными головками и слушали, о чем они разговаривают. Они с любопытством следили за новыми людьми, и по их глазенкам видно было, что им очень хочется, чтобы на них тоже обратили внимание. Некоторые продолжали возиться с игрушками и перелистывать книжки.

— Когда мне сказал Викентий Михайлович о вас, Ольга, я захотела вас увидеть.

Ольга наклонилась к ней и погладила ладонью простынку на ее кровати. Чудилось, что и эта простынка дышит ее теплотой.

Балеев немного робел перед Анечкой и затруднялся говорить с нею. Он посапывал, сдерживая волнение.

— Я все-таки остаюсь при своем мнении, Анечка... — не утерпел он, стараясь говорить очень мягко и убеждающе. — Отдельная комната тебе совершенно необходима.

— Вы настаиваете потому, Викентий Михайлович, — с досадой перебила его Анечка, — что привыкли видеть меня одну. То, что было хорошо дома, здесь было бы пыткой. Я всегда люблю чувствовать людей: мне и папка, и Борзяй, и Цезарь... да и вы, Викентий Михайлович, — вы по-особому... — все вы приносили с собою большую жизнь. Мне здесь — хорошо, по-новому хорошо. Смотрите, я уже каждого из них знаю. Можно быть неподвижным, а совершать большие дела. Я это только здесь поняла. Разве это не замечательно?.. Вон тот мордатенький мальчик — это наш скульптор. Павлик, покажи свою работу!

Мальчик повозился и охотно поднял в обеих руках вылепленную из пластилина смеющуюся головку и фигурку лошадки.

— Я сейчас летчика леплю... — сообщил он очень серьезно и самодовольно.

У Анечки радостно блеснули глаза, и она повернулась в другую сторону. Ольга и Викентий Михайлович похвалили его работу.

— А вот та — рыженькая — чудесно вышивает. Милица! где твое рукоделье? хвастайся!

Девочка уже растягивала тоненькими ручками что-то вроде маленького коврика с вышитым букетом цветов. Коврик перешел в руки гостей.

— Вот видите? У них такие же большие мысли, как и у вас, Викентий Михайлович!.. А я вот пока беспомощна: я до сих пор жила одними словами... и книжками... И еще не могу найти себя.

Балеев склонил голову, побежденный ее словами.

Вера Сергеевна попробовала поправить подушку под головой Анечки, но, встретив ее укоряющую улыбку, робко отняла руки и виновато встряхнула ими. Анечка взяла ее вздрагивающие пальцы и пожала их. Ольга на миг почувствовала неудержимый порыв к девочке. Таилось в ней, томилось и ныло целые годы неутолимое желание вылиться в самозабвенной ласке к родному ребенку. Когда-то, страшно давно, она переживала тоску в пальцах, когда маленький Кирюшик лежал ночью в кроватке, покинутый ею, и когда просыпался утром, обиженный и враждебно-нервный. Анечка тоже отрывается от матери — уходит от нее в неизвестность. Пройдут годы, и Вера Сергеевна не узнает ее.

— Мамочка, милая, сядь и успокойся, — с ласковым раздражением сказала Анечка.

— Девочка моя родная!.. — Надорванный голосок Веры Сергеевны вскрикнул и угас. Лицо у нее со странным изумлением заулыбалось, затрепетало от слез, а слезы крупными каплями стекали со щек на подбородок и на грудь. Анечка строго сдвинула брови. Вдруг глаза ее налились по-детски радостным смехом, точно она вспомнила что-то очень забавное и милое. Викентий Михайлович, откинувшись на спинку стула, теребил усы и бородку. Посмотреть на него — сердится человек, не одобряет этой внезапной сентиментальности, не знает, как держать себя, но Ольга видела, что этот крепкий человек совладать со своим сердцем не может.

— Мамочка, смотри, какая я богатая: вот ты, вот Викентий Михайлович, Ольга... и там папочка. Чудесно! Папочка замечательно серьезно докладывал мне о ходе работ на своем участке, о машинах, о том, как людей механизмы ставят впросак... Понимаете, Ольга: машины могут обманывать человека, издеваются над их невежеством. Ты, мамочка, пожалуйста, не оставляй дядю Борзяя и Цезаря. Ах, Цезарь! Знаешь, Ольга, он чем-то немного похож на тебя... не на мамочку, а именно на тебя... — И попросила ее: — Нагнись ко мне, я хочу взять у тебя на память волосок — только один волосок.

Ольга наклонила ей голову и ощутила мгновенный укол.

— Этот твой волосок свяжет меня с тобой, Олечка, на всю жизнь.

И когда Ольга ощутила ее ручки на своей шее, вздрогнула от счастья.

Подошла сестра и вежливо попросила не нарушать их расписания.

Викентий Михайлович поднялся и с нежностью, которой Ольга не ожидала от него, сказал:

— Я на этих днях уезжаю, Анечка. Мне очень много придется тратить времени на всякие дела и совещания. Вероятно, мы увидимся только на юге.

Он наклонился над нею и поцеловал ее в голову, потом несколько раз обе ручки.

— Викентий Михайлович, — с гримасой страдания сказала Анечка, погладив его щеки, — вы должны мне часто писать.

— Обязательно, Анечка. Об этом нечего напоминать.

Глаза ее заиграли слезами, но она засмеялась. Она обняла мать и несколько секунд не отпускала ее.

— Мамочка, милая...

И, когда Вера Сергеевна, вся в слезах, отошла от нее, вытирая платком лицо, Анечка плакала и смеялась.

Она пожала руки Ольге, протянула ручку к Балееву и в глазах ее блеснуло кокетливое лукавство.

— Обещайте мне, Викентий Михайлович, что вы подружитесь с дядей Борзяем и Цезарем. Это самые близкие и верные вам люди.

— Да, я знаю: это чистые и честные люди.

— И, пожалуйста, Викентий Михайлович, верьте папочке, как мне.

И, когда они проходили между кроватками, дети кричали им вслед:

— До свиданья!.. Приходите почаще!..

Анечка не опускала своей ручки и прощально помахивала ею.

Вера Сергеевна не выдержала и побежала обратно к Анечке, но сестра загородила ей дорогу.

— Нельзя же, дорогая! Зачем расстраивать девочку? И дети волнуются... Нам не слезы нужны, а ваше мужество.

И повела ее к Балееву и Ольге.

4

На площадке, у самой двери своей квартиры, Ольга услышала далекие, невнятные голоса: будто пели стены и призрачно звенели струны гитары. Она вынула ключик из сумочки и вспомнила, что Мирон не мог попасть в квартиру: впопыхах она забыла отдать ему этот ключик. Значит, Мирон сейчас у Гордеевых. Это Наталка бренчит на гитаре.

«Нехорошо — невнимательна к нему...»

Нет, к Гордеевым она не пойдет. Слишком много впечатлений за день — надо успокоиться и собраться с мыслями. Она вошла в комнату, переоделась в будничное платье: серенькая юбчонка, голубой джемпер, мягкие туфли. Стала она как будто еще меньше и моложе — совсем девушка, если бы не поблекшее лицо, не морщинки около рта и глаз и не скорбные складочки над переносьем. Ага, любуешься собою, Оленька, — проверяешь перед зеркальцем свою фигурку и личико... Кого это ты пленять собираешься? не мужа ли своего, Мирона Васильевича, или, может быть, начальника всесоюзной стройки — Викентия Михайловича Балеева?..

Какая странная девочка! она обжигается своими мыслями, а ее нервная тревога вспыхивает внезапным прозрением. Она словоохотлива, у ней звонкий голосок (тоже странный — и детский и зрелый), но, когда говорит, глаза ее прислушиваются к мыслям, а потом наливаются умненьким лукавством. Она очень тяжело переживает разлуку с матерью, с отцом, с той жизнью, которой она дышала с незапамятного младенчества, но она очень мужественно владеет собою и в просторной палате, наполненной беспокойной жизнью ребят, прикованных к постели, нашла понятный только ей богатый мир. Эти дети завоевывают

свое право на счастье. Анечка уже не может возвратиться в свою родную комнату без надрыва. Поняла это Ольга в тот момент, когда Анечка перекликалась с ребятами. Неужели и Кирюша так же переживал свою беспризорную свободу, и неужели эта комната тогда была ему ненавистна? Необузданная свобода улицы подхватила его вихрем и швырнула в неизвестность. И там, где-то в неведомых трущобах и улицах городов, затерянный в миллионах, Кирюша нашел для себя свою жизнь, полную упоения и опасностей. Какая-то частица жизни Кирюши трепетала и в этой умненькой девочке, и Ольга всю дорогу и сейчас, наедине с собою, больно чувствовала, что Анечка глубоко вошла в ее душу и стала тревожно близкой. Ольга, конечно, расскажет ей о Кирюше, и, конечно, девочка чутко переживет ее тоску вместе с нею...

Почему так привязан к ней Балеев? У этого сурового с виду недоброго человека — мягкое, ласковое сердце. Чувствуется глубоко скрытая грусть в его бронзовых глазах, в его сосредоточенности и кажущейся нелюдимости, похожей на застенчивость, точно он пережил когда-то большое горе. Может быть, в далекие годы, в молодости, горел он неутолимой любовью, и эта любовь не угасла еще и сейчас. Может быть, любимая женщина умерла или была недостижима для него. Не потому ли он весь отдался своей большой работе и ничего не хочет знать, кроме беззаветного подвига? С первого взгляда кажется, что он черств, бездушен, не способен к дружбе и общению, — недаром Мирон долго не смог подойти к нему и сам враждебно ожесточался против него. Но Ольга угадала сокровенную доброту и жизнерадостность Викентия Михайловича. Его внимательность и теплота к ней, его пристальное участие к Вере Сергеевне и странно задумчивая любовь к Анечке покорили Ольгу, и она недоумевала, откуда у Мирона и Глеба такая неприязнь к нему.

Хорошо бы откровенно с ним разговориться: вероятно, есть в нем какие-то скрытые от людей душевные раны, которые он несет в себе многие годы...

Впрочем, может быть, это только ее домыслы, рожденные первыми впечатлениями... а впечатление он произвел на нее, надо сказать, очень сильное... В сравнении с ним Мирон — тусклый, будничный человек..

Зазвонил телефон, она бросилась к нему и схватила трубку. Звонили из цеха карусельных машин: не сможет ли она приехать хоть на полчаса? с Дусей Скаланцевой припадок после столкновения с инженером. Нельзя ли прекратить издевательство над хорошей работницей?

— Да, сейчас приеду. Успокойте Дусю. Пошлите машину.

Она постояла у телефона, подумала и позвонила на дачу Прихромова. Голос Раисы ответил со спокойной важностью: да, Илья Евсеич чувствует себя хорошо. Она просит не беспокоиться. Ей только хочется, чтобы Оленька не углубляла своего конфликта с Мироном Васильевичем: она считает дневной инцидент недоразумением. Илья Евсеич не одобряет своего поступка: он должен был иначе подойти к делу Цезаря и к Мирону Васильевичу, чтобы он смог постигнуть драматический смысл этой истории.

Мирон вошел без звонка: должно быть, дверь открыла ему Наталка. Он продолжал еще улыбаться и дышал приятной усталостью. Когда увидел Ольгу, поразился и поднял брови.

— О? Уже возвратилась? А я, знаешь, прошел к Гордеевым: старик очень ждал... Обрадовался... только и повторял: «ах, шашки-деревяшки!..»

— Ты не сердись, Мирон... Забыла впопыхах ключ-то отдать.

Улыбка угасла на лице Мирона. Он украдкой посматривал на Ольгу, чувствуя ее отчуждение. Она еще не остыла от волнения. Это заметно было по ее сдержанности и по холоду в глазах, хотя они смотрели на него открыто и свежо. Ее домашняя простота и успокоенность приятны были Мирону. Он обнял ее и усадил рядом с собою на диванчик.

— И ты меня извини, Оля: вел я себя у Прихромова глупо.

Ольга не ответила на его ласку и казалась равнодушной и безразлично-покорной.

— Чего же извинять-то? Какой в этом смысл? Ты не ребенок. Ведь привык же ты отвечать за свои поступки и слова? — И сообщила успокоительно: — Илья Евсеич чувствует себя хорошо. Раиса просит не беспокоиться.

— Это ты ей звонила?

— Неважно, кто бы ни звонил.

Мирон вздохнул и сказал с огорчением:

— Опять у нас ссора...

— Нет, какая же ссора? Ссориться бессмысленно. Характера твоего не переломишь. Чтобы понимать людей, нужно любить их. Умудряет только страдание, Мирон.

— По-твоему, значит, я никогда не страдал и людей не любил?

— Передо мною тебе нечего маскироваться, Мирон. До этого дня мне казалось, что ты изменился, переболел, но твое столкновение с Прихромовым сразу отрезвило меня. Ты остался таким же, каким был раньше, — делягой, глухим и слепым к людям: к ним ты подходишь со своим трафаретом. Мне стало страшно: из таких, как ты, делаются жуткие люди.

— Враги народа?.. — зло усмехнулся Мирон.

— Врагом народа ты не будешь: ты честный партиец и принципиальный человек. Но такие люди, как ты, — довольно удобны для врагов...

— Говори яснее: я не понимаю.

— Все ясно: ты смотришь поверх людей, чтобы видеть далеко. А к близкому — слеп и равнодушен.

Мирон в смятении вскочил с дивана и заходил по комнате.

— Ну, договорились. Точки над «и» поставлены. Какие же выводы?

Ольга утомленно откинулась на спинку дивана и заложила руки за голову. Смотрела она строго и печально на дырочки в карнизе, а Мирон как будто совсем не интересовал ее. Это была другая женщина, чем вчера или сегодня утром. Сейчас в лице ее и в глазах — раздумчивая трезвость и печальная убеж-

денность. И — ни искры любви... Между ними не было взаимного понимания. Иллюзии гибнут, факты остаются... кто это сказал?.. Да, факты... одни реальные факты...

— Ты вот долго не мог постигнуть Балеева... — тихо и очень спокойно говорила Ольга. — Ты враждовал с ним и ненавидел его. Ты и сейчас его не понимаешь: только приспособился, создал дипломатическую дружбу с ним, а он по-прежнему остается для тебя незнакомцем. А между тем он большой и сложной души человек. Ты вот даже не подумал поехать к больной девочке... а девочка-то дочь хорошего работника на твоей же стройке... Балеев же находит время для сердечной заботы о ней и о матери... Почему это?

— У каждого свои слабости и причуды. Я люблю огурцы, а он — ананасы.

Мирон ходил по комнате и чувствовал, как поднимается внутри знакомое озлобление. Почему волнуют ее всякие пустяки? Удивительная слабость к чувствительным мелочам!.. Почему обязательно нужно осложнять всякие ошибочки и вопросики и превращать их в трагические проблемы? К чему эта болезненная страсть — поджигать дом, чтобы уничтожить тараканов?..

— Мы по-разному судим о вещах, Мирон Васильевич: свое остроумие ты считаешь неотразимым, оно похоже на чванство.

Эта ее ирония прозвучала с таким презрительным сожалением, что Мирона передернуло. Но в то же время он сам сознавал, что окончательно теряет себя в глазах Ольги. Ужаснее всего то, что он утрачивает перед нею привычное самообладание и борется с нею плоскими шутками. Его охватывали непонятное упрямство и бешенство.

— Вы, сердечные люди, находите время для игры в сентиментальные бирюльки. Вы любите тонкие нюансы, а грубая действительность не прельщает вас. Ты ничего не сообщила мне о врагах на своей фабрике... и о том же Гордееве, которого травит какая-то сволочь...

Ольга ничего не ответила, болезненно сдвинула брови и оцепенела с застывшими глазами. Потом медленно встала, подошла к телефону и справилась в гараже, вышла ли за ней машина.

— Не ставь себя в смешное положение даже перед женою, Мирон Васильевич. Освободи меня, пожалуйста, от дальнейшей беседы.

И не эти холодные слова испугали Мирона, а ее деловой разговор о машине. Сейчас она уедет на фабрику и пробудет там до поздней ночи. Уезжает она не потому, что ей нужно быть в цехах и управлении, а для того, чтобы не оставаться вместе с ним в одной комнате. Это ясно. Вот она подошла к зеркалу и внимательно всмотрелась в себя, точно удостовериться хотела, не подурнела ли от волнения. Поправила волосы над ушами, потрогала пальцами красные пятна на щеках. Волнуется, а держит себя хорошо. Мирон тяжело шагал по комнате с трубкой во рту и угрюмо думал. Он покосился на зеркало и встретил далекие ее глаза. Рот ее с пухлыми, совсем девичьими губами иронически перекошен. Почему он этого не замечал до сих пор? В ее лице и странной сутулости (и сутулости раньше не замечал) созрело что-то рассудочное, антипатичное, как у Даши, и он сразу решил, что она ни в ком не нуждается, а он ей совсем не нужен. Радость первых дней — это, выходит, самообман, романтика, поэтические воспоминания о молодости... Это мечты о желаемом, рожденные расстоянием и временем, а данное — вот оно... данное — это комната, стены которой пропитаны отравой прошлых лет. Что изменилось в их отношениях с тех пор? Они стали менее знакомы, чем раньше. И тень погибшего ребенка неустранимо стоит между ними, как постоянный укор. Она назвала потерю мальчика преступлением. Этого преступления она никогда ему не простит, как не прощает себе. А память о преступлении — самая страшная память: она питает обоюдную ненависть и вражду у сообщников. Впрочем, тут дело проще: подогрели себя, обманули мечтами, поспали вместе несколько ночей, думали, что опять нашли себя. Но достаточно

было маленького столкновения — и действительность поставила их перед разбитым корытом. Ольга первая покидает его в этой комнате, а он уедет через несколько дней, чтобы опять исчезнуть из ее жизни. Против чего тут бороться? Насильно жить с собой ее не заставишь, капитулировать перед нею, подчиниться ей невозможно... Книга их жизни закончена — дописана последняя страница.

— Я приеду к чаю, Мирон. Ты бы прилег, отдохнул, — сказала она, как обычно, заботливо, дружелюбно, и не было у нее притворства ни в голосе, ни в лице.

— Почему же тебе так приспичило ехать на фабрику?

— Дела.

— Но ведь ты же решила сегодня отдыхать?

— Не выдержала. Есть основание беспокоиться... У нас немножко неблагополучно: брак, корявое освоение новых машин. Сейчас звонили: припадок там с одной хорошей девушкой. Приходится самой следить и изучать всякие мелочи. Кстати, вот твоя почта: письма, газеты...

Она хлопотливо переодевалась и, щелкая каблучками, перебегала от гардероба к столу, от стола за ширмочку, потом опять к столу, где собрала какие-то бумажки и сунула их в портфель. Маленькая, прыткая, она повеселела, глаза заблестели от возбуждения. Она жила своей фабрикой: все ее мысли, чувства, мечты были там. Мирон и любовался ею, и с обидой думал, что их совместная жизнь уже невозможна, и нет сил, которые могли бы возвратить Ольгу. И, если бы даже он опять переехал в Москву, оба они встречались бы только по ночам. Не все ли равно — жить раздельно или вместе: он на стройке, она здесь, или он где-нибудь в Тяжпроме, а она на своей фабрике. Если ее оторвут от производства, она заболеет от тоски. Конечно, будь у них сейчас дети, они иначе устроили бы их судьбу — ясли, детский сад... Теперь это дело хорошо оборудовано. Но опять-таки детям своим она уделяла бы обрывки времени, и они росли бы в чужих руках и не знали бы постоян-

ной привязанности к отцу и матери. В конце концов ее горе — не случайность, не забвение своих обязанностей матери, а неизбежное следствие их жизни. Паша или другая женщина обязательно должна была войти в его существование. Ольга, вероятно, понимает это и не требует от него признаний. И вправе ли он предъявлять претензии насчет ее супружеского целомудрия?.. Конечно, она не знает мужчины, кроме него, но ведь может случиться?.. Вот, например, Балеев... Эта взаимная их симпатия может превратиться в любовь... Пусть это нелепость, но возможность-то не исключена?

В этот день он не принес ей наслаждения. Она права: для наслаждения жизнью нужно очень немного — чуточку сердечного внимания к близкому человеку, чуточку проникновенности... Но разве встреча с нею на стройке не сблизила их по-настоящему, и разве первые дни здесь не были сладостны?.. Как он плохо знает и себя и ее!..

Она уехала оживленно и торопливо.

...Строительская газета... Вот знакомые портреты: Катя с девчатами и ее «муха», Татьяна, Кряжич и Шепель у крана. Что за нелепость с ее арестом?.. Вот опять Кряжич вместе с Гудимом, Вихляевым и Борзяем в котловане у высокого, обрезанного сверху бычка... Ага, ликвидация гнилых подушек...

Вакир на электростанции... Вот его подвиги по организации труда и победы над иностранцами. Сколько событий за эти дни! И все это — его родная стихия, его жизнь и помыслы. Надо ехать скорее, торопиться надо. Завтра же закончить дела в Главэнерго, завтра же съездить на Москабель. Если после Главэнерго пройти в Главметалл, — на Москабель уже не попасть. До черта еще дел...

Письмо от Гудима. Как всегда, он пишет коротко, будто рапортует. Все о том же — о ликвидации гнилых подушек. Хорошо. Форсирование работ по бетону: норма подъемов и укладки поднялась с сорока до ста двадцати. Скала пошла быстро: отряды добровольцев идут на работы с музыкой. В котловане заложены все бычки. Провокационный случай с Брат-

цсвой. Есть вражье гнездо. Кое-какие данные налицо. Взрыв скалы электрическим током. Эффект замечательный, но вчера, в присутствии Ситного, взрыв произошел преждевременно, и убито несколько рабочих. Чумалов чуть не поплатился жизнью.

Мирон ударил кулаком по письму и встал.

Все эти личные передряги — чепуха. Жизнь совершается так, как нужно. Жизнь Ольги сливается с великими делами революции, и Ольга счастлива. Да, она права. Надо быть вдохновенным творцом — думать не только о себе, но и о каждом человеке в отдельности. Серго не напрасно трунил над ними. Катю проморгали. Татьяна ошельмована. От Паши ты, товарищ Ватагин, трусливо отступил, охраняя свою шкуру, а Паша — твой ближайший друг и помощник... Почему это понадобилось Ситному присутствовать при взрыве?

Он подошел к телефону и позвонил Балееву.

VI. КАК СБЛИЖАЮТСЯ ЛЮДИ

1

Монтаж электростанции был в руках американцев. Главный инженер, мистер Уорд, заявил начальнику ГЭС Кувыркину, что он не может доверить работу русским мастерам, так как они не имеют ни опыта, ни знаний. Если фирма доставила сюда агрегаты и своих испытанных монтажников, то по договору она одна и отвечает за дело. Он был рыжий, чисто выбритый, с неизменной трубкой в углу кривого рта. Кувыркин подражал американцам: лицо делал непроницаемым и не говорил лишних слов.

Переговоры шли через смугленькую переводчицу, которая юлила около Уорда.

— Разве мы не пришли с вами к соглашению, мистер Уорд?

— Да. Но рабочие ваши — грязные и дышат, как коровы.

— Итак, мистер Уорд?..

— Надо пригласить парикмахера, мистер Кувыркин. Мыть, брить... и — маникюр...

И отошел в сторону к распластанному статору. А Кувыркин пошагал между огромными нераспакованными ящиками.

Вся площадь электростанции была завалена стальными брусьями, шинами, трубами, красными лопастями, похожими на обломки церковных колоколов, сплетениями проводов и кабеля... Вдоль всего здания одна за другой зияли глубокие круглые пропасти с пузатыми спиральными камерами на дне.

Вакира назначили в бригаду электромонтажников по установке трансформаторов. Это была самая трудная и сложная работа. Вакир чувствовал себя в первые дни безнадежно затерянным в этих строительских дебрях.

Мастер Чубук, с обвислой кожей на щеках, с седыми усами, искоса взглянул на него и внушительно сказал:

— Знаю. От Ватагина. Он уж о тебе справку дал. Драться можешь... по физмату вижу. К хлопцам на трансформатор пойдешь.

— А с кем же я буду драться, товарищ Чубук?

— Сам увидишь. Бывает, и со своей дуростью биться приходится, не щадя себя. Нам американцы ходу не дают, а мы должны взять их учебой, выдержкой и волей.

— Вот это мне по нраву, товарищ Чубук.

Мастер похлопал его по спине.

— Хороший тезис, хлопче: бей и не побит будешь. Так нас, дураков, учит революция.

У трансформатора возился длиннолицый американец. Ребята около него бездельничали, как посторонние парни. Им было скучно, и они зубоскалили. Они как будто были даже довольны тем, что бьют баклуши.

Чубук, подтолкнув Вакира, набросился на ребят:

— Вижу, вижу, как научно упражняетесь...

— Пробка, товарищ Чубук... Ни туда, ни сюда — ни тпру, ни ну... Развесели, товарищ Чубук.

Американец работал один и поглядывал на парней опасливо и недоброжелательно.

— От сиротливости, товарищ Чубук, кушать хочется. В дым измотались. И ни от кого никакой ласки...

— А вот... именно!.. Ласку берите с бою... Что это за комса, которая пасует перед одним американцем? Стыд и позор. В степь угоню — на мачты...

— А ей-право, угони, товарищ Чубук...

— Ну, нечего дураков изображать... — строго прикрикнул Чубук. — Вот товарищ вам новый... Договоренность с американцами есть. Теперь только от вас зависит... Сейчас главный тезис: учеба... пример дисциплины... Будь и подметальщиком на высший разряд.

Вакир пошел один по запутанному лабиринту длинных коридоров и проходов, похожих на туннели.

Почему Тибра и Ватагин принудили его идти именно сюда? Ватагин сказал, что здесь неблагополучно, неразбериха, затяжная борьба с иностранцами. Ну, послали по специальности. Какая же у него, собственно, специальность?

В этот невиданный мир нужно входить через каждую частицу сложнейших приборов, через заросли кабелей. Иностранцы стоят у своих машин, у трансформаторов, у роторов, у колокола рабочего колеса турбины и не подпускают к себе никого из советских рабочих. Они боятся их: они пунктуально выполняют инструкции своих фирм и доверяют только своим рукам.

Блуждая по пространствам эксплуатации, натыкаясь на злых рабочих и кичливых и замкнутых иностранцев, он думал, какая же здесь ему определена роль. Почему Ватагин так спокоен и безучастен к этим людям? Он занят плотиной, бычками и скалами, а здесь — самотек, возня, какой-то сеттльмент. Люди уже привыкли к безделью, а мелкая работа, которую поручают им американцы, — прибрать вещи, подмести пол, подать провода, протянуть и выправить кабель и т. д. — кажется им бессмысленной и обидной.

Многие сбежали отсюда на другие участки, а многие просто превратились в лентяев и даже перестали слушать десятников.

Вспомнилось одно событие в коммуне.

...Однажды, когда Шастик уехал в отпуск, без него сразу стало как-то пусто, неуютно и скучно. В дортуарах, в столовой, в клубе, в цехах дни потускнели. Свои комнаты ребята сначала убирали с прежним старанием, потом нехотя, а потом незаметно появились пыль, сор, духота. Грязное белье бросали в шкафы, оно вываливалось на пол, и его забывали прятать. Ребята стали уходить в город, и кое-кто возвращался во хмелю. Двоих парней начальство водворило в карцер. Вакира охватила тоска. Он написал отчаянное письмо Тибре, но она не отвечала. Без предупреждения он ушел однажды в город и напился до потери сознания. Его доставил в коммуну милиционер.

Очухался он в карцере и начал колотить в дверь, а потом выбил все стекла в окне, которое было заплетено железной решеткой.

Шастик приехал неожиданно — раньше дней на десять. Встретили его крикливой толпой, с радостью и ликованием. Но он угрюмо шел впереди ребят и не отвечал на приветствия. Обошел он все здание, все комнаты общежития, и, когда окинул холодным взглядом Вакира, все увидели, что Шастик потрясен. Он прошагал к шкафу и распахнул его. Грязное белье вывалилось на пол, поднялось облако пыли. Лицо Шастика окаменело, и в глазах застыла грозная усмешка. Он повернулся к Вакиру и пригвоздил его чужими глазами.

— Все понятно, Вакир. Такого оскорбления мне никто еще не наносил.

И быстро пошел к двери.

— Мне ничего не остается, как совсем убраться отсюда...

Ошеломленные ребята молча проводили его до выходных дверей. Он сел в машину и уехал в город. Вакир бросился на койку и неподвижно пролежал часа два. Потом поднялся и собрал ребят.

— За уборку! поставить на ноги все общежитие! Белье — в прачечную.

Вечером Вакир вместе с двумя друзьями поехал в город и нашел его в гостинице. Вытянувшись у порога, отрапортовал:

— Товарищ начальник, коммуна приведена в образцовый порядок. Коммунары ожидают вас с нетерпением.

Шастик молча протянул ему руки, и Вакир бросился к нему на шею.

— Ну, ну, Вакир... Я же не сомневался... Что же ты думал? Эх, ты!.. Ну, ну, поплачь, поплачь... Это хорошо...

...Но ведь здесь не коммуна, а неизвестная ему сложная жизнь: с одной стороны — непроницаемые, с чужими лицами американцы, которые не подпускают к себе советских рабочих и инженеров, а с другой — толпы парней и мастеров, озлобленных против иностранцев и против своих инженеров. Рабочие — и старые и комсомольцы — пришли сюда с уверенностью, что руководство доверило им самый трудный участок стройки, что неосвоенное до сих пор искусство собирать и устанавливать турбины, генераторы и трансформаторы уготовано им, что это они будут первыми людьми в стране и имена их прогремят как имена героев. Вместо этого они только подметальщики и «шестерки»; они не знают своего места и ждут, что скажет им переводчица. Несколько раз обращались к Шлиппе, но он шутил, беззаботно разглаживая бороду:

— Даже младенцы в утробе матери ведут себя с примерным терпением. Не торопитесь родиться: будете выкидышами!.. А в общем, все хорошо: не жадничайте — счастья всем хватит...

Вакир сразу понял, что с такими разболтанными и беспечными людьми работать невозможно. Тибра сказала: «Я верю в тебя, Вакир». А Ватагин прямо решил: «Пойдешь на электростанцию: у нас затяжная борьба с иностранцами». Случай в колонии больно ударил по самолюбию Вакира, и с тех пор он сохранил в себе болезненное чувство собственного достоинства. Провожая его, Шастик пожал ему руку и с задушевным убеждением напутствовал: «Я знаю, Вакир, ты не подкачаешь, и любовь к коммуне у тебя будет гордой». Тут, рядом, — Тибра, там, в колонии, — Шастик, который следит за ним издали. Ватагин послал его сюда без колебаний: он сразу решил, что Вакир не сробеет.

2

Нужно было воевать. А воевать можно было тогда, когда под ногами твердая почва и рядом — верные люди. Вакир старательно и точно выполнял то, что ему поручали: держал в чистоте место около трансформатора, быстро обслуживал монтера-американца и не отказывался от самой грязной и обидной работы. Троих хулиганистых парнишек пришлось изгнать из бригады. Случилось это после того, как они начали обливаться из чайников водой. При сборке же трансформаторов воды не должно быть даже поблизости. Американец сорвался с места и свирепо бросился к ребятам с кулаками. Вакир поднял руку и остановил его. Потом уверенно взял у парней чайник и осторожно отставил далеко в сторону. Кто-то налетел на него, и он встретил злые глаза.

— Ну, что скажешь?.. — спросил он с угрожающей улыбкой.

Они поборолись взглядами с дюжим хлопцем и молча разошлись. Смелость и самообладание Вакира укротили ребят: они многозначительно покашливали и посмеивались.

В бригаде парней работала беловолосая пышка, Маруся. Она краснела около Вакира, вздыхала и как будто невзначай толкала его. Раньше она пела песни и смеялась перед американцем. Потом замолчала.

Все заметили, что мистер Купер часто прерывал работу и, ухмыляясь, следил за Марусей.

Она кокетничала и выпаливала ему в лицо:

— Ты, америкашка, чучело огородное. С тобой целоваться-то отвратно — обслюнявишь.

А он нежно смотрел на нее и влюбленно таял. Переводчица смеялась, но выкриков Маруси не переводила. Монтажник предпочитал пользоваться только услугами девчонки. Выходило так, что она всегда возилась рядом с ним, и он забывал о своей работе. Как-то Купер попросил у нее напиться. Она принесла полный стакан воды, но не отдавала его, а пятилась назад и дразнила американца. Вакир отнял у нее стакан и передал ребятам.

— Всю посуду долой отсюда!.. А Маруся пойдет к мастеру и попросит расчет.

Она хотела было забунтовать — крикнула, бросилась за помощью к ребятам, но вдруг ослабела, опустилась на пол и заплакала.

— Бедняжка! поиграть в любовь захотелось... — добродушно пошутил Вакир. — А с любовью не шутят: сердитая штука, любовь...

— Профессор!.. — в восхищении крикнул кто-то из ребят. — Математик!..

Вакир по телефону доложил Кувыркину, что вольно обращаться с водой должно быть запрещено не только советским монтажникам, но и самим американцам. Советские рабочие будут образцово выполнять работу, учиться и осваивать их опыт, но иностранцы сами изволят нарушать инструкции. После этого события монтажник первый вежливо раскланивался с Вакиром.

На производственном совещании Вакир потребовал от Кувыркина, чтобы каждый монтажник и практикант под руководством инженера назубок изучил все чертежи и детали по своему объекту, а перед сменой и в перерыв должна быть проработка процессов монтажа. Это требование было дружно поддержано всеми.

Американцы встревожились. Уорд выразил Кувыркину свое недовольство вопросом:

— Почему это ваши рабочие проявляют такой интерес к чертёжам?

Кувыркин ответил вежливо:

— Вам, мистер Уорд, придется переменить свой взгляд на наших рабочих.

— Но это все-таки рабочие?

— Да, это советские рабочие.

Уорд вынул трубку и улыбнулся.

— Я должен выразить протест против вмешательства в наши порядки и телеграфировать мистеру Райту.

И пошел между нагромождениями электроматериалов.

Кувыркин скрылся в телефонной будке и через несколько минут вышел злой, с похудевшим лицом.

— Скоты! Пора проучить этих автоматов!.. — пробормотал он, но сразу же успокоился, когда всунул трубку в рот.

В этот вечер группы рабочих вместе со стажерами и практикантами уже сидели за чертежами. В самый разгар вошел Чумалов и молча сел на ящике поодаль.

В первый момент его не заметили, но стажер, жирненький парень в свитере, угодливо заулыбался ему, поперхнулся и закашлял. Потом вскинул руку и почтительно объявил:

— Товарищи, у нас — дорогой гость.

Глеб сделал грозное лицо. Все повернулись к нему и оживились.

— Работайте, ребята. Ежели я вам помешал — уйду. Что за мода будоражить людей?

Вакир оглядел Глеба и насмешливо определил:

— Да вы же сами всех взбудоражили, товарищ Чумалов...

Глеб засмеялся и встал.

— Извиняюсь, товарищи. Сейчас улепетываю. Меня, собственно, самого взбудоражили... Шлиппе... иностранцы...

— Это насчет нас, что ли? — недружелюбно спросил Вакир.

— Не насчет вас, а насчет чертежей.

— Ну, и что же? Ежели вы пришли прикончить нас, так это не выйдет, товарищ Чумалов.

Глеб испуганно вытаращил глаза и притворно упавшим голосом спросил:

— Да что ты говоришь?

— Драка будет, товарищ Чумалов.

— Очень хорошо. Драку и я люблю. Так уж давайте сообща. Без дружных усилий мы ничего не сделаем. Беритесь за дело сами, а взялись — держитесь. От американцев надо перенять их опыт и систему работы. А раз вы постигнете особенность их мастерства, вы, друзья мои, можете объявить им бой. Нам не нужна их математика времени и рапортички: четко это, но бездушно. Вы должны победить их соревнованием. А теперь, голубок, — обратился он к Вакиру, —

все-таки разреши мне сесть рядом с тобою и пошевелить мозгами.

Вакир освободил место и даже встал предупредительно.

— Очень польщен, товарищ Чумалов. Надежная опора.

— Из практикантов, что ли?

— Нет, поскромнее: из трудовой колонии, бывший правонарушитель.

На Вакира смотрели с удивлением, точно впервые он поразил всех и ростом, и смелыми глазами, и упрямым лбом.

3

А к общежитию привыкал он трудно: просторная комната со множеством кроватей пропитана была духотой и грязью. Ребята не знали своих мест, устраивали свалки, без спроса тащили друг у друга вещи: перочинные ножи, расчески, книжки, мыло, полотенца. Один раз исчезло у Вакира белье. Потом пропала со столика книга, в которой лежали наброски по вопросам практической физики.

В первом случае он смолчал, но пропажа книги взорвала его. Он вышел на середину комнаты и, нажимая на каждом слове, объявил:

— Дорогие друзья, у нас есть люди, которые елозят по чемоданам, лямзят чужие вещи. Это некультурно. Прошу немедленно возвратить белье и книгу.

С ним яростно сцепились наиболее отважные путешественники по чужим кроватям и сундучкам. Он, мол, должен знать, куда вселился, а если не знает, то они не прочь наглядно втереть в его мозги прекрасные их правила. Пусть с этого часа он оставит на вольном воздухе свои мещанские привычки и забудет, что такое есть собственность. Получил зарплату — выкладывай на бочку, имеешь костюмчик — вешай на общий гвоздь, бельишко там в чемодане — ключик в карман не клади... Если же эти порядки ему не по нраву, может отправляться на все четыре стороны. Вакир ответил им, что из коммуны не уйдет, а эти их порядочки,

которые плодят лодырей и дармоедов, посылает к черту в зубы.

Сенька-поэт со страстью стал на его сторону, хотя терпеть его не мог за чванство и оскорбительное к нему отношение как к поэту. Вакир вспомнил общежитие в трудовой коммуне — чистоту, порядок, строгость и уважение к досугу товарища — и решил, что эта комсомольская коммуна — настоящая казарма безнадзорных, среди которых прогульщики и отпетые матерщинники держали себя заправилами. Раньше времени он не хотел поднимать шума, чтобы не провалиться и не уронить своего достоинства. Он был глух, когда его называли «фертом», «интеллигентиком». А хулиганов бесила его независимость. Такие парни, как Семен, были терроризованы. Кое-кто из озорников пытался нахальничать — стаскивать Вакира с кровати во время сна, разбрасывать его вещи, подставлять ногу, когда он проходил мимо. Однажды он не вытерпел и встал перед ними с холодной угрозой в лице.

— Друзья мои, вы имеете дело с человеком, который прошел хороший стаж уркагана. Это было в прошлом, которое еще не забыто, имейте в виду. Ваши приемчики — невинное озорство. Не вынуждайте меня воспользоваться старым оружием: худо будет.

Он часто заходил к Татьяне и знал, что она его ждет в свободный вечер. Как бывает среди близких людей, говорили обо всем, немного спорили, немного ссорились, шутили, играли, смеялись или сидели и молчали, занятые своим делом: она писала или чертила, он читал или ломал голову над проблемой электропоезда, летающего в магнитном поле.

Недавно, в один из таких вечеров, неожиданно явился Кряжич, злой, взвинченный. Вакир отошел в дальний угол и сел там, уткнувшись в книгу.

Кряжич потирал руки и чувствовал себя неловко: как будто стыдился, что зашел нежданно-негаданно.

— Вы извините, что без предупреждения... Шел мимо и не утерпел... Душу негде отвести...

— Я очень рада, Николай Николаевич. Прошу вас... Чем это вы встревожены?

— Понимаете, хоть ночуй у себя в конторе...

— Что это значит?

— С женой у меня, как вы знаете, все покончено. Но она не оставляет меня в покое.

— Вы слишком к ней нетерпимы, Николай Николаевич. Это жестоко.

— Мы договорились, и она должна была уехать. Но... черт знает, что происходит...

И упавшим голосом сообщил:

— Сегодня она заявила, что уезжать раздумала. Ее начинают посещать разные люди. Немцы... Самородов... Шалнин со своей гитарой... Почему? Для чего?..

— Вакир, садись поближе! — Татьяна настойчиво позвала его взглядом. — Это, Николай Николаевич, — самый близкий мне человек, друг юности.

Кряжич насильно улыбнулся, совсем не интересуясь Вакиром, а Вакир не ответил на его улыбку и ниже наклонился над книгой.

— Вакир упорно работает в области практической физики... — оживленно сообщила Татьяна. — Он сейчас решает трудную задачу — сконструировать нечто вроде летающего поезда в магнитном поле.

Вакир возмутился ее откровенностью:

— Тибра!

— А разве это тайна, Вакир?

Она с невинным изумлением вскинула на него глаза и засмеялась.

— Это — не ново... — заметил Кряжич, занятый собою. — Такие игрушки можно видеть в Лондоне и даже у нас. Один наш физик давно уже изготовил такую модель. Я ее видел в Томском университете.

— Дело не в том, что ново, что не ново... — угрюмо сказал Вакир. — Важно самостоятельно мыслить.

— Это верно... — с насмешливым сожалением возразил Кряжич. —Но самостоятельная мысль бескрыла и бесплодна, если она наивна, то есть не вооружена знанием. Впрочем, вы молоды и науку с вашим характером завоюете...

— Мой характер... — с недобрым огнем в глазах усмехнулся Вакир. — Откуда вы знаете мой характер?

Кряжич оживился и с любопытством покосился на него. Татьяна засмеялась.

— Я угощу вас чаем, Николай Николаевич.

— Ну, что вы... какой там чай!.. — вздохнул он. — Вы с чаем, а я в отчаянии.

Он опять забеспокоился. Видно было, что его жгла тоска, что только одна Татьяна может уврачевать его душу.

— Понимаете... Самородов и Шалнин... и гитара... Какая-то бренькающая пошлость... И она, Рита, пляшет с Самородовым фокстрот. Я переживаю что-то вроде дурного предчувствия... Но эти немцы... немцы!..

— Не понимаю, что тут особенного, Николай Николаевич? Женщина одинока, отвергнута вами... А тут оказалась под рукой подходящая компания.

— Нет, вы представьте: в вашем жилье вдруг возник этакий зловещий гнус... Этот гнус расхаживает по квартире и развязно роется у вас на столе.

— Как? — удивилась Татьяна. — Даже не стесняясь вас?

— Ну, этого еще недоставало!.. Обнаружил я беспорядок сегодня... сейчас... Запер комнату и ушел... ушел под звон гитары...

— Это кто же? Не Самородов ли?.. Не этот ли фанфарон?

— Извините, это не фанфарон... Как-то на днях я работал дома. А там, у жены,—ассамблея. Вижу, тихо отворяется дверь, и предо мною конопатая ухмылка. «Трудолюбивый, говорит, муравей. Все пишете, пишете и похвал не слышите». Я взбесился. И он исчез, как дым... Сегодня я напал на жену: «Кто смел из ваших гостей рыться в моей комнате?» Она крикнула по-немецки: «Вы бредите. Не оскорбляйте моих друзей — вы оскорбляете меня...» Этот визг ударил меня, как пощечина... Я разогнал бы эту публику, но призадумался: почему это ни с того ни с сего вечеринки? Рита никогда сама не пошла бы на это. Очевидно, что-то не так (он растопырил пальцы и пошевелил ими)... Какая-то подозрительная канитель...

— А вы поиграйте с ними, Николай Николаевич, — шутливо посоветовала Татьяна. — Попляшите... Шалнин сыграл бы вам на гитаре, а Самородов посмешил бы веселыми анекдотами...

— Вам хорошо шутить, а каково мне...

Книга дрогнула в руках Вакира, а за книгой встряхнулись плечи: он смеялся.

4

Память о Кряжиче сохранилась у Вакира еще с первого дня — с знаменитого собрания. Знает он и его историю с Бубликовым, знает, какое участие в его судьбе принимает Тибра. Вспомнилась та ночь, когда он, Вакир, пережил мучительный припадок отчаяния. Это было недавно, но так могло случиться с ним только в первые годы его жизни в колонии.

Однажды, проходя вдоль стены аванкамеры, он увидел несколько фигур во тьме, за грудой материалов. Каркасы здания станции были освещены прожекторами, а силуэты шевелились в сумраке, как призраки. Стена казалась черно-фиолетовой, а тень четко разрезала площадку наискось. Вдруг он услышал имена Татьяны и Кряжича и замедлил шаг. Какие-то безвестные инженеры сплетничали насчет бестолковой любви Кряжича и трунили, что он, как мальчишка, бессилен сделать решительный натиск на Танечку. О ней же просто сказали, что она перед ним приседает, как курица перед петухом. Кто-то из них сердито заметил, что Кряжича и Братцеву надо немедленно женить, а то план опять крахнет, как летом.

Вакир опомнился от боли в пальцах — они впивались в острые ребра железных конструкций. Он пошел назад, потом опять вдоль стены, но никого уже не встретил на дороге. Только в разных местах копошились рабочие да пробежал по рельсам прыткий, окутанный паром паровозик.

В полночь, после работы, он вломился к Тибре и, не здороваясь, рухнул на стул.

Она всполошилась.

— Что стряслось, Вакир?

А он очень спокойно, почти строго, спросил ее:

— Кряжич любит тебя?..

— Ах, вот что!..— разочарованно засмеялась она. — Кто же это растравил в тебе ревность?

— Дело не в ревности. Почему ты не сказала мне об этом?

— Ну, пусть любит... какое же это имеет отношение к тебе?

— Вы женитесь?

— Какую ты чушь плетешь, Вакир!

— Значит, ты его не любишь?..

Он встал и с судорогами в лице простонал:

— Он мой враг... Я скорее погибну, чем дам ему коснуться тебя...

— Какой ты дурак, Вакир!

Она оскорбленно отвернулась, и это так на него подействовало, что не помнил, как очутился около двери, как хлопотала около него Татьяна.

После этого он не заходил к ней несколько дней и пропадал на электростанции по целым суткам. Спал, прикорнув где-нибудь на ящиках.

За эти дни он всем существом понял одно, что Тибра для него недостижима, что к ней он будет стремиться всю свою жизнь, что она для него так же близка и далека, как и в первые дни в коммуне, что она так же таинственна и прекрасна, как в тот миг, когда он открыл глаза в больнице.

Ее может любить и Кряжич, и бесчисленное множество людей, потому что ее невозможно не любить, и он не в состоянии предотвратить это. Он замолк, стал уединяться, но работу выполнял по-прежнему аккуратно и внимательно, к удовольствию американца. На него обратил внимание сам Уорд: однажды он похлопал его по плечу и бездушно буркнул: «Ол райт!» Но на Вакира он не произвел впечатления. И ребятам это очень понравилось. Они решили между собою, что у Вакира «зверская выдержка». Но он переживал в это время страшное чувство скорбного покоя.

Он хорошо видел, что Кряжич пришел к Татьяне не потому, что в доме у него завелись какие-то паразиты, а потому, что ему нестерпимо хотелось побыть с нею наедине, подышать одним с ней воздухом.

И Вакир злорадно решил, что для Кряжича она так же недостижима, как и для него.

Вакир встал, отчужденно прошелся по комнате, не интересуясь разговором Татьяны и Кряжича. Он будто понял, что этот человек совсем не такой, каким он его представлял себе. Татьяна находит с ним какие-то общие слова. Голос ее необычен: он играет лукавой насмешкой. О чем говорить с ним? И слов-то таких нет на языке, которые дошли бы до сознания Кряжича, точно оба они — люди разных миров. Вакир впервые видел образованного человека, который был силен в своих знаниях, в своей инженерской работе, но забавен в простых житейских делах. Он возводил мировую плотину, он большой авторитет среди советских гидротехников, у него есть ученые труды, книги, он имел мужество бороться за свои мысли и отстаивать их без боязни, он благороден и честен: не струсил перед диверсантом Бубликовым; последовательно и убежденно отказывался от своих заблуждений и решительно ломал себя, когда нужно. А вот сейчас жалуется на жену, на ее гостей, на то, что его выживают из квартиры, что кто-то хочет обмануть и обворовать его. Он — недотрога, чистоплюй и считает ниже своего достоинства интересоваться подлецами и хватать за горло негодяев. И Вакир почуял скрытый смысл шутливой игры Татьяны.

— Мне очень неловко... — вежливо сказал он. — Если я здесь лишний, могу уйти.

Кряжич поднял на него удивленные глаза и перевел их на Татьяну. Этот молодой человек был ему неприятен — он стеснял его: в нем было что-то недоброе и заносчивое. Он мог каждую минуту сказать ему дерзость.

— Глупости, Вакир. Я хочу, чтобы вы были друзьями.

— Тогда разрешите вмешаться, — так же вежливо вставил Вакир. — Раз в моем присутствии люди говорят о личных делах, я уж в некотором роде — участник. Разрешите мне задать вам вопрос, Николай Николаевич?

— Пожалуйста.

— Почему вы в такой панике?

— Не паника, а бунт.

Кряжич вынул портсигар, взял папиросу и звонко захлопнул крышку.

— Я не выношу наглости. А если около меня совершаются еще и вызывающие пошлости, я вправе рассматривать это как направленное против меня хамство. Поэтому я защищаюсь...

Вакир посматривал на него исподлобья, и этот взгляд раздражал Кряжича.

— Каким же оружием? Бегством? — Вакир не удержался от насмешливой улыбки.— Что ж, и это — самозащита... от сильного врага...

Кряжич встал со стула и окинул Вакира взбешенным взглядом.

— Я не понимаю ваших шуток, молодой человек...

— Извините, Николай Николаевич, но, по молодости лет, я уже совсем не возьму в толк вашу обидчивость. А потом снизойдите ко мне, бывшему правонарушителю, который без всякого тонкого воспитания имеет потребность рассуждать. Это — мое человеческое право, и отнять его у меня вы не можете.

Татьяна укоризненно качала головой Вакиру и строго сдвигала брови.

— Не озоруй, Вакир, я защищать тебя не буду.

— Достаточно того, что ты один раз меня защитила. Я это хорошо помню.

Она с улыбкой оглядела Вакира и прошла к буфетику.

Вакир тоже ответил ей улыбкой и освобожденно вздохнул.

Татьяна ставила на стол стаканы, тарелки, печенье, фрукты. И по оживленному ее лицу видно было, что она рада гостю. Из буфета она вынула чайник и пошла за водою. Только в этот момент Кряжич почувствовал, как просто, близко и молодо человеческое счастье. И Татьяна и этот юноша полны здоровья, силы и уверенности в своем праве на жизнь. Обидеть их нельзя. Оба они связаны общей судьбой, идут одной дорогой и знают, как помочь друг другу. Впрочем, они не одиноки: около них и рядом с ними много таких же здоровых и крепких юношей, родных по крови

и по духу. Этот парень мало симпатичен, но разве можно отказать ему в проницательности и жизненном опыте?

— Я сказал, может быть, не так, Николай Николаевич. Может быть, не по нраву вам... Но, честное слово, мне странно глядеть на такого человека, как вы...

— Почему же странно?

— Да вам не жаловаться надо, а ликовать. Когда есть друзья, с врагами и драться весело.

Кряжич с притворным негодованием бросился навстречу Татьяне:

— Нет, вы послушайте, что он говорит!..

5

В эту минуту вошел в комнату Игнатий Игнатьевич Шагаев. Приход его хотя был и неожиданный, но удивления не вызвал. Он нередко заходил к Татьяне запросто, без предупреждения и всегда приносил кучу новостей. С обычной тонкой улыбочкой он сделал жеманный поклон и замысловато взмахнул кепкой перед собою:

> Сеньоры, во дворцовом зале
> Часы двенадцатым ударом прозвучали...

Надеюсь, что в этот полночный час непредвиденный мой визит не вызовет вражды...

Татьяна радостно протянула руки. Игнатий Игнатьевич церемонно приложил их к своим губам.

— В неожиданности — вся прелесть, Игнатий Игнатьевич. Как хорошо!

Игнатий Игнатьевич снял плащ и повесил на спинку стула. Одет он был в сильно потертый пиджачок, под пиджачком — холщовая косоворотка.

— Я начинаю бродить в минуты отдыха, — угрожающе изрек он. — Дурной признак. Я не нахожу себе места...

— Ну, второй не находит себе места!.. — засмеялась Татьяна. — Вы тоже жалуетесь?

— У Николая Николаевича полон дом народу. На что ему жаловаться? Прохожу мимо — сияние огней и плеск веселья. Завернул к нему, но фрау Кряжич огорчила меня: муж исчез бесследно. Причем очень мило предложила мне быть ее гостем... Я, конечно, растрогался и с благодарностью принял ее приглашение...

Он мимоходом пожал руку Кряжичу, а Вакира обхватил за шею и привлек к себе.

— Глупо, глупо, дорогой мой, что ты — ничей... безотцовщина...

— Наоборот, Игнатий Игнатьевич, я всем родня.

— А почему ты смотришь на меня, как на зверя?

— Как на охотника, Игнатий Игнатьевич...

Шагаев скорбно продекламировал в лицо Кряжичу:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий...

— Вот и я говорю... — подхватил Вакир.

— Что говоришь? — сварливо накинулся на него Шагаев.— Что ты можешь говорить нам, старшим?.. Ты можешь только оскорбить слух своим лепетом...

— Проберите его, Игнатий Игнатьич, — пожаловался Кряжич. — Не успел я оглянуться, как он свирепо набросился на меня.

— Ах ты, варвар!..

Сели за стол попарно: Татьяна с Кряжичем, Вакир с Шагаевым.

— Ты мне дороже сына, юнош дорогой... — вздохнул Шагаев. — Ты один из самых верных борцов за идеалы техники безопасности. Знание, энтузиазм, соревнование сокращают нам опыт быстротекущей жизни.

Кряжич глядел на Шагаева и вопросительно улыбался. Этот хитрый человек никогда не теряет времени понапрасну, и его появление у Татьяны, очевидно, неспроста.

— Вы уж, Игнатий Игнатьич, — подмигнул ему Кряжич, — сразу берите быка за рога. Это у вас лучше выходит, хотя вы и любитель присказок и предисловий...

— А я хочу уюта и ласки. Я жажду отдохнуть под лебединым крылом нашей милой девушки... Здесь свет и молодость...

— Ну, чем не поэт? — засмеялся Кряжич.

Он отхлебнул из стакана, но чай был горячий, и он обжегся.

Игнатьич с лукавым сочувствием посмотрел на него и вздохнул:

— Ох-ох, как неожиданны бывают ожоги!..

Посмеялись. А Кряжич подхватил весело:

— Как каламбуры и новости Шагаева...

— Увы! По ночам петухи поют хрипло...

Татьяна встревожилась, но ресницы ее дрожали от затаенной улыбки.

— О чем же поют ваши петухи, Игнатий Игнатьич?

— Ах, как люди жаждут новизны! — воскликнул Шагаев, закрывая глаза от избытка чувств. — Жизнь полна странных внезапностей и загадок. Ну, к слову: мог ли я предполагать, что фрау Кряжич, этакая затворница, явится передо мною в роскошном платье, как королева, и любезно удостоит меня своим вниманием?

— Вы достойны всяческого внимания, — серьезно заметила Татьяна. — Но на ваш костюм я посматриваю критически...

— О! фрау Кряжич зорко проверила мои одежды. Разумеется, явлюсь я в смокинге и с белой астрой в петлице.

— А я считаю, что вам нужно, Игнатий Игнатьевич, не являться, а войти во всей своей правдивости... — глубокомысленно заметил Вакир.

Шагаев покосился на него и строптиво прикрикнул:

— Ты — долгоногий щенок. Хотя ухо у тебя и отжевано, но, оспаривая старых псов, eo ipso, ты унижаешь их авторитет. Кто мне делает пропозицию — ты или фрау Кряжич?

Кряжич нетерпеливо поглядывал на Шагаева и посмеивался его игре. Чем сенсационнее была новость у Шагаева, тем он продолжительнее томил друзей.

Татьяна ликовала: Игнатий Игнатьевич всегда вносил в разговор веселую легкость и какую-то интригующую свежесть. Ей было приятно еще и потому, что Вакир чувствовал себя хорошо в обществе этих людей.

— Какая дерзость!.. — обличительно провозгласил Шагаев. — Он смеет оспаривать народную мудрость: по одежке встречают...

— Я уже не застал этой мудрости, — ответил Вакир. — Ее, кажется, вымела революция вместе с другим сором! Наш мастер Чубук поучал меня: бей и не побит будешь... Это мне ближе и понятнее.

— О времена, о нравы! Какой у тебя, сынок, неотесанный и откровенный ум!..

— Порочный ум... — согласился Кряжич.

— Вы оговорились, Николай Николаевич! — поправила Татьяна. — Не порочный, а — прочный ум.

— Но не удобнее ли для нас, Николай Николаевич, хотя бы изящный ум Стрижевского? Этот замнач всегда одет безукоризненно, и манеры его полны благородства. Последний из могикан! Это — римлянин. Я преклонялся перед ним сегодня, как плебей, когда он, окруженный иностранцами, красиво говорил с ними о кризисе со строительными материалами. Это звучало, как стихи, когда он обворожительно заявил, что даже щитов на опалубки не будет в ближайшую декаду...

— Мне это неизвестно... — искренне удивился Кряжич.

Для него это действительно была новость: Стрижевский, ведающий строительными работами, не нашел даже нужным предупредить его.

— Вы слишком застенчивы, Николай Николаевич, — кротко и ехидно ответил Шагаев. — А Стрижевский — ласков и мил, как тигр.

— Но последняя бадья!.. — встревожилась Татьяна. — Она обязательно должна быть уложена к Октябрьским дням.

— Ах!.. — вздохнул Шагаев. — Дорогая девушка, последняя бадья — это только мечта романтиков... Так изрек Стрижевский. Он философ и сердобольный

реалист. Романтизм, говорит, подкоренное число с отрицательным знаком.

— Я когда-то уважал этого человека... — раздумчиво сказал Кряжич, — уважал за последовательность и твердость мыслей. Эти мысли когда-то совпадали с моими. Но я не питал к нему симпатии: он по характеру — лиса.

Шагаев передал стакан Татьяне и угрожающе посмотрел на Вакира.

— Но более эффектная драма у нас на электростанции.

— Знаю... — подхватил Вакир.

— Ни черта ты не знаешь. Где ваши рабочие?

— Твердо и убежденно заявляю: на местах.

— Ты, милок, способен взбесить самых уравновешенных людей вроде меня. Они — в соцгороде.

— Они не в соцгороде, а на электростанции, Игнатий Игнатьич.

— Ты меня считаешь за Дагобера?

Татьяна смеялась. Кряжич тоже улыбался, покуривая.

Шагаев вдруг озабоченно обратился к Кряжичу:

— Вы, Николай Николаевич, позвонили бы сейчас на бетонный завод правого берега — почему вышли из строя две бетоньерки? У вас там веселые шалуны.

Кряжич быстро встал и ринулся к телефону. С негодующим спокойствием он ответил:

— Это похоже на обычную вашу шутку. Почему мне об этом не сообщили?

— Люблю пошутить, Николай Николаевич, верно. Шутка окрыляет душу. Но вам сообщали. Это факт. Вы же ходите по гостям. Вот почему я счел долгом посетить вас на дому.

Кряжич позвонил в свою контору, но ему ответили молчанием. Он вызвал завод. Из разговора с каким-то инженером выяснилось, что бетоньерки внезапно потерпели аварию от чрезмерной перегрузки...

— Еду! — угрожающе решил Кряжич и направился к вешалке. — Любопытно схватить за горло подлецов.

— Красив человек в бешенстве своем... — с наслаждением сказал Игнатьич.

— Сначала вызовите машину, Николай Николаевич, — посоветовала Татьяна. — Не пешком же идти. Я еду с вами.

— Я уважал этого человека, — взволнованно говорил Кряжич. — Я верил ему... Но это — иезуит. Он замял дело о пожаре на комбинатах. Он не раз намекал мне, что Бубликов не так страшен, как его малевали. И когда встречал с моей стороны отпор, почему-то юлил около меня, говорил комплименты и упрашивал посетить его на дому. Теперь для меня все понятно: это последовательный, принципиальный негодяй.

— Крайности, крайности, Николай Николаевич, — хитро усмехался Шагаев. — Опасайтесь крайностей: они всегда заострены...

— Очевидно, меня учат только крайности... — огрызнулся Кряжич и озабоченно обратился к Татьяне: — Вам, конечно, надо поехать. Новые бычки... сквозной договор...

Татьяна украдкой взглянула на Вакира, но он таинственно о чем-то совещался с Шагаевым.

— Ты ночуешь здесь, Вакир?

— Мы сыграем в шахматы с Игнатьем Игнатьевичем.

— Но я могу не возвратиться до утра.

— Ключик при тебе, дорогая? Можешь не беспокоиться.

Кряжич молча пожал руки Шагаеву и Вакиру.

Игнатий Игнатьич уже не интересовался Кряжичем: он с аппетитом пил из блюдечка чай вприкуску. Татьяна улыбалась. Николай Николаевич вдруг растроганно сказал:

— Хорошо жить, когда есть чувство локтя. И не одного, а обоих локтей.

— Опасайтесь локтей! — с притворным ужасом крикнул Шагаев. — Чем ближе локоть, тем больнее бьет.

Вакир поставил на стол шахматную доску.

VII. КТО НЕ СПИТ ПО НОЧАМ

1

Гудим каждый день ездил на стройку двух железнодорожных мостов: нужно было самому наладить и укрепить работу партгруппы. Ребят послали сюда со шлюза и комбинатов, а парторганизатором выдвинули Репея, и он был этим очень доволен.

Один большой мост с берега на остров строил «Стальмост», а другой, меньший, — с острова на другой берег, — чехи. Фирма прислала сюда своих инженеров, рабочих и оборудование. Чехи жили на острове, на высоком берегу, в дощатых бараках. У них были своя лавка, своя столовая, свой врач, и в советский поселок на другой стороне острова никто не заглядывал: строго-настрого запрещалось общение с русскими рабочими.

А если рабочие встречались случайно, чехи молча проходили мимо, исподтишка бросали на них взволнованные взгляды.

На этом супесчаном горбыле, разорванном оврагами и гребнями гранита, было пустынно и неприютно. Кое-где во впадинах и по берегам кудрявились заросли лозняка и ольхи и рваными пятнами зеленела трава, а когда вдруг начинал дуть ветер с востока — суховей, — откуда ни возьмись мчались, прыгая по пескам и пегой траве, прозрачные шары перекати-поля.

Хладнокровие Гудима, его неизменная уравновешенность в работе и в партийном комитете, и на площадке, и даже в столовой ИТС, где он обедал, многих забавляли, а многих выводили из себя. Одни приписывали эту его особенность бюрократическим навыкам, другие — чванству и честолюбию. Всем казалось, что он совсем не способен волноваться. Случалось, что во время аварий и скандалов десятники, бригадиры и рабочие обступали его, кричали и ругались, а он, не обращая на них внимания, сам расследовал обстоятельства дела, допрашивал, проверял механизмы, вызывал завтехникой безопасности Игнатия

Игнатьича Шагаева и вместе с ним устанавливал причины неполадок. Тут же на месте исправлял ошибки в распорядке работ, делал строгие выговоры и проводил новые мероприятия. А в заключение поучительно внушал:

— Чтобы хорошо работать, надо уметь оперативно руководить. А вы не отвечаете за себя, потому что не научились мыслить по-большевистски. Нет у нас тупиц и бездари, есть только растяпы и вредители.

Шагал он по участкам твердо, по-военному, но тяжеловато, немного сутулясь.

Как-то он остановился около одной женской бригады на щебне. Хорошенькая бабенка кокетливо подошла к нему и, выпятив грудь, боком проплыла мимо, вызывающе играя глазами. Женщины визжали от хохота, а она, подергивая плечами, пропела:

Милый мой, Мартын косой,
Не смешай меня с другой...
Я — цветок, ты — сухостой.
Убирайся, черт с тобой!

Гудим внимательно вгляделся в нее, проверил ее движения и невозмутимо определил:

— Ритм хороший, но вхолостую. Ты на щебенке не годишься. Надо перевести тебя на бетон: там такие ноги — в самый раз.

И пошел дальше, глухой к хохоту и крикам женщин.

Весь свой день он проводил в партийном комитете и на плотине, на главном и ответственном участке работ. Обязательно бывал на электростанции, на шлюзе, на комбинатах. Раз в декаду ездил на мотоцикле в колхоз выселенцев, где орудовали Прокоп с Домашей. Хотя по ночам уже выпадал на траву иней, а над рекой дымился туман, он ровно в семь часов шел с полотенцем в руках на берег и погружался в воду. Неторопливо и основательно вытирался до красноты и делал утреннюю зарядку. В половине восьмого выпивал в парткоме два стакана горячего чаю, который готовила только для него уборщица Марфа. Оба они — и Марфа и он — молчаливо проводили это

время до девяти часов, как будто не замечая друг друга. И это очень нравилось Гудиму. Марфа, пожилая вдова, похожая на беременную, относилась ко всем с гордым хладнокровием. Но Гудима обожала и считала образцом для всех. Как-то она подошла к Васяю и сказала наставительно:

— Ты еще стригунок, и уши у тебя щенячьи. Ты думаешь, ежели вожакуешь над комсой, так ты человек?..

— Даже больше, чем человек, Марфенька, — скалил зубы Васяй. — Я образ истории...

— Люденыш ты... образ!.. Человеком ты тогда будешь, когда товарищ Гудим помолчит с тобой, как с ровней.

Васяй хохотал и вертел ее из стороны в сторону.

— Ах ты, коварная женщина! Знает, что немые — самые хитроумные люди...

Марфа отталкивала его и сокрушенно качала головой.

Несколько дней подряд после отъезда Мирона в Москву Гудим пропадал в котловане,— у подножья тех трех бычков, которые выросли на «гнилых подушках».

Уже много дней люди ломали головы над тем, как обуздать эту проклятую скалу. Приходил Кряжич, развевалась на ветру борода Шлиппе, размахивал полами макинтоша Вихляев. Опечаленно улыбался Борзяй, а Шлиппе обращался к нему с шутливым упреком:

— Ну, Петр Иванович, что же нам делать с вашей геологией? Задали вы нам задачу...

Борзяй сидел на камне и внушительно отвечал:

— Мое дело — диагностика, а ваше — искать пути, средства для врачевания...

— Утешил, старик, нечего сказать, — беспечно смеялся Шлиппе, — совсем как доктор: больной — плох, исцелит бог.

Немцы — консультанты, — белобрысые, похожие на туристов, шагали около бычков и безучастно переговаривались между собою, обособленно, отчужденно, замкнуто.

Кряжич подходил к ним и старался вмешаться в

их разговор. Они авторитетно бросали ему короткие фразы на своем суровом языке.

Кряжич щурился на них и усмехался. Шлиппе добродушно гладил бороду. На висках у него лучисто собирались морщинки.

Кряжич со злой вежливостью начинал спорить с немцами, но они отмалчивались и уходили.

— Вы понимаете, Генрих Карлович, они очень просто разрубают гордиев узел...

Шлиппе кивал головой и ласково чесал свою бороду.

— А вы потерпите, потерпите, Николай Николаевич... Терпение и труд — все перетрут.

— Странный все-таки народ, Генрих Карлович. Вы вот тоже немец по происхождению, но в вас нет этого педантизма.

Шлиппе улыбался морщинками и удивленно поднимал брови.

— Ну, какой же я немец? бывший дворянин... Дед — славянофил, а родитель — земец-либерал...

И лукаво играл бровями.

— Знаете, я предпочитаю не только не воевать за планы, таблицы и графики, но нарушать их, если требует этого коллектив. Отвечаю не я, а коллектив. Запомните. Надо учиться этой мудрости у Викентия Михайловича. Народ — стихия: он неотразим — свое возьмет.

Кряжич сквозь зубы недовольно бурчал:

— Оппортунизм бездушен, Генрих Карлович, потому что он беспринципен.

Шлиппе в ужасе поднимал брови.

— Ух, какой вы ребенок! Не прыгайте выше головы: это противоестественно. Жизнерадостность — это стоицизм.

Путаясь в полах макинтоша, Вихляев подходил к ним потный и измученный.

— Да-с, знаете ли... уж подлинно — скважина... Чертова дыра... прорва!.. Картина, достойная пера психолога... Ежели производить выемку — в ад угодим...

А Борзяй улыбался всеми морщинками на лице.

— Картина этого гнездышка земной коры вам ясна, друзья. А победа над природой зависит не столько от техники, сколько от нашей воли и дерзости.

Гудим стоял среди бурильщиков и инженеров и, казалось, бездумно смотрел на сахарные изломы монолита под бычками. На всем пространстве гранитов не было видно ни трещин, ни провалов, ни дыр, забитых грязью и галькой. Только поодаль, со стороны островка и у основания среднего бычка, весело играли в камнях ручейки прозрачно-чистой воды.

Кое-кто из рабочих возился около бурильных станков, некоторые грустно сидели на камнях, дымя папиросками. Они молча переглядывались с Гудимом, недружелюбно ругались и покрякивали. Гудим рассеянно посматривал на бетонную башню с отпечатками досок на стенах.

— А ведь, пожалуй, ребята, нас попрут отсюда...

— Все может быть... — весело согласился рабочий с рыжей шерстью на щеках.

Гудим вдумчиво изучал бычок и прислушивался к гранитам.

— Дрянь дело, ребята. Поражение. Приходится отступать.

— Как это — отступать? — возмутился крепко сбитый паренек. — Никакого не может быть поражения.

Он снял кепку с головы, с презрением взглянул на нее и опять бросил на лоб. Потом встал, поправил широкие парусиновые штаны.

— Я не голосую...

— Это по какому же предложению, Митя? — с лукавым участием спросил рабочий.

— Я не голосую, Ефим Уколов!.. — упрямо повторил парень, опять срывая кепку. — Ежели товарищ Гудим строит сатиру, я сдаваться на его подходы не желаю. Я ночей не сплю из-за этих чертовых подушек... Я, может, болею от этого... Жизнь моя на этой скале — глупая...

— Все может быть... — засмеялся Уколов. И вдруг задумчиво, с притворным сожалением спросил вкрадчиво: — А ежели, Митя, жизнь твоя глупая на скале, то есть бесполезная, — как же ты бунтуешь?

— Вот так и бунтует, сорока-барыня... — строго пояснил Матвей. — И я бунтую, Яфим. Ежели не дается дело, как не забунтуешь? А инженеры молчат, арапы, — сами невеселые. Немцы — что? Им абы с рук долой, им хоть все вдребезги расшиби,— наплевать. А это, может, для меня — смерть. Митя страдает правильно. Я тоже никак не согласен голосовать...

— Я не желаю сидеть здесь сукиным сыном... — свирепел Митя. Он побледнел и враждебно избегал взгляда Гудима и товарищей.

— Так давай же, Митя... — с насмешливой вкрадчивостью запищал Уколов. — Я весь готовый... — И засмеялся. — Выноси резолюцию, Митя. Кто же нас мучил по ночам, как не ты?..

К ним подошел, прислушиваясь к их крикам, Борзяй. С ним всегда так бывало: стоило ему увидеть и почувствовать оживление и спор среди людей, он сейчас же тянулся к ним.

Гудим был доволен: он внимательно следил за рабочими, изучая каждого из них и соображая что-то про себя. Хотя лицо его было непроницаемо, но в душе он переживал какие-то порывы. Что-то похожее на улыбку мерцало у него в глазах. Но он владел собою расчетливо, осмотрительно и делал вид, что только от рабочих ожидает окончательного решения.

— Наплевать мне на ваш бунт, друзья!.. Не бунт важен, а успех дела. Ни к черту мы с вами не годимся.

— Все может быть... — посмеивался Уколов, подмигивая Мите. А Митя увидел Борзяя и с негодованием рванулся к нему навстречу.

— Товарищ Борзяй!..

— Слушаю, слушаю, юноша...

...По общему мнению сведущих людей, подушки нельзя было устранить. Хотя бычки и будут стоять, но вода рано или поздно прорвется через эти рыхлые гнезда. Решили исследовать гранитное дно в верхнем и нижнем бьефах. Результаты были безотрадны. Немцы решительно требовали: взорвать бычки и произвести глубокую выемку породы.

Эта история привела в смущение и Балеева.

Он собрал техническое совещание, но совещание это только внесло сумятицу в дело.

Кряжич твердо заявил, что он не допустит взрывать бычки и найдет выход более достойный для советской гидротехники. Он будет иметь дело не с бризантными силами, а с силой сцепления. Он не доверяет консультантам и их требование считает нелепым и подозрительным. Инженеры испуганно смотрели в его сторону, а он резко отчеканил, что об этом не постесняется сказать немцам в лицо. Балеев улыбался.

...Митя не спал по ночам, бродил по бараку между койками и стонал, как больной.

— Митька! — рычал на него из-под одеяла Матвей. — Ложись, домовой!.. Половицы вместе с тобой ходят...

— Невмоготу, Матвей... Не спится, не лежится... Несчастье у нас, Матвей...

А Уколов сонно похихикивал в кровати:

— Все может быть.

— Вы, сволочи, ни о чем не думаете... У вас сердце мохнатое... А я вот страдаю за всех...

— А ты не страдай, Митя... — издевался Уколов. — Коли у тебя это по охотке — не изъявляй воопче... страдать страдай, а спать не мешай...

— Ехида! — ярился Митя. — Из таких, как ты, дезертиры и летуны родятся.

— Все может быть...

— Будешь ты спать, Митька! — угрожающе кричал Матвей, и со всех сторон тоже начинали ворчать рабочие.

— Не желаю спать... Это мое добровольное дело...

— Не будь сукиным сыном, Митя... — добродушно ругался Уколов. — Не броди лунатиком — койка шкварчит.

— У меня, может, сердце шкварчит... Что мне твоя койка?.. Надо знать интерес...

— Вот малохольный, сорока-барыня!.. — вздыхал Матвей и садился на кровати. — Шагай сюда, давай рассуждать... Прекращай спать, Яфим..

Склонив друг к другу головы, они долго шептались

и ложились, примиренные. Но через некоторое время Митя опять мычал и спускал ноги с койки. Он сидел на ней, вцепившись руками в голову. Потом крякал, вставал с постели и опять бродил по бараку.

И вот Борзяй будто почувствовал в нем этот неугасимый огонь тоски: он подошел к нему с любопытством и оживлением в глазах.

— Слушаю, слушаю, дорогой...

— Скажите, товарищ Борзяй, вот эта рухлядь под бычками — глубокая она?

— Глубокая, дружок: если выбрать ее до последнего камня, бычки могут деформироваться. Большое поле.

— Значит, бычки все равно повалятся, ежели удалить эту дребедень?

— Обязательно рухнут, юноша.

— Значит, мы будем дураками, ежели выгрузим этот навоз?

— Похоже, что будем дураки... — дружески улыбался Борзяй.

— Ладно, не возражаю. Но ежели, товарищ Борзяй, это барахло не тревожить, — что будет?

— Ничего не будет, юноша. Но гидротехники — народ упрямый, дружок: они считают самым свирепым и опасным врагом воду. Тебя же я понимаю. Что может устоять против душевной бури?..

Рабочие переглядывались, перемигивались, хитренько притворялись внимательными слушателями, но видно было, что Борзяя они считают за безобидного и потешного чудака, говорящего на непонятном языке. Люди они были практические, и всякие слова и мысли для них имели значение и ценность как выражение их дел, стремлений и поведения. А этот старик, проживший долгую жизнь, похож на какого-то приятного проповедника и прорицателя, слушать которого хоть и занятно, но бесполезно. Митя же отнесся к нему иначе: он вытянул шею и жадно ловил каждое его слово, глубокомысленно сморщив лоб. Он ждал от Борзяя каких-то больших, авторитетных слов. Казалось, что он только один проникал в мудрый смысл рассуждений Борзяя и постигал их особую глубину.

Гудим был по обыкновению безучастен и слушал Борзяя так, как слушал очередного оратора, точно заранее знал, что скажет этот старик.

Кряжич прошел к группе рабочих, которые плотно обступили Борзяя и слушали его с снисходительным вниманием. Только Митя был радостно возбужден.

— Не верь никому, дружок, — поощрял его Борзяй. — Не верь никому, что ночи даны для сна.

— Истинный факт, товарищ Борзяй... — И сразу набросился на Кряжича: — Значит, пропадать нам, товарищ Кряжич? Куда же это годится?.. Я ночей, понимаешь, не сплю... с ума схожу... Где же наука-то, товарищ Борзяй?.. Неужели бычки ломать, товарищ Кряжич?.. Как же так? А труд-то?.. Ведь я помню: здесь и человечьи жертвы были... И это — ни во что?.. Да за это судить надо... Может, такой оборот для товарища Шлиппе и пустяковина, а для меня, для нас вот — это наша кровь... цена жизни... Неужели такую пропастину цементом нельзя?.. Можно, товарищ Кряжич... скажите, что можно... Вон товарищ Борзяй с сердцем высказал насчет душевной бури-то: ничто не устоит...

— Он, этот пропадущий Митька, — не вытерпел Ефим, подмигивая Гудиму, — в тоску нас вогнал... Митингуем по ночам, леший... Прямо хоть из барака беги... Цемент да цемент... Лежачий, говорит, рухляк там сварить надо... И Матвея нашего, сороку-барыню, взбаламутил... тоже закрутился, как чумной баран... Ослободили бы, что ли, нас от таких несчастных жителей... хоть бы выспались всласть...

Кряжич, к удивлению всех, потрепал Митю по плечу.

— Верно! Молодец!.. Мы с тобой, голубчик, стоим на одной точке зрения. Твои соображения правильны. Взрывать бычки не будем.

— Истинный факт, товарищ Кряжич! — счастливо крикнул Митя.

Вихляев с обычной для него певучей теплотой воскликнул, ни к кому не обращаясь:

— Ух, и народ наш... красавец!.. А какие песни поет!..

2

Новый железнодорожный мост рабочие обязались закончить к зиме. Первые поезда должны были пройти по линии в новый год. Сборка мостов считалась ударным делом. Стальные конструкции громоздились на береговых площадках, тяжелые, страшные в своих изломах и дугах. Монтажные работы производились посредством портальных кранов. Клепальные молотки металлическим хором дребезжали в переплетах и слышны были даже в соцгороде.

Репей и днями и ночами пропадал на работах. Он скоро узнал всех слесарей и клепальщиков, всех мастеров, инженеров и техников. Как опытный кузнец и слесарь, он видел, что работы шли лениво. Господствовали всюду мастеровщина, и каждый из этих людей, набранных в разных городах Союза, привык копошиться у своего места вразвалочку, с цигарочкой и бесцельной раздуминкой. Каждый отвечал только за себя и не интересовался работой другого. Репея встречали и провожали насмешечками, подмигиванием и нарочно собирались около него с хитринкой, чтобы побалагурить, поджечь его на ораторство, а потом ехидным вопросиком и озорством сделать его посмешищем для всех. Большинство этих людей вербовались самим Старателевым и его помощниками. Заводским рабочим трудно было бороться с этими кустарями. Но возбуждение, которое охватило тысячи рабочих в дни кампании за встречный план, взбудоражило и мостовиков. Они рьяно начали изучать проект сквозного договора, посылали делегатов на смежные участки и день ото дня вовлекались в дела всей стройки. Торжественно подписали они договор и сразу почувствовали, что с этого часа отвечают уже не только за себя, но и за всех. Выполнение его было уже делом чести.

Отпечатанный текст был вывешен всюду — и в конторке, и на мостовых конструкциях, и в общежитиях.

Репей собрал около себя своих шлюзовиков и ленинградцев и устраивал производственные летучки, дружески убеждая людей:

— Решайте, друзья-товарищи... Вы — хозяева, вы --

сила... Показывайте, где Москва на карте... Вон на плотине девчушки чудеса делают, о них в газетах пишут... А неужто же мы, при нашей силе-возможности, не возьмем правильной линии и не покажем класс производительности?..

Однажды он поставил в пример чехов: как же это мы, советские рабочие, допускаем, чтобы над нами издевалась буржуазная фирма? Мы свободный рабочий класс, а над нами хохочут, в грош не ставят, дикарями и бездельниками величают. У них, у чехов-то, — эксплуатация, они мучают рабочих, как грешников в аду... Больницы у них нет, заботы о народе нет. Вон упал один с конструкций и умер без помощи тут же, на камнях. Болезни... Не выдержал один клепальщик и в горячке побежал к нам же — к братьям своим, как из плена. Вот как. А мы хулиганим, не ценим своих благ, не гордимся... Да куда же это годится? Да как же мы уважать-то себя смеем? Да где же у нас тогда Москва на карте?

Заводилой озорников был Перебойченко, здоровенный детина, с мстительными глазами. Он отшагивал напористо, не замечая людей и загребая левым плечом.

— Мы им, х-хадам, сами покажем, где Москва на карте... Поглядим, кто кого охомутает... Мы работали с начальником Старателевым... Можно сказать, орел... У нас никаких неполадок с ним не было... А тут — пожалуйте!.. наше почтение!.. — орханизаторы явились... сквозняков напустили... обязательства!.. Кто давал им право давать за нас обязательства?.. Чехи пускай ухнетенные, а на сквозняках не работают. Нас же, свободный, рабочий люд, палками выхоняют на встречные сквозняки...

Шайка хулиганов начала действовать угрозами и расправляться кулаками с теми из рабочих, которые находились в их артели.

3

Вскоре произошло событие, которое потрясло и возмутило всех рабочих. Однажды глубокой ночью на мосту раздался звериный рев. Рабочие бросили работу

и сломя голову побежали на крик. Клепальщик-комсомолец, недавно присланный с ГЭСа, лежал на настилах досок скрюченный, с застывающей судорогой в теле. Пиджак у него дымился и вспыхивал огоньками в разных местах. Когда его осмотрели — нашли, что кто-то всадил ему в грудь добела раскаленную заклепку. Парень с отбойным молотком стоял у стальной фермы, а напарником у него был Перебойченко. Рядом работали еще несколько пар. В суете не заметили, кто это сделал — нарочно или нечаянно.

Сбежалась большая толпа и хмуро стояла вокруг трупа. Кто-то наклонялся и тушил тлеющий пиджак. Кто-то поднял руку парня и бережно положил вдоль тела. И вдруг тихий и угрожающий голос спросил:

— Это кто же такой?.. Это какая же сволочь?..

Люди заволновались. Кого-то схватили, с кем-то боролись и тащили к толпе.

Перебойченко дергал то одной, то другой рукой, стараясь вырваться.

— А ну, брось! а ну, не цапай, х-хад!.. Кто свидетель? Докажи и опиши ежели ты очковидец... А н-ну же, ховорю! Оставить свои хваталы: я сам моху стоять на нохах и защищать свою личность...

— Это ты мутил... Кто брехал, как не ты?..

— А ты не брехал?.. Заявляю: ты брехал...

— Кто у горна? Являйся!..

Чахоточный с виду кузнец, в кожаном фартуке, плаксиво улыбнулся.

— Не видал я... Работаешь на бригаду... Народу тут шатается — прорва...

Так и не узнали, кто сжег комсомольца. Но подозрение падало только на Перебойченко. Подозрение это перешло в уверенность в день похорон парня: Перебойченко не провожал гроба до кладбища, а носился с открытой грудью, с оскаленной мордой озорника по общежитиям, по площадке и потешался:

— Еще никто Перебойченко не брал на абордаж. Кровкой захотели покапать на мою личность... Не удастся во веки веков... Перебойченко не в таких переплетах бывал...

Пока милиция расследовала дело, Перебойченко продолжал работать на своем участке. Правда, он был задержан на сутки, но потом явился с победоносным нахальством. Рабочие волновались: никто не хотел становиться с ним в пару. На могиле комсомольца все решили объявить Перебойченко бойкот: не общаться с ним, не разговаривать, не отвечать на его вопросы.

В первые дни он держал себя героем: похохатывал и задирал рабочих. Но они молчали, старались не замечать его, а в общежитии около него была немая пустота. С ним никто не работал, никто к себе не принимал. Даже его прежние дружки отшатнулись от него, подавленные жутким безмолвием. Он жил среди людей, но был одинок. Вокруг него шла обычная жизнь, ревели отбойные молотки, шумели горны, лязгало железо, а он, безработный, бродил, как пес, и его хохоток и издевательские насмешечки не долетали до ушей. В общежитии он не мог найти себе места, кроме своего топчана: как только подходил к группе рабочих или к кому-нибудь из соседей, сейчас же все поднимались и уходили. Он по-прежнему шагал с обычным мстительным взглядом исподлобья и издевался над «сквознячками» и ударниками, но гнетущая тишина уже испугала его. Он озирался и грозил: «Ну, х-хады!.. вы еще не знаете Перебойченко...» И вдруг исчез куда-то и не являлся два дня. Кто-то видел его в старом городе, а кто-то встретился с ним в «самосадном поселке» Нахаловке, где он «разорялся» в пьяной компании.

В общежитии строго-настрого запрещалось приносить спиртные напитки. Ежели пьющим людям было невмоготу, они уезжали в старый город. Однажды ночью Перебойченко заявился с бутылкой водки, сел за стол, вызывающе крякнул и с шутовским величием провозгласил:

— ...и источника бессмертного вкусите!..

Люди угрюмо отошли от него еще дальше. И даже самые ненадежные парни, которые раньше якшались с ним, разбрелись по отдаленным углам. Он сидел и притворялся, что наслаждается и что ему наплевать на всех, сосал прямо из бутылки, крякал, завывал и стучал кулаком о стол.

— Ха, шито, бито, резано... Осада крепости?.. Наплевал я на вас с высокой башни... Ваня! иди, корешок, причастись... Где горячие денечки наши, Костя!.. А-а! Изменники дружбы!.. Попомните, Костя и Ваня: быть вам обратно в утробе матери-земли...

Но в выкриках его слышалась растерянность. Он видел, что рабочие тихо совещались о чем-то не обращая на него внимания, и чувствовал, что эти чужие теперь люди становятся зловещими и загадочными.

Пришел комендант с портфелем. Из-под насупленных бровей он смотрел не на Перебойченко, а куда-то поверх его головы, в пространство барака.

— Гражданин Перебойченко, прекратите в стенах общежития употребление крепких напитков. Я должен составить протокол и по решению рабочих выселить вас из общежития.

Перебойченко забушевал и замахнулся бутылкой на коменданта. Но комендант как будто не чувствовал его угроз.

Перебойченко упал духом. Он рухнул на табурет и уронил голову на руки.

— Попомните, х-хады!.. Жив Перебойченко, и не потухла его звезда... Костя и Ваня, не забывайте своей судьбы! Не в мохилу вы меня провожаете, братишечки... а встретите меня, как хостя дорохохо...

Он встал и надавил плечом на коменданта.

— Ну, шпанская муха, веди!..

Комендант с затаенной усмешкой дернул плечами.

— Не выйдет. Мест́а для тебя везде под бойкотом.

— Так-с. Чисто сработано. Значит, под осенние небеса?

— Логически — так. Собирайте ваши вещи и оставьте помещение.

Перебойченко стоял зеленый. Лицо его дергалось. Он прищуривал то один, то другой глаз.

Очень медленно подошел к одному из столбов, которые шли в два ряда вдоль барака, прислонился к нему плечом, потер рукою волосатую грудь и прохрипел:

— Сдаюсь! Без никакого красноречия.

Кто-то насмешливо добил его:

— Москва слезам не верит...

Эти беззлобные, почти шутливые слова оглушили Перебойченко. Он отшатнулся от столба и угрожающе шагнул на голос, втягивая голову в плечи. Казалось, что он рванется к рабочим и начнет бить их направо и налево.

— Это кто сказал? Это мне веры нет?

Но ему никто не ответил.

Он привык иметь дело с отдельным человеком, а перед ним было много людей, и они вместе противостояли ему. Была секунда удушливой тишины, и тишина эта обессилила его.

— Попомните это, ребятишки... Хром и молния будут...

И с трудом выдавил дверь.

4

Репей был человек подозрительный и въедливый. У него, как он говорил, был «собачий нюх» насчет всяких врагов.

— Я Хабло учуял... на что осетр был... Я ни на час не забываю, где Москва на карте... А этот голавль поверху плавает...

Но Перебойченко вдруг бесследно пропал. Вещишки его лежали в бараке, а он растаял, как дым. Репей забеспокоился и забегал по всем мостовым участкам, но нигде Перебойченко не встречал. Он мчался на шлюзы, на плотину, в поселки, в охрану и с невинным видом справлялся:

— Не встречали вы тут, случаем, Перебойченко... такой детина с голой грудью?.. Чего-то бродяжит, шайтан...

Хитрости Репея хорошо знали на шлюзовом канале и отвечали ему, подмигивая:

— Опять охотишься?.. Ну, погоняйся, погоняйся... Ты как борзой кобель, Репей: ушки — на макушке, а нос — на прицел.

Неожиданно встретил он Перебойченко вечером — в коридоре, у дверей Самородова. Перебойченко ос-

калился и пронесся мимо к выходу. Репей даже улыбнулся ему и подошел к парапету, чтобы полюбоваться, как он сбегает по лестнице. А Перебойченко на повороте задрал голову, опять оскалился и помахал ему рукою.

— Мой костер в тумане светит...

Репей вошел в ярко освещенную приемную и увидел приветственный взмах руки Самородова. Он говорил по телефону и весело гримасничал. В комнате сидели несколько седых и молодых инженеров и уныло ожидали своей очереди на прием к Шлиппе. Репей, не снимая кепки, подошел к столу Самородова и стал в упор всматриваться в его лицо. Из кабинета Шлиппе невнятно рокотали голоса. Репей встретился с глазами Самородова и увидел в них какой-то подмигивающий намек — этакую жизнерадостную игру. Лицо его беспокоило и озлобляло Репея, и ему чудилось, что веснушки ползают по коже, как клопы. Прикрыв ладонью трубку телефона, он заулыбался Репею.

— Не правда ли, дорогой, какие чудные дела творятся?.. На скале — метелица, у вас на мостике — бойкотики... Всюду жизнь... Поздравляю, дорогой!..

Потом фокусно запетлял рукою какие-то манящие узлы и, довольный, опять увлекся разговором. И вдруг сразу бросил трубку на рогатку, встал и заулыбался:

— Приходил ко мне твой герой...

— Видел. Развеселые вы оба люди...

— Теперь все веселые... Даже фотографы заставляют ржать. Сломить его хочешь? Он пляшет вприсядку под твой бойкот.

— Это он у тебя пляшет. На стройке ему нет пристанища.

Самородов укоризненно покачал головой и опять начал плести рукою какие-то петли перед Репеем.

— Какой же ты руковод, ежели не можешь перековать сильного парня? Ай-ай, дорогой Репей!.. Партизанщиной занимаетесь. Запрашивал о нем отдел кадров.

Репей не выразил ни гнева, ни удивления, точно Самородов говорил о вещах малозначащих. Он взял

трубку телефона и вызвал завкадрами. Но в трубке щелкнуло, и ухо Репея погрузилось в ватную немоту, похожую на мрак.

Он встретился с играющими глазами Самородова и положил трубку.

— Нет нужды, товарищ Репей, — услышал он тенорок Самородова. — Я уже предупредил завкадрами. Будь спокоен, поле борьбы чисто.

Но Репей уже шел к двери. Он пронзительно поглядел на румяного инженера с серебряными волосами и ухмыльнулся. В тот момент, когда самородовская рука нажала на рычаг телефона, Репей вздрогнул точно эта щелкающая немота оглушила его. А когда встретился с смеющимися глазами Самородова, ему захотелось ликующе схватить его за галстук. На ходу он отворил дверь в кабинет Чумалова, но там никого не было.

VIII. ПОЧТИЛИ ВСТАВАНИЕМ

1

Вечером Репей шел по мостовому переходу через плотину в Дом общественных организаций. Этот деревянный мост, узкий, грязный и скрипучий, колыхался от толп, от паровозов и вагонных площадок. Бетонными утесами стыли бычки, облепленные опалубками, обполосованные решетчатыми креплениями, овеянные метелью огней. Глубоко за барьером — вихри, полымя брызг и рев воды. Река не отражала света — она клубилась облаками, снежным кипением, и только там, в фиолетовом угасании, прощально уплывали, потухая, сугробы пены.

Репей распалялся от зависти к бетонщикам, к плотникам, к машинистам, к бурильщикам, мечтал о будущих ударных победах на мосту и мучился, что ему выпали на долю не штурмы, а надсадная борьба со всякими хулиганами и поножовщиками. Не рапор-

товать ему приходится о рекордах, а получать удары по черепу, возиться с каким-то проходимцем Перебойченко, брать на прицел Хабло и конопатого Самородова.

Да, вот уже новые опалубки в среднем котловане — растут все восемь бычков. Бурей оглушают паровозы с площадками по четыре бадьи. Теперь они выгружаются с крылатой быстротой. Говорят, что к Октябрьским торжествам все бычки будут вздыматься на шестьдесят метров... И людские потоки, и толпы кранов, и строительные поезда будут вознесены на небесную высоту...

Въедались в мозг ползучий голосок и конопатая улыбка Самородова, а ухо еще звенело от внезапного щелчка в телефоне. «Вот и этот сукин сын украл дорогое время...» На собрании надо потолковать с Чумаловым. Впереди и позади запевалами заливались такелажники. И где-то в огненной бездне грохотали камни. Ветер повизгивал в проводах электропередачи. Солнечно ослепляющий фонарь покачивался от ветра, и четкие тени людей махали по настилам, ныряли друг в друга, выныривали и, разрываясь, судорожно обегали прохожих, вытягиваясь, ломаясь на рельсах и балках.

Далеко сияли туманы над рекою, и оттуда несло холодной изморосью.

Кто-то схватил его за рукав и столкнул на площадку.

В первый миг он даже опешил: по-новому незнакомая явилась перед ним Агаша. Белый беретик переливался шелком, теплая синяя кофта туго обнимала грудь.

— Ты куда это несешься, Гашок?

— А ты чего, Миша, такой задумчивый?

— Зато ты больно чепуристо одета. Почему пальтом бойкотируешь? — И строго пошутил: — Сурово взыщу за нарушение семейной дисциплины.

— Я же тепло одета, Миша...

И так задорно поиграла перед ним плечами и искорками в глазах, что Ренею померещились

двадцатые годы, когда Агаша гуляла с ним еще девушкой.

— Какая чудная кофта, Миша! Она нагревистей пальтишка. А ведь ты знаешь мое барахло... Погоди, разбогатею, куплю себе модное, на меху...

Она выхватила из кармана розовую пастилку и сунула ему в рот.

— Скушай и помни. Видишь, какая я у тебя сластена?.. Очень даже уважаю фруктовые пастилки... Вот к Христе иду... Все время улещает меня: поступай и поступай на курсы камеральных техников...

Репей обернулся на голос, который упомянул его имя, — человек не поздоровался, а как будто смешливо отметил вслух, что увидел Репея. А когда опять повернул лицо к Агаше, она уже исчезла.

Где-то в запутанной дали вспыхнул раз за разом белый беретик и погас бесследно.

2

В условленный час, в условленном месте — у дощатой конторки прораба — Агаша встретилась с Христей. Эта Христя раньше служила прислугой у инженера, а потом уборщицей в доме приезжих. Хотя ростом они были одинаковы, но Христя казалась выше Агаши, — вероятно, потому, что костью была покрупнее: голова — большая, лицо — широкоскулое и руки — мужские. Агаша увидела ее у парапета и вскрикнула от удивления. Христя стояла к ней спиной, опираясь на поручни, в таком же белом беретике и такой же синей кофточке.

— Христя, голубушка! Как это вышло, что мы одинаково одеты?.. Вот неожиданно!..

Христя повернулась к ней, блеснула крупными зубами, и маленькие глазки ее, сдвинутые к длинному носу, смеялись узенькими щелочками. Она поцеловала Агашу, — не поцеловала, а толкнула толстыми губами.

— Прельстила ты меня, Ганя. Сегодня купила, ядрышко. И, знаешь, — теплее пальта, а легкость-то —

летняя. Вот в пропастину гляжу: что там, матушки, делается — страхота!..

— Мост этот скоро сломают — вот только бычки возведут в среднем протоке... Мост-то уж старый... Рабочие очень ругаются... У меня сердце трясется, когда хожу по этим доскам: все ходуном ходит...

— Я здесь, Ганя, никогда бы не согласилась работать. Когда в душе страх, какой уж тут труд... мука одна... Я только на земле и чувствую себя спокойно. Потрепала меня жизнь-то, — вот так же, как здесь, ног под собой не чуяла. А вот радость нашла... Дело-то камерального техника — тихое, незлобное...

— Вот, вот расскажи-ка, Христя, голубушка...

— Да ведь это мечта моя давняя... Сидишь себе в конторке, занимаешься сводками разными, расчетами... И люди тобой не распоряжаются и тебя не терзают. Может, это скучно, но, Ганя, такая скука для нас, уставших женщин, — тихая обитель.

Гаша похолодела, поджала губы и посмотрела на Христю сбоку с насмешливым участием.

— Всяк счастье характером своим меряет, Христя. Я тебя очень даже хвалю и уважаю: когда прислугой была, — птицей в мечтах летала. Вишь, какую дорогу-то проложила!.. А вот куда прилетела? В тихую обитель... Монастырь у нас, что ли? Брось ты, пожалуйста! И никакая ты не уставшая. Просто злыдни обидели тебя...

— Вот именно, Ганя, обидели... ах, как обидели!.. — вздохнула Христя. — Сирота я была... на чужих людей ворочала... Потом замуж вышла — за зверя вышла, за пьяницу... А потом в прислугах, как собака... Как же мне, Ганя, не радоваться? Техник камеральный! Слова-то какие роскошные!..

Голос ее вздрагивал от счастья, а на глазах были слезы. Она не могла одна пережить своей радости: будто пожадничала, взяла от жизни больше, чем нужно, а жизнь расточительно плескалась ласковыми волнами и волшебно открывала перед нею цветущие сады.

— Ну, уж ты одна посиди в этой тихой обители, — засмеялась Агаша. — А я без суеты дня не проживу. Только смотри, не спи там: стекла тебе камеральные вышибу.

Она прощально погладила Христю по плечу, а Христя стыдливо засмеялась.

— Ну, вот! прельстить тебя хотела... Какая я глупая!.. Мой аршин-то для тебя меньше вершка... Конечно, курица — тоже птица, да не летает...

3

В Доме общественных организаций Репей расхаживал по коридорам в толпах рабочих и нетерпеливо искал Чумалова. Рабочие приоделись — чистые костюмы, галстуки или просто свежие сорочки — и чувствовали себя приподнято и озабоченно. Люди толпились всюду: и в вестибюле среди белых колонн, и около книжного киоска, и по лестнице.

Встретил Репей и своих клепальщиков и кузнецов — четверых парней. Держались они несмело, обособленно. Когда его увидели, обрадовались, посветлели.

— Перебойченко встретили, товарищ Репей... Несется навстречу и нахально поет: «Мой костер в тумане светит...»

— Когда встретили?.. И все еще поет?

— Чего-то радостный, гнус...

Репей мрачно поглядел на каждого и, отравленный каким-то предчувствием, побежал по коридору, натыкаясь на людей.

— Чего-то чует... — встревожился рабочий с насупленными бровями.

— Мы видели, а он знает... вот как! — обрадовался парень с челкой на лбу. По привычке он наклонял голову и подставлял ухо к товарищам.

— Мы слово сказали, а он слово-то увидал...

— Ты клепальщик, а мы кузнецы... — загадочно пояснил ему первый. — Мы вместе с ним работали на шлюзе... Пронзительный характер... Погоди, он обязательно сразит...

— Перебойченко — неспроста... он замыслил... — вдруг ошалел парень. — Дело так не пройдет: он здо́рово продолжает...

— Мстит... — убежденно решил кузнец.

Залились электрические звонки, по коридорам прошел ветер: все смешались в тугую толпу и ринулись наверх по широкой лестнице.

Репей так и не нашел Чумалова: не было его и в комнате президиума. Здесь, в табачном дыму, толкались несколько ответработников, среди них — Осокин, Шлиппе, Цезарь, Паша. Осокин, испуганный, сидел за столом, дрожащими руками писал что-то карандашиком в блокноте и скрипуче покрикивал:

— Ну, давай, давай, товарищи!.. садитесь, дорогие!.. Надо подготовиться умненько...

Цезарь и Паша стояли поодаль у стены и тихо разговаривали. Цезарь смотрел мимо Паши, заложив руки за спину, и как будто не слушал, что внушающе она говорила ему, сердито поблескивая очками. Репей уважал Пашу и немного боялся ее холодных очков, а перед Цезарем благоговейно немел: хотя и редко говорил с ним, но знал, что в мозгах у него прорва знаний. Обратился он не к Паше, а к Цезарю, робко и почтительно:

— Чумалов-то придет, Цезарь?

Цезарь ничего не ответил, а Паша досадливо буркнула:

— Ждем. Заседание откроем без него.

Забыв о Репее, она продолжала с печальной суровостью:

— Там разберутся, конечно, лучше. Но ты показал этим, что не доверяешь товарищам, подчеркнул этим свое к нам пренебрежение...

— Нет, я все продумал твердо. Если бы мое дело разбиралось здесь или в райкоме, это внесло бы разложение в работу и в массы. Всякое личное дело неизбежно возбуждает сплетни и толки. Ты хорошо понимаешь, что я себя не щажу и готов на все...

— Ах, Цезарь, Цезарь!..

— Я выдержу, Паша... — И он болезненно улыб-

нулся. — Но ведь вопрос-то не обо мне... Не должно быть никакого вопроса обо мне...

Репей ничего не понял из этого разговора, хотя по привычке жадно ловил каждое слово. Он чувствовал, что стоять около них ему как будто неудобно: подумают, что подслушивает. Но и тут подозрительность взяла верх: он понял, что ученый культпроп завяз в какой-то путанице.

Осокин пыжился за столом, бородка вздрагивала, и он искал помощи у товарищей.

— Пашенька, Цезарь!.. Будет там шептаться-то... Идите-ка сюда... помогайте!.. Начинать надо...

Репей прошел в зал и с трудом нашел место в говорливых рядах. Его клепальщики и кузнецы издали махали ему руками, но он долго не замечал их. И только тогда увидел своих делегатов, когда парнишка встал и громко выкрикнул его имя.

Делегаты входили по одному, по два и бродили по рядам. В президиуме еще никого не было, хотя лампы сияли зелеными абажурами и воспламеняли красное сукно на столе. А Репей сидел, сдавленный плечами соседей, и думал только о Перебойченко. Эта встреча с ним в управлении около дверей Самородова не давала ему покоя. Слова клепальщиков оглушили его. При встрече с ними Перебойченко скалил зубы и напевал ту же песенку: «Мой костер в тумане светит...» В тумане... да, именно в тумане... Надо этого человека раздавить — раздавить на этом же собрании. Если это дерьмо держит себя нахально, значит, он — враг, значит, он вооружился. Что у них было с Самородовым? Не последить ли за этими двумя прохвостами? Может быть, лучше не поспать несколько ночей и толкнуть на это дело еще человека два из этих вот парней? Ежели узнают ребята, что Перебойченко уже размашисто гуляет по всей стройке и зубасто поет, они очумеют к черту... Щелк и грохот в трубке телефона... А ведь это не в телефоне, а в подмигивающих глазах Самородова...

Так случалось с Репеем только во сне: не человек, а кто-то больше, чем человек, не живой, не видимый,

не осязаемый, которого в жизни не боишься, а жуткая тень — нечто... Оно угнетает, леденит душу, и весь обреченно немеешь... Тогда, ночью, во время пожара, кто-то раскроил ему череп, но он схватил за горло Хабло и его фальшивую прислугу. Эти краснофлотские оборотни тоже испугали Репея до немоты. Враг действует таинственной чертовщиной... Самородов — коммунист, а Перебойченко — хулиган, но оба они прыгают и мечутся в каком-то загадочном веселье. «Мой костер в тумане...» Ничего не скажешь: орудуют жизнерадостно... а от этого их веселья в душе — сумятица и тоска...

А чем черт не шутит? Может быть, после повреждения мозга у него ползает ревматизм в нервах? Ведь и Аганя называет его очень даже мнительным. Да, почему ее нет до сих пор? Впрочем, она где-нибудь здесь, среди своих женщин.

Он встал и долго искал всюду белый беретик и синюю кофту. Белых беретиков много, но синие кофты не мелькали в глазах.

...Почему вдруг такое волнение? Бегут по рядам рабочие в прозодежде — серые рубахи без пояса, серые лица, испуганные глаза. Несколько человек из соседних рядов выпрыгнули в проход и побежали к толпам. Репей не любил таких внезапных сборищ. Базар, улица, обывательское любопытство... Люди падки на всякие сногсшибательные пустяки...

Ребята его тоже забеспокоились и тоже вскочили, чтобы броситься в эту толкучку.

— Сидите, чертовы души!.. — прикрикнул на них Репей. — Что за беспорядок!..

Позади подбежал кто-то и захлебнулся:

— Товарищи, понимаете, какая беда!..

Должно быть, молодой парнишка одурел от очередной какой-нибудь аварии. Таким стригункам вовсе не страшно: им просто интересно и весело. Оттого, что авария совершилась без них, они кипятятся и стараются взбулгачить и поразить других, сочиняя небылицы.

— Понимаете... мостовой переход обвалился... Весь

чебурахнулся к черту... Кран — вверх тормашками... А народищу погибло!..

— Опять забрехал, Гришка? Петух кукарекает, а ты кричишь: волки напали...

— Да вот же человек-то был рядом со мной... Докажи им, товарищ...

Спокойный и рассудительный голос разъяснил досадливо:

— Надо точно передавать, молодой человек: о народище не было речи...

— Я же сказал, что Гришка без брехни не обходится...

Репей чувствовал, что больше не выдержит: сердце засосала лихота. И он мог так же рухнуть в водометы, и Агаша... Где же Агаша? Стараясь быть хладнокровным, он пробрался к проходу, но задержался у последнего сиденья.

Люди взволнованно толпились на местах, в проходах, кричали, махали руками.

Кто-то в середине плотно сбитой толпы ревел яростно:

— Это безобразие!.. Их предупреждали... не раз тыкали мордой... Довольно! В такие дни!.. Арестовать незамедлительно... Потребовать объяснения у Шлиппе... Шагаева — к ответу.

Мимо озабоченно прошли трое рабочих в длинных теплых пиджаках.

Один с угрюмым равнодушием сообщил:

— Подбросило и — с размаху... Даже не пикнула...

— Пикнешь тут в таком круговороте... Буря!

Репея потряс и оглушил будто сильный разряд. Он схватился за спинку сиденья и с ужасом глядел на рабочих. Хотел рвануться к ним, но больно ударился коленкой о локотник. Ноги дрожали, а внутри — холодная пустота.

В этот момент на эстраду вышел президиум и растянулся по всему столу. Осокин зазвонил колокольчиком. Толпа разбегалась по местам.

Репея толкнули, но он не ощутил толчка, кто-то забранился, но он тупо глядел на людей, не понимая, чего они хотят от него.

4

С плотины Агаша прошла на площадь, к остановке автобуса, юркнула в переднюю дверку и стала у кабины шофера. Нужно было бы сейчас идти в Дом общественных организаций, но не могла стерпеть: только в полдень наведала Никандра. Надо покормить его обязательно. Это ни на что не похоже: она стала пропускать свои часы в яслях. То ревела, дуреха, что отрывают ребенка, а то стала манкировать. Конечно, нет: это подумалось со зла. Но целые дни прорва всяких дел — и по бригадам, и по организации жен инженеров, и по делам матери и младенца, и по подшефному колхозу... Да еще два заседания были в этот день. А день был холодный, мутный, ветреный, тучи неслись рыхлые, низкие. Пока стояла с Христей и шагала по мостовому переходу, ветер хлестал в нее мокретью — мглистая водяная пыль, брызги и сквозняки среди опалубок и бычков прострочили ее насквозь. Не могла согреться в автобусе. На третьей остановке она выпрыгнула в грязь и промочила ноги. До квартиры бежала весь квартал, чтобы согреться. Хорошо, что ветер дул ей в затылок и гнал ее, путая юбку в ногах.

Она быстро вбежала в коридорчик, включила свет, промахнула в кухню, потом в горницу, в спаленку и всюду зажгла лампочки: уж очень любила она яркий свет и нигде не гасила его до самого сна. Миша ворчал на нее, внушал ей что-то насчет экономии, но она отсмеивалась и ликовала:

— Ну, Мишенька! Ведь этот же свет я сама заработала. Всякая растения свету рада, а я же, Мишенька, — человек... Не ворчи, — все равно не послушаю.

Но Миша только для видимости ворчал на нее, а глаза у него были довольные, и эта его воркотня даже нравилась ей.

Она быстро переобулась, сняла кофту и повесила ее на спинку стула. Потом переоделась до нижней рубашки, умылась, и вдруг ей сильно захотелось чаю. Своим серебристо-зеркальным чайником она очень

гордилась и держала его в картонной коробке, чтобы не пылился. Любовно и ласково она вынула его из буфетика и прошла с ним на кухню, осторожно, чтобы не забрызгать его, налила воды из крана, возвратилась с ним в комнаты, поставила на стол и всунула развилок в штепсель. Хлопотливо приготовила стакан, сахар, черный хлеб, который любила есть с маслом и солью. Ей нужно было торопиться к Никандру и на собрание, и она с ломтиком намасленного хлеба ходила по комнате, ела и на ходу разглаживала скатерть на столе, расправляла кофту на стуле, юркнула в спаленку, что-то прибрала там, посмеиваясь:

— Ах, Мишка, Мишка!.. неряха несчастный!.. все-то разбросает, все-то с места сорвет...

И, когда выпила стакан чаю, совсем согрелась. Хотела налить еще, но раздумала, выбежала в прихожую, надела пальтишко, повязала шальку и, выключив везде свет, вышла на улицу.

В яслях санитарка поворчала на нее за то, что она пропускает положенные часы, и, по обыкновению, сообщила новости о Никандре: на мать он, извольте-с, плюет, желает сидеть самостоятельно, дерет за волосы нянюшек, покрикивает на них и хулиганит. А потом новая привычка появилась: сажай его вместе с другими карапузами для того, чтобы подраться. Вцепится в нос или ухо и победоносно орет. Агаша посмеялась, полюбовалась на спящего Никандра и заторопилась в Дом общественных организаций.

Вошла она в тот момент, когда в зале стояла гулкая тишина. Какой-то рабочий в парусиновой прозодежде подошел к Осокину и зашептал ему нетерпеливо и настойчиво. Осокин, пораженный, качал жидковолосой головой, хватался за бороденку, а Паша грозно что-то внушала и Осокину и рабочему. Потом Осокин встал и заявил, что товарищ Гуляев, бетонщик с плотины, сделает внеочередное заявление, которое нужно обсудить экстренно. Настоятельная просьба к собранию — сохранить спокойствие, порядок и обсудить вопрос хладнокровно и умненько. Но, когда говорил, голос его вздрагивал и бородка тряслась. Паша сидела неподвижно и поблескивала очками.

Товарищ Гуляев, в резиновых грязных сапогах, хмуро прошел к трибуне, вздохнул и оглядел собрание. Вдруг очень тонким голосом закричал и замахал руками. Вот он сейчас прибежал сюда с блока, чтобы рассказать, что случилось: на их звене, где они наращивали бычки, внизу ряжевый мост со страшным громом рухнул в водослив. Хорошо, что в этот раз людей тут не было, но все же вместе с краном погиб несчастный машинист да еще стояла с этим машинистом женщина. Женщина эта, к прискорбию, известная активистка. Он, Гуляев, ее доподлинно знает и по одежде за сотни метров от всех отличит... в белом беретике и в синей кофте... Имя ее, конечно, всякий произнесет: товарищ Агафья Репей... Почтим, товарищи, эти жертвы вставанием...

Все густой массой с гулом и шелестом встали, где-то в разных местах хлопнули сиденья. И, когда так же шумно опустились в молчании, Репей, шатаясь, пробирался по проходу вперед, протягивал руку к президиуму и что-то бормотал, как больной. Гуляев хотел было продолжать, но, увидев Репея, улыбнулся, крякнул и беспомощно развел руками. Кто-то возмущенно крикнул:

— Ведь не в себе же человек-то!.. Погоди ты, Гуляев!.. Товарищ Репей!..

Агаша стояла у задней стены около двери в толпе опоздавших. Как только она услышала крик Гуляева, она замерла от страха. Ведь провалился-то ряжевый мост на том самом месте, где стояла она с Христей, и провалился-то он, может быть, сейчас же после того, как они расстались. Грохота крушения она не слышала: то ли была уже на берегу, то ли далеко на левом протоке — ведь на плотине такой шум и суета, что и грома небесного не услышишь. Постояла бы она с Христей еще с четверть часа — и грохнулась бы вместе с обломками моста в водопад, раздавленная бревнами и железом. Ой, Христя, Христя!.. Но, что он, этот дурак, болтает? чего он плетет небылицы в лицах? Вот все встали и похоронили ее. Вон Миша побежал, страшный такой... Она хотела крикнуть, но задохнулась. Хотела рвануться вперед, но какое-то странное

оцепенение сковало тело. Это же безобразие, товарищи!.. Вовсе она не умерла — не она это, не она же погибла... Вот она, Агаша, тут — дышит, живет вместе с другими... Она же — вот... вся тут... Как смешно, что ее почтили вставанием!.. Они уже думают, что ее нет — исчезла из жизни...

Продираясь через толпу, она закричала со злым отчаянием:

— Да вовсе же нет... Ерунда это...

Не то был очень слаб ее голосок, не то эти сотни людей были оглушены, но в далеком засеве голов даже волнения не произошло. Только несколько человек вблизи недовольно обернулись к ней и зашикали.

— Товарищи, чего же делается-то? Откуда оратору-то втемяшилось?..

И с мольбой оглянулась на людей, стоящих у стены.

— Да протестуйте вы, черти!

Но люди не понимали ее, усмехались и пожимали плечами.

Кто-то поднялся и посмотрел назад, кто-то невнятно крикнул, народ зашевелился, загудел, в президиуме зашептались. Паша встала и, опираясь на стол, всматривалась в глубину зала.

А Гуляев рассердился и истошно закричал:

— Там вон какая-то товарищ недовольная спорить со мной желает. О чем это вы хотите спорить, товарищ?

Репей, должно быть, услышал голос Агаши, но не поверил себе — начал робко оглядываться и искать ее в людских далях.

По близорукости своей Паша, вероятно, не смогла рассмотреть Агаши в толпе: она строго и выжидательно поглядывала и на Гуляева, и в зал.

Осокин тоже поднялся и о чем-то шептался с Пашей. Она одобрительно кивнула головой.

— Кончай, товарищ Гуляев! — ласково сказал Осокин и пригласил его рукой оставить трибуну. — Товарищ Репей, мы скорбим... Мужайся, родной...

Агаша еще не привыкла к многолюдным собраниям: она имела дело с такими же женщинами, как

она сама. Даже в совещаниях жен инженеров не выступала, чтобы не оскандалиться. И вот теперь чувствовала такую же жуткую беспомощность перед этой массой людей. Каждый из них — простой, понятный, обычный, свой, и чувствуешь себя с ним легко и небоязно: говоришь, смеешься, ругаешься, шутишь. А вот сейчас, когда они вместе, ее душит невыразимая угроза. Этот жуткий, громовой шелест вставанья раздавил ее до безнадежности. Что это такое? Как это можно? Паша смотрит на нее и не видит, точно ее, Агаши, действительно нет на свете, а Осокин утешает Мишу в его горе. И как это все решили — и Паша, и Осокин, и даже Миша — оплакивать ее смерть?.. Из-за какой-то синей кофточки, которая сейчас висит на стуле и сушится? Вон из двери сбоку эстрады вошла вместе с Чумаловым и Кряжичем Танечка. Ведь все же они знают ее. Где-то в недостижимой дали над толпами летали лампы по эстраде и реяли, поднимаясь и опускаясь вместе с красным столом... Сдирая шальку с головы, она бежала вперед, по проходу, и выкрикивала, задыхаясь:

— Товарищи, что же это такое?.. Что вы за люди? Вот же я — нате!..

Она взмахнула шалькой перед трибуной, вздернула голову и с искаженным лицом оглядела президиум, повернулась к собранию.

Репей, пораженный, глупо улыбнулся и медленно подошел к ней, не веря своим глазам. Паша крикнула на весь зал и выбежала из-за стола.

— Агашенька, радость моя!..

Татьяна и Глеб смеялись, оживленно разговаривая с Осокиным.

И вдруг вся тысячная масса людей вскочила с мест, заликовала и разразилась рукоплесканиями.

Паша протягивала к ней руки с эстрады и звала к себе. Агаша подошла к ней полубезумная и счастливая, и Паша вскинула ее на эстраду. Зал бушевал аплодисментами и смеялся.

А Гуляев пожимал плечами, конфузливо улыбался и изумленно вглядывался в Агашу. Она погрозила ему кулачком.

— Я тебе задам! Ишь ты, живоглот какой! Утопить меня хотел раньше времени...

Репей все еще стоял около эстрады и не отрываясь смотрел на Агашу, как тронутый умом.

Агаша подбежала к краю сцены, вскинула руку, хотела что-то сказать, но вдруг разрыдалась.

— Я Христю-то знаю, товарищи... Только что техника камерального получила... Очень она хорошая... и вот...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I. ГОЛОС В БУДУЩЕЕ

Никогда еще Цезарь не чувствовал себя таким бодрым, как в эти осенние дни и ночи. Он изменился: лицо его погрубело, сутулость исчезла, походка стала стремительной и уверенной, и без остатка растаял чахоточный румянец на щеках. Та неврастеническая тоска, которая мучила его в разрывах сна и по утрам, исчезла. Он заставил себя проделывать несколько гимнастических приемов перед раскрытым окном и обтираться мокрым полотенцем. В это время вскипал чайник, и он выпивал стакан кофе с молоком. Потом садился к столу, разбирался в бумагах, в книжках и обязательно прочитывал две-три страницы из Ленина, из Энгельса, старательно подчеркивая строчки карандашом, или делал торопливые выписки на бумажке, которые засовывал в боковой кармашек. И непременно вынимал из стола клеенчатую тетрадь и подавал свой «голос в будущее». Эти записки тоже отличались от прежних: они звучали тверже, громче. Потом он шел в партком, принимал пропагандистов, обществоведов из втуза, школ и курсов — советовал, разъяснял, направлял, просматривал программы, планы и методику работы. Каждый день вместе с редактором газеты и секретарем комсомола Васяем обсуждал выпущенный номер и содержание следующего выпуска.

Нужно было организовать аппарат культпропа так, чтобы он был похож на обсерваторию, где отмечались

бы все явления строительской жизни и малейшие ее изменения. Нужно было постоянно идти впереди движения: сегодняшний день — это уже пройденный этап, это свершение, а завтрашний день — детально разработанный план. Нужно было постоянно жить будущим и воплощать это будущее (месяц, квартал, год) не только в практический план и цифровые колонки, но — самое главное — в человеческую волю, в борьбу, в волнение, в мозг и сердце.

Цезарь казался всем очень привлекательным, скромным, простым и доступным. Все чувствовали себя в его присутствии свободно, приятно, хотя он никогда не интимничал и не откровенничал. Однажды Шалнин, как пропагандист присутствовавший на совещании, попытался отозваться о нем с насмешливым недоверием:

— С виду — мягкая трава, а ступи — болото. У него и мнения своего нет... Это тень и голос Ватагина... Черт его поймет, кто он такой...

— Не по мозгам он тебе, Шалнин... Ты завидуешь, поэтому шельмуешь...

Каждые сутки Цезарь дежурил на плотине то днем, то ночью. Дежурство по-прежнему принимал от Гудима. Гудим молча и неодобрительно тыкал пальцем в сводки и холодно говорил:

— Хромает ГЭС. Оседлали иностранцы. Конфликты.

— Но ведь американцы, Гудим, не допускают наших к монтажу. Ребята не желают быть на побегушках.

— Можно быть на побегушках и не терять своего достоинства.

Цезарь вспыхивал горячей улыбкой. Гудим чувствует сильно: он бушует, он волнуется, он сам рвется на аварийные места, но делает вид, что невозмутим, бесстрастен, что его ничто не тревожит. И с людьми, и в телефон говорит как будто нехотя. И слеп ко всем, кто находится в комнате. Цезарю иногда даже было обидно, что и на него он смотрит, как на пустое место. Даже Паша не смогла вывести Гудима из сурового безразличия, а она очень любила подразнить его.

Прежде чем записать впечатления и мысли, он как обычно, перечитывал свои заметки в разных местах.

«...Наши страдания — не отчаяние обреченных, а муки рождения и роста.

Вот Катюша со своими девчатами на боевых бычках. Неудачи в борьбе за бетон, бессилие сломить косность вещей и людей отражаются в ней подлинным несчастьем. Ее личные чувства и переживания становятся общими. Пример с Катей взят наудачу: таких примеров — тысячи. Взять хотя бы Мирона Ватагина: его личная драма (потеря сына, разрыв с семьей и, кажется, — да не будет это сплетней! — запутанный узел в отношениях с Пашей) — это драма многих из нас, как выражение бытовых конфликтов переходного времени. В прошлом — убийство отца Фени, о чем я узнал недавно: она в письме сообщила.

А тяжелые переживания Балеева? У него как будто нет своих личных драм. Но это неверно. Он слишком горд, слишком большую ношу несет в себе, чтобы его чувства и противоречия были заметны для других. Его простая и нежная привязанность к Анечке трогательна и прекрасна. Однажды я видел у него умиленные слезы на глазах. Мне кажется, что он часто грустит.

Ну, а я? Задаю этот вопрос не из личного самолюбия, а самокритически. В старые времена мужики были убеждены, что на страшном суде господь-бог обязательно проверяет индивидуальную анкету каждого подходящего к его столу человека из бесконечной очереди. Следующий! Здесь! Возраст — сорок лет. Из крестьян — сельский учитель. Был на империалистической войне. Учился в школе прапорщиков. На войне ранен в грудь навылет. Вынес два года позиционных боев. В страшном аду канонады страдал длительной контузией — дрожал весь, как в тике. Постоянный нервный шок. Этот шок проявлялся в полном отупении: в атаки ходил, как-то не ощущая себя, автоматически. Я был не я. Я не помню ни одной атаки. Привык спать (скорее не сон, а оцепенение, так как спать

в обычном смысле этого слова не приходилось) — привык спать под ужасные взрывы тяжелых снарядов. Меня било в грудь сотрясением воздуха и бросало, как мешок, но я не слышал. Говорили, что на мне кто-то стоял однажды, но я не чувствовал (впрочем, это к анкете не относится).

Марксист-ленинец — со скамьи учительской семинарии, но в партии не состоял до февральской революции. После Октября видел Владимира Ильича и беседовал с ним в Петрограде.

В гражданскую войну был политруком, а потом политкомиссаром. Дрался на Центральном фронте. От Орла в непрерывных боях шел до самого Новороссийска. Потом участвовал против Врангеля. Демобилизован и послан на партработу в Донбасс. С третьего года стройки по сей день — на электроцентрали. Все. Все ли?

Это внешние вехи моей жизни. А внутренние? Внутренние — вот эта тетрадь, где проявляются некоторые слабые снимки моих душевных событий. Человеку невозможно передать самого себя. Пусть не осудят нас люди будущего. Им будут неведомы муки людей моего поколения, — людей, которые были гробовщиками и могильщиками прошлого, а, следовательно, отчасти и самих себя. Катя этого уже не знает. Она цельнее и счастливее меня. Она начинает собою новое поколение счастливых людей счастливого века. Мы еще не завершили великой войны с мертвецами.

Наше поколение — под ружьем, в полном боевом снаряжении. Мы продолжаем эти войны, новые поколения завершат их».

*

«Свобода — это осознанная необходимость. Это победа над собой, это скачок за свои пределы. Древнее «смертию смерть поправ» — это в наши эпохи (сознательно употребляю множественное число) — не экстаз, а сопряжение разума и воли. Экстаз мы преобразуем в энтузиазм, а веру в глубокое сознание».

*

«Анечка уезжает в Москву. Она тоскует. Тоска ее выражается в некоторой сварливости и строгой сосредоточенности. У Веры Сергеевны заплаканные глаза. При встрече со мною и Борзяем она жалко улыбается.

Вчера ночью Анечка позвала меня, когда я пришел домой. Ее звонкий голосок задыхался от радости:

— Цезарь! — кричала она. — Немедленно сюда! Я прошу тебя свой чай пить у меня. Ты мне нужен, как воздух.

— Сейчас явлюсь, Анечка, только умоюсь...

И мне почудилось, что она металась в своей коляске от нетерпения.

Вера Сергеевна попыталась успокоить ее:

— Ведь Цезарь Семеныч устал, Анечка. Ему надо отдохнуть.

Анечка с гневным упреком осадила ее:

— Но, мамочка, Цезарь отдохнет здесь лучше и содержательнее. Ты же это сама знаешь.

Я с удовольствием пришел и сел около нее. Она очень любит, чтобы я прикасался плечом к ее коляске. «Я чувствую твое дыхание, Цезарь», — говорит она, и глаза ее лучатся. Время от времени она кладет свою худую, почти прозрачную ручку с синими жилками на мою руку и нежно поглаживает ее. Я волнуюсь около нее, потому что чувствую, что она очень привязана ко мне и любит по-ангельски, если можно так выразиться. С Борзяем она иная: она обожает его, как мудрого дедушку. Она почтительна с ним и нежна. Его слово для нее — закон. Достаточно ему сказать: «Анечка, тебе необходимо спать, детка», — и она беспрекословно подчиняется.

Я видел однажды, как она с упоением целовала его руку.

Со мной она держит себя, как с равным, точно я ее сверстник, при встрече и расставанье целует меня.

Я сидел с ней долго, пил чай, закусывал. Вера Сергеевна ухаживала за мной. А Анечка говорила ей:

— Ты, мамочка, угощай Цезаря всем, что у тебя есть лучшего.

— Я, Анечка, не хочу, чтоб меня угощали. Я же захожу к вам, как к самым близким людям. А к тебе — как к любимой сестренке.

И она смотрела на меня и смеялась.

— Если бы ты знал, Цезарь, как я люблю свою мамочку!.. А ведь мне придется жить в разлуке с ней целые годы...

Вера Сергеевна вышла из комнаты.

— Я, Цезарь, ни на минуту не забуду о тебе и о дяде Борзяе и каждый день буду писать вам огромные письма. Ты, милый, сохрани их. Я и от дяди Борзяя потребую.

О Балееве мы не говорили ни слова. Она как-то засекречивает его посещения. А посещает он ее через день. Захаживать к Анечке стало для него потребностью. Он нежнеет около нее, становится простым и домашним.

Каждый день она требует рассказывать ей разные истории из дней гражданской войны, о людях тех лет, о том, что пережито мною за последние сутки.

— А почему ты не пишешь, Цезарь?

— Ну, какой же я литератор, Анечка?

Она прикрикнула на меня:

— Ты обязан, Цезарь... понимаешь?.. Обещай мне, что ты каждый день будешь записывать все, что рассказываешь, — нет, больше: всё, что переживаешь. Ну?

— Даю слово, Анечка... Впрочем, я кое-что записываю... уже давно...

Она ликующе захлопала в ладони:

— Вот это замечательно. Какой ты хороший, умница! Прочти мне что-нибудь, пожалуйста. Знай, что я — живая тайна.

Я колебался. Мне было неприятно, что я не сдержался — растаял перед нею и проговорился о своем «Голосе в будущее». Но в то же время я нестерпимо хотел прочесть свои записи именно ей, Анечке, которая меня поймет и скажет такие слова, которые не скажет никто. Она казалась мне в этот момент моим внутренним отражением — моей совестью.

— Как-нибудь в другой раз, Анечка. Сейчас я не могу — очень устал.

Да, я и перед нею закрыл свою душу».

*

«Был у Паши и говорил с ней косноязычно, в третьем лице, иносказательно, как беллетрист. Она видела меня насквозь, и мне было тягостно. Не получил я ожидаемого освобождения. С Гудимом не буду говорить — не поймет. Да и не нужно здесь возбуждать этого вопроса: будет сенсация и смута. Написал Прихромову: он мудрец и душевидец. Я чувствую к нему что-то вроде благоговения. Кстати, в Москве и Ватагин. Прихромов сумеет ему втолковать. А может быть...»

*

«...Надо иметь мужество пойти навстречу неизбежному. Я знаю, что такое война, знаю, что такое — смерть. На взрыв моста я шел с радостью, с гордостью бойца, которому доверили большое, ответственное дело. А мог ведь погибнуть. Родина окружена врагами — самыми свирепыми и кровавыми. Фашизм действует и провокацией, и наглостью, и шпионажем, и невиданным злодейским коварством. Война надвигается к границам, война идет уже и в стране: троцкисты, правые, шпионы, диверсанты... Я в первой цепи для яростной атаки. Почему же я так жалок и раздавлен страхом перед возможностью раскрытия моей тайны? Вероятно, потому, что тайна, старея, превращается в хроническую болезнь.

Только что беседовал с Борзяем. Что-то больно часто стал он меня донимать. Как обычно, он постучал в дверь и сказал улыбающимся голосом:

— Цезарь Семенович, сегодня у меня праздник. Какого паренька я обнаружил!.. Поистине борьбу венчает огонь. Человек стал гением в тот миг, когда произвел искру. Паренька Митей звать, из бригады на гнилых подушках. Так вот-с, этот Митя заявил в волнении, что он ночей не спал — страдал, мучился,

искал, как бы превратить эти гнилые подушки в монолит... И знаете, он в эти минуты был велик...

— Поздравляю вас, Петр Иванович, с удачным ловом...

— Спасибо, родной... — ответил он сердечно, и мне показалось, что он не понял моей шутки. — Я к чему это, Цезарь Семеныч? К тому, что именно в мятеже, в огне беспокойства познается истина.

— Энгельс любил повторять, Петр Иванович, такой афоризм: «Чтобы познать пудинг, надо его съесть».

— А я, Цезарь Семеныч, думаю так: любишь огонь, люби и ожоги. Я предпочитаю раздувать пламя. Пришел я в свою келью и стал беседовать с жизнерадостными мыслителями прошлого, хорошими, чистосердечными стариками. Я их читаю и почитаю. Денис Дидро энергично вещает: «Существует одна обязанность — быть счастливым, один вывод — не преувеличивать ценности жизни (гм, гм!..) и не бояться смерти... Ибо мир — жилище сильного». Золотые слова!.. А ему вторит громовой голос Павла Гольбаха: «Перестань же, о человек, тревожиться из-за призраков... Освободись от удручающих тебя страхов, следуй спокойно необходимой дорогой!.. Посади вдоль ее цветы...» Почаще слушайте, Цезарь Семеныч, этих бессмертных энтузиастов... Все сии слова трепещут великой силой жизни. Порою и мы чувствуем себя несчастными, когда вступаем в противоречие с собою... Иногда и я грешу на старости лет сомнениями. Рабы всегда склонны к рефлексии...

— Неплохо сказано, Петр Иванович. Маркс и Энгельс очень ядовито издевались над этим словечком: некие, дескать, индивиды полагают, что в рефлексии и посредством рефлексии они возвышались над всем, тогда как в действительности они никогда не возвышаются над рефлексией...

Борзяй посопел, потоптался и покашлял. Потом легонько, изобличающе постучал ногтем в дверь.

— Чудесно, чудесно, Цезарь Семеныч. Нуте-с?

— Вот и все, Петр Иванович.

— Так, так... Но не заслоняемся ли мы мудростями гениев? Мне кажется, Цезарь Семенович, что и вы не

чужды, извините, сей самой рефлексии... Не так ли? Не гнетут ли вас некие призраки?.. По ночам вас душат кошмары: вы часто стонете и кричите в ужасе.

— Вероятно, от переутомления, Петр Иванович. Сейчас трудные дни — реализация сквозного договора. Все бычки мы должны закончить в ноябре. А зимой — выращивать соединительные стенки...

Я начал говорить ему о тех больших трудностях, которые мы должны преодолеть в работах, о подготовке кадров, о втузе, о железнодорожных мостах и т. д. Для чего? Для того, чтобы угасить в нем эту старческую, философическую болтливость. Этот седовласый хитрец следит за мною, и, как поп, вызывает на исповедь. Ловец человеческих душ! Я замолчал и прислушался к нему. У двери его уже не было».

*

«...Сегодня утром на обычном коротком совещании у Гудима говорили, между прочим, о злополучном аресте Братцевой. Паша рассказала, как она вместе с Кряжичем и Катюшей ездила в город освобождать пленницу. Она ярко изобразила, как бунтовала Катя, как она воинственно ворвалась в коридор угрозыска и бурно бросилась на шею Братцевой, которая шла им навстречу. Рядом с нею был начальник, добродушный военный человек, и говорил, посмеиваясь, как старый знакомый. Катюша бросилась к нему, бледная.

— Как вы смели, товарищ, оскорблять Танечку!.. Вы поступили подло... Да вы знаете, что не ее оскорбили, а всех нас, всю стройку.

Начальник очень извинялся и старался успокоить ее:

— Я расследую это дело и виновных привлеку к ответственности...

А Катюша кричала:

— Не беспокойся, товарищ, мы тоже сумеем найти негодяев... Мы этого дела не оставим...

И опять кинулась на шею Братцевой — целовала ее и плакала...

Но не этот рассказ взволновал меня, а слова Паши, брошенные ею вскользь:

— Перед этим заходил ко мне Корытин. Странный такой, растерянный... Что-то произошло с ним... хотел, мол, предупредить о задержании Братцевой, но не смог... Проболтался будто бы Самородов...

Гудим слушал равнодушно и ни одного вопроса не задал Паше. Он нажал кнопку звонка и, когда вошел быстроглазый Ангел, приказал скучным голосом:

— Позови-ка сюда Корытина!

Мы переглянулись с Пашей: ведь Гудим сам был занят этой любопытной историей.

Корытин вошел неустойчиво и угловато. Черномазый, широкоскулый, он смотрел не на нас, а в пол.

— Садись, товарищ Корытин... —безразлично пригласил его Гудим. Он тоже не смотрел на него, а передвигал растопыренными пальцами бумаги. Зато Паша подошла к Корытину и поздоровалась с ним за руку. Смуглая кожа на его щеках стала серой. От сердцебиения у него вздрагивала голова.

— Я вызвал тебя, Корытин, по поводу этого дурацкого случая с Братцевой. Ты хорошо поступил, что предупредил Погадаеву.

Корытин мял кепку дрожащими пальцами и хрипло сказал:

— Такой поступок —долг каждого, товарищ Гудим. Отмечать его нет надобности.

Я и Паша сидели в стороне и не принимали участия в беседе.

— Наоборот, Корытин, каждый достойный поступок мы должны отмечать как пример для других.

Гудим говорил чересчур много и пространно, чего с ним никогда не бывало. И мне кажется, что Корытин хорошо понимал, зачем его вызвал Гудим, и ждал какого-то страшного вопроса.

— Мне только не ясен один момент, Корытин, и ты, конечно, поможешь нам разобраться... Дело идет о двух партийцах, даже — о трех: о тебе, о Самородове и Шалнине. Впрочем, и о Ситном можно было бы упомянуть. Вот Самородов не предупредил меня своевременно, и Шалнин — тоже. А ты сигнализировал. Чувство долга у тебя и у них не одно и то же. И вот:

как же, по-твоему, звучало это сообщение Самородова об угрозе Братцевой?

Корытин впервые поднял голову и встретился с глазами Гудима.

— Если я скажу, что отношение Самородова к Братцевой меня взбесило, вы можете, товарищи, сделать из этого надлежащий вывод. Я Братцеву хорошо знаю и очень уважаю.

— Ты, Корытин, не подумай, что я допрашиваю тебя или вмешиваюсь в твои личные дела. Но пойми, милый человек: ведь странно. Ты едешь с Самородовым и Шалниным к Ситному провести вечер с приезжим знакомым... Кстати, я уже проверил, кто этот ваш знакомый. По дороге ты узнаешь, что Братцевой грозит беда. Ты проводишь вечер в доброй компании, а в это время на товарища, которого ты уважаешь, обрушивается несчастье. Конечно, это хорошо, что ты бежишь к Погадаевой, но бежишь тогда, когда событие-то совершилось. Путаница какая-то... Ничего не пойму...

— Я не знал, что несчастье с Братцевой совершилось...

— Ну, хорошо, Корытин: допустим, что так. Но, зная о том, что угрожает Братцевой, почему ты не сообщил своевременно?

Корытин помолчал несколько секунд.

— Я хотел возвратиться, но машину погнали дальше. Позвонить же мне не представилось возможности.

— С Забодаевым ты давно знаком?

— Я с ним не был знаком, — грубо отрубил Корытин.

— Так в чем же дело? Зачем же ты дежурство оставил? Неужели ради этого свидания?

— Я не к Забодаеву ехал, а в райком в порядке вызова.

— Кто же тебя вызывал?

— Вызов Ситного мне передал Шалнин. Иначе я не оставил бы работы.

— Понятно. Значит, ты все-таки ездил по вызову райкома?

— Да, был в этом уверен.

Гудим рассеянно глядел в окно.

— Ну, вот что, Корытин: ты подумай-ка денек-другой, а потом приходи сюда и расскажи все начистоту. Ведь мы-то хорошо знаем, что за птица этот Забодаев. Пусть он ведает главком, но троцкист-то он был густопсовый. И о себе не мешает кое-что вспомнить... — И встал, опираясь о стол обеими руками, пригвождая холодными глазами Корытина:— Ты ошибаешься, дорогой, считая нас за вислоухих дураков.

Он прошелся по комнате, заложив руки за спину. И, когда возвратился к столу, сказал с сожалением:

— Ты пока свободен, Корытин...

Корытин хрипло ответил, подымаясь:

— Я сказал правду, товарищ Гудим.

— Хорошо, хорошо... Один процент правды тоже правда, но какая?..

Корытин вышел, сгибаясь под гнетом нашего молчания.

— Ну, что вы скажете, товарищи? — равнодушно спросил Гудим.

Паша убежденно проговорила:

— Он не хочет лгать, Гудим.

— Он и не лжет. Факты верны. Но самой правды— нет, только хвостик правды... Обязательно придет: не вынесет — измотается...

Мне показалось, что Гудим задержал на мне свои глаза, но я встретил его взгляд твердо, с ожесточением...»

II. СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ

1

Глеб жил неподалеку от Кряжича в таком же стандартном доме. Занимал он половину здания — четыре комнаты с кухней. Обедал дома, но пищу ему привозил шофер из столовой ИТС. Собственно, Глеб ютился только в одной изолированной комнате. Из трех дру-

них одна была столовой, а остальные две предназначались для приезжих гостей. Окно его комнаты выходило на задний план сада, за которым виднелись крыши домов на другой улице.

Возвращаясь с заседания, Глеб пригласил Кряжича и Татьяну заехать к нему запросто, по дружбе. Когда они вошли в прихожую, пожилая домработница встретила их с сердечным радушием:

— Уж я не знаю, кто вы такие, извиняйте... Но у Глеба Ивановича все гости прекрасные.

— Хорошие ребята, Евдокимовна... Будь спокойна: все останется в целости...

— Ну, что это вы, Глеб Иванович!.. — в сильном смущении простонала Евдокимовна. — Как вы меня перед ними конфузите!..

Все засмеялись.

— Ничего, ничего, Евдокимовна. Угости-ка вот, пожалуйста, чайком и кое-какой закусочкой, и они тебя полюбят. Винца там у нас нет хорошего?

— Ну насчет вина это вы, Глеб Иванович, оставьте... — заторопился Кряжич.

— В чужом монастыре, как говорится, Николай Николаевич, без хмеля не обходится.

— А я с удовольствием выпью...—сказала Татьяна.

— Ну, вот видно, что женщина вышла из мастеровщинки. Кстати, Татьяна Ивановна, ваш папаша — не из чеботарей?

— Нет, покрепче — из рыбаков.

— Ого, это народ серьезный!.. Прошу в мои апартаменты. Всюду, как видите, океан света. Евдокимовна всегда встречает меня торжественно.

Прошли через столовую с длинным столом, покрытым свежей скатертью. Комната Глеба — просторная и уютная. Письменный стол с массивной чернильницей — группа медведей и медвежат. Рядом, в стеклянной рамке, портрет молодой стриженой женщины, круглолицей, со вздернутым носом и строгими бровями. По лицу видно, что женщина с характером. По другую сторону — портрет глазастой девочки. Сбоку стола, на подставке из-под цветов, стоял телефон. Позади, в углу, — этажерка, забитая книгами.

У задней стены — прибранная кровать, а против стола — диван и два кресла перед круглым столиком. На стенах в дубовых рамах под стеклом — стройка в летней стадии работ и какой-то очень большой завод под горами. Вид был с моря, и завод размыто отражался в его зеркальной поверхности.

— Вот и мое гнездо. Люблю его, признаться: есть тут дорогие вещицы, связанные с моей биографией.

— Я завидую вам, Глеб Иванович, — сказал Кряжич, оглядывая комнату. — У вас чувствуется этакая живая теплота.

— Ну, а как же без теплоты? Как хотите, товарищи, а я немножко люблю вспомнить о прошлом. Есть и грустное и радостное. Вспоминать всегда приятно и полезно.

Татьяна подошла к столу и посмотрела на портрет женщины и девочки.

— Это Даша и Нюрочка, Глеб Иванович?

— Вы меня волнуете, Татьяна Ивановна...

— Да кто же не знает, что ваша Даша работает в Москве, что вы давно уже отвыкли от семейного счастья, что у вас была единственная дочка, которую вы потеряли давно.

— Уж действительно *брак*, а не семья. Забраковали мы семей достаточно. Наши женщины — не для домашних утех. У меня жена — военный политработник, а у Мирона — директор завода. Мы свое дело сделали... — усмехнулся он. — А вам выпало на долю создать новую семью.

— Но это же и ваша задача, Глеб Иванович.

— Да, попробуйте на нашем месте водворить жен в одну конуру! Ольга Ватагина живет своим заводом. Она с большой гордостью говорит, что в этой лампочке горит искорка и ее души. Тут, извините, у нас — неразрешенное противоречие не только во внешних обстоятельствах, но и внутри. Как ни говорите, наша теперешняя семья создается очень драматично.

— Если бы, Глеб Иванович, у вас в голосе не звучала некоторая печаль, я сказала бы, что вы — в личных делах большой оптимист.

— Так ведь, дорогая Татьяна Ивановна, оптимизм рождается и крепнет только в борьбе и испытаниях. Я, конечно, самый жизнерадостный оптимист, поэтому не прочь и погрустить.

Кряжич стоял у этажерки и перелистывал какую-то книгу. Глеб шагал по комнате и размышлял вслух. Так, вероятно, шагал он и в те минуты, когда оставался один. Полуседой, коренастый здоровячок, он дышал мягким добродушием. С лица, немного располневшего, все время не сходила привлекающая улыбка. Кряжич в сравнении с ним казался тщедушным и бледным. Узкое его лицо удлиняла русая бородка.

— А вы разве не оптимисты?.. — горячо говорил Глеб. — Неугасимые оптимисты. А почему? Потому, что у каждого из вас трепещет могучий нерв движения. Ну, скажем, нерв человеческого счастья.

— Это вы остроумно, Глеб Иванович... — серьезно сказал Кряжич, быстро отходя от этажерки. — Татьяна Ивановна не только чувствует в себе этот нерв, но обладает удивительным чутьем находить его в других...

— Какой чувствительный разговор!.. — засмеялась Татьяна.

В столовой Евдокимовна звенела посудой, а Глеб ходил раздумчиво и говорил задушевно, точно давно хотел выложить душу перед этими людьми. То, что произошло с Татьяной, его как будто не интересовало. Правда, по приезде из края он сам пришел к ней на плотину и сказал шутливо:

— Ну, как, Татьяна Ивановна? Трепанули вас немножко?.. Дуракам закон не писан...

Ее арест взволновал не только технический персонал, но даже рядовых рабочих. Всякий, кто встречался с ней, непременно выражал свое негодование. Татьяна была очень тронута участием товарищей по работе, а внезапный приезд в город Паши и Кряжича с Катюшей потряс ее до слез. Чумалов, который нередко приходил в ярость от пустяковых неурядиц и ошибок, не мог пройти мимо этого случая. А вот до сих пор упрямо молчит.

— Недавно мы решали с вами проблему гнилых подушек под бычками, — рассуждал Глеб, набивая трубку табаком. — Эти гнилые подушки у многих из нас были и в жизни. Они тяжелое наследие, как рутина, как устой и быт. А рутина и быт создают инерцию — привычки. Навыки же приобретаются преодолением инерции, борьбой с инерцией и с самим собой. Вы вот, Татьяна Ивановна, о Даше моей говорили. Она бунт подняла против этих гнилых подушек, а я не понял. Почему? На этот счет много можно разговаривать...

«Что с ним такое? — недоумевала Татьяна. — Зачем он исповедуется перед нами?»

Кряжич слушал его с недоумением.

Рассуждения Чумалова были бы к лицу такому человеку, как, скажем, Борзяй. Рефлексия свойственна людям обособленным, в которых живет этакий разъедающий червяк. Но Чумалов — человек здоровый, полнокровный, действенный. Эти слова в его устах звучат смешно и неуклюже.

— Всякий пройденный этап есть история, Глеб Иванович, — оживился Кряжич. — Когда-то я любил вспоминать прошлое, а теперь, думая о будущем, даже физически чувствую, что молодею и здоровею.

— Это и видно, Николай Николаевич. Только жизнь во имя будущего дает долголетие. Вы доживете до юных лет старости. А Татьяна Ивановна будет членом мирового Цика.

Евдокимовна постучала в дверь и приветливо пропела:

— Пожалуйте к столу... милости просим!

2

Вышли в столовую. Оттого, что на белоснежной скатерти сверкал на подносе чайник и прозрачно искрились стаканы, а тарелки манили своей белизной, в комнате как будто стало еще светлее и просторнее. Евдокимовна подала ветчину, консервы, сыр. Стояли три бутылки вина и маленький графинчик водки

с лимонными корочками на дне. Глеб посадил гостей по обе стороны стола, напротив друг друга, а сам сел в середине.

— Ну, что ж, друзья мои, подкрепимся? Вам, Татьяна Ивановна, какого?

— Рислингу.

— Ну, и мне рислингу, — сказал Кряжич.

— А может быть, водочки? Извлечем корень, а?

И Глеб налил Кряжичу и себе. Водка янтарно горела в рюмочках, а по краям их слезились и таяли капли.

— Итак, товарищи, — за молодость, за войну против всяческих гнилых подушек!..

Чокнулись и выпили. Все трое потянулись вилками к закускам.

— Вы — дома, товарищи, — сказал Глеб, подвинув к себе коробку консервов. — Заявляю, что гостевых условностей и этикетов не понимаю. Я вот все разъезжаю — выполняю роль скандалиста и налетчика. Все время в состоянии войны со своими контрагентами. И тут не легче: и день и ночь — люди, дела, борьба. Сто раз полаешься, сто раз утешишь и успокоишь младенцев и сумасшедших, сто раз сам побесишься. Но хорошо: нравится мне это. Приятно драться, пробиваясь каждый час вперед.

— Я всегда вам удивлялся, Глеб Иванович, — признался Кряжич. — У вас нет ни усталости, ни сомнений, ни упадка духа.

— Извините, я обязан не отставать. Мне не в чем сомневаться и не от чего падать духом, когда передо мной, как у Лермонтова, — «кремнистый путь блестит». Я, вероятно, и в могилу упаду с разбегу.

— Позвольте, Глеб Иванович, — вдруг загорячился Кряжич. — Разве у вас... ну, у всех вас, коммунистов... разве у вас все вопросы решены и все ответы готовы?.. А как же с личной жизнью? побоку?

— То есть почему же побоку? — с изумлением взглянул на него Глеб. — По-моему, совсем наоборот...

Татьяна в упор спросила Кряжича:

— А разве она у вас есть, эта личная жизнь, Николай Николаевич?

— Почему же у меня не может быть личной жизни?

— Что же вы разумеете под личной жизнью?

Неожиданные и сдержанно-насмешливые вопросы Татьяны опрокинули его.

— Это же — ясно, Татьяна Ивановна. Пощадите!

— Не пощажу, потому что это для меня совсем не ясно.

— Есть же у меня интимные переживания, мечты, стремления, проклятые вопросы... Разве это не законно?

— Вполне законно, — согласился Глеб.

Он поднял рюмку, протянул ее к Кряжичу, понукая его, и дотронулся до стакана Татьяны.

Кряжич выпил машинально. И уже потом испуганно посмотрел на графин и укоризненно покачал головой. Выпил и Глеб. Татьяна отхлебнула свой рислинг и с той же сдержанной насмешкой опять спросила Кряжича:

— И это ваше законное право вы осуществляете с удовлетворением?

— Пытался, но без удовлетворения, пытаюсь, но...

— Но ваше право остается пустым звуком... — досказала она. — Почему? Извините за нескромные вопросы, Николай Николаевич, но я ставлю их в порядке принципиального разрешения...

— А по-моему, — вмешался Глеб, — этим правом Николай Николаевич пользуется неплохо: что еще нужно, когда он с таким успехом рушит гнилые подушки хотя бы на плотине.

— Как же можно отделять так называемую личную жизнь от жизни творческой, Николай Николаевич? — Татьяна резко отодвинула стакан. — Человеку свойственно излучаться, воплощать себя в любимом труде, в созданных им ценностях. Вы находите себя только там, где вы боретесь и созидаете. Человек размножается не только потомством, но своими делами. Остается то, что вы относите к житейской, бытовой, интимной стороне. Если ваша житейско-бытовая, скажем, домашняя, жизнь не совпадает с вашей

творческой работой, она — тормоз, плен, рабство... наконец, это плесень, которая разъедает душу...

Глеб прислушивался к горячим словам Татьяны и лукаво усмехался.

— Как программа поведения — это превосходно и верно, Татьяна Ивановна, но в жизни много таких проклятых вещей, которые, как наши гнилые подушки, бывают трудно преоборимы.

— Значит, вы заранее отвергаете возможность ошибок и увлечений? — раздраженно спросил Кряжич. В этом ее задоре и глубокомыслии он видел только юношеский пыл.

— Нисколько не отвергаю, Николай Николаевич.— Она ясно и понимающе посмотрела прямо ему в глаза. — Не только не отвергаю, но допускаю множество глупостей и провалов. Но я не задумываюсь ни на минуту перешагнуть через них, чего бы это не стоило.

— Поглядим, поглядим, Татьяна Ивановна, — пошутил Глеб. — Поглядим, как вы будете изворачиваться и страдать, когда попадете в лапы семейного быта.

— Я не возражаю ни против любви, ни против быта, Глеб Иванович. Любовь — не слепое чувство, а то же поведение.

— В ваших летах любовь расцветает пышным цветом, — шутил Глеб. — И притом, черт возьми, красивы же вы, Татьяна Ивановна.

— Это внешние, а не внутренние признаки. Цвет кожи и форма носа очень часто не совпадают со свойством характера. Это случайное явление.

— А признайтесь, Татьяна Ивановна, любите вы кого-нибудь?

Татьяна очень серьезно ответила:

— Ну конечно!.. а как же?

Кряжич вздрогнул и с ужасом впился в нее глазами. Глеб проследил и за ним и за Татьяной.

— Замолкаю и дальше порога не пойду...

— Почему же? Раз это мое поведение, тайн здесь не может быть.

— Здорово! — в восторге крикнул Глеб. — А я бы, например, не мог сказать этого вслух.

— Напрасно.

Кряжич замер в ожидании. В глазах Татьяны с мерцающими ресницами темнела спокойная глубина. Так у нее мерцали глаза всегда, когда она была разгневана или откровенна до дерзости. Это и раздражало и обезоруживало Кряжича. Всегда она была внимательна и выслушивала его распоряжения с почтительным достоинством. С таким же достоинством она обращалась к нему за консультацией или высказывала свои соображения по техническим вопросам. Ее научную работу он так и не прочел, но из бесед с нею вывел заключение, что эта работа должна вызвать переворот в системе труда. Раньше он оспаривал ее положения, рассчитанные на техническую подготовку рабочих, но сейчас, в дни трудового подъема, он удивлялся ее прозорливости. Ее книга была предназначена для будущего, а Татьяна не раз высказывала мысль, что многие тезисы ее труда уже устарели и их надо заново перерабатывать. Эти разговоры не имели ничего общего с ее чувствами. Но у нее была своя, интимная жизнь, свои девичьи мечты, свой мир, которого он не знал. Он ни разу не решался зайти к ней на квартиру, хотя жила она через дом от него: он опасался сплетен, оберегал ее от дурных глаз. Но и она его не приглашала, и их свидания всегда происходили или на плотине, или в кабинете его отдела. Тот единственный и необыкновенный случай, когда она вошла к нему ночью, сейчас же после ухода Бубликова, останется на всю жизнь, как ожог. Это был смелый и дерзкий поступок с ее стороны. Ей нужно было спасти его и поставить на ноги, когда он был уже ошельмован, опозорен и растоптан погаными ногами прохвоста. И он впервые был поражен ее чуткостью, прямотой и проникновенностью. Таких женщин в своей среде он не встречал.

С этого удивительного часа он всем своим существом понял, что без нее дальнейшая его жизнь немыслима. Каждый свой шаг, каждое дело, каждую мысль он уже невольно ставил под вопрос: а что скажет эта девушка? как она оценит то-то и то-то?

С Ритой у него не было ни ссор, ни пошлых скандалов: он просто с тех дней исключил ее из своей жизни. Они уже не сидели вместе за столом, и на ее попытки мягко, покорно ухаживать за ним отвечал глухим молчанием. Последние нити их супружеской связи оборвались навсегда. Недавно он сухо, как безнадежно чужой, сказал ей, что она может устроить свою жизнь, как ей угодно, но совместное их житье для него — невыносимо. С ее стороны было бы вполне последовательно и честно, если бы она уехала со стройки, куда ей больше по душе, он же считает себя обязанным помогать ей до тех пор, пока она не научится работать и тем самым уважать себя. Она, по обыкновению, билась в истерике, проклинала его, а потом однажды сообщила запиской, которую он нашел у себя на столе, что она решила уехать в Ленинград, если он обеспечит ее по крайней мере на год. Она только ждет ответа от своих подруг, которые уже давно просят ее приехать. Он ответил ей: да, он согласен и желает ей прочно устроиться, где ей нравится, без всякой надежды на возвращение.

И вдруг она стала принимать гостей, танцевать, связалась с немцами, с Самородовым... Он не выдержал, пошел к Татьяне и почувствовал, что тут — около нее, рядом с Вакиром, с Шагаевым, настоящая живая жизнь.

— Вам нельзя пить водку, Николай Николаевич.

— А мы выпьем еще, — лукаво подмигнул Глеб, наливая рюмки.

— Вы отравите мое начальство, Глеб Иванович.

— Эх, черт подери, какая у вас доблестная защитница, Николай Николаевич! Хоть бы меня разок защитили, Татьяна Ивановна, от моих многочисленных контрагентов. Поедемте как-нибудь со мной в мои походы...

— Вас не защищать надо, Глеб Иванович, а укрощать в ваших бурных порывах.

— Бешеный черт... верно... Но это ведь от доброты и чистого сердца...

Кряжич выпил еще рюмку и почувствовал, как по телу разлилась приятная теплота и нежность.

3

Зазвонил телефон, и Глеб пошел в свою комнату.

Кряжич и Татьяна переглянулись, но сразу же смутились и опустили глаза. Оба почувствовали, что произошло это с ними впервые, точно они увидели себя врасплох и обнаружили в каждом что-то такое, о чем не догадывались и сами. Татьяна покраснела и стала скрести ногтем скатерть, а Кряжич нервно потирал руки и пристально смотрел на свои пальцы. Он первый поднял блестящие глаза и заволновался. Бывают в жизни моменты, короткие, как вспышка света, как потрясающий удар в сердце, которые решают человеческую судьбу. Эти моменты — самые трудные и часто непреоборимые. Нужна исключительная сила воли или самозабвенная страсть, чтобы сказать только одно слово или сделать простой жест, и дальнейшая жизнь пойдет по иному пути. Но Кряжич не мог найти ни одного слова, ни одного движения, силу и значение которых могла бы почувствовать эта девушка. Она была слишком высока и недоступна для него, она казалась ему грозной сейчас, в этот миг внезапной тишины. Он видел, что она ждала от него этого слова и скрытого жеста и готова была поднять свои длинные ресницы и улыбнуться. И он с ужасом чувствовал, что она удаляется от него, что он не в силах пошевелиться, не в силах произнести ни одного слова. Так бывает во сне, когда не подчиняются воле ни мускулы, ни гортань, а только в отчаянии бьется сердце и душа готова угаснуть. Неужели никто еще не целовал эти ожидающие губы?

Она подняла лицо и взглянула на него пытливо и насмешливо. Эти глаза, теплые и таинственные, ослепляли его. Он протянул к ней дрожащую руку, как слепой.

В этот момент к столу подошел Глеб и сказал хмуро:

— Приходится ехать, ребята, на скалу. Не то преждевременный взрыв, не то самовзрывание. Не поймешь, то ли бунтуют люди, то ли омертвели от страха.

И вдруг увидел застывшую руку Кряжича.

— Правильно, Николай Николаевич, не останавливайтесь на полдороге...

Кряжич отдернул руку и откинулся на спинку стула.

Татьяна усмехнулась и певуче продекламировала:

— И кто-то камень положил в его протянутую руку...

— Ребята!.. Ну, что в самом деле!.. Женитесь вы, что ли, честное слово... Все же ясно и понятно...

Татьяна как будто торжествовала и как будто злилась:

— Мимо, Глеб Иванович!..

Глеб сердито оглядел обоих и даже отбросил стул в сторону.

Татьяна быстро встала и с холодком в голосе пошутила:

— Сватать вы, что ли, пригласили нас сюда, Глеб Иванович? Берегитесь, Самородов может расславить вас...

В прихожей заговорил крикливый, требовательный голосок, а Евдокимовна ворчала и, очевидно, не впускала гостя.

Глеб уже от двери обернулся и безнадежно крутнул головой.

— Репей это... Прошу не беспокоиться, товарищи. Раз ворвался — дело доведет до конца...

Здороваясь с Глебом, с Татьяной и Кряжичем за руку, Репей говорил только с Чумаловым, торопясь и обжигаясь словами.

— Время, конечно, позднее, товарищ Чумалов... А дела такие, что и ночь не сон... Слышал, как Гашатку-то мою угробили?.. Даже вставаньем почтили. Добро, что нервы у меня согласно настроены, как на балалайке, а то бы — каюк...

— Да, по этой балалайке тебя здорово хлестнули... — согласился Глеб. — Садись пока... минут на пять... Еду сейчас: на скалу вызывают. Неудачный взрыв.

— Вот!.. — с торжествующей злобой крикнул Репей и угрожающе оглядел всех троих. — Словно

по-писаному... Я несусь, как малохольный, а оно через меня перескочило...

— А как себя чувствует Агаша, товарищ Репей? — спросила Татьяна. — Как же это вы бросили ее одну? Разве шутка — пережить такое потрясение!..

Репей с неудовольствием оглянулся на Татьяну и, очевидно, не считая нужным отвечать на ее вопрос, недружелюбно отозвался:

— Нам, товарищ Братцева, тонкими чувствами играться некогда.

Кряжич сидел за столом, курил папиросу и следил за Репеем отчужденно и безучастно.

Репей опять постучал кулаком о спинку стула и настойчиво заявил:

— О наших мостовых делах я тебя информировал. А гады у тебя играют и спереди и сзади.

— Да, это не особенно мило, когда играют гады...

— Я, товарищ Чумалов, не стесняюсь: Николай Николаевич и Татьяна Ивановна — наши люди. А ежели ты ведешь разговор шутейно, я могу замолчать и идти по другой линии.

— Нет, почему же? Валяй!

— Я заниматься дипломатией не умею, товарищ Чумалов. Я только сигнализирую. Хоть бы взять мостовые дела. Масса под бойкотом держит Перебойченко, а его твой Самородов взял под крыло. У меня нынче был конфликт знаменательный... Где корень теперешнего крушения на мостовом переходе? С жертвами, товарищ Чумалов!.. И вот сейчас — скала... Учти, какая картина получилась на собрании.

Чумалов стоял перед Репеем, засунув руки в карманы, с терпеливым вниманием в лице.

— И о крушении знаю, товарищ Репей, и картину видел, и о Перебойченко слышал... Это хорошо, что ты сигнализируешь. Но я никак не пойму, о чем конкретно ты сигнализируешь...

Репей взъярился и засопел. Глеб вдруг почувствовал, что от него запахло ржавым железом.

— Сигнализирую я, товарищ Чумалов, как умею... и Самородову твоему я не верю. Гляди, товарищ Чу-

малов, как бы шутка-то не обернулась бедой... Я сволочь за версту чую...

Глеб гневно оборвал его:

— В конце концов ты ведешь себя по-дурацки, Репей. Разве так борются с врагами? Ну, сходил бы к Емельяну и посоветовался с ним.

За окном, в непроглядной тьме, сверкнули фары. Фанфарами запел гудок.

— Ага, вот и машина...

Глеб скрылся в своей комнате.

Репей осовело взглянул на гостей, и в лице его судорожно мелькнула улыбка, похожая на плаксивую гримасу. Он молча пошел к двери и остановился у порога. Татьяна с гневом в глазах быстро подошла к нему и схватила его за руку.

— Товарищ Репей, вы человек хороший... честный и чуткий.

Но Репей с покорным упрямством тихо сказал, смотря мимо нее, на Глеба, который надевал теплую куртку:

— Я пришел к тебе, товарищ Чумалов, как к другу-товарищу. Со мной сегодня было потрясенье... А я вот все бросил... Сердцем хотел перетолкнуться... А до тебя не дошло, товарищ Чумалов...

И, убитый, вышел из комнаты. Татьяна медленно прошла к окну и посмотрела во тьму.

Кряжич сидел, занятый собою, курил и посматривал на Татьяну. А Татьяна холодно проговорила в окно:

— Какого вы верного товарища отшвырнули, Глеб Иванович!

Глеб пошлепал себя ладонями по карманам на груди, по бокам и, смеясь, утешил ее:

— Ничего, ничего, Татьяна Ивановна. У нас тысячи людей, и все хорошие. А Репей от этой встречи будет не хуже, а лучше. Я завтра с ним потолкую как следует. Поехали, товарищи... Прошу!

Небо было совсем черное, густо и сочно засыпанное звездами. Млечный Путь пылился с севера на юг, и в зените радужно переливались Вега и звезды Лебедя.

— Эх, как звезды-то играют здорово!.. — залюбовался Глеб. — На юге у нас они ярче. На войне это небо казалось невыносимо родным. Почему, когда глядишь в него, хочется вспомнить свою молодость?..

Подошли к машине, и Глеб распахнул дверцу. Татьяна подала ему руку.

— До свиданья, Глеб Иванович.

Кряжич вежливо снял шляпу.

— Позвольте, друзья... никаких гвоздей!.. Едем вместе. Проведем уж до конца этот вечер.

— Поздно, Глеб Иванович, — уже полночь...

— Ерунда! Что вы так скупитесь насчет времени! Впервые, что ли?.. Николай Николаевич все равно пошел бы сейчас на плотину. А я обязательно должен быть на электростанции. Ну, ну, прошу!.. И пожалуйста, не дуйтесь... Ругайте, кричите, терзайте, но не затаивайте своих чувств...

Он подхватил Татьяну под руку и подтолкнул на подножку, а Кряжича даже обнял за поясницу.

III. СХВАТКА

1

На той стороне, на высоком острове, у акватория шлюза, мгновенно сверкнул сноп пламени и взвился огненный вихрь дыма. Громовой взрыв встряхнул воздух.

— Эти взрывы я слышу много лет, — сказал Кряжич, — но никак не могу переживать их спокойно. Они точно очищают кровь. И как бы я ни был утомлен, я всегда в эти моменты чувствую себя обновленным и бодрым.

Глеб смотрел на облако, покрывающее остров, и с нетерпением ждал следующего взрыва.

— Я, друзья, — военный человек, и эта канонада напоминает мне о том, что мы обязаны каждый день быть готовыми к боям.

И сердито крикнул:

— Мы на войне!.. понимаете? Надо это крепко помнить и остро чувствовать. Отсюда и надо решать задачи личной жизни и так называемого человеческого счастья...

Слушая его, Татьяна думала, что у этого человека все крепко поставлено на свое место. Он и на настоящую войну пойдет так же просто, без встряски, как на свою повседневную работу. Для него стройка и война — это две формы одного и того же процесса борьбы.

Кряжич внимательно всматривался в ярчайшие вихри огней на плотине, в движение далеких крановых стрел и издали угадывал то, что происходит на обоих берегах. Он стал тверже, напряженнее, строже. Менялось лицо его, когда он вглядывался в даль и в близкие участки.

Проехали военный городок в широкой ложбине. Караульные красноармейцы с винтовками проверили пропуск у шофера, и машина полетела по короткой улице с кирпичными домами по сторонам. На плацу стояли одетые в чехлы зенитные орудия, задрав дула кверху. По улице и между домиками ходили группами и в одиночку бойцы. Машина взлетела на высокий холмистый берег. Здесь опять ослепительно залучились огни. Свернули вправо и понеслись по крутому спуску — к высоким гранитным скалам в осыпях камней. Перемахнули через железнодорожный путь и опять повернули влево, в расселину глубокой каменоломни. Остановились на широкой площадке, среди нагромождений гранитных глыб и сложенных в штабели камней.

Огромные кубы лежали широким полукругом. Они были красиво окантованы мелкой рубкой.

Эти камни готовились для береговых примыканий, для электростанции, для зданий соцгорода. Гранитные утесы искрились от фонарей, а черные тени, похожие на дыры и пещеры, были мрачны и жутки.

К машине подбежали двое: в одном из них Татьяна узнала Вихляева (макинтош, бородка и певучий голос), а другой был молодой, вертлявый парень,

весь в серой пыли, — по-видимому, десятник. Первым вышел из машины Глеб, за ним с другой стороны — Кряжич, а потом Татьяна.

Глеб всматривался во тьму расселины, в толпу размытых теней и прислушивался. Но там, в глубине, в скалистых далях, в огненных отсветах, было пустынно и глухо.

— Страшная вещь, товарищ Чумалов... — угодливо суетился десятник. — Это у нас второй взрыв... Громадина: сразу десять шпуров... И как это произошло раньше времени — сущая загадка... Еще люди не успели уйти... грохнуло и... ужас... землетрясение... Пятерых не досчитались...

Глеб молча пошел один в каменное ущелье. За ним, съежившись, пошагал десятник, а потом — Вихляев с Кряжичем и Татьяной.

Шли по камням и по рельсам, между кранами и экскаваторами. Утесы казались очень высокими в узкой расселине прохода. А когда вышли в широкий простор каменоломни, скалы ступенились террасами и казались отлогими. Всюду были разбросаны гранитные глыбы, отвалы щебня и множество ограненных и диких камней. Пахло серой и ржавчиной. Прожекторы бросали пучки ослепительного света с одной стороны, и тени в щелях чернели глубоко и четко. Всюду — и на террасах, и внизу, у подошвы цирка, — широким полукругом громоздились обвалами обломки скал и ярусы камней.

Вправо, на взлобке, стояла густая толпа: люди в длинных парусиновых рубашках издали смотрели на Глеба, ожидая его с угрюмой настороженностью. Вдали, перед обвалами, суетились несколько рабочих и что-то кричали друг другу. Неподалеку, у ряда окантованных камней, лежали два человеческих тела в лохмотьях парусины, пропитанной кровью. Глеб быстро свернул к ним и вздрогнул: у одного трупа головы не было — она лежала у него под боком, страшная, вся в крови, уткнувшись носом в руку, которая, казалось, прижимала ее к телу. Другой труп, с закинутой головой, с открытыми глазами и ртом, лежал спокойно, вытянувшись. Кряжич и Татьяна

тоже хотели подойти к телам, но Вихляев пропел упавшим голосом:

— Не советую, Николай Николаевич. Ужасный вид. Да и неловко это для женщины... Зачем расстраиваться, знаете ли?.. Нет, нет, Татьяна Ивановна, не позволю...

И он рукою загородил им дорогу.

— Ах, как нехорошо, знаете ли, вышло!.. Возмутительное событие! Ума не приложу, знаете ли... Ведь не первый раз одновременный запал... Странно, очень странно!.. Тщательные осмотры, проверка... И главное, взрыв-то произошел в момент осмотра... — И, криво усмехнувшись, добавил: — Не везет Игнатьичу с его техникой безопасности!.. Чем он больше тормошится, тем больше несчастий...

Они тихо прошли среди камней еще несколько шагов. Татьяна вскрикнула и отступила в сторону. Из-под глыбы вытягивалась рука и жадно впивалась пальцами в щебень.

Кряжич остановился и с раздражением сказал:

— Безобразие, товарищ Вихляев!.. Люди у вас бродят, как овцы. Организуйте их, пожалуйста... Спасать же надо... может быть, есть живые...

Вихляев жалко улыбнулся:

— Ну, знаете ли, Николай Николаевич. Сейчас распоряжаться нельзя... И у голоса и у молчания есть свои критические минуты.

Бригадир угодливо пояснил:

— Вы, Николай Николаевич, пока к народу не ходите. Все — оглушенные, не в себе: могут и посвирепствовать... Пускай чуток отмолчатся.

И он вразвалку, озираясь, побрел куда-то в сторону. Вихляев вприщурку последил за ним и переглянулся с Кряжичем и Татьяной.

— Обмер человек, знаете ли...

Татьяна не могла еще успокоиться от жуткого вида ползущей из-под камня руки и жадно хватающих пальцев. На несколько минут она вся сжалась и оцепенела. Но когда гневно крикнул Кряжич, а потом заговорил Вихляев, она вздохнула облегченно.

Хотелось броситься к красноармейцам, которые ворочали камни, самой взяться за дело и внести порядок в работу.

Она побежала к обвалам скалы.

— Куда вы, Татьяна Ивановна? Зачем? — крикнул Кряжич и сам невольно пошел вслед за Вихляевым.

2

А Глеб подошел к толпе рабочих. Навстречу ему глядели враждебные глаза. Люди как будто не обращали на него внимания, переговариваясь друг с другом. Одни стояли кучками и о чем-то угрожающе спорили, другие сидели на камнях и курили с злобной задумчивостью.

Глеб понял, что эти люди контужены, что они могут сейчас только молчать, если не встревожить их, но достаточно одного выкрика — и они осатанеют. В те времена, когда восстанавливал заводы, он не раз переживал аварии и катастрофы и сам застывал от ужаса перед неожиданными, непредвиденными разрушениями и гибелью многих людей. Такие события, как вот этот нелепый взрыв, потрясали душу на всю жизнь или вызывали сумасшедший бунт. И это было страшнее самой катастрофы.

Глеб молча сел на камень и вынул трубочку. Он также угрюмо поглядывал на рабочих и, казалось, был занят только своими мыслями. Неподалеку от себя в толпе он заметил коренастого детину в пиджаке, с открытой волосатой грудью, и сразу вспомнил Репея, его сумбурные слова, похожие на бред. Очевидно, в навязчивой подозрительности Репея не только одержимость, но и острое чутье человека, который живет среди скрытых врагов и опасностей. Впрочем, у него есть достаточные основания не доверять людям... Татьяна и Кряжич говорят о Самородове с откровенной ненавистью. В глупом аресте Братцевой Самородов действительно играл какую-то странную роль: тут не только кривлялся скоморох, но умело действовал ловкий провокатор. Хотя Глеб и

виду не подал Братцевой, что пришел к такому выводу, но при каждом появлении у себя в кабинете Самородова он не мог освободиться от желания схватить его за горло.

К Глебу подошел крупный, с большими руками, усатый рабочий, с бабьей повязкой на голове, с кровавой царапиной на лбу.

Он взглянул искоса на камни и тускло сказал:

— Вот, товарищ Чумалов... Глядите сами... Договор договором, а работать при таких порядках нам не с руки...

Из-за его спины выскочил низенький мужичок, с жиденькой бородкой, с маленькими глазками, в парусиновой рубахе до колен. Приседая и взмахивая руками, он злорадно закричал:

— Ну, вот чего делать-то будешь, начальник?.. Народу-то сколь сгубили!.. За что, начальник?.. За какие грехи? Гляди, как бы и тебе — не отрыгнулось...

Глеб не спускал глаз с детины с открытой грудью. Загребая плечами, он бродил в толпе рабочих, обличал кого-то и крыл матом. Глеб вынул трубку изо рта и сказал:

— Я сам хочу знать, кто совершил это злодейство. Если мне отрыгнется, значит злодей — я. Но ведь не я же стоял у рубильника...

— Ты чего!.. ты тута не обозначался... истинно верно... — забормотал мужичок. — Злодеи-то невидимы, начальник... вот какая вещь... Бес его знает, где они, а дело есть — вот...

К Глебу начали подходить люди. Он встал и, не слушая рабочих, направился к детине. Все с недобрым любопытством провожали его глазами.

Кто-то надсадно крикнул ему в спину:

— Работать больше не желаем... баста!.. Пускай другие идут на убой...

— Дело ваше... — спокойно ответил Глеб. — Я здесь — такой же хозяин, как вы. Кому вы грозите? Товарищей бросили под скалой, а сами — наутек?

— Эк ты умный какой!.. — снасмешничал кто-то сбоку в толпе. — А как бы ты-то?.. Сам бы первый дал тягу, чтобы ноги унести... Кого это ты совестишь?..

Глеб повернулся на голос и в упор спросил:

— Я спрашиваю: кто стоял у рубильника?

Легким шелестом прошло среди них удивление.

— Чай, кто... — робко ответил невидимый голос. — Чай, там подпальщики... Кто же еще?..

— Чего зря мелешь, пустомеля... Они все на линии были.

— Ты, видать, по контролю — мастер: всё видел, всё приметил и за всё ответил...

— Прораба сейчас давай!.. — вдруг забунтовал кто-то. — Прораба, сукина сына!.. Мы ему кишки выпустим... И безопасного инженера потянем... Салазки ему набок...

— Вот они какие сквозняки-то!.. Вечером мостовой переход провалился, а сейчас — землетрясение с жертвами. А вот начальство налетело, вы — в подворотню...

Очевидно, этот детина (он! Перебойченко!) уже был здесь свой человек. Он прятался за спины рабочих, чтобы не быть на виду, но несомненно поработал здесь как следует...

«Это он против меня натравляет... — решил Глеб.— Самосуд хочет устроить...»

Человек с бабьей повязкой опять подступил к Глебу и смотрел на него бешеными глазами. Глеб предупредил его: схватил Перебойченко за руку и вытащил на середину:

— Вот где я накрыл тебя, хлюст! Это тот самый бандит, который сжег парня на железнодорожном мосту. Это он был у рубильника...

Перебойченко так был ошеломлен, что покорно стоял перед Глебом, не понимая, что произошло с ним. Люди оторопело отхлынули, потом сразу же сдавили их тесным кольцом. Все зашумели, заговорили, зашуршали подошвами о камни. Никто не понимал, почему Глеб схватил этого парня и почему парень так ошарашен.

Перебойченко опамятовался и рванулся в сторону.

— Убери руки! Не цапай, а то так цапну!..

— Не думай улизнуть: на месте уложу!

Перебойченко уже нахально скалил зубы, подми-

гивал рабочим и, засунув руки в карманы штанов, вызывающе стоял боком к Чумалову.

— Чего ты мне грозишь? Не грози: я видел всякие угрозы...

— Глядите в оба, ребята!.. Я с ним сейчас побеседую... Пятерых он уже распластал — имейте в виду.

— Я тебе — не обормот... И собак не вешай на моей личности. Народу очей не отведешь...

Стало трудно дышать от тесноты, от пота, от запаха окалины и пыли. Толпа еще жила ужасом взрыва: некоторые сидели безучастно, оглушенные и тупые, другие готовы были опрометью бежать из этого проклятого места, а многие ошалели от мстительной тоски: с кем-то им нужно было расправиться, на ком-то сорвать свою ярость. Может быть, они подчинились бы сейчас истошному крику: «Бей и ломай!» — и оравой бросились бы на случайных людей и на машины и даже друг на друга. Но Глеб знал такие необузданные моменты в жизни толпы. Он переживал их на фронте и в первые годы хозяйственной работы. Не нужно только теряться, надо спокойно глядеть в глаза...

Из толпы вдруг выскочил весь в грязи, замурзанный парень, испачканный кровью. Он в остервенении ударил себя кулаком по груди и закричал плачущим визгом:

— До чего довели!.. Зачем загубили народ!.. Кому нужна кровь народа?.. Детишки у них... семьи... Гляди на меня... видишь?.. Весь в кровище...

Но его быстро оттолкнул мужичок с жидкой бородкой. С той же застывшей улыбкой он напер на него и оттеснил в толпу. Глеб удивился, откуда у этого тщедушного мужичонки взялась сила, чтобы сладить с парнем, который мог бы уложить его одним взмахом кулака.

— Не дело, милок, не дело... Ну-ка, ну-ка!.. Разве можно, дурашман? Поберегите его, ребятки... Не в себе человек-то... Долго ли до греха...

Толпа еще теснее сдавила Глеба и зловеще молчала. Она еще ждала чего-то от этих двух людей — от Чумалова и Перебойченко. Кто-то из них должен

быть уничтожен. Чумалов — высокое лицо: он хозяин и партийный человек, и в повадках его чувствуется сознание власти. А Перебойченко хотя и не из их артели, но его поведение и слова понятны. Появлялся он здесь несколько раз — к дружкам заходил. Каменщики — мастера редкие, и отделка гранита сейчас для них выгодное дело. Если они ошарашат хозяйственников требованием удвоения ставки и подкрепят забастовочкой, то администрация и профсоюз неизбежно сникнут. Сдружился он и с подпальщиками, и с бурильщиками и сразу стал своим человеком на каменоломнях. Говорил он, что работает на железнодорожном мосту клепальщиком, а строительство моста — рядом, рукой подать. Народ на мосту — бой-ребята. Когда готовились одновременные взрывы, Перебойченко очень любознательно изучал механику этого дела и не раз хвастался, что он на взрывных работах несколько лет находился в Карелии, что одновременные взрывы для него — не новость. Когда же ему подрывники пытались доказать, что такая система взрывов применяется впервые на этой стройке, что он «арапа заправляет», Перебойченко презрительно скалил зубы и внушительно загребал плечами. «Масштаб у вас, друзья, — никакой. Мелко плаваете — задок наружи...»

Несомненно Перебойченко знал, с кем имел дело, знал, как легко растравить стяжательские инстинкты сезонников, среди которых много было подозрительных и явно враждебных элементов. Держал он себя рубахой-парнем, размашисто, напористо, дерзко, с загадочным видом сильного, уверенного в себе человека.

Глеб хорошо был осведомлен и о событиях на мосту, и о таинственном свидании Самородова, Шалнина и Корытина с Забодаевым в старом городе, но делал вид, что это его совсем не тревожит. Емельян вел себя еще беззаботнее: он не сообщил даже Глебу о своих намерениях, а заходил к нему несколько раз, пил крепкий чай и говорил о тифлисских банях, хотя русскую курную считал лучшей в мире; рассказывал о сибирской тайге, об изюбрях и способах охоты на них. Почему-то он опять обращал внимание Глеба на Вакира и посплетничал о жене Кряжича, которая

с тоски и ревности бросилась в фокстротные объятия к немцам и к Самородову с Шалниным, как к людям, наиболее веселым и музыкальным.

Все это мелькнуло в голове Глеба, когда он стоял в толпе лицом к лицу с Перебойченко.

— Я знаю этого человека, — сказал Глеб, указывая на него. — Повторяю: это — бандит.

— Это я — бандит?.. — заорал Перебойченко, ударив кулаком в грудь. — Не я бандит, а те, которые из рабочего люда окрошку делают... Медведь дерет, да сам же ревет...

— Ты подожди, не ори, стой на месте. Пусть народ сам увидит тебя настоящего. Рассказал ли он вам, товарищи, за что рабочие на мосту объявили ему бойкот и как он отказался проводить до могилы того, кого сжег?

— Брехня! провокация!..

Перебойченко держал руки в карманах и подрыгивал ногой.

— Это не брехня. Каждый из вас может проверить у мостовиков.

Перебойченко ухмылялся.

— Фасонный разговор... арабские сказки...

Глеб схватил его за шиворот.

— Говори перед народом, бандит, кто заставил тебя сделать преждевременный взрыв...

Перебойченко внезапно рванулся к Глебу с хищной решительностью в лице, но Глеб быстро метнулся в сторону и мгновенно очутился за его спиной. Он схватил его за локти и придавил их друг к другу.

Толпа шарахнулась назад.

— Отберите-ка, товарищи, у него финку. Я уже заметил, к чему он готовился.

Толпа оторопело отступала все дальше, круг становился шире, а Глеб чувствовал, что сейчас этот живорез вырвется и всадит ему ножик в бок. Он с ужасом ощущал, как изнемогает от напряжения: локти Перебойченко странным образом уползали из его рук. Он как будто покорно стоял спиною к Глебу, но его затылок и плечи напирали на него с нарастающей тяжестью.

— Ну, помогите же, черти!.. — прохрипел Глеб.

И опять тот же мужичок подбежал к Перебойченко и неуклюже стал ловить кисть его руки.

— Отдай-ка, отдай-ка ножичек-то, милок!.. Разве это резонное дело с ножичком-то?.. Ах ты, ухарь сибирский!..

Вдруг он пискнул и кубарем полетел на камни. И опять толпа шарахнулась в стороны, но двое парней в длинных рубахах кинулись к Перебойченко. Он без всяких усилий оторвался от Глеба и, согнувшись, запрыгал вниз.

— Обратать хотел... Шалишь, сука!.. Мы и не таких лебедей встречали на своей геройской пути...

Из-за скал бросились за ним в погоню несколько человек. Легко и быстро он вскарабкался на первую террасу и побежал по подъему опять направо, к расселине, и исчез во тьме. За ним бежали рабочие и какие-то люди в пиджаках. Непонятно, с какой стороны раздался выстрел, кто-то ободряюще покрикивал. Сверху полетели камни. Толпа только сейчас очухалась и гурьбой понеслась в ту сторону, куда побежал Перебойченко.

3

Подошел Емельян и весело блеснул зубами.

— Что же это ты, милый человек?.. Не сумел скрутить такого карася!.. Ну, да он не уйдет — будь благонадежен. Пойдем-ка лучше к братской могилке...

— Понимаешь... — виновато пробормотал Глеб, — скрутил ему руки, думаю: не уйдешь, подлец... А он, как пресс, на меня... Чувствую, руки, как слизняки... уползли, понимаешь...

— Понимаю, понимаю... — смеялся Емельян. — Парень большой науки...

Запыхавшись, подбежал Репей. Со страданьем и яростью в глазах, он надрывно закричал в лицо Глебу:

— Ну?.. Вот тебе, товарищ Чумалов!.. Видал, где Москва на карте?..

— А ты-то чего сюда прилетел?

— Сам, своими руками за горло его схвачу...

И, злобно повизгивая, затряс кулаком перед Глебом.

— Смешки тебе, Чумалов... шуточки!.. Все — дураки, ты — умный... А товарищ Емельян душевно воспринял... Надо, товарищ Чумалов, верные глаза уважать...

И побежал по скалистому дну каменоломни, — туда, где карабкались люди в погоне за Перебойченко.

— Правильно!.. — живо одобрил Емельян. — Именно, верные глаза надо уважать.

Оба быстро пошли, виляя между камнями, к обвалам скалы, где уже работали краны. Наперерез Глебу и Емельяну пробежали санитары с носилками и сумками.

— Скверно, что мы не умеем предупреждать событий, — злобно проворчал Чумалов. Он будто только сейчас опамятовался и поразился тем, что произошло в этой мрачной ямище. — Ведь не было ни одного случая, чтобы мы схватили за руки негодяев.

— Почему же? хватали неплохо. Вот и ты схватил... и даже за обе руки... Правда, неудачно, но схватил смело...

Катастрофа чувствовалась всюду. Казалось, что в развалинах скал и нагромождениях каменных глыб еще дрожит и рокочет гром, и люди, которые бегут по террасам один за другим, в ужасе спасаются от гибели.

Два человека — один в военной шинели, другой в теплой куртке и мерлушковом картузе — вышли из-за холма щебенки. Увлеченные разговором, они не заметили Чумалова и Емельяна.

— Ты подумай! — изумился Емельян. — Они, оказывается, прибыли сюда раньше нас.

И он приветственно поднял руку.

— Ситный-то!.. — озадаченно спросил Глеб. — Неужели он успел примчаться из города? Что бы это значило?

С дружеской улыбочкой Емельян поспешил к Ситному и Гудиму. А Глеб остановился и стал наблюдать за погоней на верхних ярусах. Там, в скалистом сумраке, врассыпную карабкались люди и исчезали в черных расселинах и закоулках. Люди чудились очень

маленькими и юркими, и в воздушной дали, под ослепляющим светом прожекторов, утесы и осыпи щебня на скалах и террасах похожи были на горные обвалы и оползни. Несколько человеческих фигурок появились на самом верху и побежали по гребню утесов. Оттуда сдвоенные эхом, покрикивали певучие голоса. Перебойченко уже не появлялся, и видно было, что люди растерялись и не знали, в какую сторону бежать.

«Неужели удрал?» — с тревогой думал Глеб, всматриваясь вдаль.

Вдруг поодаль от людей выскочил наверх человек. Он присел, опять поднялся и быстро исчез.

Люди остановились, посоветовались о чем-то, замахали руками и тоже исчезли за краем каменоломни...

Краны гремели металлом, поднимая огромные камни и относя их по окружности в разные стороны. Татьяна вместе с Кряжичем и Вихляевым торопливо переходили с места на место и отдавали какие-то распоряжения. Глеб увидел, как эти трое инженеров подошли к гранитной свалке и, наклонившись, стали внимательно всматриваться во что-то. Потом они сами стали отваливать глыбы, к ним подбежали санитары. Ближайший кран попятился, залязгал, заиграл паром, неуклюже завозился на месте и пополз к ним на своей гусенице.

Глеб, злой, подошел к Емельяну, который весело, по-приятельски разговаривал с Ситным и Гудимом.

— И меня чуть не ухлопало... — усмехаясь, окал Ситный. — Хотел было полюбоваться знаменитым вашим одновременным электропалом, да неудачно. Случай-то скандальный, замазать не удастся...

Гудим нехотя возразил:

— Наоборот, размазать постараемся.

Ситный оскалил зубы.

— Что ж, по силе возможности и мы поможем.

— Премного благодарны, — кротко, с той же неохотой ответил Гудим. — Вы нам и без этого много помогали.

— А как же? Наш долг.

Ситный махнул рукою на ступенчатые склоны каменоломни и загадочно усмехнулся.

— Заяц — тоже зверь. А здесь ловят воробья, чтобы хвост посолить.

— Бывало, и воробьи сжигали города... — скромно заявил Гудим.

Глеб всматривался в сумеречную даль каменоломни, сердито бормотал и порывался уйти, но что-то удерживало его. Несколько рабочих толкались внизу, в тени ямы, перед грудою камней и боязливо оглядывались на место взрыва.

Гудим прошел мимо Глеба и пошагал вниз — к группе рабочих.

Емельян и Ситный продолжали приятельский разговор.

— Бдительность важна не столько для действия, сколько для противодействия... — ехидно скалил зубы Ситный. — Ваше влияние мы чувствовали всегда... Плохие вы психологи... Вот Емельян в бане психологию изучает...

— Хочешь, попаримся?.. — добродушно предложил Емельян. — Там и подведем итоги.

— Мне хватит и этой бани. Хотел бы я знать, кто был здесь банщиком. Какая предупредительность! стоило мне появиться и — баня готова...

— А ты еще недоволен... — шутил Емельян. — Кстати, где же твоя машина?

— Там, на вершине. Мой шофер решил, что напрямик по степи — сходнее.

Емельян взял его под руку.

— Я тебя доставлю к твоей машине. Ты с нами, Чумалов?

Глеб отмахнулся и пошагал в обратную сторону.

Когда Емельян с Ситным выбрались на верх каменоломни, их встретила толпа черных теней. Все закричали наперебой, мешая друг другу:

— Удрал, сукин сын... Темь — глаз выколи...

— Главное, мы — за ним, а он, оказывается, позади нас... и чертом — к машине...

Одна из теней прилипла к уху Емельяна, шепнула что-то и быстро исчезла в толпе.

— Ты это удачно сделал... — засмеялся Емельян Ситному. — Очень кстати приготовил машину...

— Вот бандит... — возмутился Ситный. — Надоумили же его черти...

— А главное, как знал, чья машина удобнее.

IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Феня и Кольча приехали вечером.

Вышли они из вагона прямо под дождь. Дождь был свинцовый и холодный. Огни на платформе таяли в мокрой тьме.

Грязный вокзал показался им гостеприимно родным: он открыл двери в их мир, от которого они были оторваны на много дней. Оттуда, из колхоза, этот мир был где-то недостижимо далеко, за золотыми полями в курганах, за лиловым горизонтом, за дымами паровых молотилок.

В автобусе они почувствовали себя уже дома; промокшие пассажиры — рабочие и домашние хозяйки — казались знакомыми и близкими.

Оба они поздоровели, огрубели: шелушилась кожа, потрескались губы, а Феня даже как будто пополнела. Кое-кто поглядывал на них с любопытством и доброжелательно отмечал:

— Ишь, парочка-то... еще тепленькая...

За окнами была непроглядная темь. Стекла потели — плакали. Феня протирала их платком и вглядывалась в ночь.

— Огни на мостах... Смотри, самые далекие — это на острове. Скорее бы!.. Вот уж черепаха какая!

Все казалось им бесконечно родным и новым. Даже плакать хотелось от радости. Какие стали нарядные и яркие витрины, как много людей на улицах, хотя и дождь, и слякоть, и ветер!..

— Втуз, Кольча... горят все окна... Не дождались тебя — открыли...

— Ничего подобного... Как это — без меня? Человек — в почетной командировке, а они открыли?

— Ах, башка ты, башка!..

— Ясно — башка: на всех фронтах — герой...

Так, радостно шутя и смеясь, они доехали до последней остановки, недалеко от шлюзового канала. Надо было иметь пропуск, чтобы пройти на тот берег через плотину. Пропуска выдавались только в управлении строительства. Решили зайти в Дом общественных организаций — в партийный комитет.

Портплед Фени Кольча нес, как драгоценность. Радость не угасала в нем с того незабываемого утра, когда он защищал Феню от напора погромщиков. Они разбили двери и хотели ворваться в школу, но Кольча стал крушить их деревянной задвижкой. Его ударили в голову, и он упал без памяти. В больнице не боль испытывал он, а благоговение перед Феней. Он ловил ее руки, плача от счастья.

— Кольча, милый, успокойся!.. Ведь теперь же нет никакой опасности.

— Я — ничего... — улыбался он сквозь слезы. — Мне хорошо... Это оттого, что ты здесь...

Никогда в своей двадцатилетней жизни Кольча не испытывал ничего подобного и сам изумлялся тому, что с ним происходит. До головокружения ощущал свое сердце, которое билось от ожидания какого-то большого события; хотелось распахнуться и совершить что-то необыкновенное.

Но ни разу не сказал ей, что любит ее, что весь охвачен чувством благодарности к ней. За что благодарность, почему благодарность, — он не мог бы ответить.

Феня все время почему-то тревожилась, волновалась, была недовольна собою. Она удивляла Кольчу и внезапной задумчивостью, и беспричинным весельем. По вечерам, бывало, сядет у стола, замкнется и молчит, а то вдруг начинает играть, тормошить Кольчу, с хохотом разбрасывать вещи... Тягостной тенью вставала перед нею фигура Мирона. Кольче она ничего не говорила о Ватагине, а когда он упоминал о нем, Феня сдвигала брови и приглашала его заниматься по ма-

тематике или обсуждать план культработы на ближайшую шестидневку. Впервые в своей жизни переживала она острую боль от обиды, нанесенной ей человеком, которого она уважала и которому верила.

...Они пересекли гудронную мостовую, ярко освещенную прожекторами с Дома общественных организаций, и по асфальтовому тротуару прошли вдоль серогранитного фасада к высокому портику подъезда. Сияли матовые шары на фигурных столбах. Феня поднялась по ступенькам на площадку и остановилась. Она смотрела на сверкающую тысячами огней плотину, на густой лес сооружений, вышек, кранов, прислушивалась к водопадному шуму воды и волновалась до слез. Кольча стоял перед нею ступенькой ниже и тоже молчал.

В вестибюле, просторном, залитом электричеством, Кольча положил свою ношу около книжного киоска и строго сказал швейцару:

— Возьми, друг, под наблюдение. Это дороже сумок дипкурьера.

Швейцар неодобрительно взглянул и на чемоданы, и на Кольчу.

— Охрана дорожных вещей в мою обязанность не входит.

— Друг! наоборот: ты отвечаешь за них жизнью. А ты знаешь, как дорога жизнь советского гражданина?

Швейцар усмехнулся.

— Ну, ежели в таком разе, тогда другой разговор...

— Понял! — удовлетворенно кивнул на него головой Кольча и, взяв Феню под локоть, пошел с нею наверх по лестнице. Феня смеялась.

2

Во втором этаже они шли по широкому коридору, в сиянии матовых плафонов. Пахло свежей краской и клеем. На каждой двери были стеклянные дощечки с золотой надписью.

Феня отворила дверь и вдали большой комнаты с длинным столом посредине, покрытым красным сукном, увидела Гудима, а сбоку него — Пашу.

— Ух, какая роскошная комната!.. — восхищенно воскликнула Феня.— Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот и мы...

Она подбежала к Паше и бросилась ей на шею.

— Паша, дорогая, любимая!.. Как я по тебе соскучилась!..

Кольча подошел к Гудиму и радостно протянул ему руку. Гудим взглянул на него удивленно.

— А, уже?..

— Не уже, а три месяца, товарищ Гудим, — с неудержимой улыбкой ответил Кольча. — Помоги нам перейти на тот берег.

— Можно.

И Гудим взял трубку телефона.

А Паша обнимала и целовала Феню. В сравнении с ней она казалась массивной и высокой.

— Вот хорошо, что вы приехали: тут у нас события и большие дела... Кольча! иди сюда. Ты чего это? И здороваться со мною не хочешь?

Но Кольча уже торопился к Паше.

Она схватила его за руки.

— Какой стал молодец! Так землей и пахнет...

— Ржавчиной... — поправил Кольча. — Я больше имел дела с железными инвалидами...

— Ну-ка, ну-ка, расскажи, как тебя потрепали... Встретили вас, кажется, не очень гостеприимно...

— Зато когда расставались — плакали... — проникновенно сказал Кольча.

— А башку-то все-таки здорово помолотили?

— Признаюсь тебе, Пашенька... — виновато сказала Феня. — Я очень трухнула. Думала — конец ему. Череп пробили... А ну-ка, Кольча, покажи...

— А, ерунда там!..— совсем сконфузился Кольча и покраснел.

Гудим как будто только сейчас понял, что за люди явились к нему в кабинет: встал и заулыбался.

— Приехали, значит... Садитесь, чего торчите?.. Ватагина ждем со дня на день. В Москве... — сообщил

он. — Без вас мы и гнилую подушку забетонировали...

— Какую подушку?

— Ты оторвалась от производства... — строго пошутил Гудим. — Исчезла и — никакой связи. Это тебе надо поставить на вид.

— Родной Гудим!.. — засмеялась Феня. — Ты все такой же пунктуальный и взыскательный. И такой же хороший.

— Обязаны быть хорошими.

— Но ты не по обязанности хорош.

— Ну, а как ты, Паша? — увлекая в сторону, тормошила ее Феня. — Почему ты такая... как будто другая?..

Паша покраснела и отвернулась. В этот миг влетел в комнату Васяй.

— Хо, ребята!.. Друзья мои!.. прилетели орлы... Здорово, дорогие!..

И он облапил первого Кольчу, а потом бросился к Фене и закружил ее.

— Ух, черти вы веселые!.. Чем это от вас несет таким земным?..

— Навозом... — огрызнулась Паша.

— Зерном, золотом... — кричал Васяй ликуя. — Полноте, дети, его мы сберем... как это?.. Колосьями пахнет от твоих кудрей, Феонушка, дорогая... А от него, от этого бойца...

— Кровкой немножко... — смеялась Феня.

— На то и борец, чтобы кровь проливать... — кричал Васяй.

В комнате стало шумно и беспокойно.

— Ты, Васяй, проведешь их к плотине, — сказал Гудим, — караульного начальника я предупредил.

— Ох, рассказывать вам, ребята, рассказывать... до утра не расскажешь...

— Ну, ты им по дороге рассказывай, — предупредил его Гудим.

А Паша изобличала его:

— Да ведь любишь же их, Гудим... рад ведь...

Гудим насупился, но не выдержал взгляда Паши — усмехнулся и крутнул головой.

Все дружно захохотали, а Гудим опять сделал холодное лицо.

— Да, Васяй... — крикнула Феня, — мы, кажется, примчались в самый момент?.. Это — замечательно...

— Опоздали, ребятки. Договор давно вступил в действие. Сегодня Кряжич держал себя — во! Стрижевский и Старателев будто мучились от зубной боли. А он барсом набросился на этих фруктов.

— Барса ты не видал... — назидательно заметил Гудим. — А фруктов барс не ест.

— Зато сравнение-то какое — барс!.. — засмеялась Паша.

— Гробовщик ты!.. — ощетинился Васяй.

— И гробовщиков ты не знаешь...

Все захохотали, захохотал и Васяй. Но Гудим смотрел на них без улыбки, и от этого было еще смешнее.

3

Феня подбегала к блокам, вглядывалась в полеты бадьи и с радостным смехом встречала поезда. Звенели краны, летали стрелы, и всюду — люди, люди... множество людей...

— Как здорово научились работать, Васяй... — восхищалась она, — легко, свободно, бойко...

— У нас сейчас — «муха», Феона...

— Это еще что за «муха»?

— Ну, старуха, ты совсем отстала от жизни... — засмеялся Васяй. — Катюшу-то помнишь... Бычкову?

— Да ведь она же у меня работает... Ах, Катюха, родная!.. И девчухи... Не разбежались еще?

— Так вот эта «муха»— ее изобретение... новая система блоков на стреле.

— Да что ты говоришь?..

Кольча шел рядом и вглядывался вдаль, на другой берег. По настилам досок идти было скользко: моросил дождь и строчил по лужицам, блистающим от электрических ламп. Внизу, под бычками, бурей грохотали водопады, вихрями поднимался туман; глубоко за парапетом прибойно хлестали волны, и хлопьями уноси-

лась пена в речную ночь. В среднем протоке желтели новые опалубки, и там в ряд друг за другом дымились краны. Феня отбежала в сторону и скрылась за вагонами.

— Идите, ребята!..— крикнула она издали.— Я догоню...

— Твоих ребят, Кольча, перебросили на электростанцию...

— Сенька писал мне...— задумчиво ответил Кольча. Он остановился на миг, поглядел в ту сторону, где скрылась Феня, и побрел дальше.

— Тебе тоже придется туда перекочевать. Трудно там: борьба с иностранцами. Вакир там орудует...

— Это кто? — насторожился Кольча.

— Вакир-то? Это, брат, новый парнюга... старый друг Братцевой... из трудовой колонии... Ты что это, браток, нахохлился?..

— Да так... ничего...— сконфузился Кольча.— Растревожился вот немножко...

За эти два месяца он пережил столько, сколько не пережил за всю свою жизнь. Он стал как-то зрелее и спокойнее. Душа его была полна Феней, и он уже жалел, что колхозные дни погасли в прошлом. Здесь она — другая, такая же далекая, как летом.

— Жизнь у нас стала сложнее, Кольчуга,— деловито сообщил Васяй.— Теперь все люди строго расставлены по местам. Подогнали и квалификацию. Партизанщину и всякие там аварийные группы мы изничтожили. Мало хотеть, надо знать. Мало одной техники, надо эту технику превратить в творчество. Это, брат, не твой пожарный героизм, не просто ударный натиск. На первый план выдвигается сейчас техника безопасности. Теперь Шагаев торжествует. А к Вакиру ты приглядись — ценный парнишка... культурный... Во втуз поступил...

— Для втуза и я неплох.

Кольча немного отвык от многолюдия, от ослепительного света и чувствовал какую-то странную тревогу в душе. Вот он опять дышит родной стихией, опять те же люди, опять рядом Васяй, Сенька с его стихами... Но что-то новое, большое хлынуло на него:

правда, все по-старому, все стоит на своих местах, словно уехали только вчера, а люди не те, работа другая, и даже дождь как будто идет не так, как раньше.

Феня догнала их, возбужденная, с изумленными глазами.

— Ах, что тут делается, ребята!.. чудеса да и только...

Ей было как-то обидно: точно она здесь чужая. Вот она встретила много людей, толкалась среди них, но ни одного знакомого лица... Никто даже не заметил ее.

— Не здесь ли моя Татьянушка?

Васяй подхватил ее под руку и потянул за собою — к краю помоста.

— Феона, изволь выполнять сквозной договор: не засорять габарита...

— Как! Я, по-твоему, сор?

Она вырвала руку и побежала вперед.

— Я не кончил... Постой!..

Но Феня уже побежала к одинокой фигуре в плаще, которая маячила в туманце перед составом площадок. Эта фигура неподвижно стояла у вагона, опираясь о буфер.

— Голубчик, Корытин, вы? Как я рада!..

Но Корытин рассеянно взглянул на нее и неохотно притронулся рукой к картузу. Потом отошел от буфера и улыбнулся, как больной.

— С приездом... Долгонько пропадали...

— Ах, Корытин, какие вы молодцы!.. Сколько вы за это время сделали!.. Все изменилось, — не узнаешь...

— Да, дело пошло... Хотя восхищаться еще рано...

Феня смеялась: она в эту минуту любила всех, а Корытин — этот мрачный Корытин! — казался ей милым и близким.

— Ах, Корытин, вы же всегда были скептиком... Я уж привыкла к вам: раз вы недовольны, значит дело идет отлично...

— Феона! — требовательно позвал ее Васяй издали. — Пошли!.. а то мы не выберемся до утра...

— Неважно!.. — отмахнулась Феня. — Я Корытина встретила... Это же — большое удовольствие.

Корытин съежился и протянул ей руку.

— Спасибо за хорошее чувство. Может быть, завтра вы отнесетесь ко мне иначе...

— Это почему? Разве что-нибудь с вами случилось? — с тревожным участием всмотрелась в него Феня.

— Нет, ничего особенного... Все — в порядке...

«Почему он такой странный? — подумала Феня. — Одинокий какой-то... отверженный...»

Васяй хотел возвратиться на правый берег, а Кольча заявил, что идет в общежитие, но Феня запротестовала:

— Как вы смеете бросать меня ночью одну?

Кольча, видимо, устал: грусть его не проходила. Его тянуло к своим ребятам, но не хотелось расставаться и с Феней. Вспоминалось, как они по вечерам делились своими мыслями и мечтами, как рассказывали друг другу о событиях своей жизни, и им было очень хорошо. Оказывалось, что и тайн-то у них заветных не нашлось, что они — самые обыкновенные, простенькие существа. Он рано ушел из семьи рабочего-слесаря, учился в ФЗУ, попал в мастерские, а потом подался на стройку. Она после смерти матери осталась безнадзорной: мыкала горе с пьяницей-отцом, голодала, мерзла: погиб он нелепо (она хмурилась, и глаза ее становились недобрыми); потом ее поместили в детский дом: из детского дома попала на рабфак, а потом — во втуз. Все просто, буднично.

Уже в поселке, на бульваре, Васяй твердо заявил, что ослушаться Гудима — это значит получить нагоняй. Гудим точен, исполнителен; этого он требует и от других.

— Я приду к тебе завтра, Феона, поговорим... Послушаю тебя и сам расскажу много интересного. А теперь отдыхай. Тут с Братцевой случилась злостная неурядица.

Феня испугалась.

— Что такое, Васяй?

— Задержал ее тут угрозыск... Какие-то дураки из исследовательского института...

— Ах, знаю!.. — облегченно вздохнула Феня. — Милая Танечка!..

Васяй вдумчиво предупредил:

— Конечно, это возмутительно. Но сигнал!.. Сигнал-то, Феона!..

И побежал под гору — к плотине.

4

Кольча шел по плитам тротуара с портпледом Фени и со своим чемоданом. Он вспотел и время от времени останавливался, чтобы переменить руки. Феня умчалась вперед и покрикивала издали:

— Ну, что же ты, Кольча?.. Поживее, пожалуйста!

Дрожащими руками Феня нажала кнопку звонка. Татьяна отворила дверь и, пораженная, отступила назад, а Феня с криком и смехом ворвалась к ней в комнату и, мокрая, бросилась на шею подруге.

— Танечка моя, красивушка любимая!.. Как я счастлива!.. Радость ты моя дорогая!

Она зацеловала ее лицо, прижимала к себе, прыгала. Татьяна смеялась, ласкала ее и отталкивала.

— Да разденься ты, Феня! Промочила меня насквозь...

— Сейчас, сейчас, милушка моя!.. Конечно же, дождь... Там Кольча несет вещи... Ах, как я счастлива! Танюша моя!..

И опять целовала и прижималась к Татьяне. А Татьяна уже сделала строгое лицо, но радость в ее глазах не потухала.

— Ну, хватит на первый раз... Тебе говорю, Фенька! Сейчас же разденься! Придется из-за тебя переодеваться. Вакир, помоги усмирить эту безумную...

При имени Вакира Феня оторвалась от Татьяны. В сторонке стоял высокий парень и пристально смотрел на нее. Упрямые брови, твердые глаза, сдержанная улыбка.

— Это и есть тот самый Вакир?

— Теперь он работает у нас... Познакомьтесь...

Феня живо подошла к Вакиру и с размаху пожала ему руку.

— Ну, раздевайся, Феона! С тебя течет в три ручья...

Вакир рассмеялся.

— Ну-ка, я помогу вам распеленаться...

Он бесцеремонно стянул с нее пальто и вышел с ним в коридорчик.

— Татьянушка, там Кольча... Где же он пропал? Ах, да, ведь он, бедняга, устал!..

А Татьяна снисходительно любовалась ею.

— Ах, Татьянушка!.. Что пережито!.. Да, да! Я обомлела, когда услышала о твоей беде... Почему ты об этом не писала?

Татьяна погладила ее кудри.

— Хорошая моя!.. мальчишка мой!.. Только в разлуке с тобой я почувствовала, как я тебя люблю...

Феня смеялась сквозь слезы.

— Рассказывать не буду, скучно, — говорила Татьяна. — Я не успела еще как следует побеседовать с начальником, как ворвался целый отряд освободителей: Паша Погадаева, Кряжич и — кто бы ты думала? — Катюша Бычкова... в комбинезоне, прямо с блока...

— Милая девочка!.. — растрогалась Феня. — Как тебя любят, Татьяна!.. Сколько событий!.. Ах, почему меня здесь не было!..

Вакир и Кольча вошли вместе; оба немного стеснялись друг друга, как бывает при первом знакомстве, но старались показать, что они уже сблизились.

— А я думала, что ты, Кольча, сбежал... — засмеялась Феня.

— Сбежишь тут, с багажом-то... — усмехнулся Кольча и застенчиво поздоровался с Татьяной. — Вошел, а с чемоданов вода ползет... Вышла какая-то барыня и ахнула... Ну, думаю... А тут как раз и он вот явился...

— А сам-то почему не раздеваешься? — спросила Татьяна.

— К себе пойду — в общежитие. Сенька там меня ждет... Ругает он тебя, браток...— с упреком обратился он к Вакиру.

— Да, человек он нервного воображения. Признаюсь, неуважительно отнесся я к его поэзии.

— За Сеньку я драться буду. Из табора его взял. Жизнью за него отвечаю.

И он решительно направился к двери.

— До свидания, товарищи!..

— А чаю? А ужинать?

— Нет, спасибо. Куда тут!

Вакир переглянулся с Татьяной и протянул руку Фене.

— Я тоже иду. Подожди, друг: поговорим по дороге.

Когда ребята ушли, Феня утомленно опустилась на стул и закрыла глаза, Татьяна хлопотала у буфета. Вдруг Феня вскочила и с ужасом в глазах бросилась к подруге.

— Танечка, дорогая моя! Что это я?.. Немедленно в ванну!..

И, когда встретила нахмуренные брови Татьяны, жалобно попросила ее:

— Родненькая! Красивушка!.. ты готовь, а я сейчас... Я только комнату свою погляжу... И переодеться надо...

Татьяна, улыбаясь, погладила ее по щеке.

— Ну, беги, беги!.. Правда, тебе надо помыться, а то грязнуха невозможная...

V. НОВАЯ ОРБИТА

1

Когда Мирон ночью вошел к себе в комнату, он почувствовал странное беспокойство. Рад был, что опять дома: опять привычная обстановка, опять неустанное боевое напряжение. Но в душе что-то новое: не то

тягостный осадок от пережитых дней с Ольгой, не то боль от сознания, что в Москве он похоронил часть самого себя — мучительные свои надежды и мечты о невозвратном. Иллюзии гибнуг, повторял он, факты остаются...

Впервые его комната с голыми стенами, по-нежилому гулкая, показалась ему неуютной, чужой, как плохой номер гостиницы. Почему-то прежде всего бросился в глаза настольный телефон, ожидающий и насмешливый. И в то же время этот телефон хранил в себе голоса Паши, Гудима, Чумалова — множества близких людей. Гудима нет — комната его глухо молчит за стеною: должно быть, он дежурит или пропадает на участках работ, иначе он сейчас же вошел бы к нему и сразу бы начал рапортовать о делах и событиях. Но стол посредине был накрыт свежей скатертью, и постель заботливо прибрана. Кто это хозяйничал здесь? Не Паша ли?

Всю дорогу он жил радостью возвращения и чувствовал эту радость и в Балееве. Викентий Михайлович шутил, подтрунивал над сановными чиновниками Главэнерго и смеялся. Ехали они победителями, и ни разу за эти сутки Балеев не вспомнил ни об Ольге, ни об Анечке, ни о Прихромове.

Хотелось пойти на плотину, на электростанцию, в Дом общественных организаций — окунуться в трудовую людскую суету, увидеть взволнованные лица товарищей, услышать их голоса, рассказать им о Москве. Да, Паша... Она будет смотреть на него милыми глазами сквозь строгие очки и мужественно ждать его взгляда, понятного только ей. С Ольгой расстались они дружески, но оба чувствовали себя отчужденными, далекими. После столкновения у Прихромова и объяснения дома они ни разу больше не говорили о себе, о своих отношениях, точно все уже было высказано. Как обычно, она приезжала домой поздно, уезжала рано, и они перекидывались словами, как добрые товарищи. О Кирюшке она уже не вспоминала. Как будто слишком туго и порывисто натянулась в первые дни струна и оборвалась.

Лихо зазвонил телефон. И когда он схватил трубку,

заметил, что на голове у него кепка и на плечи накинуто пальто.

Сурово-шутливый голос Балеева:

— Ну как, Мирон Васильевич? И дым отечества нам сладок и приятен?..

— Да, вам-то хорошо, Викентий Михайлович: вы в уютное гнездо попали, а у меня голая нора... холодно!..

— Ага, Москва-то мстит за себя... Без женщины мужчина, как без воды плотина...

— Вот я и собрался бежать на плотину, чтобы теплее стало... Мочи нет!

— Нет, мой друг... Лучше погрейтесь в ванне... чайку попейте... А то шагайте ко мне — поужинаем...

Мирон растрогался, когда услышал ласковый возглас: «мой друг».

— Спасибо, Викентий Михайлович. Вы уже согрели меня своим сердцем.

— Ну, ну, ну! — голос Балеева дрогнул. — Вам телефон поставили не для бесполезных разговоров. У меня, понимаете, такие дела: наш Костя, оказывается, удрал в Москву. Мало того, что сам сбежал,— захватил с собою арматурщика Пушкина. Шаляпина хочет из него сделать. Так что теперь мне и спорить не с кем. Варя назло мне ликует... Ну-с, так придете ужинать-то?

— Нет, Викентий Михайлович, послушаюсь вашего совета: погружусь в ванну.

— То-то же. А то ишь разболтались в Москве-то!.. Обязываю вас явиться завтра ровно к семи — кофе пить! Повторите приказ!

— Есть явиться к семи...

— Ну, покойной ночи!..

Мирон положил трубку и, улыбаясь, прошелся по комнате.

За стеной едва слышно заиграла музыка — патефон. Это у Кряжича. Смутные голоса и, кажется, смех, фокстрот. Мирон, пораженный, подошел к стене и прислушался. Удивительно! В квартире Кряжича всегда была могильная тишина: с женой он жил в разных концах, и никто у него не бывал. Неужели

примирение с фрау Маргаритой и семейный пир? Он вышел в сад и побрел по дорожке между стрижеными акациями. Окна были ярко освещены, и сквозь тюлевые занавески видно было, как зыбко топтались две пары. Чтобы лучше рассмотреть людей, Мирон повернул к ограде. Издали большая столовая была видна, как в тумане. Мадам Кряжич с мертвым лицом прилипала к коричневому Самородову, а другая, неизвестная дама, с пышными белокурыми волосами, семенила вместе с толстолицым немцем — консультантом по гидротехнике. За столом сидели Шалнин и два иностранца, прилизанные, с трубками во рту, и сам Кряжич. Он подпирал рукой голову, в пальцах дымилась папироса. Забавнее всего было то, что за Кряжичем он увидел Шагаева. Игнатий Игнатьич смеялся, оживленно говорил и жестикулировал. Вероятно, он что-то сморозил: все дружно захохотали и захлопали в ладоши. Да, милые бранятся — только тешатся. Помирился человек с женой, созвал гостей и веселится. Очень хорошо: пирует открыто, точно хвалится перед улицей. Должно быть, семейный кризис у него миновал. Значит, все в порядке. Но компаньица!.. При чем тут Самородов, шут и нахал? При чем Шалнин? С какой стати затесался сюда Шагаев? Да, про него что-то болтал Самородов... Сплетничал, конечно... Хотя аварии действительно участились... Неужели правда?.. Маргарита — сама немка: пригласила соотечественников. Но ведь Кряжич презирает и Самородова и Шалнина. Что это значит?

Мирон возвратился в комнату. Зазвонил телефон.

«А ванну, пожалуй, не придется затопить... Начинается горячка с звонками...» — усмехаясь, подумал он и, не скидывая пальто, взял трубку.

Конечно, Гудим из парткома.

— Здорово, Ватагин! Приду через час. А пока ванну прими, то-сё... понятно? Там у тебя все готово.

— Вот спасибо, друг!..

— А как же!

— Поздравляю, Гудим! Мы — уже горком.

— Знаю. Есть телеграмма из крайкома. Побеседуем. Кстати и о моем заместителе потолкуем.

— О каком это заместителе?

— Возвращаюсь в армию.

— Очумел ты, Гудим?

Но Гудим уже положил трубку. Нелепый парень! Ляпнет всегда в упор, ошарашит и отойдет в сторону. В армию!.. В чем дело? Мирон хотел позвонить ему, но махнул рукой: Гудим не будет разговаривать — занят и плана своей работы не нарушит. Разве позвонить Паше? Раздумывая, он вышел в коридор и направился в ванную, но у самой двери остановился. Пожалуй, надо позвонить Чумалову. Впрочем, он затянет надолго: будет расспрашивать о московских делах, о Даше, об Ольге... Нет, надо выкупаться. В ванной было жарко и душно. Заметил, что не скинул пальто, кепка показалась тугой и тяжелой. Колонка шумела, как самовар, но дрова в печке уже прогорели. Он положил в топку несколько поленьев и хотел помыть ванну, но она оказалась чистой: должно быть, Гудим помыл ее перед уходом, потому что стенки были покрыты свежими каплями.

«Какой внимательный парень!.. — благодарно подумал Мирон. — Я бы не догадался так поухаживать за ним».

Он открыл оба крана, отрегулировал их и пошел за бельем.

2

Посвежевший и распаренный, он опять вошел в комнату, в одной нижней рубашке, и опешил: около стола хлопотала Паша. Она быстро повернулась к нему, и лицо ее залилось румянцем.

— Паша, да как же ты вошла? Я совсем не слышал...

Он протянул к ней руки и засмеялся. Она бросилась к нему и крепко его обняла.

И в этот миг понял Мирон, что эта женщина — его жена, что без нее он уже не может жить по-настоящему. Он гладил ее волосы и смеялся. Она заплакала.

— Да что ты это?.. о чем?.. Пашенька!..

— Это я от счастья... — И она смеялась сквозь слезы. — Ты мой родной.

Она смотрела на него преданными глазами, и Мирон увидел в них такую огромную любовь, что на миг почувствовал себя перед нею ничтожным человеком. Его прежние отношения к ней показались ему позорными, трусливыми, унизительными. Зачем он оскорблял эту целомудренную девушку, верного, нежного товарища? Зачем подленько скрывал свою связь с ней и трусливо крал ее любовь?.. А она верила ему и считала его высоким и благородным.

Он надел гимнастерку и взволнованно прошелся по комнате. Потом опять привлек Пашу к себе.

— Ты меня не ругаешь?

— Мне тебя не в чем упрекать, Мирон... Ты совершенно свободен... И я горжусь...

Она откинула голову и с восторгом посмотрела ему в глаза.

— Ты ошибаешься, Паша: гордость твоя неоправданна.

— Я горжусь, Мирон, что ты... что ты отец моего ребенка...

И она так смутилась, что уронила голову ему на грудь. Это нежданное и по-девичьи стыдливое признание и это нежное прикосновение ее головы сразили Мирона. В первое мгновение он не мог дать себе отчета, что именно потрясло его, — счастье ли Паши, которое было похоже на возмездие, или страх перед последствием своей ошибки, или неосознанная радость этой простой и таинственной правды... С Пашей он переживал незабываемые минуты свободы и никогда не чувствовал той мучительной связанности и ответственности за каждый свой поступок, как в последние годы жизни с Ольгой. Ольга права со своей стороны, но прав и он. Жизнь их была запутана и отрицала сама себя, а распутать ее и самоопределиться они не могли. Может быть, вот сейчас с Пашей-то и начинается новая эпоха его жизни.

— Но ты, Мирон, не думай... — тихо и убежденно говорила она, — у тебя нет никаких обязательств передо мною. Мы оба свободны и независимы. Ребенок

мой, и я счастлива. И если бы ты отошел от меня, ну, скажем, уехал бы куда-нибудь в далекие края — уехал бы навсегда, — ничего бы не изменилось, и счастье мое не было бы нарушено... Пойми меня, я могла бы тебе не сообщать... но это так необыкновенно и огромно...

Она как будто сияла вся, и слезы ее были похожи на благоговение. И голос ее стал иной — проникновенный, дрожащий, стыдливый...

Мирон осторожно и молча отстранил ее и прошел к окну. Там, за льдистым блеском стекол, чернела ночь. И в этой бездонной тьме где-то очень далеко мерцали лучистые капли огней — должно быть, на острове, на мостах. Чуть слышно флейточками свистели паровозики. Жутко завыла сирена, тоже очень далеко, и от этого тьма казалась еще более глубокой и непроглядной. Фосфорический луч прожектора взвился ввысь и прорезал небо — там клубились дымы осенних туч.

— С Ольгой у меня покончено, Паша.

— Почему? — испуганно крикнула она.

— Очевидно, так нужно.

Паша подошла к нему близко, и по ее дыханию он ощутил, что она встревожена.

— А ты не ошибаешься, Мирон?

Он быстро повернулся к ней и увидел, что глаза ее блестели от испуга и радости.

— Я думал, что у нас начинается новая жизнь, но это был самообман. Не я, а она сама поставила точку. Что ж!.. Я, Паша, пожалуй, рад... Все пришло к своему логическому концу. Теперь эта новая жизнь начинается с тобою...

Паша попятилась от него, потом медленно пошла к столу, задумчивая и огорченная.

— Нет, Мирон. Я буду жить так, как жила. У меня свои привычки, свои потребности, свой нрав. У тебя — тоже. Я не допускаю мысли, что ты мог подумать о каких-то претензиях с моей стороны.

— Ну, что за разговор, Паша!.. Ведь я же тебя хорошо знаю...

Она выпрямилась, и лицо ее вспыхнуло торжеством.

— Да! Я горжусь, что это твой ребенок. Я счастлива, что я твоя жена, потому что я теперь мать. Но это остается только во мне и тебя не касается...

Она спокойно и решительно взяла со стула пальто и стала одеваться.

— Ты куда? Не отпущу ни в коем случае...

Она молча и так же решительно подошла к нему, взяла его голову и поцеловала в щеку.

Он хотел снять с нее пальто, но она настойчиво освободилась от его рук.

— Мирон, я люблю тебя на всю жизнь...

— Почему ты сейчас оставляешь меня?

— Нельзя. Я больше не могу оставаться.

— Ну, а стол-то для кого?.. Готовила, хлопотала...

— Для тебя. Сейчас придут товарищи — Гудим, Чумалов.

— Это возмутительно. Я хочу посидеть с тобой. Подожди. Я машину вызову.

— Нет, что ты! как можно!..

— Ну, тогда я приеду к тебе...

— Нет, сегодня с часу я дежурю на плотине.

Она помолчала, обдумывая что-то, нерешительно пошла к двери и медленно возвратилась.

— Я хочу сказать тебе о Цезаре...

— Я знаю, Паша...

Она быстро взглянула на него и насторожилась.

— Его надо понять, Мирон. Это не просто дело, а душевная драма.

Мирон усмехнулся.

— Я там немного погорячился: хотел свернуть ему шею. Если хочешь знать, одним из поводов к нашему разрыву с Ольгой было как раз это злополучное дело.

Паша не удивилась, будто знала, что иначе и не могло случиться.

— Я понимаю Ольгу... И тебя понимаю... Но изизвини: ты чуток не встречая, а провожая людей. Об этом стоит тебе подумать...

В саду, у самой калитки, они взялись за руки, и Мирон почувствовал, как в сильных и мягких ее пальцах струилась едва уловимая дрожь. Да, она умела владеть собою и бороться со своими порывами...

У Кряжича играл патефон. Гости по-прежнему сидели за столом и смеялись, но Кряжича среди них уже не было.

— Что это такое? — озадаченно спросил Мирон. — Радость, что ли, по случаю супружеского примирения?

— Мне самой странно... Как-то обидно за Кряжича...

Не выпуская ее руки, он проводил ее по тротуару. Она успела рассказать ему о происшествии с Татьяной, о катастрофе на мостовом переходе; посмеялись над тем, как утопили Агашу, а она обиделась и воскресла; сообщила о возвращении Фени и Кольчи.

Он хотел проводить ее дальше, но она остановилась и ласково оттолкнула его.

...Феня... За что она возненавидела его? За порыв к ней? Но ведь в этом порыве не было ничего оскорбительного. Впрочем, не следует оправдываться: ведь все-таки она взволновала его, и он не раз мечтал о ней по ночам. А когда целовал ее грудь и прижимал к себе эту маленькую хрупкую девушку, желания его были не совсем целомудренны. И ее протест и гнев были заслуженным для него наказанием. Встреча с ней будет не из легких...

3

Мирон позвонил в управление Чумалову, но там его не оказалось, вызвал квартиру, но и там его не было. Позвонил Татьяне, но телефон молчал.

«Должно быть, на дежурстве», — решил он и хотел поговорить с Феней, но в этот момент в комнату шумно и оживленно ввалились Гудим, Чумалов и Осокин.

— А-а, наконец-то!.. Вот он!.. — раскатисто крикнул Глеб и первый бросился к нему с объятиями. — Ну, выкладывай, что и как... все выкладывай!..

— Прежде всего поцелуй от Даши.

— Врешь. Не давала она такого поручения. Я поцелуи ее сам выхватываю. Ей не до поцелуев: к войне готовится...

Мирон переобнимался и перецеловался и с Гудимом, и с Осокиным. Гудим потеплел и заулыбался сдержанно. А Осокин расчувствовался до слез.

— У Даши в гостях был, у Прихромова... Прихромов — совсем швах, а работоспособность и полет — юношеские. Минодора ругается, а любит нас...

— Нет, ты о Серго расскажи... — гремел Чумалов, не переставая смеяться. — О Серго!.. Как принял, что обещал?..

— Он назвал тебя витязем в тигровой шкуре.

— Это как понимать? — испугался Глеб. — Казнит или на щит поднимает?..

— Понимай как тебе угодно. Разговаривали душевно. Поругал, похвалил. Здорово крыл за то, что талантов не открываем. За Катю Бычкову побранил.

Сели за стол и стали закусывать.

— Кстати, Гудим: скажи-ка по-человечески, как это ты смеешь уходить в такой ответственный момент? Армия — это, конечно... тут язык мой молчит... Но ведь без ножа режешь...

— Не моя воля...

— Я сам бы в армию пошел... — вздохнул Чумалов. — Шутки шутками, а тоскую... Вот какая чертовня!

— А мы с тобой не в армии? — строго спросил Мирон. — Где грань, которая отделяет нас от обороны? Ты и сейчас носишь гимнастерку.

— Против специфики ты не спорь, Ватагин... — безапелляционно заметил Гудим. — Армия есть армия. Не забывай, что сейчас армия иная: это — армия машин, армия высокой техники. Она требует большой выучки от командира и бойца. Надвигается война: фашисты ее скоро развяжут. И в этой войне будет новая стратегия и новая тактика. А я, как тебе известно, танкист. Учиться буду, готовиться к великим боям.

— Но как же быть? Кто заменит тебя, милый друг? Ты меня просто оглушил... Я хлопотать буду: нужно освободить тебя.

— Не выйдет, Ватагин. Да и не позволю.

— Да, брат, специфика... — рассердился Глеб. — У врагов тоже специфика: начались аварии, а вилов-

ников нет. Все предусмотрено, техника безопасности заработала, а катастроф больше, чем в прошлые времена. Бурей ношусь, а накрыл только одного Перебойченко, да и тот улизнул...

— Во-первых, ты не буря, а замначстроя, — разъяснил Гудим. — А во-вторых, буря — это разрушительная стихия.

— Врешь! — заорал на него Глеб. — Буря в человеке — уже не стихия, а сознательное поведение.

— Значит, не буря... — авторитетно сказал Гудим. — Значит, стратегия и тактика.

Мирон засмеялся и перемигнулся с Осокиным.

— Нет, ты скажи мне, Гудим: как это вы проморгали здесь, несмотря на стратегию и тактику, катастрофу с мостовым переходом, арест Братцевой?.. а?

— Я тебе больше скажу, — хладнокровно добавил Гудим: — убийство клепальщика на железнодорожном мосту, падение стрел... Я уже не говорю о вредоносной работе Ситного и Дубяги.

Мирон насторожился: речь Гудима была слишком длинной — совсем для него необычной. Ясно, что Гудим очень обеспокоен. Он сейчас не будет говорить о своих выводах, не будет называть людей, не скажет о том, что он знает и какие у него материалы в руках. Несомненно у него есть основания беспокоиться. Конечно, он уже не раз беседовал с Емельяном, но ждал Мирона, который должен разобраться во всем и принять немедленные решения.

— Что сделалось с человеком, Мироша!.. — горестно вздохнул Осокин. — Старый большевик, партизан, уважаемый товарищ — Дубяга-то... Достукался: сняли на днях. Думалось ли, что он скатится в правое болото?.. Встречался я с ним в городе несколько раз — и узнать нельзя: злой, смотрит, как зверь...

— Это тебе не думалось, Осокин... — насмешливо отозвался Мирон. — А мне он был ясен уже давно. Помнишь, как ты пытался защищать его и призывал нас к сердечности.

Осокин виновато замигал красными веками, и у него задрожали руки и бородка. Но он разгневался и запротестовал:

— Так разве я его мысли защищал? никого я не защищал... Что я говорил? Не нож к горлу, не бездушный подход к людям, а сердца побольше. Дубягу-то мы, может, и отшвырнули и озлобили этой своей нечуткостью.

— Ты — оппортунист, Осокин... — усмехаясь, резко оборвал его Мирон. Гудим молчал безучастно, а у Глеба раздувались ноздри от смеха. Он шлепнул Осокина по плечу и сказал добродушно:

— Ты, предрабочкома, — как старый кот, который уже перестал ловить мышей.

Осокин оскорбленно и робко поглядел на всех непонимающими глазами. Он сразу ослабел, лицо сморщилось, и в глазах застыла тоска. Эти люди, с которыми он прожил не один год и которых любил всем своим доверчивым сердцем, не верят ему, и среди них он как будто чужой и ненужный человек. Посидел он еще минут десять и поднялся. Мирон не удерживал его, и все простились с ним молча.

— Не понимаю, как мы до сих пор терпели такого размазню, — сердито сказал Мирон. — Я вас предупреждал, товарищи. Кого вы рекомендуете на его место?

Глеб отодвинулся от стола вместе со стулом: слова Мирона обеспокоили его.

— Ну, ты уж очень скоропалительно, Ватагин... Подождем перевыборов рабочкома... Не лучше ли заняться сейчас хорошей чисткой сомнительного и прямо злостного элемента?

— Давно пора... — поощрил Гудим.— Начнем с Самородова...

Глеб насмешливо отмахнулся от Гудима.

— Дался тебе Самородов...

— Однако он ездит вместе с Шалниным в гости к Ситному. Ты знаешь, с кем они провели вечер? С Забодаевым.

— Знаю. Почему ты сообщаешь это как убийственное событие? Самородов мне сам похвалялся этой встречей. Забодаев — начальник главка. Объезжает свои предприятия. Ситный работал под его началом, Шалнин тоже.

— А при чем тут Корытин и твой Самородов?

— Странный ты человек, Гудим: все у тебя как-то кургузо... Если бы ко мне заехал кто-нибудь из моих знатных друзей, я пригласил бы тебя и Ватагина в первую голову.

— Ну, так вот, Чумалов... — лениво прочищая зубы перышком, сказал Гудим. — Так вот... Позволь сказать тебе, что ты ничего не знаешь. Раньше ты, как я слышал, свирепо глушил всяких прохвостов. А теперь?..

Глеб благодушно усмехался, занятый своей трубкой.

— Не беспокойся, друг, я знаю не хуже тебя... и не о таких провокаторах, как этот Самородов...

Мирон слушал их перепалку внимательно: каждый из них любопытен в своем роде, у каждого — свой характер и свой нрав. Оба верные и преданные друзья и хорошие большевики. Но Гудим пунктуален и педантичен: десятки, сотни вопросов, дел, событий тщательно, кропотливо исследует, обрабатывает до конца и проводит их вовремя, — осмотрительно, безошибочно. Похож он на ученого, который сидит за микроскопом, и на командира, образцово проводящего военные операции. И Мирон заранее знал, что Гудим ничего не забудет, не отложит ни одного задания и всякое непредвиденное затруднение сумеет разрешить без смущения, толково и хладнокровно. Правда, он кажется скучным, лишенным страстей и увлечений, но нужно знать его, чтобы почувствовать в нем неугасимое горение. Гудим любит стройку, живет партработой, и у него нет ни одного свободного часа для себя. Это живая энциклопедия и чувствительный нерв всей сложной строительной жизни. А Глеб — широкий, размашистый человек, крикун, громобой, добряк, но бывает страшен в минуты бешенства и нежен, как женщина, когда растроган. Он никогда не бывает спокойным, уравновешенным, всегда пылает и захлебывается от переизбытка чувств.

Посасывая трубку, Мирон с шутливой строгостью спросил Глеба:

— А похвалялся тебе Самородов, как они с Шалниным изнывают в фокстроте у Кряжича? Видал, как сейчас они там развлекаются? И Шагаев там...

— Да ну вас к чертовой матери, товарищи! У нас есть более интересные темы для разговора... Довольно для меня одного Репея: враги преследуют его всюду... Вот этого балду я призвал бы к порядку, чтобы не сеял паники, не бунтовал людей...

Думая о чем-то своем, Гудим рассеянно заметил:

— Репея я знаю лучше тебя, Чумалов; к людям он ближе, чем ты, и хорошо чует дурные запахи. Вспомни, что он тоже помогал когда-то разоблачить Хабло и его сожительницу. А история с Перебойченко?

— Ну, хорошо. Кончим об этом.

— Странное упорство... — равнодушно и как будто скучая, заметил Гудим.

Глеб не выдержал: ударил кулаком по столу и вскочил со стула. Шея и лицо его налились кровью.

— Так ты, чертова голова, значит, считаешь меня тоже пособником врагов и вредителей? Ну?

Мирон тоже поднялся и стал перед ним с трубкой в руке.

— Не бесись, Глеб Иванович. К чему этот тон!

Бесстрастный вид Гудима еще больше взбунтовал Чумалова.

— Как смеет это тупое чучело бросать мне обвинение в покровительстве мерзавцам!..

Мирон стоял перед ним неподвижно, высоко подняв голову, и не отрывал глаз от его лица.

— Во-первых, Глеб Иванович, Гудим — наш лучший товарищ и большевик, а не чучело. А во-вторых, тебе никто не бросал таких обвинений. Я протестую против такого способа объяснений.

— Ага, ты протестуешь, когда я дал ему отпор... А почему ты не протестовал против клеветы этого болвана? Если он припечатывает мне клеймо пособника бандитов, я убью его со всего размаха... Вот-с!..

Он схватил свой картуз и стремительно выбежал из комнаты.

Мирон и Гудим переглянулись в недоумении, оба пожали плечами и усмехнулись.

— Остается и тебе удрать от меня, Гудим. Хороший будет водевиль.

Но Гудим не ответил на шутку Мирона и спрятал зубочистку в карман.

— Чтобы ты был в курсе дела, я должен тебе рассказать о том, как у нас идет реализация сквозного договора.

И он коротко перечислил все события, которые произошли на строительстве за этот месяц. Его рассказ был похож на газетную хронику или рапорт. «Комсомольская муха», ликвидация «гнилых подушек», оживление работы на мосту, катастрофа на плотине, борьба за транспорт, проверка отдела эксплуатации и механизации — все это выражалось четко, определенно, сжато.

— Пойду на плотину, — решил Мирон.

— Пойди. А я — спать. Тут такой узел: Самородов — немцы, Самородов — Ситный, Ситный — Забодаев. Корытин влип по глупости. А сейчас — невменяем. Ну, а у мадам — салон.

— Понимаю. Только зачем так крикливо?

— Да, прием избитый... Кустарно.

— А что ты думаешь о Цезаре?

Гудим пожал плечами.

— Ежели протрясти его — будет хорош.

— А я, знаешь, у Прихромова грозу устроил... возмутился страшно...

— Вы с Чумаловым — как испанские быки. У одного — буря, у другого — гроза. Покойной ночи!

Мирон и Гудим вышли из комнаты вместе: один направился к соседней двери, другой — на улицу.

Гудим разделся неторопливо и заботливо: гимнастерку повесил на спинку стула, а галифе свернул и бережно положил на сиденье. Так же бережно уложил и подтяжки. Он поднял одеяло, лег на кровать и проверил, та ли книга лежит на столике.

Как раз в этот момент кто-то гулко ударил кулаком в дверь.

— До завтра, Чумалов... — предупредил Гудим. — Доброй ночи!

Голос Глеба — спокойный и дружелюбный:

— Я на минутку, Гудим.

— Нельзя. Встаю ровно в семь.

— Ну, открой же, чудак! Ерунда у нас вышла...

— До завтра, Чумалов. Или — сюда, или — в горком.

— Вот шайтан! — засмеялся Глеб. — Пойми, мне нужно тебя видеть сейчас, а не завтра.

— Никаких разговоров. С утра — в любую минуту... Сейчас — мой отдых.

— Не злишься?

— Положение без перемен: голова — ясна, нервы — в порядке.

— Ну, спасибо. Где Ватагин?

— Ушел на плотину.

— Ну, дрыхай. Завтра забегу.

Гудим взял Клаузевица и раскрыл на той странице, где он остановился в прошлый раз.

4

Цезарь встретил Мирона без удивления — как будто ожидал его. Правда, он покраснел, улыбнулся, в глазах вспыхнул беспокойный вопрос, но руку Мирона пожал робко и настороженно. Он поздравил его с приездом и, казалось, только ради приличия попросил раздеться. Зато Мирон встряхнул его руку с излишней горячностью. Он засмеялся без всякой причины и обнял его, когда они шли в комнату.

— Ну, друг, как дышишь?

— Лучше нельзя, как говорится.

— А мы только что ввалились с Балеевым. Хотя успел уже поссориться с Чумаловым и выслушать рапорт Гудима. Сейчас на плотину иду...

Они прошлись по комнате, помолчали и проверили друг друга глазами.

Мирон не разделся, картуза не снял. Кожаное пальто его поблескивало тускло и холодно.

— Что ж ты, Цезарь? Хоть бы зашел ко мне вместе с ребятами...

— Меня никто не предупреждал.

Цезарь не приглашал Мирона садиться, а стоял перед ним, закинув руку за спину. Сухощавое лицо,

с румянцем на скулах, казалось бледным, а вельветовая блуза подчеркивала его худобу.

— Прихромов прислал тебе привет.

— Да, я напомнил ему о себе...

— Нечего сказать, напомнил! Из-за тебя я здорово с ним поспорил...

Цезарь выдержал намекающий взгляд Мирона и твердо подчеркнул:

— Иначе и быть не могло.

Мирон ожидал, что Цезарь смутится и вздрогнет, но он был невозмутимо спокоен.

Ватагин с недоброй усмешкой всматривался в него.

— Значит, иначе быть не могло?

— Конечно.

— Вот и пойми человека! Сторонкой жил... тайно образующе...

Цезарь с добродушной насмешкой ответил:

— Илье Евсеичу ты отзывался обо мне крепче и энергичнее.

Мирон закуривал трубку и смотрел на вспыхивающий огонек спички.

Лицо его от этих вспышек резко меняло выражение: то смеялось, то холодело. Он вынул трубку изо рта и с иронией подхватил:

— Скажите, какая прозорливость!

— Партия разберется в этом деле, Ватагин. Не думай, что я боялся открыто выступить перед товарищами. Моя история вызвала бы здесь некоторое волнение, а это и не нужно и вредно.

Мирон отвернулся и молча заходил по комнате. Цезарь сел к столу, взял книгу и, перелистывая, близоруко просмотрел несколько страниц.

Ватагин остановился посредине комнаты и, попыхивая трубкой, враждебно уставился на Цезаря.

— Ничего, ничего, Цезарь. Мы все-таки постараемся поговорить с тобой и здесь.

И опять Мирон отметил, что слова его не произвели никакого действия на Цезаря. Даже враждебный тон не задел его. Цезарь только пожал плечами и, бросив книгу на стол, сказал твердо и решительно:

— Не советую, Ватагин. Не советую в интересах дела.

Мирон засопел и злобно выкатил глаза.

— Советчик! Философ! Ему важны интересы дела!.. А какой это умный советчик обманывал партию?

Цезарь вздохнул и опустил голову, точно ему стало стыдно смотреть в глаза Мирону.

— Мне жаль, Ватагин, — сказал он грустно, — что я не могу тебя уважать в эту минуту...

— Ох, какая беда!.. — засмеялся Мирон без смеха в лице.

— Видишь ли, Ватагин... — вдумчиво предупредил Цезарь, — я сомневаюсь в твоей способности судить, если ты сам не имеешь мужества проверять себя. Ты отмахиваешься от своих ошибок и неблагополучий. Я хоть болел когда-то, долго мучился... А ты?..

Мирон вздрогнул и отступил от Цезаря. Он не предполагал, чтобы этот тихий и скромный человек мог обрушиться на него так спокойно и неотразимо. Вспомнилась Ольга с ее страстными обличениями. Долголетнее самобичевание сделало ее болезненно впечатлительной, склонной к преувеличениям. Но странно то, что и Ольга и Цезарь, не зная друг друга, бросали ему один и тот же упрек.

— Мои ошибки и неблагополучия не имеют отношения к партии, — крикнул Мирон. — Это мое личное дело. Ты не можешь их знать: сплетнями питаешься.

Цезарь разочарованно покачал головой и отошел к столу. Он опять взял книгу, полистал ее и равнодушно заметил:

— Я не ожидал от тебя такого недостойного ответа, Ватагин. Доблестью ты не отличаешься.

— Довольно! — с угрозой прохрипел Мирон и широкими шагами пошел к двери. Потом круто повернулся и вытянулся с искаженным от ненависти лицом. — Называй вещи их именами.

— Давай потише, Мирон: рядом со мной — хорошие люди, но...

Этот дружеский голос заставил Мирона опомниться. Его злоба как будто растаяла. Он вдруг почувствовал, что его стесняет и кожаное пальто и кожаный картуз,

что табачный дым перехватывает горло. И он вспомнил, что к Цезарю он зашел не для того, чтобы грубо порвать с ним, а просто встретиться и, может быть, беззлобно подтрунить над его драмой. Оказалось, что он таил в себе мстительное чувство. Оно назрело и прорвалось, как только произнесли они первые слова.

Он снял картуз и медленно заходил по комнате, избегая взгляда Цезаря.

— Про себя я мог бы сказать так же, как и ты, Ватагин... Но правда требует мужества и честности. Ты хочешь, чтобы я назвал вещи их именами? Изволь. В двадцатом году ты убил отца Фени. Было это?

Мирон остановился в изумлении. Он расстегнул пальто, бросил фуражку на стул и, сдерживая волнение, шагнул к Цезарю.

— Ты откуда это знаешь?

— Неважно откуда...

Мирон сел на стул поодаль от Цезаря, и опять в глазах его вспыхнула злоба. Но слова Цезаря вызвали что-то похожее на замирание сердца.

— Ну, дальше!

— Дальше — особо. Пока я хочу получить ответ на вопрос.

— Да, случай этот был.

— Но партии он неизвестен?

— Есть свидетели этого события — Байкалов и Феня.

— Не в этом суть. Ты мне бросил обвинение, что я много лет обманывал партию. Не вправе ли я предъявить тебе такое же обвинение?

— Ну, дальше?

— А дальше суди о себе сам. У тебя есть кое-что и другое на совести: например, судьба сына... Кой-какие проступочки по части этики...

Мирон быстро встал со стула и дрожащими руками стал застегивать пальто. Лицо его окоченело, глаза тускло смотрели на Цезаря.

— Ты, как осведомитель, собирал по зернышку мои грехи... — усмехнулся он. — Давно, должно быть, готовился к контратаке.

— Нет, зачем же? Твое заключение — неумно. Вся

разница между нами в том, что ты забывчив и невнимателен к себе, а я немножко чувствителен к голосу совести.

— Итак? — насмешливо спросил Мирон, надевая картуз.

— Итак, тронут твоим посещением. Расстанемся друзьями. Завтра я выезжаю в Москву. Вызывает Илья Евсеич. После разбора моего дела в партколлегии я, очевидно, пойду на научный фронт.

Мирон прошел к двери. Цезарь проводил его до прихожей.

Мирон обернулся и протянул ему руку.

— Всего доброго, Цезарь! Будь счастлив.

И быстро вышел за дверь.

VI. МОЛОДОСТЬ

1

Стояли прозрачные дни октября — с голубым твердым небом, с чистыми осенними далями, с инеем по утрам. В скверах, садах и парках деревья уже щетинились голыми ветвями. Бледнее казались тени, острее грани бычков и зданий соцгорода. Уже несколько дней носились по улице новенькие вагоны трамвая и сверкали на солнце красным глянцем. Открылся втуз, и его серые корпуса, похожие на фабричные здания, внушительно возвышались над другими домами. Только что законченный дворец культуры казался самым прекрасным из всех построек города: весь он состоял из аспидных кубов, больших и малых, приставленных друг к другу и нагроможденных один на другой. Но не в этом была красота: люди восхищались портиком из гранитных колонн и фризом, покрытым множеством барельефов, это были непрерывные толпы фигур, изображавших историю строительства, сплетенных между собою трудовым стремительным движением. Проект этого здания выполнен молодыми архитекторами под

руководством Митрохина, и он очень гордился тем, что работа была опубликована и вызвала много откликов.

В городе шла обычная шумная жизнь, но более многолюдная и хлопотливая, чем в старом районном центре. И все-таки население жило в эти дни только плотиной. Все пятьдесят три бычка уже забетонированы были до одной и той же высоты, и они стройным рядом шли от одного берега к другому. Со стороны нижнего бьефа гребенка эта вогнутой дугой перерезала реку и концами своими таяла в далеких перспективах берегов, сжимаясь и уменьшаясь, и казалась горбатой в середине. Как гигантские голубые арфы стояли бычки бесконечным полукружием, готовые загреметь неслыханным оркестром. И эта музыка, как далекий гром, ревела водопадами, бурей прибоя и вихрями брызг и пара. Соединительные стенки между бычками были на разных высотах: одни поднимались до половины, другие — ниже, а кое-где склеивали бычки почти доверху. Пока заканчивались бычки в среднем котловане, монтировались от берегов к центру стальные мостовые перекрытия, и там, на головокружительной высоте, уже толпились паровые краны и строились дощатые конторки, мастерские и склады.

С площадки электростанции Вакир каждый день смотрел на эти бетонные арфы, на стремительное масляно-густое падение рыжей воды, на бурю клокочущих волн и чувствовал себя маленьким — с муху, но переживал не испытанное раньше величавое ощущение полета. Там, на высотах бычков, сейчас идет соревнование между бетонщиками, машинистами и такелажниками. Последнюю бадью на последнем бычке положат те из бетонщиков, которые идут впереди всех бригад. А здесь создается мозг сооружения, и он, Вакир, один из тех тысяч людей, которые с тонким искусством прядут и ткут нервные волокна этого великого организма. Он уже сроднился со стройкой, с электростанцией, и прошлая жизнь в колонии кажется ему маленьким, захолустным существованием, правда, милым и трудным, как детство. И странно: он и теперь ощущает былую связь с той жизнью, но он уже — больше,

сложнее, богаче, чем был раньше. Теперь он знает, что такое четкое, изящное мастерство сборки агрегатов, знает, что такое точность и внимательность, что такое «эффективность работы», которой многие удивлялись раньше. Но он, Вакир, знает больше, чем американцы: то, чем живет он, им неведомо — нет у них того огня, тех мыслей и чувств, которые волнуют душу. При помощи Чумалова он с ребятами добился самостоятельного монтажа трансформатора под наблюдением американского мастера. Уорд проверяет их работу каждый день. А Игнатий Игнатьич прибегает чуть ли не каждый час. Он привередлив ко всяким, даже ничтожным, мелочам, сварливо бранится: все не так да не этак. Когда Вакир заявил ему, что будет соревноваться с американцами на досрочность и качество работы, Игнатьич испугался и ехидно прищурил один глаз.

— А как я перенесу позор, когда ты провалишься?

Но Васяй и Чумалов просто сказали: «Валяй». Когда выяснилось, что Вакир уже идет по монтажу на сутки впереди американцев, Шагаев, как обычно, понаблюдал работу всех парней, которые были связаны друг с другом простейшими обязанностями, и съязвил: «Пожалуй, можете и арбузы перекидывать... Не рано ли шахуешь, Вакир?» С этого дня между ними установились какие-то странные отношения: Вакир встречал Шагаева раздражительно, недоверчиво и огрызался на его замечания. Шагаев кипятился, жалил Вакира ехидными словечками и каждый раз повизгивал: «Где у тебя габарит? Где габарит?» А Вакир дерзко отвечал, бледнея от злости: «Мой габарит поет и говорит...» — «Да пойми, сынок: ведь габарит — это шахматная доска, где каждая фигура должна знать свое место...» — «У меня — не фигуры, Игнатий Игнатьич, а люди».

Когда Уорд узнал о том, что Вакир ломает темпы, он рассердился. Самоуправство молодого человека ведет к срыву монтажа. О нарушении договора, о безответственности начальника электростанции и главинжа Шлиппе он должен телеграфировать мистеру Райту. Сделайте одолжение! Хоть самому президенту Америки... Только пусть мистер Уорд не забудет отметить достоинства монтажа советских мастеров. Дело не в

достоинстве монтажа советских мастеров, а в точном и неуклонном соблюдении календарных сроков и норм, установленных договором. Да, но мистер Уорд не понял наших особенностей: советский календарь не совпадает с календарем зарубежных стран. Уорд сдержал слово: послал молнию Райту, и в тот же день Райт, к ужасу Уорда, поздравил русских монтажников.

Татьяна прибежала на электростанцию и с блестящими глазами сказала Вакиру, не стесняясь никого: «Вакир, дорогой мой, как я счастлива!..» В газете появились статьи и портреты Вакира и его ребят. В «Правде», в «Комсомолке», в «Известиях» печатались телеграммы... И Вакир понял, что только борьба за общее дело делает людей родными и близкими. В тот момент, когда Тибра крикнула ему: «Как я счастлива!» — Вакир вдруг почувствовал, что и он счастлив, что Тибру он любит уже какой-то новой — не прежней любовью. Он как будто исцелился от изнурительной болезни, а теперь с изумлением открыл в себе какое-то необъятное чувство свободы... Тибра стала по-иному близкой ему, но и по-новому далекой.

Как-то на днях неожиданно пришел на электростанцию Ватагин вместе с Балеевым. Они долго бродили по всему зданию и остановились перед Вакиром. Ребята не обращали на них внимания и даже не приветствовали их. И когда Мирон пригласил Вакира подойти к ним и побеседовать с начальником строительства, Вакир, не отрываясь от работы ответил:

— Извиняюсь, товарищ Ватагин, не могу.

— Это почему же?

— У нас — жесткое время и график.

Викентий Михайлович усмехнулся в бороду, но строго заметил:

— Хорошо. Но вы ведь не отрицаете моего права контроля.

— Вы меня можете снять, товарищ начстроя, но не отрывать от работы.

— А если я найду нужным?

— Не можете, товарищ начстроя, потому что этим вы нарушите условия сквозного договора.

Викентий Михайлович подошел к аппарату и, на-

блюдая за Вакиром, машинально вынул портсигар, взял папиросу и зажег спичку. Купер с испугом покосился на него и что-то сердито пробормотал. Вакир повернулся к Балееву и сердито потребовал:

— Потушите спичку!..

И, не стерпев, сам дунул на огонек.

— Виноват! — спохватился Балеев и быстро спрятал коробок. — Забылся... Нехорошо...

Мирон молчал и следил за Вакиром, но Вакир делал вид, что не замечает пристального взгляда.

— Вы извините, товарищ начстроя, но к трансформаторам, как вы знаете, нельзя подходить со спичками, а тем более курить. Мы дышать не смеем около сердечников.

— Правильно, правильно. Спасибо.

Балеев был явно смущен. Он прошел к ребятам, которые монтировали трансферные шины.

Мирон уставился на Вакира и с угрозой сказал ему:

— Это возмутительное безобразие! Как ты смеешь хамить с начстроем!

У Вакира задрожали ресницы, но он не повернул лица к Мирону.

— Что же ты называешь вежливостью, товарищ Ватагин?

— Зарываешься, молодой человек...

— Ты меня не волнуй, товарищ Ватагин: наша работа требует осторожности. Я заслуживаю похвалы, а не выговора.

Мирон смерил его с головы до ног и отошел в сторону.

Балеев возвратился к Вакиру и спросил:

— Где вы получили квалификацию?

Вакир кивнул головой на американца.

— Вот, с помощью мистера Купера (и улыбнулся ему, а Купер приложил пальцы к козырьку кепки, услышав свою фамилию). Потом у нас ежедневная проработка процессов монтажа, изучение чертежей, схем...

— С кем соревнуетесь?

— С американцами.

— Не слишком ли рано?

— Мистер Уорд одобрил нашу работу. Прошу вас быть арбитром.

Балеев пошевелил бровями, переглянулся с Мироном и пошел вниз по сходням. За ним стал спускаться и Мирон.

Один из парней в восхищении щелкнул языком.

— Вот это ценно! чисто побрил. Ничего не скажешь.

— А пожалуй, как бы не нагрели нам шею...— встревожился другой, но не выдержал и засмеялся. Купер по-прежнему работал безучастно.

Кольча слесарил на сборке рабочего колеса турбины. В этой же бригаде был и Сенька-поэт. С первого же дня приезда Кольчи Сенька ожил. Он уважал Вакира за независимость и даже за жестокую критику своих стихов, но в то же время его ненавидел. Каждый вечер они вместе ходили во втуз: Вакир был студентом первого курса, а Кольча и Сенька поступили на подготовительный. От ночных работ они были освобождены. По-прежнему сходились у Татьяны, но только в выходные дни. Сенька читал им свои стихи и поэмы и уже не боялся критики Вакира: его дружно защищали Кольча и Феня, а иногда и Татьяна.

Однажды во время спора Кольча признался:

— Без Сенькиных стихов я уже жить не могу, если хотите знать...

Вакир едко заметил:

— Мало же тебе надо в жизни: ты неприхотлив, как ветла.

Феня взбеленилась.

— Я не понимаю твоего пренебрежения, Вакир: ветла — простое, понятное дерево. Не воображай, что ты благородной породы. Каким талантом ты можешь похвастаться?

Всем казалось, что они терпеть не могут друг друга: постоянно между ними шла злая перепалка. И было смешно, когда Феня беспокойно спрашивала, если Вакир опаздывал: «Где же наш джентльмен?» Отсутствие Фени раздражало и Вакира. «Ха, глупышка пытается показать мне свое презрение. Уж

я ее доконаю... Где она?..» Кольча в душе радовался их вражде и с Вакиром дружил весело и простодушно.

А на каждом производственном совещании он с энтузиазмом защищал всякие предложения Вакира, в точности повторяя его слова. И эта буря чувств спасала Кольчу: всем казалось, что он выражает свои мысли, продуманные и выстраданные.

2

Вакир взбунтовал Чумалова на другой же день после ночного вторжения Шагаева к Татьяне. Утром он позвонил Глебу и побеседовал с ним коротко и крепко.

— Вы, Глеб Иванович, не против усиления строительных работ на электростанции?

— Что за вопрос? — с сердитым беспокойством зарокотал в трубке утренний голос Глеба.

— Этот вопрос вы задайте замначу Стрижевскому. Может быть, ему угодно заморозить монтаж?

— Мне ничего не известно. Я проверю.

— Уже проверено, Глеб Иванович. Я только хотел удостовериться, как чувствует себя наш авторитет.

— Не заботься о моем авторитете,— успокоил его Глеб.

— А как же, Глеб Иванович? Ваш авторитет — наш авторитет. Я против всяких экстренных собраний, но сейчас, перед новой сменой, придется обсудить вопрос о Стрижевском. Мы очень заинтерессованы в вашем добром здравии, то есть в нашем благополучии.

— Никаких экстренных собраний!..— рявкнул Глеб и положил трубку.

Вакир вышел из кабины с озорной улыбкой.

Кувыркин через несколько минут с необычной торопливостью побежал в управление строительства, а за ним заковылял и Чубук.

Они явились обратно через час. Чубук обиженно прошел мимо Вакира, хрипло рыча в усы: дры-ры-ры... Он покосился на ребят и грозно зашевелил бровями.

Вакир почтительно поздоровался с ним и вкрадчиво сказал, не отрываясь от работы:

— Что же это ты, товарищ Чубук, забыл нас? Ведь я твой, можно сказать, подшефный.

— Знаю я тебя, проказа... Знаю, но терплю... Давно вижу, как ты за щабли хватаешься...

— Ну, так что же там произошло у Глеба Ивановича, товарищ Чубук?

— Это на тебя не влияет. Вопрос идет мимо твоего носа.

— Абсолютно нет, товарищ Чубук. Разве тебе Чумалов не доложил, как я согнал его с постели?..

— Фу, матери твоей черт! Я, я!.. Шемая! Что ты есть для первого замнача? Он вот даже Стрижевского — льва и тигра — прижал, невзирая на личность.

— Молодец Чумалов! Одобряю.

— Хо, почему Чумалов не слышит твоего одобрения! Он же с ума сойдет...

— Ничего, товарищ Чубук: я его похвалю лично... Как же он принял вас? Угощал?

— Тебя там не было, самолюбца...

Чубук пошел дальше и опять зарычал: дры-ры-ры... Потом опять возвратился и подсел к Вакиру.

— Сидим мы, чай пьем с лимоном... — заговорил он будто сам с собой. — А оба замнача стоят и с улыбочкой рвут один другому мозги. Потом Глеб Иванович — к Кувыркину: «Почему, говорит, вы строительский фронт оголили?» А Кувыркин вынимает трубочку изо рта и по-американски: «Я, говорит, стал перед фактом связанный». Тут Глеб Иванович ко мне: «А ты чего говорит, Чубук, усами дрыгаешь? Вы, говорит, с Кувыркиным проморгали и прокупоросили, а вот один мальчишка мне все по нотам расписал». Я, понимаешь, в обиду: «Вы, Глеб Иванович, мальчишками не бросайтесь: у нас — коллектив и бойцы».

— Так ведь это же я, товарищ Чубук, — серьезно пояснил Вакир. — Как ты не догадался?

Чубук оглядел ребят, которые жадно слушали его, и угрожающе предупредил:

— Ты мне реплик своих не суй! Я из-за тебя выговор получил. Как мне с тобой разговаривать, черт?..

— Ну, извиняй, товарищ Чубук. Я тебя очень уважаю...

Чубук, сраженный почтительными словами Вакира, смягчился и задергал пальцами усы. Ему очень хотелось улыбнуться, но сердито сдержался.

— Ну, туда-сюда... — продолжал он, — зазвонили телефоны. Самородова мобилизовали. А он докладывает: «Ничего понять невозможно —все данные в неизвестном состоянии». Тут Глеб Иванович и припаял его: «Ты, Самородов, факты насилуешь, но факты тебя самого удавят».

— Товарищ Чубук, выходит я напрасно и Глеба Ивановича мутил? Какой же это конец?

Чубук встал и задергал усы.

— А вот и конец: не успели мы на улицу выйти, мимо нас Чумалов — в машину... А это знаешь что? Уж если нарвется на кого — пропал...

Чубук неторопливо пошел по сходням, но, вспомнив о чем-то, опять возвратился.

— Знай тезис, хлопче: точи очи и в ночи, а хватку держи на прицеле.

Он погрозил пальцем и быстро спустился вниз.

3

Трудно было бороться с мужчинами: со стороны реки работали комсомольцы, а от берега — испытанные бетонщики, переброшенные с аванкамеры. Конечно, те и другие брали силой и выносливостью: каждый из этих рабочих мог бы подбросить одной рукой по две девчонки. Но Катя никак не могла примириться с тем, что она опять отстает, опять, как и раньше, газета ехидничает над нею: «Бригада Кати Бычковой беспечно танцует на одном месте. Позор! Не видать ей последней бадьи, как своего носа». Это напечатано было на днях, и девчата были так потрясены, что расплакались. Катя после смены побежала в редакцию, ворвалась прямо в кабинет редактора и раскричалась. Она задыхалась и била кулаком по столу.

— Это издевательство и хулиганство!.. Девчата с ума сходят... «Муху» мою забыли?.. Победы мои забыли?... Меня сам товарищ Серго поздравлял...

На крик собрались сотрудники и ехидно посмеивались. Редактор, высокий, лобастый парень, с густыми бровями и выпуклыми глазами, не то дерзкими, не то лукавыми, налил из графина стакан воды и подал ей, но она отшвырнула его руку, и стакан полетел на пол и разбился. Рот редактора съехал в сторону и перекосился от улыбки.

— Это она так на критику реагирует... — насмешливо пояснил секретарь, лысый молодой человек в толстых роговых очках. — Закружилась у девчины головка — критики не выносит... обижается...

— Значит, в самую точку попали... — засмеялся кто-то из сотрудников.

Катя бешено повернулась к ним.

— Нет, это — не критика... извините, пожалуйста... Это — подлость... Вы ничего не критикуете, а зубы скалите. Станьте-ка на мое место... Ну?... Станьте!.. Я погляжу, как вы заработаете. Покажите мне класс работы, научите меня быть впереди... Ну? Молчите! Я страдаю, а вам начхать!.. Вы должны дух наш поднимать, а не хамить...

Секретарь подошел к столу редактора и запротестовал:

— Что же это такое! Врывается сюда какая-то девчонка и устраивает скандал...

— Я не какая-то девчонка... Носа, пожалуйста, не задирайте, гражданин... Меня все знают, а я вас не знаю, кто вы такой...

— Да ты успокойся, Катя... — утешал ее редактор. — Зачем кипятиться?..

— Я не против критики, я даже совсем — за... Но дельно укажите, в чем у нас недостатки, в чем мы слабы... Помогайте, а не улюлюкайте.

Редактор встал и с любопытством наблюдал за Катюшей. Он вышел из-за стола, взял ее под руку и усадил на стул.

— Ну, вот... Давай говорить по душам. Согласен. Верно. Насчет критики ты права. Хихикать и

ехидничать над неудачами — не наш метод. Но нельзя все-таки, Катя, врываться и устраивать тарарам.

— Я еще морды набью, ежели будет такая вылазка...

— Ну, уж и морды...

— Обязательно.

— Не выйдет у тебя, Катя: автор этой заметки такой детина, что оторопь возьмет...

— Давай его сюда... Я не погляжу, что он детина...

Все захохотали. Но Катя была зла и непримирима. Прошло несколько минут в таком разговоре, и Катя успокоилась. Редактор незаметно распорядился принести чаю. Когда перед нею уборщица поставила стакан с двумя тающими кусочками сахару на дне, Катя совсем затихла, только красные пятна пылали на щеках да глаза еще горячо блестели...

— Ты бы нам, Катенька, статейку написала насчет правильной критики...

— Нет, вы сначала поднимите наш авторитет...

— А вы не роняйте его... — посоветовал кто-то из сотрудников. — Раз упали, сами и поднимайтесь...

— Ах, так? — Катя решительно отодвинула стакан. — Хорошо. Я сумею поставить вопрос... Я к Ватагину пойду, к Чумалову, к Паше, к Васяю обязательно...

— Вот это энергия... — усмехнулся редактор. — Ко всем?

— А ты думал что?..

— И так же будешь орать? Выдохнешься...

— Никогда не выдохнусь...

— Угаснешь.

— Никогда не угасну...

— Верю. Силищи — пропасть. Отступаю. А теперь расскажи, в чем ты сама видишь причину своих неудач.

Катя просидела в редакции больше часа: сотрудники не разошлись, а расселись вокруг. Решили, что не в мужской выносливости дело, так как другие мужские бригады отстают от девчат. Гвоздь, очевидно, в системе работы, в какой-то ненайденной и недодуманной мелочи — в расстановке людей и машин. Так

ни к чему и не пришли, а Катя торжествующе трунила над ними:

— А еще критики!.. Критики учить должны... А чему вы меня научили?..

После получения телеграммы от Серго — такой хорошей, теплой — Катюша несколько дней была пьяная от счастья. Телеграмму ей передал в Доме общественных организаций Васяй, и она прекрасно видела, как с завистливым уважением смотрели на нее комсомольцы. Она прочла телеграмму и расплакалась, уткнувшись в руку Васяя. Ей почему-то было стыдно своего счастья, но скрыть упоения не могла. Девчата не находили себе места, ослепленные славой, а вертлявая Валечка надоела всем песенками и пляской.

Они долго не уступали первенства другим бригадам, и газета ставила их в пример, называя их «знатными бетонщицами».

И вдруг недавно Танечка Братцева вызвала из блока Катюшу и сообщила, пытливо засматривая в глаза:

— Учти, Катя: сегодня вас побила бригада стариков. Ты не тревожься, но подумай, как быть. Мне кажется, что вы немножко зачванились: топчетесь на месте, а надо бы как-то заново перестроиться. Я тоже подумаю.

Катя так испугалась, что у нее замерло сердце.

— Да ничего же нет страшного, дурочка... — засмеялась Татьяна. — Потолкуй с машинистом и такелажником.

Вплоть до смены Катюша ничего не соображала: до слез терзала обида. Опять будут тыкать на них пальцами, зубоскалить, опять старая история: начинай танцевать от печки. Подругам она ничего не сказала, хотя они и приставали к ней с вопросами, о чем секретничала с ней Братцева. Но после смены побежала на другие блоки — поглядеть, чем там берут. Ничего она не увидела нового, только одно и отметила: люди опытные, пожилые и сила у них как у медведей. Бросился ей в глаза смуглый, чернявый такелажник с озорными глазами. Он, как танцор на эстраде, расторопно и гибко работал и руками и ногами. На их блоке такелажник был скучный, недовольный парень:

казалось, что выполняет он свое дело с натугой, нехотя и все ему противно. Когда его ругали и торопили, он был глух и нем. Спускал он бадью с задержками, с оглядкой, точно дразнил девчат.

Однажды он не вышел на работу. Прождали его с четверть часа. Сменный такелажник отказался работать. Машинист метался в своей кабине и яростно крутил кран впустую. Глашатка робко подошла к Кате и жалобно попросила ее, мигая виновато:

— Дай я, Катюша, попробую... Устрой мне, пожалуйста!.. Подумаешь, какая невидаль — такелажник!.. Я уже знаю всю его музыку... Мне это очень даже нравится...

Катя несколько секунд смотрела на нее широко открытыми глазами. Потом бросилась обнимать ее. Милая Глашуха, откуда набралась она такой храбрости! А Глаша стояла перед нею, сконфуженная до слез, и теребила пальцами комбинезон. Проныра Валечка нахально оттолкнула ее и решительно заявила:

— По своему характеру я должна быть в роли такелажника. Это же смешно, Глафира: ты — такелажник!..

Девчата загалдели, как галки, и потребовали голосования. Спору же о том, пригодны ли они на роль такелажника, не было.

Катю ослепила великая (как хвалилась потом) мысль: все звенья работы должны быть связаны неразрывно, как голова, руки и ноги в теле. Такелажник — самое важное звено в их системе: он «приводной ремень» (это выражение Катя запомнила из газет) между ними и машинами. Он живет секундами, и секунды у него — только движение, а от движения зависит их судьба. Задержал дыхание — и все летит к черту. Зоркость, ритм, чувство времени и места — вот чем должен отличаться такелажник, и от него же зависит работа и в блоке и на кране. Правда, в первые дни работы «мухи» растерялись все отделы — и эксплуатация, и транспорт, и механизация, и снабжение: не хватало паровозов и площадок, заводы недодавали бетона, а для опалубок — щитов. Шепелю и Кряжичу пришлось апеллировать в бюро соцсоревнования,

и на экстренной конференции внесены были новые пункты обязательств в сквозной договор. Тогда перестроились что называется на ходу, но с большим трудом: паровозы временно перекинули со шлюза, со скалы, с железнодорожного узла, а на бетоно-камнедробильном заводе нагрузку повысили до предела. И были случаи, когда на их участке транспортники предъявляли требования не задерживать площадок с бетоном более пяти минут и не заставлять очередной поезд стоять в хвосте.

Вот почему «великая мысль», озарившая Катюшу, заставила побежать к Танечке.

К приходу Татьяны девчата уже выбрали Глашу, чем очень разъярили Валечку. Кран уже работал, и Глаша дирижировала ручками и удивила Катю кондукторским свистком: вместо «майна» и «вира» — веселый крик сверчка. Катя расхохоталась, но девчата кричали ей из блока.

— Вот у нас как!.. Ручеек заливается... Ты понимаешь, какая она язвочка: давно уже эту свистульку носила в кармашке...

А Глашатка стояла, зоркая и строгая, хотя и волновалась до чертиков. Так она и осталась на своем дирижерском посту. Часто у них была толкотня, беспорядочный пляс, и они от этой бестолочи уставали до помрачения. А теперь Татьяна помогла создать распорядок и за каждой закрепить свою площадь, свои обязанности.

Однажды произошло маленькое событие, которое взволновало девчат. Глашатка испуганно предупредила сверху:

— Катюха, Ватагин с начстроем идут...

Катюша вскрикнула:

— Девчата!..

И погрозила рукавицей: работы, мол, не прерывать и не показывать виду, что знают об их приходе.

Мирон подошел к блоку и позвал Катюшу.

Она поднялась к ним по лесенке и застенчиво поздоровалась.

— А мы о твоих подвигах от наркома услышали... — ласково сказал Мирон и укоризненно покачал

головой. — Как же тебе не совестно! поставила нас перед Серго в неловкое положение.

Катя лукаво взглянула на Балеева и покраснела.

— Ну, что ж... — усмехнулся Викентий Михайлович. — Поздравлять вас мы опоздали, а благодарить как-то неловко: еще обидетесь... Хочется признаться, что, пожалуй, плотина-то многим обязана вам. Вы, должно быть, здорово нас ругали...

— Не то что ругали... а вроде того...

— Почему же вы не адресовались хотя бы ко мне...

— Ну-у...

— Что — ну?

— Вы, Викентий Михайлович, сейчас такой добрый, а раньше грозный были...

Посмеялись.

— А потом вы оба в Москву уехали...

Она оглянулась и заторопилась:

— Вы извините: у нас темпы...

Мирон кивнул головой на Глашатку.

— Вы уже и своих такелажников выдвинули?..

— Характером с тем не сошлись, Мирон Васильевич...

Балеев пошутил:

— Ишь какой нрав у вас неуживчивый!..

Он пожал ей руку, а Мирон погладил ее по плечу.

— А помнишь, как летом ты у Осокина торжественно объявила о своем походе?.. С Алешкой еще спорила...

— Мы, девчата, за это время другими стали: будто постарели...

Она побежала к опалубке и спустилась в блок.

— Постарели... — улыбнулся Балеев, и Мирон вспомнил, что с такой же нежностью говорил он в Москве об Анечке. — Вы подумайте, Мирон Васильевич!.. Другими стали...

4

С первых же дней по возвращении из Москвы Викентий Михайлович лично изучал состояние работ на всех участках: и на плотине, и на шлюзе, и на электро-

станции, и на мостах. Особенно ему не нравилось паровозное депо. Паровозы болели каждый день, их было мало, а новые доставлялись с завода медленно, с перебоями. Сквозной договор выполнялся туго. Отдел эксплуатации отвечал на требования плотины только обещаниями. Простои на плотине, на шлюзе, в аванкамере в первые дни всеобщего соревнования вызывали большую тревогу. В «брехаловке» чуть не доходило до драки: машинистов встречали, как врагов. Но эти люди работали, по суткам не сходя с паровозов. Воду и топливо брали на ходу. Один из них простудился, заболел воспалением легких, и его сняли с паровоза в тяжелом состоянии и отправили в больницу.

Чумалов ночью, не заходя домой, сел на поезд и помчался за тысячу километров, на завод, чтобы вырвать заказ, который не был выполнен к сроку. Паровозы грузили на другую стройку. Глеб по прямому проводу просил помощи у Серго. Нарком распорядился отправить паровозы на Гидрострой. К приезду Балеева девять новеньких паровозов уже поставлены были на рельсы. Управлять ими стали комсомольцы, окончившие курсы и работавшие помощниками и кочегарами. Из механических мастерских брошены были рабочие в депо, но больные паровозы прибывали каждый день. Выяснилось, что машинисты не знали профилей: били паровозы на крутых уклонах, на стрелках, в неожиданных тупиках, сваливали в овраги. Некоторые из них прятались: уходили на скалу, где работа была легче, чище, выгоднее. И Чумалов, и Гудим, и Осокин лично изучали этот ненадежный участок, собирали производственные совещания, вели переговоры с отдельными машинистами. Группа ударников вызвала на борьбу за первенство всех машинистов стройки.

Балеев каждый день сам ездил на паровозах и следил за работой бригад. В депо отдал приказ, чтобы ни одного паровоза не было в бездействии, а за порчу машины строго отвечает и начальник депо и машинист.

В «брехаловке» уже ругали машинистов «рвачами»; дежурный отмечал, кто кого перекрыл по

бетону и по скале. Люди волновались, спорили, выясняли, почему и как победила та или иная бригада. А на плотине было хорошо. Рабочие строго следили за тем, чтобы не тратить лишнего времени на простои, не засорять габарита, не допускать отходов и потерь. Никто из инженеров и техников не жаловался на нарушение дисциплины. Наоборот, их самих нередко упрекали в том, что они плетутся в хвосте и не умеют возглавить трудового движения. Как-то в одном из блоков бетонщики отказались принять бадью. Балеев подошел во время спора. Бадья была спущена в блок, и бригадир-комсомолец взволнованно кричал:

— Я не могу принять этот бетон: цемент другой марки.

Прораб — тоже молодой инженер — ругался и приказывал разгружать бадью.

Комсомолец побледнел, выскочил из блока.

— Я прошу вас, товарищ прораб, на меня не кричать. Если вы знающий инженер, то должны принять мой сигнал.

Он увидел Балеева и подошел к нему без всякого смущения.

— Я, товарищ Балеев, прошу вас как начальника установить, кто прав: я или прораб.

Балеев дал знак поднять бадью и посмотрел на бетон.

— Вы находите, что бетон не той марки? — обратился он к комсомольцу. — Какие у вас основания?

Бригадир уверенно и спокойно стал разъяснять, какая марка цемента нужна для их бетона и какая должна быть грануляция материалов.

Викентий Михайлович, не глядя на прораба, спросил:

— Вы настаиваете, что бригадир неправ?

Прораб сконфузился и пробормотал что-то насчет завода.

— На завод нечего сваливать, — сердито оборвал его Балеев. — Вы лучше поучитесь у этого паренька бдительности. Полезно. Вы отрываете количество от качества... Скверный вид соревнования да еще социалистического...

Викентий Михайлович справился, как зовут бригадира, сколько времени он работает и как он мог определить состав бетона в бадье. Комсомолец отвечал кратко и с достоинством: он работает два года, учится в кружке на плотине, но за долгую практику привык безошибочно определять все виды бетонов.

Как раз в этот же вечер потухло электричество. Случалось это часто. Чтобы не прерывать работы, всюду зажигали смоляные факелы. Балеев шел в глубокой тьме и спотыкался на каждом шагу. Кто-то недалеко ругал электростанцию, и управление, и Шлиппе. Несколько матючков досталось и Викентию Михайловичу. Он усмехнулся и вспомнил лукавый вопрос Серго:

— А вас, Балеев, ругали рабочие в лицо... с глазу на глаз?

— Да, ругают, но по ночам...

Внезапно он услышал внутри дощатой будки свой голос. Кто-то говорил с электростанцией и очень ловко разыгрывал его, Балеева.

— Я вас спрашиваю, какие это идиоты выключают электричество на плотине?

Должно быть, со станции спросили, кто говорит, и другой Викентий Михайлович ответил:

— Балеев говорит. Позвать начальника станции! Что? Включаете? Значит, можно было и не выключать?

Викентий Михайлович слушал и хохотал. Молодец! превосходно кто-то изучил его нрав.

Свет вспыхнул так ярко, что Балеев некоторое время щурился от ослепляющей боли в глазах. Хорошо, что он вовремя остановился среди разного хлама: если бы сделал еще шага два, он провалился бы в широкие щели в настилах или упал бы, запутавшись в свалке изуродованной арматуры. Возбужденный любопытством, он быстро обогнул будку и вошел в открытую дверь. Это была электромонтажная мастерская, тесная и едкая от табачного дыма. Среди свалок проводов и электроматериалов сидели трое молодых ребят, а около телефона стоял, скрестив руки на груди, плосконосый, с очень выпуклыми глазами пожилой монтер. Парни

вскочили и растерянно начали одергиваться. Папироски они торопливо бросили на пол и растоптали.

Викентий Михайлович осмотрел всех по очереди и усмехнулся в усы.

— А где же Балеев?

Все молчали и оторопело переглядывались с плосконосым монтером. А он почтительно снял картуз и вкрадчивым голоском пролепетал:

— Очень удивительно, Викентий Михайлович... Мы вошли, а вас уж нет!..

— Викентий-то Михайлович — здесь... а вот где самозванец Балеев?

Монтер изобразил ужас на лице, но выпученные глаза его дерзко улыбались.

— Это какой же самозванец, Викентий Михайлович?

— Здорово, здорово сыграл... талант!..

Парни хоть и встревожились, но никак не могли удержаться от смеха. Они отворачивались и фыркали. Монтер услужливо согнулся и, потирая руки, шагнул к Балееву.

— А я даже ребятам входить запретил: пущай, мол, товарищ Балеев протрет с песочком саботажников. Тут за работу болеешь, а они глушат тьмой...

Он вздохнул и сделал грустное лицо. Балеев с удовольствием следил за ним и сам едва удерживался от хохота.

— Для них, сволочей, ваше имя, Викентий Михайлович, — страшнее грома...

— Ну, хорошо. Добились света, и ладно. Теперь не потушат. Так и быть, приму на себя: станция выполняет приказ начстроя. А я даже усомнился: где же я-то настоящий — в себе или в будке?

Монтер осмелел и с откровенным озорством посмотрел на Балеева. Глаза его как будто еще больше выпучились.

— Ничего не скажешь, Викентий Михайлович... Виноват!.. Призанял вас немножко для общего дела... Зато свет есть, а вас не убудет...

И показал мелкие зубы.

Балеев засмеялся и хлопнул его по плечу.

— Сознавайтесь, сколько раз вы разыгрывали Балеева?

— Да ведь только второй раз, Викентий Михайлович... много ли!.. — виновато утешил его монтер.

Ребята хохотали.

...Викентий Михайлович чувствовал себя свежо, бодро, легко. Вставал он по-прежнему рано и уходил на участки. Он уже не испытывал сердечных припадков, которые мучили его еще летом. Не было и того гнетущего ощущения одиночества, которое ожесточало его против людей.

С отъездом Константина в квартире стало пусто и молчаливо. Варвара Михайловна выходила только к столу. Как-то вечером, за чаем, она сообщила брату, что Костя теперь преподает в консерватории, что он, наконец, пришел к исходному пункту. Этот сумасброд так и не понял, что его многолетние блуждания ничем оплатить нельзя — молодость растрачена, талант сгорел, а теперь осталось одно — педагогическая работа. Она подняла голову и снисходительно улыбнулась.

— Представь, Викентий, его Пушкин зачислен по классу пения... Удивительно!..

Викентий Михайлович пошевелил бровями, и в бронзовых глазах его блеснула усмешка.

— Я рад, что ты успокоилась, Варя. Константин — смелый и мужественный человек. Он и там будет мятежником...

— Ах, пожалуйста, не пугай меня, Викентий...

— У него своя жизнь, Варя. Он очень много видел, много пережил. Я его оценил с тех пор, как он стал управлять подъемником...

— Перестань, Викентий!..

По ночам он долго перелистывал и читал иностранные журналы и книги, а когда приходило очередное письмо от Анечки, освобождал стол от газет и журналов и сосредоточенно писал ей ответ. Письма Анечки трогали его своей наивной мудростью и непосредственностью. Он видел ее вдумчивые глаза, слышал ее радостный смех и чувствовал, что связан с нею на всю жизнь. Неужели он был когда-то одинок?

Вспомнилась Ольга с ее печальными глазами, с ее тоской по утраченному ребенку, и впервые в жизни он с радостью думал, что человеческое счастье — не в том, чтобы стоять над людьми, а в том, чтобы чувствовать человеческое сердце. Жить в себе, в гордом уединении — иллюзия. Он был во вражде с людьми. Это была самая страшная его ошибка, а эта ошибка несла в себе бесконечный ряд других ошибок. И, когда Ольга просто и душевно сказала ему в машине: «Ведь тогда почувствуешь человека, когда от него задумаешься...»— он чуть не расплакался. Вот! задуматься надо от человека... В этом и есть слияние с людьми, жизнь во имя людей, во имя человеческого счастья. И Ольга сияла перед ним той женщиной, которую он любил в мечтах всю жизнь и которую он не встречал никогда.

А теперь он чувствовал потребность быть среди самых простых людей, видеть радость в их глазах, когда заходил к ним в гости. Они говорили с ним о делах, ругались, болели, радовались победам товарищей и ликовали от собственных успехов. Его гостеприимно угощали чаем, закусками, и он наслаждался этим искренним радушием рабочей семьи. Здесь он узнавал больше, чем в управлении: здесь он богател и постигал настоящую суть и глубокий смысл строительства. Когда-то он говорил: «Мы строим не только плотину, но высокую форму человеческого общежития». Теперь же эти слова превращались в подлинную человеческую жизнь.

VII. СУДОРОГИ

1

После разговора с Гудимом Корытин стал вести себя странно. Он пунктуально выполнял свои обязанности сменного прораба, по-прежнему участвовал в общественной работе, а на производственных совещаниях своего участка выступал всегда дельно: до мелочей знал состояние хозяйства на плотине, знал каждого

рабочего — его привычки, отношение к труду, к вещам, ко времени — и по обыкновению очень подробно характеризовал особенности каждой бригады бетонщиков, плотников, арматурщиков, электромонтеров... Многие замечали в нем новую привычку: идет человек озабоченно, осматривает подъемники, опалубки, отмечает что-то карандашиком в записной книжечке и вдруг останавливается, подозрительно оглядывается, прислушивается и застывает на месте с испугом в выпученных глазах. Так стоит он, окоченевший, несколько минут, а потом идет дальше.

Домой приходил он по-прежнему угрюмо и сразу же ложился спать. А когда встречался с Пашей, здоровался с ней застенчиво, торопливо и старался проскользнуть в свою комнату. И Паша отметила, что обычная его грубая неприветливость исчезла, а после свидания в парткоме появилась виноватая настороженность. Несколько раз он стоял перед нею в коридорчике, робко пожимаясь от какого-то мучительного желания не то сказать, не то спросить ее о чем-то.

— Вы не больны, товарищ Корытин? — как-то участливо справилась она.

Он вздрогнул и быстро ответил:

— Здоров. Спасибо. Вы очень участливы... но без оснований...

Однажды она насильно затащила его к себе, усадила за стол, заставила съесть несколько сосисок и выпить стакан чаю. Подчинился он ей легко и безучастно, но тягостно молчал и смотрел только в тарелку, в стакан, в свои руки. Она никак не могла расшевелить его, настроить на откровенность: спрашивала его о работе на плотине, а он отвечал, не слушая себя: «Ничего, идет... календарь выполняем». Осведомилась, как он смотрит на аварию мостового перехода: не обошлось ли здесь без злого умысла? Корытин вытер лицо платком, хотя не был потным, и почему-то злобно прогудел:

— Халатность тоже от злого умысла, но бесцельного...

Паша мягко положила свою руку на его пальцы.

— Вы обещали поговорить со мной, Корытин. Будьте откровенны, расскажите от сердца, что произошло с вами?

Он медленно, устало поднялся со стула и тускло сказал:

— Спасибо за угощение.

— Сидите, Корытин. Как же вам не стыдно обижать меня.

— Я, товарищ Погадаева, обидеть вас не могу.

— Вы держите себя со мной не по-товарищески, Корытин. Вы меня обманываете. И себя обманываете.

Корытин смотрел мимо Паши — в ночное окно и упрямо замыкался. Но не уходил: не то ему было страшно идти в свою комнату, в одиночество, не то сковывала какая-то сила, которая была выше его воли. Слова Паши, сказанные так просто и обличительно спокойно, раздавили его. Каждая секунда леденила душу, и невыносимо было встречаться с ожидающими глазами этой хорошей женщины. А в мозг лезла какая-то посторонняя чепуха, в ушах хохотали залихватские выкрики: «Ой, дербень, дербень, Калуга... дербень — ягода моя...»

Ночью на плотине он услышал за спиною мурлыкающий тенорок Самородова:

— Прекраснейший прораб, наш шеф, имя которого вам известно, требует от вас дел, а не размышлений.

Корытин обернулся и, почти теряя сознание от бешенства и страха, прохрипел:

— Ты прохвост и проказа! Я убью тебя, конопатая морда!

Самородов смотрел на него с веселой улыбкой забавника и забренькал, подражая балалайке: «Ой, дербень, дербень, Калуга, дербень — ягода моя!..»

— Уходи отсюда, гнус! — задыхаясь хрипел Корытин и скрылся во тьму, за вагоны.

Он подошел к барьеру и поглядел в густой водоворот внизу перед водосливами. Ночная вода была бурой, как нефть. Плотина громоподобно дышала от урагана водопадов, а река, мерцая, разливалась необъятно, и расплавленные огни лились потоками в бездну, рвались на клочки и мгновенно потухали.

Самородов стал рядом с ним, напевая какой-то фокстротик. Корытин быстро отошел к вагону.

Он смотрел в согнутую спину Самородова, на его широкий зад и страдал от ненависти и безумного желания швырнуть его через перила. Самородов как будто следил за его мыслями. Он подошел и положил ему руку на плечо.

— Так вот, мой желанный про... раб!.. Можно и туда... (он кивнул головой на реку). Это — первобытный способ. А можно и культурным манером. Надеюсь, что наша дружеская встреча ободрила тебя. Очень рад. Ситный тобою весьма интересуется: ты ему понравился. Запомни, к тебе придет человек, которого ты знаешь давно, и скажет...

Корытин до сих пор не мог дать себе отчета, как это случилось. Он размахнулся и ударил Самородова по виску. Самородов рухнул на настилы досок и растянулся неподвижно, как труп. Корытин пошагал вдоль вагонов, потом остановился и оглянулся. Самородов не шевелился. Корытин неуверенно побрел обратно, но споткнулся, махнул рукой и быстро пошел прочь.

На другой день в его дежурство внезапно упала стрела деррика. Корытин при вступлении в смену всегда тщательно проверял механизмы и никогда не пускал их в работу, если находил даже маленькую неисправность. Деррик был хорош, а стрелу Корытин особенно внимательно осматривал. Значит, кто-то навредил после него. Машинист? такелажник? Он вместе с Шагаевым допросил и того и другого, но они уверяли, что, кроме Корытина, у них никого не было.

— Да ведь не удивительно, товарищи: стрелы-то у нас падают шутя. Не посчитаешь самую малость наклона, она и выскакивает...

Все это мелькнуло в голове Корытина как бред, когда он стоял сейчас у стола перед Пашей. И он с отчаянием чувствовал, какой он несчастный и подлый.

— Не обличайте меня, товарищ Погадаева. Я ничего не боюсь.

— Это не вы оглушили Самородова?

Смуглое лицо Корытина стало сизым. Язык был сухой и прилипал к нёбу. Поблескивая очками, Паша прошла мимо него, потом обратно.

— Этот прохвост оскорблял вас, товарищ Погадаева... Он грязнил Братцеву... Я уже не говорю о себе... Этого гнуса я не выношу...

— Я допускаю, что это так. Вы не лжете, Корытин. Но корень правды у вас скрыт глубоко... Впервые я увидела вас таким в ту ночь, когда вы возвратились из города и сообщили о Братцевой. Я замечала, Корытин, что люди, которые оказались в тупике, — это неважно, совершили ли они преступление, или запутались, — друзей страшатся сильнее, чем врагов.

Корытин проговорил хрипло:

— Зачем вы, товарищ Погадаева, мне капканы ставите? Вот и Гудим тоже — начал с мышеловки, а кончил дубиной.

— Корытин! берегитесь! — рассердилась Паша. — Вы мне казались прямым и смелым человеком. Но сейчас я вижу, что вы стараетесь спрятаться даже от себя... за собственную спину... Давайте говорить начистоту...

— Вы пристали ко мне, как следователь, товарищ Погадаева. Что вам от меня угодно?

Он тяжело поднял на нее вытаращенные глаза и с ненавистью встретил блеск ее очков.

— Мне угодно знать, с кем я имею дело... — жестко и твердо ответила Паша. — Человек, который считает себя членом нашей партии, который работает и живет бок о бок со мной, обязан быть моим товарищем, то есть верным соратником. Вы должны рассчитаться со мной за оказанное вам доверие. Этого доверия у меня к вам больше нет. Вы это себе уясняете?

Корытин молчал, мрачно опустив голову. Он дышал прерывисто и тягостно. Опираясь кулаком о стол, он мучился, угнетенный словами Паши.

— Я многое пережила на своем веку, Корытин, многое видела и перестрадала. Я испытала ужасы белогвардейского плена в поезде смерти, перенесла гибель брата, два года была в боях. Вы этого не нюхали, Корытин. Вы уважаете меня, да, — не можете не ува-

жать. Поэтому не в силах прямо взглянуть мне в глаза. А еще смеете спрашивать, что мне от вас угодно.

Паша с ожесточением прошлась по комнате, в волнении расчесывая пальцами волосы. Корытин окоченел. Промелькнула в памяти встреча с Феней на плотине в тот вечер, когда она возвратилась из деревни. Ее радостный ласковый голосок, ее дружеское участие... И этот ее голосок и горячий порыв взволновали его до спазм в горле. Тогда же он с ужасом почувствовал, что погиб... Тогда же он побежал с плотины в Дом общественных организаций — к Гудиму, к Цезарю, к кому угодно, чтобы сбросить с души этот ужасный гнет... Потом бессознательно повернул обратно и, задыхаясь от нетерпения и жажды свободы, прошел на правый берег. В ушах у него свистел ветер, рубашка была мокрая от пота, а сердце билось от мучительной тоски. Когда он увидел перед собою подъезд дома, где работал Емельян, вдруг ощутил, что дрожит в мучительном ознобе. С паническим страхом он ринулся назад... Шел он обратно на плотину, как тяжело больной. Мимо него прошла чья-то тень, и он услышал паршивенький тенорок Самородова: «У самовара я и моя Маша...» Она преследовала его, эта тень, следила за каждым его шагом и, как плесень, проникала в душу...

— У Гудима вы не лгали, Корытин... — терзала его Паша. — Но вы помните, что сказал он вам? Вы не забыли его слов? «Часть правды — это тоже правда, но какая?» Вы тогда промолчали, и я увидела, что вы ловко замаскировали истину внешними фактами, к которым не придерешься. Я тогда защищала вас перед товарищами, думая, что вы передо мною откроетесь. Надо, мол, подождать: пусть переболеет человек, пусть назреет у него порыв. Я ошиблась. Передо мною—опасный трус, который заслоняет собою врагов.

До изнеможения, до нестерпимой боли хотелось броситься к ней и выдохнуть: «Вот она, настоящая правда...» И оттого, что Паша стояла перед ним, простая, открытая, беспощадно проникновенная, и ожидала от него мужественных признаний (она еще верила в его честность...), Корытин чувствовал, что

спасения для него нет и быть не может. Там — ужас и смерть, а здесь — пытка, казнь на всю жизнь и тоже смерть от одиночества и общего презрения. Запоздалое признание — то же предательство и преступление.

Он услышал будничный голос Паши.

— Вы все-таки думаете пойти к Гудиму, Корытин?

— Вызовет — пойду. А так — зачем же?

— Ну, идите! Устала я с вами...

Она улыбнулась с сожалением и сняла очки: на него смотрели гневные и добрые глаза.

В своей комнате он в отчаянии схватился за голову и припал спиною к стене. Так, во тьме, стоял он долго, со страшным гулом в голове, с безумной болью в сердце. Потом включил свет, прошел к столу, сел на стул и уронил голову на руки. Завыла сирена, и сразу же он услышал свистки паровозиков. Где-то очень далеко, должно быть в каменоломнях, пушечным выстрелом прогремел взрыв, через несколько секунд — другой, потом — третий... Корытин вздохнул, деловито порылся в бумагах на столе, вынул записную книжку, перелистал ее, изучая какие-то записи и цифры. Обдумывая что-то, он извлек из кармана вечное перо и начал быстро строчить на чистом листике. Но вдруг споткнулся, вырвал листик, смял его и бросил на пол. Так же раздумчиво взял из ящика стола лист бумаги и торопливо написал наверху: «На случай моей смерти».

2

Гудим вызвал его несколько дней спустя после приезда Ватагина. Он сидел уже в рабочей комнате своего отдела и встретил его вопросом, не отрываясь от бумаг:

— Ну, что скажешь, Корытин?

— Явился по вашему вызову, товарищ Гудим.

— Так. Ты охоч являться по вызовам. Разговоры есть?

— Ожидаю поручений, товарищ Гудим.

Гудим буркнул в бумаги:

— Ты дурака не валяй. Улизнуть хочешь, прикрывая собою прохвостов? Не выйдет, Корытин. Что ж, дали маху: проглядели твое троцкистское нутро...

— Я не троцкист, товарищ Гудим.

— А факты?

— Я не троцкист... — упрямо басил Корытин.

— Пеняй на себя, Корытин. Можешь поворачивать обратно... Не забудь только, что партию обмануть нельзя...

И углубился в работу.

Корытин вышел в коридор и очнулся только на улице. Кажется, кто-то жал ему руку, кто-то смеялся, кто-то спрашивал у него насчет какого-то прибора против падения стрел.

— Теперь шалишь, брат: кулачок и тормоз — в надежде... Сам начстроя... Кулачок... тормоз...

Эти слова еще звучали, как далекое воспоминание. «Кулачок» вонзился в мозг и не давал покоя. Кулачок, кулачок, кулачок... Да, все нутро сжимается в кулаке... Вся жизнь — в кулаке... И всюду — тупик, как могила... Бежать? Но ни дорог, ни далей... Мир сжат в ничтожном пространстве, и это пространство — только он, Корытин. Туго завязанный мешок — и больше ничего. Разорвать этот мешок нет сил, а нужно разорвать его...

Он шел на плотину через мостик на шлюзовом канале. Внизу, в зубастых скалах камеры, копошились люди — целые толпы людей. Тарахтел экскаватор на дне канала — подхватывал ковшом камни и укладывал их на думпкар. Ревели бурильные машины где-то в глубине: это проходчики пробуравливали боковые тоннели. Что если бы эти рабочие, не жалеющие своих сил в соревновании, живущие только одной мыслью — выполнить работу к обещанному сроку, узнали, кто стоит перед ними на мостике, опираясь на парапет?

Корытин отпрянул назад и быстро пошел дальше.

День был по-осеннему прохладный, по-осеннему задумчивый, с седым небом и размытыми облачками. Солнце казалось далеким и остывшим. Тени от облаков пепельными пятнами ползли по земле, быстро взлетали на кручи, растягивались, рвались и были холодные на

вид. А его, Корытина, тень тянулась сбоку — длинная, тонкая, неверная. Она переламывалась на отвалах земли и щебня и полосовалась на дощатых огорожах и свалках старых ряжевых балок. Тень живого человека... именно тень его, Корытина, непроницаемого для солнца... Но Гудим и Паша все-таки проникли в его нутро. Ведь скрываться перед ними, прятаться в собственную тень («за свою спину», как выразилась Паша) — бессмысленно. Так в чем же дело? Почему же он сегодня изображал из себя простачка перед Гудимом, который видел его насквозь? А дело в том, что никаких у них фактов нет. Иначе вся эта банда — и Самородов, и Шалнин, и, конечно, в первую очередь, Ситный — была бы схвачена. Стоит ему возвратиться к Гудиму и рассказать все без жалости к себе — и они будут уничтожены. А народ предаст их проклятию... вот эти самые люди, которые попадаются навстречу, — и рабочие, и жены рабочих, и служащие, и вон те бетонщики в блоках, и кузнецы у своих переносных горнов, и водопроводчики, которые возятся в узлах и сплетениях труб... Они кланяются ему почтительно и дружески. Народ никогда не простит, а партия раздавит его с железной жестокостью. Ты — тварь и мерзавец, прораб Корытин! Ты настолько жалок в своем корытинском упрямстве, что не выносишь доверчивых глаз этих людей. Ты никогда не радовался за других, а злобствовал даже против Кати Бычковой.

Почему, собственно, он идет на плотину? Ведь на дежурство ему нужно вступать в одиннадцать ночи... Нет, в одиннадцать он не вступит на дежурство...

Перед ним стояла Татьяна с удивлением и тревогой в лице.

— Что с вами, Корытин? Идите в больницу: вы упадете.

Корытин смотрел на нее тупыми глазами.

— Если меня сегодня не будет, товарищ Братцева, пусть вступит Феня... Моя личность потерпела крах... (Черномазое лицо его исказилось улыбкой.) Как это? «Злобою сердце питаться устало...» Троцкизм гнездится в плесени лежащих камней... И вот (он в исступлении устремился к ней, и Татьяне почудилось, что он

простонал)... и вот... лежащий камень рассыпался вдребезги...

Татьяна растерянно разглядывала Корытина, и страх, который горел в его глазах, отразился в ее лице.

— Голубчик, Корытин!.. Что с вами?.. Вы в бреду... Вам доктор нужен...

— Кто меня здесь искал?

— Никто вас не искал. Что вы?

— Ну, есть еще время... Я и вас ненавидел, и вам завидовал...

— Корытин! что вы говорите?..

Но он схватил ее руку, крепко пожал, быстро повернулся назад и пошел вдоль рельсов. Татьяна долго смотрела ему вслед, подавленная и изумленная.

Ночью перед дежурством Корытин бродил вдоль вагонов, среди нагромождений арматуры, старых щитов и кранов. Он остановился на том самом месте, где недавно ударил Самородова, что-то обдумывая и вспоминая. Потом пришел к парапету и стал смотреть вниз, на воду. Она пучилась у бычков, играла и густо свергалась в водосливы.

Рядом с ним оказался Шалнин — в коричневой коже, глянцевый и липкий.

— Стойте смирно и не шевелитесь, Корытин... — тихо, с ужасом в голосе сказал он. — Ситный и Самородов предупреждают, что ваша голова может держаться на плечах только вашим молчанием и выдержкой. Нам ясно, что вы нас можете предать каждую минуту. Но и вы не спасетесь: за собой потащим.

Корытин всей тяжестью тела лежал на перилах, они колыхались и кренились к краю настила, концы поручней терлись о столбики... «Починить надо...» — подумал он и бессознательно покачивал парапет вперед и назад.

— Вы следите за мной... на мушку берете... А у самих душа ушла в пятки... И я держу вас в своих руках... Уж позвольте мне полюбоваться, как вы попляшете.

Лицо Шалнина стало жутким, как мертвая маска. Корытин отметил, что он в эту минуту как будто

потерял сознание от страха. И в этот же миг перильца рухнули и всем звеном полетели в воду, плавно, без треска. Корытин инстинктивно вцепился пальцами в кожу Шалнина и рванул за собой. Оба они даже не успели крикнуть и бухнули в черную глубину. Когда они вынырнули, их быстро швырнуло в водослив.

VIII. «ДУШОНКА, ОБРЕМЕНЕННАЯ ТРУПОМ»

1

После вечеринки, в час ночи, Шагаев шел под руку с Самородовым. На улице была осенняя тьма. Бульвар чернел сплошной путаницей ветвей. Только на плотине мерцали пунктиры ярких фонарей. Далеко за рекой вспыхивали в тумане зеленые разряды. Здесь, в поселке, в эту туманную ночь было пустынно, тихо, и нигде не слышно было ни голосов, ни шагов.

— Так вот-с, мой милый хранитель безопасности... — говорил Самородов с игривой шуткой, без обычного гаерства. — Бессмысленное сочетание слов: охранять технику безопасности... Безопасность сама подразумевает охрану и не требует никакой техники. Значит, твоя безопасность — нелепость, нонсенс, квипрокво.

— Ты еще торгуешься со мной, Самочка. Хоть я и чувствую твои зубы на моем загривке, но я — не Корытин.

— Ну, милый, уж передо мной-то не хорохорься. Я всегда любил и ценил тебя за твою мудрость и жизнерадостность. И мне было жутко смотреть на твои головокружительные диверсии. Ведь за те аварии и катастрофы, которые совершались за эти месяцы, тебя надо бы расстрелять. Сколько человеческих жертв, сколько искалеченных машин, сколько погибших материалов и денег! Никто так много не принес вреда и потерь стройке, как ты.

— Не поэтому ли ты так музыкален, Самочка?

— Я музыкален от рождения. Поэтому я — весел и легок, как божий воробышек. Мне никто не грозил пальцем, а твои подвиги подробно описаны у сведущих лиц. Не бойся: я говорю в ночь, в безлюдье.

— Говори, говори, Самочка... Описаны, говоришь?

— Очень ярко описаны... Целая литература, созданная честными рабочими и бдительными патриотами.

— Я это знаю и без тебя, Самочка. Знаю даже, кто сочинил эти легенды и под чью диктовку.

Самородов споткнулся на шагу и остановился.

— Об этом не знают. Шалишь! Тут полное детское неведение. В жмурки играешь.

И с угрозой предупредил:

— Со мной в жмурки играть опасно. Ты — дурачок, а не провокатор. Но спастись тебе все равно не удастся: уж очень неотразимый обличительный материал.

— Скажи откровенно, Самочка... — ехидно засмеялся Игнатий Игнатьевич, — скажи откровенно, зачем ты поторопился утопить Корытина и Шалнина?

Самородов нежно прижал локоть Шагаева к своему боку и щелкнул языком.

— Но, Игнаша, ведь поручни-то оказались вынутыми из гнезда после твоего осмотра.

Шагаев в ужасе прошептал:

— Не ори! Конспиратор! Здесь деревья слышат.

Самородов тоже остановился и приблизил свое лицо к лицу Шагаева.

— Шельма и бездарный актер, но легкий и игривый, как сукин сын... И обязательно слуга двух господ. Открой мне свою причудливую тайну: почему у тебя было тем больше аварий, чем сильнее бдительность и придирчивость? и почему это Кряжич стал гостеприимен и воспрянул таким ликующим духом, что заплясал на вечеринках? Мне это понравилось, потому что он в одну из таких очаровательных минут едва не удавил меня. Друг мой, ты удивительный волшебник.

Игнатий Игнатьевич чувствовал, как слабеют у него ноги, как сердце наливается страхом. Этот

человек готовил ему какую-то беду. Может быть, он сейчас в этой кромешной тьме раскроит ему череп, а может быть, дьявольски толкнет в пропасть, чтобы самому исчезнуть в безвестности. В трудные моменты всегда спасало Шагаева беззаботное его балагурство и спокойная безмятежность. К Самородову он приглядывался и примеривался давно и за его скоморошеством и жуирством видел ловкого и умного негодяя. Вот и сейчас он очень хорошо играл в дружескую откровенность. Он прекрасно знал, что такое Шагаев, но приписывал ему всю хитрую механику диверсий. Он нахально брал его за горло и выражал ему сочувствие. Только сейчас Игнатий Игнатьевич уразумел весь ужас своего положения: вот откуда шли нити недовольства, возмущения, недоверия к нему рабочих и опасливого недоброжелательства инженеров. Ведь не было ни одного случая, чтобы не обвиняли его в бездействии, в слепоте, во вредительстве. И как-то так выходило, что там, где он особенно был чуток и внимателен, обязательно совершались катастрофы, точно за ним неотступно шла какая-то роковая тень. Падали стрелы там, где он вместе с прорабом обследовал механизмы; крушение мостового перехода произошло сейчас же после его осмотра и ультимативного требования закрыть путь; взрыв на каменоломне случился в тот день, когда он проверял вместе с Вихляевым и охраной труда и блиндажи, и всю систему электросети, и действие рубильника. Он знал людей, готовил их, доверял им и не сомневался, что все их действия будут точны и рассчитаны до секунды. А несчастье все-таки неотступно шло вслед за ним. И всегда его тянули к допросу в первую голову... А сколько раз вызывал его Емельян! Глеб Чумалов после взрыва набросился на него и грозил арестом. С Ватагиным он уже не играет в шахматы и встречает тугой его взгляд. И Самородов не лжет, когда говорит об этих жутких слухах. А на днях Игнатию Игнатьевичу передавали, что Балеев со свойственной ему грубостью крикнул в присутствии своих заместителей:

— Гнать! Немедленно отдать под суд!

И, когда Стрижевский, поблескивая зубами, осторожно вступился в его защиту, Балеев с свирепым спокойствием отрезал:

— Тем скорее его надо гнать, что под защиту берете его вы...

Но Чумалов решительно заявил:

— Шагаева мы знаем. Технику безопасности создал он. Но ответственности за этот важный участок мы с ним не разделим. Надо расследовать и найти виновных.

Кто у кого в руках — немцы у Самородова или он у немцев? Во всяком случае они постараются или исчезнуть, или мертвой хваткой вцепиться в других.

— Ты — умница, Самочка, проницательный мудрец. У тебя многому можно поучиться. Но, дорогой друг! Я прошу тебя не рассуждать во тьме ночей. Зайдем ко мне, в мою конуру, и там распояшемся... Вот она, моя келья: она манит нас своей уединенностью.

Самородов, усмехаясь, напевал себе под нос какой-то романсик без слов. Он опять дружески прижал руку Шагаева к своему боку.

— С наслаждением, Игнаша. Люблю интимные и острые моменты. Ты — поэт и Диоген.

— Я — вобла, Самочка. Всю жизнь — вобла. Такие благородные личности, как ты, только третировали меня и калечили душу.

Они свернули с бульвара и перешли на мостовую. Самородов с искренним восхищением распахнулся.

— Когда-то я упивался дарами жизни, Игнаша... Тебе и во сне не снилось... Сказки Шехерезады! Вкусил я и от плодов земных, и от чудес рая... И знаю женскую коварную любовь.

Шагаев пискливо засмеялся.

— Ты, Самочка, сбиваешься на обычное свое фанфаронство. Не хвастайся передо мной, не томи: ведь простачков, вроде покойничка Шалнина, нет.

Самородов с презрением пробурчал:

— Вобла не верит в чудеса.

— Я верю только фактам и документам. У тебя — двойное бытие. А в сказки твоего прошлого не верю.

Самородов крякнул от удовольствия, выпрямился и голосом, которого никогда не слыхал Шагаев,—высокомерно, с отвращением провозгласил:

— Откровенность хама иногда освежает, как кислый квас после перепоя. Деревенская девка очень терпка после лилейных блудниц.

Игнатий Игнатьевич кротко, с сердечной простотой заметил:

— А знаешь, гомункулюс, мне обидно за тебя: очень уж ты трафаретная тень. Так, мелкий бес какой-то... Неужели ты не мог выдумать ничего умнее, как роль пошлого скомороха?

— Верно. Ты — вобла, Шагалка. Я немножко идеализировал тебя, и ты поэтому успел чуточку ошельмовать меня. Восхищаюсь тобою и с удовольствием подарю тебе счастье. Я — за чудеса. И, как черт, возьму твою душу.

Самородов простодушно захихикал и похлопал Шагаева по плечу.

— Но ведь ты же — не Мефистофель, а я — не Фауст. Юности ты мне не возвратишь, да мне она и не нужна, сказать по правде. Я и так юн.

Самородов все теснее и настойчивее прижимал к себе руку Шагаева. И Игнатий Игнатьевич чутко угадывал его нутро. Самородов не мог оторваться от него, потому что охвачен был животным ужасом. Этот ужас струился в мускулах его руки, в цинизме его речей. Он прятался за Игнатия Игнатьевича и знал, что спасенья нет. Он неудержимо сам шел к пропасти. Он мог бы сейчас убить Шагаева, но невольно и обреченно цеплялся за него, как за жертву. Это был единственный близкий ему человек в последний час у последней черты...

2

Комната Игнатия Игнатьевича была похожа на гостиничный номер: голые стены, стол, два стула, диван и стопки книг на просторной этажерке. На столе — патефон, шахматная доска, телефон, и на столе же — чайная посуда и всякий бумажный хлам. Кровать

почему-то — огромная, двуспальная, без матраца, плоская, с одной подушкой. На простенке — фотография длиннолицей дамы с грустными глазами, умершей жены Шагаева.

Самородов был первым гостем, который вступил в эту комнату. Игнатия Игнатьевича вообще никто не посещал, и он не приглашал к себе даже Мирона. Впрочем, он и сам приходил домой только на ночлег и едва ли любил свой угол.

Он включил свет и бросил наотмашь свою кепку на кровать. Красное, склеротическое личико его морщилось гостеприимной улыбочкой.

— Прошу к моему шалашу. Снимай свою маску и будь как дома.

Потирая руки, как от холода, он скорчился и заходил по комнате, зорко наблюдая за Самородовым.

— По крови и историческому прошлому ты — рыцарь, чайльд, но не Гарольд и не Ланчелот, а попросту, по истинно-русски — кадавр, гроб повапленный...

Самородов не обиделся, а как будто даже возликовал. Он сел на стул и развязно вытянул ноги.

— Ты трогательно льстишь мне, Игнаша. Чувствую в тебе родственную душу.

Игнатий Игнатьевич с ненавистью предупредил:

— Имей в виду: я никогда не был прохвостом, а посему — не раб. Пусть я шут, но я — Уленшпигель, зоил и оптимист.

— А я — эпикуреец. Это — благороднее и богаче. Петроний элегантиарум, Лукреций Кар...

— Кар... кар... картошка гнилая...

— Ты обижаешься, Игнаша, как нищий. Какой же ты зоил? Это не приличествует завтехникой безопасности. Уленшпигель — наивен и жизнерадостен.

Игнатий Игнатьевич грустно засмеялся.

— Я проклинаю свое прошлое: оно смердит вашим по́том.

— Крестовый брат мой!.. — патетически пропел Самородов. — Поцелуем же с тобой жизнь в ее дряблую задницу.

Оба сели к столу и посмотрели друг на друга с пытливостью игроков. Самородов нахальненько

вглядывался смеющимися глазками в Игнатия Игнатьевича и, казалось, хитренько подмигивал ему, обрызганный веснушками.

— Вот-с. Я участвую в маскараде уже много лет. Ты ведь тоже — в маске, Игнаша. Только ты привык к ней, она приросла к твоему лицу. Впрочем, я тоже с ней сроднился. Это немного утомительно. Я — Агасфер в нашем русском духе. Агасферов у нас очень много. Социалистическая свобода — ноша весьма мучительная, как проклятие, а мы похожи на тех танцоров, которые обречены плясать до конца дней в паре с богородицей. У нас на Руси тоже были свои карликовые, безыменные Боккаччо. Собрались, видишь ли, лоботрясы и бездельники на один вечерок у какой-то потаскушки. Попили, попели, побалагурили, стали танцевать. Хвать, двоим недостает дам. Потаскушка была бабенка не первой молодости, паршивенькая, развинченная, гнильцо этакое, а за жизнь хваталась с отчаянием: впереди — болото, подзаборная страда и дно. Ну, и конечно — кликуша, ханжа... иконы, лампадки... Понаставила себе божьих матерей всякого званья и ранга. Вот ребята и стащили по божьей матери и торжественно объявили, что они ангажируют вечно юных Марий, обладающих даром непорочного зачатия, на весь вечер танцев. У дам крылато развеваются платья, наяривает граммофон, а наши балбесы с иконами в руках самозабвенно вальсируют и оттопывают мазурку. Забористо и оригинально, хотя как будто и пошловато...

— Ну, а конец этого идиотского анекдота? — скучно спросил Игнатий Игнатьевич, умывая ручками лицо и позевывая.

— Ага, больного твоего нерва коснулся!..

Игнатий Игнатьевич разозлился, и тонкие губы его увлажнились горячей слюной. Он пронзительно колол Самородова своими ядовитыми глазками.

— Эта чушь, как полагается, сочинена похотливыми монашками и опубликована в листке какой-нибудь лавры. Конечно, эти двое балбесов были неожиданно поражены смертью.

Самородов презрительно свистнул и щелкнул пальцами.

— Браво! значит, новелла создана удачно, ежели ты не угадал философского конца. Где же твой проникновенный ум, вобла? Это было бы шаблонно: к этому уже привыкли, и никого это уже не удовлетворяет. В том-то и дело, что эти шалопаи танцуют с иконами божьих матерей до сих пор и будут танцевать до страшного суда.

— Так ты же проморгал, Самочка. И партбилет тебе не помог. Эх ты, танцор!.. Только и осталось — плясать с богородицей... Бред!.. Все вы такие — грибы запоздалые. Воображаете себя сверхчеловеками... ницшеанскими бестиями... а на самом деле — так... гаденькие паразиты... агасферишки...

— Итак, Игнаша... — рассеянно продолжал Самородов, приглядываясь и прислушиваясь к стенам, и к окнам, и к вещам, — итак, маскарад не кончен... Маскарад должен взорваться бурей, ураганом... и владыкой мира будет зверь... бессмертный красавец...

Игнатий Игнатьевич вдруг затрясся от хохота и взял Самородова за локоть. Самородов вздрогнул и отшатнулся.

— Ну-с? прогноз неотразим... не так ли?

— О да! Сочувствую твоей агонии, Самочка. Агония всегда питается самообманом... свирепым и подленьким... Вы уроды, способные только блудить, вредить и гадить. У вас и ненависти-то нет настоящей.

Самородов судорожно гримасничал, а глаза блестели, как у сумасшедшего.

— Да, ты в одном прав: у меня уже нет личной судьбы — лопнула, как ржавая струна.

— Ну, уж... струна... скажите пожалуйста! Не золоти пилюли. Просто — гнилая мочалка.

Самородов возмутился впервые. У него даже набухли жилы на лбу и на шее. Он гордо выпрямился и взглянул на Игнатия Игнатьевича с яростным презрением.

— Как разночинец, ты не имеешь своей истории: ты свою биографию стараешься приспособить к существующим обстоятельствам. Ты лишен биографии.

Поэтому ты везде и при всяких условиях присягаешь очередному господину.

Игнатий Игнатьевич весело жалил Самородова остренькими зрачками.

— Нет-с, я присягаю, Самочка, моему солнцу и духу своему... Ты же потерял мужество быть самим собой.

— А я не хочу быть самим собой... Я понял сладость мук постоянного отрицания самого себя. Скажу больше, с некоторого времени я понял, что всегда жил иллюзиями. Понял и почувствовал, что это — галлюцинация, сновидение... Тоже вот вчера я был убежден, что всегда был скромным Самородовым и большевиком. Искренне верил, и мне казалось, что я не знал иной жизни... В этом есть занятная прелесть... — Я только предтеча: за мной идут железные гиганты.

— Ох, как страшно! Страшно, да не боязно. Вы ведь живете только самовнушением и ложью. Вы все сочиняете... и себя сочиняете... А в результате — мышеловка.

Самородов прищурился и усмехнулся.

— Верно, вобла. Я неравнодушен к фарсам. Для меня Соловки, и карельские леса, и концлагерь, и даже расстрел сейчас — пустой звук. Но я, как Марк Аврелий, люблю рыться в могилах души. Я провозглашаю вместе с ним: «Все, относящееся к телу, подобно потоку, сновидению и дыму. Ибо — ощущение смутно. Ибо душа — неустойчива, судьба — загадочна, слава — недостоверна...»

— Вот именно, Самочка. Я бы про тебя тоже мог сказать словами древности: ты — «душонка, обремененная трупом».

Оба подмигнули друг другу, как заговорщики.

— Да, но ведь трупы, Игнаша, сильнее живых: они истребляют целые страны и отравляют души.

Шагаев брезгливо загримасничал.

— Душонка, обремененная трупом... Она же воняет... Такие душонки уничтожаются у нас походя. Ты это хорошо знаешь, но веришь в собственный бред. Вы уверяете себя, что земля по вашей воле завертится

по другой орбите, и пытаетесь доказать это пакостными делишками. Бред! Хулиганство! Бубликовщина!

Шагаев окреп и как будто вырос. Лицо его вспыхнуло гневом. Вдруг он спохватился и засмеялся.

— Я, Самочка, теперь голый человек, весь в мозолях, но дышу свободно. Свободой надо уметь дышать. Скажи, как ты мечтаешь закончить свое эфемерное настоящее?

3

Самородов деловито открыл патефон, завел пружину и поставил иголку на пластинку. Он не обратил внимания на слова Игнатия Игнатьевича, который следил за ним с ехидной улыбочкой.

Вел себя Самородов независимо, непринужденно — по-приятельски. Казалось, что в этот час два друга проводят минуты в душевном единении.

Патефон зашипел, затрещал и внезапно заиграл какой-то танец. Самородов закачал в такт головой, потом начал колыхаться всем телом и зыбко пошел по комнате. По пути он сорвал фотографию дамы и засеменил с нею в паре, самозабвенно закрывая глаза.

И в тот момент, когда он схватил со стены фотографию, Игнатий Игнатьевич почувствовал, что он оглушен и на миг потерял самообладание.

Задыхаясь от потрясения, он подскочил к Самородову и рванул из его рук карточку. Потому ли, что тот цепко впился в нее, или Игнатий Игнатьевич неловко дернул фотографию, но она разорвалась пополам: голова дамы осталась в руках у Шагаева, а туловище — у Самородова. Игнатий Игнатьевич ошарашенно впился в лицо жены, и у него затряслась голова. Самородов прошел мимо него и вдруг обмяк. Он с недоумением и гримасой взглянул на обрывок и бросил его к порогу.

— Прах... пепел... тление... И вот все то, что он любил.

Пластинка крутилась вихрем, бойко играл оркестр.

Игнатий Игнатьевич с яростью бросил голову женщины в лицо Самородову. А тот даже не

заметил этого и заходил по комнате, подрыгивая коленками.

— Да-с, да-с... А все-таки когда-то жили веселее, красивее, свободнее... А какой идеал у рабов? Бескрылая свобода... Ни волнений, ни борьбы... волшебное ничегонеделание, когда природа — к его услугам: скатерть-самобранка... Никаких владык и властителей, никакой классовой борьбы, абсолютная анархия и серое безразличие. Бедность фантазии и вялость фаллуса. Идиоты! Ведь подлинно захватывающая красота и буря страстей разгораются и жгут только от свирепого насилия избранных. Ведь настоящее опьянение и ураган в душе бывают только от человеческой крови. Знаешь, что произойдет в коммунистическом рае на другой же день после его торжества? Человек-то от чрезмерной свободы, от ненужности своих органов почувствует невыразимый гнет всех его созданий, превративший его в остановившееся существо. Он придет в ужас от обреченности, он будет скован безработными своими мускулами, он ослепнет от близорукости и подохнет от атрофии кишок. Он панически поднимет бунт и крикнет: я хочу свободы от свободы! хочу счастья для своих рук и ног! хочу радости членовредительства! Зверем хочу быть, варваром, каннибалом! Жажду брата моего душить!.. Вечная комедия Каина и Авеля и кровосмешения Лота с дочерьми... Вот тогда-то и испытают люди помрачительные восторги кровопийства...

Игнатий Игнатьевич злобно смотрел на него и дрожащими губами бормотал:

— Нет, тебя надо уничтожить, как заразу... расстрелять и сжечь... Ты — фашист... людогад...

Самородов неожиданно быстро сел на стул и развалился на нем. Он мечтательно улыбнулся, вскинул руки, потряс ими над рыжей головой и загнусил невнятную песенку.

— Скажи откровенно, людогад...

— Скажу, вобла, скажу... Я возвращаюсь в свое первоначало.

Игнатий Игнатьевич выключил свет и во тьме комнаты залился всхлипывающим хохотком.

— Вот твое первоначало. Твое первоначало — это конец. Ты не существуешь: ты только кошмар во тьме...

— Ты находчив, Шагаев. Тьма для меня — жизнь. Во тьме я — гигант и Соломон. Я весь утопаю в цветах и музыке, среди прекрасных невольниц. А ты, как евнух, охраняешь мои чертоги. Твоя электролампочка — это ползучий эмпиризм, вульгарный лжесвидетель. Камни, щебень, грязные бадьи с бетоном, изрытая могилами земля и удушающая скука так называемого трудового энтузиазма. А ты — охранитель этого гнусного реализма. Я предпочитаю умереть восхитительной смертью. Я вот у тебя похитил твою фотографическую любовь... а твоя дрянненькая мещанская ревность оторвала башку твоей Ренцивене... Каким же ты, Шагаев, живешь гнусненьким бытом!.. Личинка ты мушиная!

— Замолчи, людогад! — взвизгнул Игнатий Игнатьевич. Он заметался во тьме комнаты, натыкаясь на вещи, которых не узнавал. Ему стало вдруг страшно. Он забыл о своих обязанностях на плотине, на взрывных участках, на строительных работах и вот копошится в грязи с этим трупом... Нет, это — не труп, а свирепый злодей, враг, который может сейчас убить его, безоружного и беззащитного. Игнатий Игнатьевич сам подчинился ему, чтобы выиграть время. Взаимная охота продолжалась: тут уже шел поединок. Чем он окончится? Надо собрать последние силы. Единственное спасение — в самообладании. Надо перехитрить и переиграть его — предотвратить выстрел. По правде говоря, Самородов-то сам вел его: не Самородов, а он был в плену у этого гада. Да и теперь он в тисках, а Самородов может в любой момент пустить ему пулю в лоб. Вот почему он так и держит себя развязно и откровенно: он издевается над ним.

А Самородов не обращал внимание на бешенство Игнатия Игнатьевича и мечтательно декламировал:

— Жизнь во тьме — прекрасное виденье. Ты, вобла, не знаешь, что такое жизнь во тьме? Тьма — это ослепительный карнавал. Я по ночам у себя

никогда не зажигаю огня. Ты знаешь, что я вижу сейчас? Нет, не тебя, не твою рабью берлогу. А вот. Смотри... Человек терпел, терпел, жертвовал своей биографией, голодал, перевоплощался в разные формы и, спасая свою шкуру, стал илотом и морлоком. И вдруг ужаснулся: молодость угасла, жизнь загнивает на корню. В пределах этой своей последней жизни он дышит смертью, потому что считает дни скуки. Будни создают илоты. Скука — это бессмысленность самоотрицания. И человек увидел весь трагизм своего существования. Не хочу самоотрицания — хочу самоутверждения! Хочу из каменной клетки египетского рабства вырваться в бесконечность своих дерзаний. Пошел он в кооператив, купил водки, колбасы, конфет и большой флакон тройного одеколона. Созвал друзей, таких вот, скажем, уродов, как ты, притащил вечером из строительского сада ворох цветов...

— Украл? — неожиданно засмеялся Игнатий Игнатьевич.

— Обязательно украл... иначе нельзя... надо, чтобы было с преступленьицем...

— Не преступленьице, а мелкое хулиганство...

— Ну, забросал, конечно, цветами стол, кровать, украсил венком свою голову. Все напились вдрызг, а он — хлеще всех. Баб, конечно, похотливых нагнал. И, когда пир был в разгаре, взял да при всех и застрелился с победным криком: «Да здравствую я!.. Я, дерзающий самоутвердиться!..» Красиво и гордо взлетел над жизнью... а?

— Да, гаденыш... подленько юркнул в собственный мизинец.

Игнатий Игнатьевич включил свет и засмеялся.

— Так вот-с, причастие прошедшего времени... выхода тебе нет... Что тебе остается, кроме своего мизинца?

Самородов лениво встал и прислушался к двери. Напевая фокстрот, он вынул из заднего кармана револьвер.

Игнатий Игнатьевич будто заранее знал, как поведет себя Самородов: он мгновенно ударил его под ложечку. Тот со стоном согнулся и инстинктивно при-

жал руки к животу. Шагаев остервенело вырвал у него револьвер и нацелился в Самородова.

Но тот брезгливо промямлил:

— Брось, Шагаев... ерунда... Конец не вышел... бездарно... Идиотский фарс...

4

Кроме Самородова, в эту же ночь арестованы были Стрижевский и Ситный.

Риту взяли в присутствии Кряжича. Она, полумертвая, одевалась дрожащими руками и с ужасом смотрела на него, умоляя о защите. Но он был холоден, бледен, безучастен. Когда ее пригласили идти, она бросилась к мужу, но он гадливо отступил назад.

— Николай, я не виновата... Я не виновата... Умоляю... ради бога... спаси меня...

Он отвернулся от нее и вышел из комнаты. Дома он оставаться не мог. Все пережитое за эти дни казалось ему дурным сном. Теперь можно отдохнуть: все осталось позади. Когда увезли Риту и он остался один в необъятной тишине квартиры, ему непривычно стало легко и свободно. Хотелось крикнуть, чтобы крик его прокатился эхом по пространствам комнат, хотелось засмеяться и щелкнуть пальцами.

Вспомнилось, как он играл и притворялся перед Ритой, перед немцами и перед этим презренным Самородовым. Было гадко и стыдно. Но удивительно то, что игра эта возбуждала его, и он часто ловил себя на мыслях об очередном вечере. Нестерпимо фальшива и жеманна была Рита, гнусен в своей пошлости Самородов, противно фамильярны эти два балбеса — Пауль и Вилли, которые наперерыв ухаживали за Ритой. Они подарили ей большую куклу, которая размножилась кучей куклят, а из самой маленькой на руки ей выпала жемчужная нитка. Как она пресно целовала этих свиней в облезлые головы, и как паршиво кривлялись они, опускаясь перед ней на колени.

Он мог ожидать всего от конопатого Самородова,

но был застигнут им врасплох дерзким вопросом в одной из пустых комнат:

— Не пора ли вам, Николай Николаевич, освободиться от заблуждения, что некий Самородов — фанфарон и шут гороховый!

И Кряжич впервые увидел его другим: умно-насмешливым и полным достоинства. И в глазах и в голосе его чувствовался угрожающий вызов.

— Я вас не понимаю...

— Не стесняйтесь, Николай Николаевич: мы одни. Вы предали Бубликова и еще кое-кого. Это мы отлично помним. А сейчас считаю долгом предупредить вас, что вы давно были бы уничтожены, если бы у меня не было уверенности, что вы рано или поздно станете на наш путь. Я знаю, что Бубликов беседовал с вами по-дружески. И я, конечно, не верю, что вы искренне, по убеждению, всей душой приняли все, что преподносят вам Ватагины и Чумаловы. Вы насилуете себя из-за щепетильной вашей порядочности и так называемой честности.

— Вы слишком много говорите, Самородов. Я об этом думал, больше, чем вы. Кто вы такой на самом деле — я не знаю, но чувствую, что сидите у телефонов не по убеждению, а по необходимости. И так же по необходимости выступаете с пылкими большевистскими речами.

— Итак, Николай Николаевич, решайте — время не ждет.

— Подумаю.

— Время не ждет, повторяю. Мы отдали дань вашему благородству. Фрау Маргарита оказалась очень способной женщиной: уговорить такого недотрогу, как вы...

— А Шагаев?.. — спросил Кряжич, изображая крайне нервное беспокойство.

— Шагаев — шельма, но мы его загоним в яму. Он уже в истерике: всюду кричат о его вредительстве. Народ уже не ценит его благодеяний.

— И Стрижевский тоже?

— Излишнее любопытство неприлично, Николай Николаевич, — иронически ответил Самородов.

В эту ночь постучал к нему в окно Шагаев. Кряжич вышел к нему в сад, и они долго обсуждали с ним это событие.

Потом прилепились к нему, Кряжичу, немцы. Он их все время водил за нос: не говорил ни да, ни нет... Они дали ему понять, что он в их руках, что без всякого риска для себя они, в крайнем случае, сумеют доказать советским органам его связь с иностранной разведкой.

И в эти дни он в отчаянии хватал за руку Шагаева и стонал:

— Нет, я больше не могу... Это выше моих сил, Игнатий Игнатьевич!..

— Ничего, потерпите немного, Николай Николаевич... — смеялся Игнатьич. — Это полезно, закаляйте характер...

...Кряжич оделся и выбежал на улицу. Его ослепила бездонная тьма — холодная, сырая, пряная от запахов упавших листьев. С разбегу он натолкнулся на дерево и тут же увидел мерцающую, посыпанную гранитным зерном дорожку.

Он понесся по тротуару к Татьяне, но уже издали увидел, что ее нет дома: во мраке не видно ее окна. Он свернул в переулок и пошел к дому, где жил Борзяй.

Открыла ему дверь заспанная худенькая женщина с жалкой улыбкой.

— Вы к нам? А я так испугалась... Уж очень поздно...

— Извините, пожалуйста, за беспокойство... Я — к Петру Ивановичу.

Борзяй уже шел к нему навстречу, в синей толстовке, с очками в руках. Он с отеческой лаской улыбнулся ему издали и внимательно вглядывался, чуть-чуть насупясь.

— Вот говорят, что сердце-вещун — предрассудок... Мудрый опыт народа в области душевных движений — глубок и непреложен. Я почему-то ждал вас, милый Николай Николаевич... Да и бессонница... давно уж не сплю по ночам...

Он взял его за руку и повел, как слепого. В комнате, пыльной, книжной, стариковской, Кряжич снял пальто и положил его на стул вместе со шляпой.

— Итак, совершилось, Петр Иванович...

— Гм... большое, роковое слово... Что же именно совершилось, Николай Николаевич?

От этого старика излучалась какая-то благостная простота.

— Помните, Петр Иванович, как мы гуляли при восходе солнца? Вы сказали тогда: «Как радостна вода ранним утром...» И напутствовали меня мудростью, что на жизнь надо смотреть по-утреннему...

— У вас, Николай Николаевич, сейчас и облик утренний, несмотря на поздний час. А древний воинственный энтузиаст советовал: духа не угашайте!.. Человек, Николай Николаевич, живет и движется вместе с солнцем, связанный с ним лучами, преображая их в своей душе в великие акты творения. Ну, ну, простите за болтовню... Очень уж мне приятно видеть вас... Итак?..

— Сейчас арестовали жену, Петр Иванович...

— О? Нуте-с?.. — строговато спросил Борзяй и опять снял очки.

— Тут сложный переплет. Я должен был не только защищаться, но и нападать. А сейчас мне как-то странно, что я один в пустых комнатах.

— Это от непривычки к свободе, Николай Николаевич. Все совершается к лучшему в этом лучшем из миров.

И Борзяй засмеялся своей шутке. Засмеялся и Кряжич, но не остроумию Борзяя, а себе — этой своей неиспытанной легкости.

— Вы помните, Петр Иванович, наш разговор на берегу реки? Вы тогда очень проникновенно заявили, что вы враг секунды. Я только в эти дни постиг глубину вашей мудрости. Я никогда еще не был так свободен и полон сил, как сейчас. Какая это великая вешь — радость жизни!..

— То есть — любовь, Николай Николаевич. Только любовь! А это молодость, счастье... Чудесно у Лермонтова: «неведомый и девственный родник...»

— Да, любовь... простая прекрасная человеческая любовь...

Борзяй бережно взял его руки и пожал их.

— Милый Николай Николаевич, — сказал он растроганно, — я глубоко взволнован, что вы пришли именно ко мне. Нет ничего превыше красоты человеческой жизни... жизни, преобразующей, побеждающей смерть... Только то, что полно энергии и преодоления, — бессмертно. Вы живой и здоровый человек, вы действительно сейчас свободны. Поздравляю вас!..

Кряжич порывисто обнял Борзяя, и они расцеловались.

...Возвращаясь домой, он увидел свет в окне Татьяны.

Он ворвался в ее комнату и увидел только ее одну — любимую и единственную в жизни. Она встретила его изумленными, испуганными глазами, но сквозь ресницы ее он увидел вспышку радости. И в этот миг оба почувствали что в глубине их совершилось какое-то большое событие, что есть сила, которой они не могут противостоять. Он подошел к ней молча, не отрывая от нее глаз, а она с улыбкой шагнула к нему. Он тихо обнял ее, прижал к себе всю и стал целовать ее губы, глаза, волосы, плечи.

IX. ВСТРЕЧИ

1

Мирон узнал о приезде Ольги только утром, шестого ноября: позвонила она ему на квартиру сама. Он всполошился и начал ругаться.

— Я просто оскорблен, Оля: это значит не уважать человека... Приехала, как чужая остановилась черт знает где...

— Как это черт знает где? Во-первых, в комнате для почетных гостей, во-вторых, рядом с Глебушкой,

а в-третьих, мы вдвоем с Наталкой... К тому же, мы любим, чтоб нас не стесняли.

— Но почему не телеграфировала? Почему, наконец, не сообщила вчера же о своем приезде?

— Потому что так лучше...

— Ну и ответ! Только и остается одно — лаяться... Немедленно — ко мне, сейчас машину пришлю.

Наташа в эту минуту была на улице и любовалась на широкий размах стройки. В окно видно было, как вышел к ней Глеб без картуза и начал что-то объяснять, показывая рукою в разные стороны. Какая она родная, эта Наталка: не отпустила ее одну!.. И как деликатно доказала необходимость совместной поездки! Она, мол, интересуется архитектурой стройки, и ей до зарезу нужно знать, что нового и своеобразного внесли в советское искусство тамошние зодчие. Поездка эта — кстати, и для Оленьки будет веселее. На самом же деле Наташа очень внимательно и бережно следила за нею. Конечно, она понимала, что Ольга едет не на отдых, а для того, чтобы увидеть этого загадочного парня и разрешить какие-то личные вопросы. Поэтому Наташа считала, что путешествие это для Ольги будет трудным, а без ее участия и забот она может надорваться. Приехали они ночью, добрались на автобусе и, разумеется, вломилась к Глебу.

Она позвонила Паше. Густой, почти мужской голос Паши дрогнул и упал, когда она услышала веселый и лукавый вопрос Ольги.

— Пашенька, здравствуй! Как живешь, как себя чувствуешь?

И Ольга ясно услышала взволнованный ее вздох.

— Оля, дорогая! Какая же ты внезапная женщина!.. Надолго приехала?

— Да вот... развяжу кое-какие узлы и обратно. Где же мы встретимся?

— Я очень бы хотела, чтобы ты посетила меня. Если хочешь — могу и к тебе. Ты у Мирона?

«Если хочешь...» — усмехнулась Ольга.

— Нет, в комнате приезжающих, у Глебушки.

— Это с какой же стати? — поразилась Паша.

— Так уж... Привыкла к самостоятельности... Разве ты не поступила бы так же на моем месте?..

Обе осторожно, раздумчиво положили трубки.

К Мирону пошли пешком. Зачем же машина, если Мирон только через квартал отсюда? — удивился Глеб и повел их сам, молодцевато подхватив под руки. Фасады домов пылали последними карминными листьями дикого винограда, а в садах, за огородами, догорали осенние цветы. Пахло прелыми листьями и мертвой травой. Холодные клочья облаков плыли низко, тяжело, туманно. Небо было покрыто инеем. Далеко, над стройкой, клубясь, поднимался к небу белый пар от паровозов и кранов. Тот берег замазывался бурыми вихрями дыма из труб временной силовой станции. В воздухе чувствовался далекий гул водопадов.

— Какой вы широкой жизнью живете, Глеб Иванович! — позавидовала Наташа. — Москва огромна, но жизнь там страшно дифференцирована. Вот как на шахматной доске: каждая фигура знает только свои клетки.

— Да ведь и у нас то же самое... Жизнь идет цельно, объемно, большим размахом, а все процессы дифференцированы. А как же иначе? Система. Разве мы живем не так, как Москва?

— Есть разница, Глеб Иванович. Вы созидаете новое — большой промышленный центр на голом месте, а мы живем и боремся в дебрях тысячелетнего города.

— Это неважно, Наташа: дифференциация везде чувствуется одинаково. Самое главное, надо жить целостно, воспринимать действительность как единый великий процесс...

— Глебушка! — нетерпеливо перебила их Ольга.— А ведь я приехала-то сюда из-за Вакира... Меня Мирон растревожил...

«Прорвало...» — отметил Глеб, взглянув сбоку на Ольгу. Ни вчера, ни сегодня она не спрашивала его об этом парне, точно готовилась к встрече с ним, как к большому событию. Мирон тоже присматривался к нему с каким-то подозрительным любопытством.

— Я тебя понимаю, Оля. Но мне очень не хочется, чтобы ты уехала с тяжелым чувством.

— А я погляжу на него и — все в порядке... — сказала она жалобно, точно просила его не препятствовать встрече.

Мирон стоял у калитки, одетый, точно спешил куда-то. Плотный, коренастый, он, в длинной кожанке и кожаном картузе, казался металлическим. Спокойно, с дружеской иронией, поцеловал Ольгу и прижал к себе Наташу.

— Ну, скандал могу устроить и на улице. Гордые королевы какие! Независимость! Свобода! Не любят стеснять и стесняться!..

— Не бушуй, дядя Мироша! — ласково попросила его Наташа. — Твое негодование я воспринимаю как одобрение. Я привыкла к культурным удобствам и широкому образу жизни...

И Ольга с злым удовольствием заметила, что Мирон только играет в негодование: он совсем равнодушен к ее приезду и рад, что она поселилась где-то в нейтральном месте. Эта встреча с ним вызвала в ней грустное чувство отчуждения и обиды. Его поцелуй был чужой и неприятный, а глаза отталкивали ее — далекие, самолюбивые глаза. На Наташу они смотрели теплее и ближе. Он даже не постеснялся деловито обратиться к Глебу:

— Ну как у вас — все в порядке? Не подведут нас с последней бадьей?

— Опять двадцать пять!.. — возмутился Глеб. — Чего это тебе пришло в голову?

— Хороши цветы только к празднику. — И многозначительно подмигнул Глебу.

— Ну, так пошли ко мне в комнату?.. — пригласил он всех, не требуя, а спрашивая.

Ольга торопливо предложила:

— Нет, зачем же? Пойдемте лучше обратно. Сядем в машину и поедем...

Мирон охотно согласился и первый двинулся по тротуару. Наташа, к удивлению Ольги, стала молчаливой и задумчивой. Должно быть, на нее повеяло холодом от свидания с Мироном и она обиделась и за Ольгу и за себя. Заметил это и Мирон.

— Как здоровье Ильи Евсеича? — спросил он, снизив голос.

— Так же... — Ольга пожала плечами. — Припадки реже, но тяжелее. Ты же знаешь его: хорохорится, не хочет согласиться, что болен. Кстати, ты, Мирон, завези нас в первую очередь на электростанцию.

Он не ответил ей, а обнял за плечи Наташу.

— Это чем же ты недовольна, Наташа?

Наташа освободилась от его руки и, стараясь быть бодрой, быстро ответила:

— Почему недовольна? Все превосходно. Люди живут и меняются, события совершаются бурно... Чего еще надо?..

— Да, — вздохнул Мирон, — жизнь идет... И у людей — свои взлеты и падения. Но ты должна похвалиться перед нами своими триумфами.

— У меня один триумф, Мирон Васильевич: я живу. И у меня одна мечта — жить во имя счастья... хотя бы близких людей...

Она взяла под руку Ольгу и ускорила шаг. Мирон понял, что Наташа знает об их отношениях с Ольгой и хочет показать ему, что она не на его стороне и не питает к нему тех восторженных чувств, которые кипели в ней раньше.

«Какое ей дело до наших драм? — с досадой подумал он. — Что за судья!.. Вот уж обывательская привычка — вмешиваться в чужую жизнь!»

— Ах, какая досада!.. — воскликнула Ольга. — Я забыла позвонить Викентию Михайловичу...

Машина подъехала в тот момент, когда они подходили к калитке Глеба.

«Встретились вот, а говорить не о чем... — усмехнулась Ольга. — Как будто и не знали друг друга...»

Мирон посадил Наташу в середину, а сам неудобно, как-то боком, поместился на краешке сидения. Блестящее голенище сапога тошно ослепляло Ольгу.

«Какой неприятный сапог!» — поразилась она и отвернулась к окну.

Наташа по-прежнему грустно молчала, только украдкой пожимала руку Ольге.

Глеб выскочил из кабинки у подъезда управления, а машина понеслась вниз к плотине по каменистой разбитой дороге. Справа на ровной площади стоял целый лес металлических мачт.

Они заехали в какие-то непроходимые дебри из металлических каркасов, бетонных кубических выступов, строительных материалов — балок, досок, арматуры — и остановились. Когда вышли из машины, Наташа так и обомлела: прямо перед нею глубоко обрывалась неоглядная ямина в оползнях, скалах, с целым поселком дощатых домиков на дне. Слева тоже пропасть, но узкая и бездонная, а из пропасти вырастало длиннейшее прямоугольное здание электростанции с плоской крышей.

— Ой, какая картина, товарищи!.. — пропела она тоненьким голоском.

— Это подпорная стена аванкамеры, — пояснил Мирон, и Ольге казалось, что голос его был равнодушен и пуст. — Мы спустимся вниз, в этот котлован, и пойдем по тоннелю прямо в здание.

— А поближе где — нельзя? — робко справилась Ольга.

— Здесь тоже близко...

Наташа смотрела в другую сторону, на реку, в дымные дали холмов правого берега. Вода, стальная, дымилась паром, пар этот изорванными вихрями гулял по всему разливу. Налево, внизу, река заливала уже глубокую впадину, и развалины саманных и кирпичных стен купались в волнах. Выше, по склонам холмов, большие дома уже взорваны, и на их местах лежали вороха разбитых стен. Наташа впервые видела перед собою этот бесконечный ряд голубых башен, скованных вверху стальным поясом конструкций. В разных местах бушевали водопады, и вихри брызг взлетали ввысь и пылали мутной радугой. Наташе чудилось, что она становится легкой и маленькой от этой бури: вот налетит ветерок, и она, кажется, невесомо поднимется в воздушный простор.

Они спустились по лестнице вниз, на дно аванкамеры, и пошли без дорожки, по мусору, к черному отверстию тоннеля. Когда они поднялись по сходням ко

входу, холодный, промозглый воздух ударил им в лицо. Ольга остановилась и с опаской заглянула во тьму: тоннель круто проваливался вглубь, и ветер свистел в переплетах деревянных подмостков.

— Чего ты боишься, Оля? — засмеялся Мирон. — Тоннель как тоннель... такой же объемистый, как железнодорожный... Вот по этому тоннелю вода отсюда и понесется к турбине...

— Тут голову сломаешь... темно...

— Ну, давай руку... Это со свету... Привыкнут глаза, и все будет видно...

— Ничего. Иди вперед! Наташа, куда ты одна? — с испугом закричала Ольга. — Пусть идет впереди Мирон...

— Да ничего нет страшного... — успокоила ее Наташа и исчезла во тьме.

«Не хочет, чтоб я с ней остался. Значит, объяснений не будет... — решил Мирон. — Оно и верно, какие еще объяснения?»

Ольга осторожно спускалась по зыбким доскам. Мирон уверенно шагал по настилам. Доски шевелились под его ногами и мешали ей сходить. Впереди зажглись лампочки, и Ольга увидела, как мерцающая труба тоннеля загибалась вправо и делалась все уже и уже.

— Мы будем кружиться к центру, — глухо рокотал впереди голос Мирона, чужой и далекий. — Это раковина улитки.

«Кружиться... в раковине улитки!» — поразилась Ольга, и в этих словах Мирона она вдруг почувствовала какой-то пугающий смысл. Кружиться вокруг себя — к центру... где все разрешится. Она остановилась и схватилась за приставленную грязную доску. Ветер дул холодно и гулко. Он пронизывал ее насквозь, рвал шляпу с головы, запутывал юбку в ногах. Шляпу она держала другой рукой и отворачивалась, чтобы отдышаться... Мирон не заметил, что она отстала, и шаги его глухо шаркали, замирая вдали. Голос его рокотал невнятно и был странно незнакомый. Как смешно! Идет человек и не замечает, что отстает близкое ему существо, а продолжает говорить с ним, как ни в чем не бывало...

Ольга побрела по грязным мосткам в крутой загиб тоннеля. Тусклая лампочка быстро приближалась (это, должно быть, ее лампочка), бетонный тупик, как стена огромного чана, откатывался в глубину. Лампочки вспыхивали одна за другой, и дыра суживалась и суживалась, как резина, и сворачивалась круче и быстрее.

— Это последний оборот — и конец... — глухо говорил Мирон где-то совсем рядом.

Ольга ускорила шаг и внезапно очутилась рядом с Мироном и Наташей. А Мирон даже и не подумал оглянуться: он так и не догадался о том, что произошло с Ольгой.

Прямо, в центре широкого цилиндра, стоял, как алтарь, красный колокол, а вверх от него улетал серебряный вал такой гнетущей толщины, что Ольге стало душно. Она подняла лицо, провожая ввысь этот зеркальный ствол, и увидела где-то в недостижимой дали желтые кружева каркасов и перекрытий. Оттуда вместе с ветром врывались гул, звон, звяканье металла, невнятные крики толпы и какие-то рёвы.

Мирон объяснял что-то, показывая кожаной рукой и вверх и в стороны, но Ольга ничего не понимала.

— Пожалуйста, Мирон... это потом...

Наташа испугалсь. Как она могла забыть об Оленьке?.. Можно ли было распускаться до такой степени — и именно сейчас?..

— Мирон Васильевич! — с упреком крикнула она. — Веди дальше... ты уж с нами считайся...

Мирон забеспокоился и подхватил Ольгу под руку.

— Ну, ну... виноват!.. Увлекся немножко... Итак, на монтаж?..

Ольга вздохнула и засмеялась.

— Вот дорожку выбрал! Вся закоченела от ветра.

Она высвободила руку и показала ему головой, чтобы он шел впереди.

Они поднялись по трапам и вышли в солнечный коридор, заваленный цементными отбросами, грязными щепками и всяким мусором. По стенам тянулись толстые провода, кабель и густое сплетение труб. Шли долго и молча. Мирон уже не решался пускаться

в объяснения. Вышли опять на воздух к высоченной бетонной стене с выступающими подпорами. А вдоль стены здания на высоком цоколе длинным фронтом стояли серебристые цилиндры, увенчанные глянцевыми бутонами изоляторов. Около этих цилиндров, точно прислушиваясь к ним и обследуя их, возились кучи рабочих в синих комбинезонах.

Ольга сама удивлялась себе: никогда еще она так не слабела от волнения, как сейчас. Силилась взять себя в руки, старалась подавить сердцебиение, но слабела еще больше. И эта длиннейшая крепостная стена, уходящая в небо, и эти серебристые цилиндры, и металлические фермы были зыбки, колыхались и помрачительно наваливались на нее. Мирон по сходням вбежал на цоколь, сказал что-то парню и помахал женщинам рукою. Ольга неустойчиво шла по крутому наклону досок. Поддерживая ее, Наташа злилась на Мирона: какой он толстокожий свинтус! Знает, что женщина волнуется, и не догадается помочь ей... Она почти несла ее и боялась упасть: сходни были жидки, и доски болтались под ногами.

— Ну помоги же, Мирон!..

Но вместо Мирона к ним подбежал высокий парень и, застенчиво улыбаясь, подхватил Ольгу с другой стороны.

Вы не бойтесь... идите смело... Мостики у нас, правда, как качели, но мы уже привыкли...

Ольга покачнулась и вскрикнула. Парень быстро подхватил ее и легко вынес на площадку. Он застенчиво улыбался и Ольге и Наташе. Мирон виновато хмурился и искал глазами место, куда бы можно было посадить Ольгу. «Неужели дожила до обмороков?..»

— Вот это и есть Вакир, Оля.

Не отрывая глаз от парня, Ольга улыбалась сквозь слезы дрожащей, странно виноватой улыбкой. Она молча взяла его руку, а он покорно и смущенно подчинился ей. Было неловко, странно, неожиданно... Никогда с ним не случалось такого чувствительного казуса, и никогда он не испытывал такого несуразного смятения в душе.

«Нет, не он!.. — с отчаянием думала Ольга. — Ни одной черты... Только глаза... и что-то другое... что?..»

— Чего вы волнуетесь? — сказал Вакир. — Разве у нас так страшно?..

Она не ответила, и не выпуская его рук, смотрела на него сквозь слезы, нежно, горестно, изумленно...

Вакир не оттолкнул ее, не отшатнулся враждебно, и это удивило Мирона.

Так постояли они несколько секунд, как будто испуганные и ослепленные, не зная — броситься ли с криком счастья на шею друг другу, или разойтись. Вакир чувствовал, что эта женщина пришла сюда для того, чтобы увидеть его, что в нем она надеялась встретить родные черты сынишки. Это, должно быть, Ватагин встревожил ее, как тревожил и его, Вакира. А Тибра говорила, что он и к ней ходил перед отъездом и пытался узнать его имя.

Мучительнее всего было то, что на него с удивлением смотрели и ребята и Купер. А эта большеглазая девица с жадным любопытством вглядывается в него, как в диковинку. Ватагин же хмуро усмехается. Он уже не проявляет особого интереса к Вакиру: сомнения его рассеялись. И очень хорошо. Но эта женщина плачет не потому, что увидела его (ведь встретились они в первый раз в жизни), а потому, что не изжила своего горя. Он просто напоминает ей сына, потому что он, Вакир, пережил за эти восемь лет то же, что и ее ребенок. И это лицо, эти слезы, этот ее порыв воскресили в нем былую жалость к матери, разбередили ту боль, которая мучила его годами. А мать мерещилась такой же — в слезах, в ожидании, в горестных думах. . У него, Вакира, и у сынишки Ватагиной — одна судьба: оба они бедовали одинаково, как и тысячи других детей. Для Ольги он, Вакир, только живое воплощение ее Кирилла.

Он чувствовал, что не выдержит: слезы перехватывали горло, неудержимо хотелось обнять эту чужую мать, целовать ее и говорить ей ласковые слова, просить прощения и утешать ее...

У него дрогнули губы, и он, махнув рукою, быстро скрылся в нише, за серебристым аппаратом.

Ольга постояла немного, не вытирая слез, потом медленно пошла по сходням вниз. Наташа устремилась за нею, но Ольга испуганно попросила:

— Не мешай мне, Наташа...

Наташа поднялась обратно на площадку и справилась у Мирона, для чего ставят эти цилиндры и что это за сооружение такое. Мирон понял и пошел с нею по мосткам вдоль стены. Когда они возвратились и сошли вниз, Ольга сосредоточенно брела по узкой площадке, вдоль подпорной стены аванкамеры.

Мирон смотрел ей вслед и чувствовал, что эта встреча порвала между ними последние нити: Ольга шла впереди, как чужая. Она, вероятно, плачет сейчас, ей мучительно больно. Мелькнул перед ней призрак и исчез. Она переживает всю свою жизнь, проклиная и себя и его, Мирона. Одним своим появлением Вакир произнес тот приговор, о котором она говорила ему летом. И Мирон знал, что она сейчас ненавидит его. И это вызывало и вражду и сострадание к ней.

— Мирон Васильевич,— строго сказала Наташа,— я не могу тебя учить, но очень прошу: прояви к ней максимальную чуткость и деликатность.

— Просить меня об этом нечего... — угрюмо ответил Мирон. — Мне тоже больно... больно и обидно...

— А кто виноват, Мирон Васильевич?

— Не будем искать виноватых... — жестко предупредил он ее. — Ты — не судья.

— Нет, судья... — гневно возразила Наташа. — Судья... Как и этот неизвестный парень... И ты не можешь, не смеешь протестовать...

— Довольно об этом... — враждебно оборвал ее Мирон.

— Хорошо. Довольно... — так же враждебно ответила Наташа. — Я только теперь поняла тебя по-настоящему.

Она быстро пошла вперед, чтобы догнать Ольгу.

Когда подошли к машине, Ольга как будто казалась спокойной. Не обращаясь к Мирону, она холодно попросила:

— Отвези меня домой, пожалуйста...

— Да, да! — с жаром поддержала ее Наташа. — Я тоже хочу домой... Сегодня — никуда до вечера...

— Как хотите... — кротко ответил Мирон, пожимая плечами. — Поезжайте. А я — на плотину...

Никогда еще эти трое близких людей не чувствовали себя так стесненно и неловко друг с другом. Ольга и Наташа сторонились Мирона, а он стоял боком к ним и смотрел вдаль, на тот берег. Насилуя себя, они молча простояли так несколько минут, как будто ожидая чего-то. И как только шофер открыл дверцу машины, обе женщины быстро скрылись в кабине.

2

Свой отпуск Феня отложила до декабря. Последний подъем на плотине она считала своим личным делом: было бы чудовищно, если бы она устранилась от этого события. Поэтому она приняла от Татьяны прежние свои обязанности сменного прораба, а Татьяна назначена была на место Корытина. Теперь они встречались уже редко — в часы, когда дежурил третий прораб. Сегодня в ночь вступала в дежурство Феня и весь день не находила себе места от волнения. Дома сидеть не могла: ей нужно было видеть и чувствовать людей. Она сбегала на плотину, проверила сводки в конторке и понеслась в Дом общественных организаций. А там и шагнуть нельзя было: и в вестибюле, и в коридорах, и в зале заседаний пол и стены горели красными полотнами, и люди склонялись над ними с кисточками и жестяными банками в руках.

Дверь в приемную Васяя была открыта, но толпа комсомольцев и комсомолок туго забила и комнату, и проход, и коридор перед дверью.

Феня безнадежно махнула рукой и полетела к Паше. Она не видела ее уже несколько дней — соскучилась. Паша встречала ее всегда теплыми глазами матери.

— А, Фенюшка, явилась... золото мое!..

О ее беременности Феня узнала уже в первые дни

после приезда. Она поднималась по лестнице в горком, а сверху спускалась Паша, и вот в этот миг живот Паши откровенно бросился в глаза. Да и лицо ее было странно сосредоточенно, точно она прислушивалась к себе, а когда увидела Феню, улыбнулась утомленно и кротко.

— А-а, Фенюшка! Не ко мне ли, золото мое!..

...Это событие поразило Феню: Паша беременна!.. Паша, строгая, величавая Паша... Кто же муж ее, кто отец ее ребенка?.. И Фене было смешно и почему-то грустно. И когда она однажды встретила на плотине Мирона вместе с Пашей, сразу решила, что это — он. Эта догадка очень взволновала ее, и она быстро скрылась за ворохами щитов. С Мироном все время избегала встреч с глазу на глаз, а на собраниях садилась где-нибудь подальше, в гуще рядов. Она не выносила его и чувствовала себя несчастной, когда он был близко. До сих пор она, оказывается, не пережила еще той обиды и вражды к нему, которые так остро мучили ее в первые дни. Не поступил ли он так же и с Пашей, как пытался поступить с ней? У Паши сидела Агаша Репей и внимательно слушала ее, вся какая-то праздничная, сияющая, готовая вспорхнуть, как птица. Обе они радостно вспыхнули, когда вошла Феня. Агаша даже вскочила со стула и бросилась навстречу.

— Ведь ты, Феничка, сейчас у нас именинница!.. — горячо крикнула она, обливая Феню своей радостью. — Музыка будет, людей-то — тысячи, знамена, киносъемка... по радио передавать будут... Я очень даже за тебя радостная...

— Я за всех радостная... — ответила ей Феня и поцеловала ее в щеку, потом подбежала к Паше и тоже поцеловала. — Все мы одинаково именинники...

— Ну, вот еще! — недовольно засмеялась Паша. — Ты порадуйся, как Агаша: попросту, сердечно...

— Извольте-с, радуюсь Агаше-мятежнице... Радуюсь, что вышла она сухая из воды...

— Ах, действительно, родненькая!.. Как меня тогда оконфузили!.. Ведь вставаньем почтили... После этого даже стыдно было на глаза появляться...

Агаша упивалась счастьем: она в эти минуты дышала одним воздухом с Пашей и с этой милой Феней. Жизнь такая интересная, и люди такие родные и прекрасные!.. А тут уйма всяких дел: нужно приготовить большой женский отряд на последний подъем, выдвинуть оратора, плакаты вышить, жен инженеров собрать... Да и завтра на демонстрации отличиться... Ей не хотелось уходить, но Паша понудила ее взглядом.

— Бегу, бегу, Пашенька!..

И уже от двери крикнула восторженно:

— А какой у меня сын растет, Феночка!.. Обязательно полюбуйся...

И, приветственно взмахнув рукой, она быстро выпорхнула в дверь.

— Странный день сегодня... — раздумчиво сказала Паша. — И суеты много, и работы у всех по горло, как всегда перед праздниками, а чувствуешь какую-то пустоту... Сколько было событий, Феня, за эти месяцы!.. Ты знаешь, что приехала жена Ватагина?

Фене показалось, что эта женщина чем-то встревожила Пашу.

— А разве она какая-нибудь важная птица?

Паша явно волновалась, и это удивило Феню. Не хотелось думать о том, о чем она догадывалась, но сейчас уже была убеждена, что Паше страшно встретиться с Ольгой.

— Она хорошая женщина... очень много страдала...

— Да, я знаю: у нее сын когда-то пропал. Мне Мирон рассказывал...

— И вот, Феня... родить ребенка — большая радость, но потерять его — ужасно. Мне как-то больно быть рядом с нею, когда я чувствую, что счастлива...

— Не понимаю, Паша. Не украла же ты у нее свое счастье. Я тоже вот счастлива, но счастье мое — это я. Вот гляжу я, например, на нашу плотину, и мне хочется плакать: это не просто бетон, а часть моей жизни. Кто может отнять у меня это счастье?

— Все это верно, Феня, но иногда счастье так огромно, что оно начинает беспокоить... и вызывает раздумье...

— Не понимаю, Паша...

— Верю. Ты, золото мое, еще многого не изведала: ты еще не имеешь понятия об особом счастье женщины, которое для тебя еще в будущем...

— А что это за особое счастье?.. — лукаво снаивничала Феня, вглядываясь в лицо Паши. А Паша усмехнулась и покраснела.

— Ты не спрашивай, не допытывай... — ответила она словами песни и сделала сердитое лицо. — Твой нос еще не дорос...

— Скажи, Пашенька... ну, пожалуйста, чем ты встревожена?..

— Я ничем не встревожена...

— Пашенька, я же чувствую и вижу. Если ты считаешь, что я не должна знать об этом, я умолкаю. Но тогда прячь умело свои тайны.

— Пойдем сейчас к Ватагиной, — объявила Паша. — С ней приехала одна девушка... Познакомишься...

— Ни интереса, ни охоты у меня нет, Паша. Да и времени нет: я должна приготовиться к ответственному дежурству.

— Успеешь.

— Если я нужна тебе, — пожалуйста.

Паша быстро встала, надела шляпу и взяла в руки сумочку.

3

Ольга с Наташей гуляли в садике, когда подъехала машина; должно быть, они ожидали Пашу. Наташа была в белом свитере, а Ольга накинула на плечи пальто. Обе они быстро одна за другой пошли навстречу гостям. И Ольга и Паша очень смутились и покраснели. Та и другая на мгновение столкнулись настороженными взглядами, испытывая друг друга, и еще более смутились. Обе пылко обнялись и поцеловались слишком долгим поцелуем.

Наташа и Феня познакомились сами и пристально переглядывались с улыбкой изучая друг друга. Обе они чем-то были схожи, но Наташа была рослой и

крупной, а Феня — маленькой и худенькой, как девочка.

— Малютка, а уже инженер... — засмеялась Наташа.

Феня тоже засмеялась.

— Да ведь я уже старушка...

— Я вам очень завидую, Феня: вы успели уже построить такую махину и стать героиней. А я еще околачиваюсь в стенах института. Долго еще мне ждать таких подвигов.

Все пошли по дорожке сада, усыпанной желтыми и коричневыми листьями. Яблони и вишни стояли воздушно-прозрачные, в охапках голых ветвей с забытыми кое-где бурыми листочками. Перед домом отцветали последние астры.

Феня успела вглядеться в Ольгу, и она ей понравилась своей живостью и печальными глазами.

Девушки свернули налево, а Ольга с Пашей — направо, в глубь сада. В конце аллеи, за забором, обвитым мертвыми космами хмеля, виднелась открытая веранда соседнего дома.

— Пусть погуляют, познакомятся... — ласково сказала Ольга, провожая девушек взглядом. — Наташа мне, как родная.

— Феня мне тоже... У них есть общее в характере: эта живость и страстность. Сужу о Наташе с первого взгляда...

— Да, да. Это верно. Ты наблюдательная, Паша, и чуткая. Я с Наташей срослась: если бы не она, я не знаю, как бы я пережила свое горе. Она как дочь мне, — может быть, больше, чем дочь.

Они сели на скамью между голыми яблонями с белыми стволами, чувствуя странное отчуждение. Точно они знакомились и подходили друг к другу заново.

— Как ты живешь, Паша?

— Много пережито, но в общем я счастлива. Я не ждала тебя. Как это неожиданно и странно!..

— Почему же странно? Я, видишь ли, не к Мирону приехала...

— Вижу... — усмехнулась Паша.

— С Мироном у нас чувства врозь. Он не говорил тебе об этом?..

«Испытывает... и как наивно!.. — подумала Паша и искоса взглянула на Ольгу. — Промолчать или сразу быть откровенной? Пусть знает. Он — отец моего ребенка, и я горжусь, что я мать. Какие она может предъявить мне претензии?»

— Да, говорил. И я поняла тебя, Оля.

Сказала она с холодком в голосе, настороженно подняв голову. Они встретились взглядами и отвернулись. Паша увидела что-то похожее на испуг в глазах Ольги, а Ольге показалось, что Паша посмотрела на нее с насмешливым вызовом.

— А он меня не понял... И, кажется, не способен понять... Эта его тупость и бездушие к Цезарю как-то ударили меня... Не изменился — весь прежний... И на Прихромова он произвел тяжелое впечатление...

— Что же тебя пригнало сюда, Оля?..

— А ты не догадываешься? — тихо и многозначительно спросила Ольга.

Паша вздрогнула и немного отодвинулась от нее. И опять пытливо и настороженно блеснула очками.

«Ну, начала бы сразу... чего канителить?.. — досадовала она, ожесточаясь. — Чувства врозь, а сама изнывает от ревности...»

— Я, Паша, сегодня встретилась с этим... ты знаешь его... с Вакиром...

«Ах, вот она о чем!.. — обрадовалась Паша. — Милая Ольга, она только и живет тоской по сынишке. Как я скверно о ней думала!..»

— Ну, ну, расскажи, Оля... Они с Братцевой — как брат и сестра...

— Разве можно рассказать? За эти короткие минуты я страшно много пережила... Я впервые почувствовала, что он, этот Вакир, слит одной судьбой с моим мальчиком, и в этой его страшной судьбе я узнала Кирюшу. А когда он увидел мои слезы, весь затрясся и убежал, точно я поразила его чем-то...

— А не создаешь ли ты себе, Оля, — не от ума ли это?..

Паша споткнулась на слове и заругала себя:

«Зачем я это говорю ей? Зачем вношу смуту?..»

— Нет, Паша, зачем же?.. Я чуть не упала, так меня это обожгло.

Паша задумчиво посмотрела вдаль, в лиловые холмы на горизонте, в небо, в тугие облака, как сугробы пены на реке, и почувствовала жалость к Ольге: ведь она ждет от нее дружеского участия, теплоты и сердечного отклика. Наташа, вероятно, не смогла понять этих ее душевных волнений, как не поняла сегодня Феня ее, Пашиных, переживаний. Не поэтому ли Ольга так настойчиво просила ее приехать.

— Видишь ли, Оля... По-моему, родной ребенок только тогда твой, когда он растет около тебя неотрывно. У тебя же призрак, воспоминание... Надо пережить то, что ты пережила, чтобы понять твои чувства. Сложные, ужасные, Ольга!.. И я понимаю: в каждом таком парнишке, как Вакир, тебе мерещится сын. Собственно, даже не тот сын, которого ты знала, а его совершенный образ... все самые трогательные его черты... Кто знает, может быть твой настоящий сын, если бы он явился к тебе, оказался бы твоим врагом, и ты возненавидела бы его...

Ольга съежилась и слушала Пашу со страхом и изумлением в глазах. Она даже подняла руку, как будто хотела защититься.

— Паша, зачем это ты?... Я и не думала...

— Но ведь это возможно?

— Ах, ничего нет невозможного... И я тем более была бы несчастна... несчастна потому, что я — причина его гибели...

— Нет, это не совсем так, Оля... Беспризорность — это общественное бедствие... Тут много причин... не только семейные неурядицы...

Ольга вздохнула и подняла на Пашу глаза, залитые слезами.

— Когда у тебя, Паша, будет ребенок, не предоставляй его самому себе. Пусть он постоянно чув-

ствует тебя в каждом своем поступке, в каждой своей мысли... во всем...

Волна слабости прошла через сердце Паши, и она закрыла глаза. Никогда еще она не испытывала такой робости, как в этот миг перед Ольгой. Она не чувствовала ни вины перед нею, ни страха, ни стыда, но у нее духу не хватило ранить Ольгу своим неизбежным признанием. Печальные ее глаза, такие чистые и доверчивые, навсегда останутся в ее памяти как укор обманутого друга. Но и тайны своей скрывать не могла: ее совесть никогда не омрачалась ложью.

— Да, Ольга, — дрогнувшим голосом сказала она, — да, у меня будет ребенок.

В глазах Ольги Паша уловила тревожный вопрос.

— Я счастлива, Ольга...

— А как же! Ведь я сама испытала... Я тебе, Паша, завидую...

— Чего же завидовать?.. Ты — молода...

— Нет, Паша... — вздохнула Ольга. — Пожалуй, не будет... И поздно, и нет сил...

— Но неужели у вас с Мироном...

Ольга вдруг резко оборвала ее:

— Оставь разговор о Мироне! — и с жестким спокойствием подчеркнула: — Слишком далеко отошли мы друг от друга. И слишком больно встречаемся.

Опять замолчали отчужденно и тягостно. Обе смотрели на шелковистую паутину, которая дрожала и колыхалась на ветвях яблони.

— Ты протелеграфируй мне, Паша, когда это будет... — мягко попросила Ольга и погладила ее руку. Этот ее сердечный голос и нежное прикосновение пальцев так взволновали Пашу, что она схватила ее руку и крепко пожала. Ей неудержимо хотелось обнять ее и заплакать.

— Разреши мне... назвать ее Олей...

Ольга засмеялась...

— Так ведь может родиться и мальчик?

— Я почему-то убеждена, что девочка...

— Ну, я тоже была наивна, как ты... Если будет девочка — называй, я порадуюсь. Знаешь... — Ольга вспыхнула и сконфузилась. — Знаешь, Паша... Не от-

кажи мне в удовольствии... Я привезу тебе самые милые для меня вещички — рубашечки, пеленочки и все прочее. От Кирюшика...

Паша прижалась щекою к ее щеке и прошептала:

— Оля, я думала, что ты меня ненавидишь... и была несчастна...

Ольга погладила ее голову и вздохнула.

Вдруг глухо и строго спросила:

— Он — хороший отец?

— Ты сама знаешь, Оля... — И заметалась. — Но.., поверь мне: он — отец, но не муж... Это — мой ребенок...

Ольга быстро оторвалась от Паши, и лицо ее мучительно окоченело.

— Мне не в чем оправдываться, Оля... Выслушай меня...

Но Ольга молчала, застывшая от боли.

Паша опамятовалась; какой-то внутренний удар потряс ее, и она решительно поднялась со скамьи. Бледная и гордая, она взглянула на Ольгу твердо и смело.

— Я — мать, Ольга. Этим сказано все. Ты можешь меня ненавидеть... Но какой в этом смысл?..

Ольга взяла ее руку и, сжимая ее, попросила:

— Не надо, Паша...

И опять замолкла, потом поднялась, глубоко вздохнула, приложила руку ко лбу и в отчаянии закинула голову.

— Зачем же он скрыл это?.. Зачем? И он смел в это время касаться меня!.. Это страшно... Так может поступать только трус и лицемер!..

Паша с изумлением прислушивалась к ней и как будто не верила, что Ольга так просто и мужественно приняла ее признание. Это слишком необычно и невероятно. И Паша растерялась. Эта женщина или обладает какой-то особой силой, или в ней дотла перегорела ее былая любовь к мужу. Да, она ненавидит, — но не ее, Пашу, а его, Мирона. Не она, Паша, а Мирон оскорбил ее до глубины души.

— Он смял меня... двоедушием смял...

— Нет, Ольга... он не трус и не лицемер... Это — не то...

Ольга быстро пошла к дому. Потом остановилась, сосредоточенно подождала Пашу и требовательно сказала:

— Обязательно телеграфируй, Паша!.. Сейчас же приеду, дорогая...

Навстречу им рука об руку шли обе девушки, оживленно разговаривая и перебивая друг друга.

X. ПОСЛЕДНИЙ ПОДЪЕМ

1

Вакир работал в этот день отвратительно. Он хорошо видел, как исподтишка посматривали на него ребята: одни хмуро, недовольно, другие — участливо. Славные ребятишки! Они помнили, как был страшен Вакир в те дни, когда один не побоялся выступить против хулиганов. Правда, около него сбились несколько комсомольцев, но он показался им тогда таким смелым и сильным, что у них сердце леденело от ожидания неизбежной расправы над ним.

Они знали, что он был когда-то правонарушителем и бродягой, что жил несколько лет в трудовой колонии, и это пробуждало острый интерес к нему и уважение. Это уважение росло каждый день, а особенно после того, как он стал так же доблестно бороться на электростанции за достоинство советских монтажников.

Странное появление женщины — жены Ватагина — совсем сбило их с панталыку. Ребята ничего не поняли, а когда Вакир с трясущейся челюстью бросился в угол, в свалку досок и всякого хлама, они совсем растерялись и бросили работу. Кто-то из них подошел к нему, но он махнул рукой и взглянул так, что тот сконфуженно повернул обратно.

Вакир возвращался с работы один. По дороге он сразу свернул в сторону, не сказав ребятам ни слова. Они переглядывались и тоже молчали.

А Вакир шел по пустырям вверх к поселку, и сам не знал, куда он, собственно, идет. И когда очнулся на бульваре, понял, что шагает к Тибре. Зачем нужно ему идти к Тибре? О чем с ней говорить? Каждый раз, когда он приходил к ней, заставал у нее Кряжича. Тибра встречала Вакира с неизменной улыбкой, похожей на вспышку, такой знакомой и родной с давних пор. Эта улыбка светилась в его душе, и его наполняло сладостное чувство неизъяснимой радости. Он сросся с Тиброй, ощущал ее каждую секунду, и от этого чувствовал себя сильным и готовым на все. И к Кряжичу не испытывал былой вражды: встречались они, как близкие люди.

Он уже свыкся с суровой мыслью, что Тибра для него — как несбыточная мечта, что он может любить ее только в себе. Когда он почувствовал, что Татьяна и Кряжич по-новому близки и уловил в их глазах особый трепет, он в первые мгновения был потрясен до отчаяния. И все же встретил взгляд Тибры твердо и мужественно. Она поняла его, и глаза ее наполнились слезами радости.

Да, зачем же все-таки он идет к ней? Рассказать о сегодняшней встрече с этой женщиной, в которой продолжает жить его мать, или лишний раз пережить чужое счастье? Может быть, его гнал к Тибре неугасимый страх, что она уйдет от него и отдаст Кряжичу и ту ее любовь, на которую он, Вакир, имеет право?..

Нельзя быть на поводу у самолюбия: надо жить гордо. Эти слова сорвались у него как-то неожиданно, когда он был у Емельяна, и они звучали в его мозгу постоянно.

Вакир остановился и медленно повернул обратно. Нет, шел он не к Тибре, а к этой женщине. Ведь он тогда же хотел броситься вслед за нею и сказать ей такие слова, которые не говорил никому, но горестно шептал во сне. Эти слова нежности и тоски звучали потом все тише и тише, а с годами онемели. Тибра заслонила родную тень, слова эти он сердцем повторял только ей. Не думал он и не ждал, что воскреснет этот образ, ушедший с детством. И вот он явился внезапно, ошеломительно, этот призрак. Как только он

увидел ее бледное, дрожащее лицо и глаза, полные страха и надежды, которые смотрели только на него, он, забыв себя, бросился к ней на помощь, когда она зашаталась на сходнях.

К Ватагину он уже привык: он достаточно узнал его и оценил как человека, который может только действовать во имя великой цели и долга, не считаясь с собой, но в сущности простого и доброго. Он уже приспособился к нему и сам держался с ним запросто и даже немного фамильярно. А внимание к нему Мирона и что-то похожее на отцовское любование хотя и было немного надоедливо, но забавляло и, пожалуй, льстило ему.

...Однако где же он мог найти эту женщину? У Ватагина? Вот его квартира, знакомая с первого вечера. Но, судя по закрытой занавеске, она, кажется, пуста...

Вакир быстро прошел по дорожке к крыльцу. Входная дверь была заперта. Значит, ключ у Ватагина. А может быть, она вместе с ним где-нибудь на стройке.

Он опять вышел на улицу и нерешительно побрел обратно.

2

Ольгу он увидел нечаянно: шел мимо дома Чумалова и посмотрел в сад. От дома по дорожке шла к нему она — шла медленно, задумчиво, с печальной строгостью в лице. Они встретились взглядами и испугались.

— Вакир, ты? Иди, иди сюда!

Он подчинился ей и вошел в калитку, смущенно улыбаясь.

— Как это кстати, Вакир, и как я рада!..

И она заговорила торопливо, с дрожью в лице:

— Понимаешь, Вакир, я шла... в надежде, что встречу... Думаю, у Братцевой он... Я с ней, правда, мало знакома, но отважилась... Пойдем сюда, вот по этой дорожке... Посидим немного... покалякаем... Ты извини меня... Но если бы ты знал, что я переживаю... Пойми меня и не сердись... Мой мальчик — такой же, как ты... Жив он или нет, возвратится или нет — я не

знаю... Вероятно, если бы он так же, как ты сейчас, появился передо мною, он был бы такой же — незнакомый и родной...

«Почему она так дрожит?.. — думал Вакир, не замечая, что сам дрожит, не выпуская ее руки. — Что она хочет от меня? Может быть, и она, как Ватаган, хочет разгадать во мне сына?..»

И у него задергалась голова.

— Милый, и у тебя так же, как у Кирюши...

— Это у меня после того, как торговка ухо отъела... — угрюмо пояснил Вакир.

— Да, ухо... я знаю... Какие ты пережил кошмары, Вакир!.. И вот я думаю, что я даже не имею права искать его... Он должен меня ненавидеть... Это я обрекла его... Ты был по необходимости жесток к своей матери...

— Нет... — глухо сказал Вакир. — Я поступил подло... Теперь я иначе чувствую мать...

— Если бы так думал и он, мой сын, он уже возвратился бы.

— Если ваш сын не так еще думает, как я, он не достоин вас... Я уверен, что пережил я не меньше его...

— Но не забывай, Вакир, что и мы, матери, страдали вместе с вами...

Вакир помолчал, подумал и опять дернул головой. Чтобы прекратить эту судорогу, он прижал пальцы ко лбу. Рядом с Ольгой он чувствовал себя почему-то неловко. Он никогда бы не поверил, что ему придется вести такой тонкий и чувствительный разговор с женщиной, которую он совсем не знает. Вспомнил свою мстительную злобу к матери, мальчишечью обиду на нее и с ужасом представил, как она мучилась и плакала. Может быть, она и умерла-то от тоски по нем и в могилу унесла свою неутолимую скорбь. Эта женщина несет свое наказание покорно, но она еще не надорвалась, а та не вынесла мук и погибла. И Вакиру нестерпимо хотелось сказать Ольге что-то значительное, незабываемое, что наполнило бы ее радостью.

— А почему вы думаете, что мы не догадывались?

Представьте, что сын ваш погиб где-нибудь на пути к вам...

— Вакир!.. — Ольга остановилась, убитая его словами. — Вакир, дорогой мой, не надо!.. не говори этого!.. Что может быть ужаснее того, что ты предполагаешь?..

Бледная, со страхом в глазах, она схватилась за его плечо и готова была упасть.

— Конечно, это пустое предположение. Давайте сядем. Вот здесь. Я одно скажу: у каждого из нас есть границы. Зашел за эту грань и — погиб. Если бы не Тибра — это я Братцеву так зову — и не дядя Шастик, я, вероятно, сделался бы профессиональным бандитом.

— Да, я знаю Шастика... Удивительный человек!..

— Знаете? Да? — вскрикнул радостно Вакир и даже вскочил со скамьи. — Дядю Шастика знаете? Давно?..

— Я в колонии у него была.

Вакир полюбовался Ольгой и опять сел, нежно поглядывая на нее.

— Как ты его любишь, Вакир!..

— Да. Шастик был мне ближе и роднее отца, которого я ненавидел! Я очень много думал и тоже проливал много слез. И я пришел к мысли, что не по крови люди любят друг друга, не по родству они родные и близкие, а по душе, по сердечной связи. Спасти человека и создать его — это самое трудное дело. Я это пережил и узнал на собственной шкуре. И с Шастиком и с Тиброй я слит на всю жизнь и готов за них душу отдать... А отца по-прежнему отвергаю: он чужой мне... личный враг...

— Да, это тяжело, Вакир... А мать?.. — И она с упреком и надеждой глядела в его глаза, похолодевшие от воспоминаний об отце.

— Мать — не то... Мать все-таки мать при всяких условиях.

Ольга благодарно улыбнулась ему и вздохнула.

— Я тоже была такая, Вакир... может быть, даже хуже... Прошлого не воротишь... И мои былые ошибки и преступления я искупила... как искупила и твоя мать... Наше наказание слишком ужасно... И я, Вакир,

чувствую тебя всей душой... Ты мне так же дорог, как родной сын. Он умер в прошлом и, может быть, не воскреснет. Но ты для меня сейчас — это он.

Вакир не успел опомниться, как Ольга взяла его руку, поднесла к своему лицу и стала целовать. Он увидел ее глаза, залитые слезами счастья и нежности, и вскочил со скамьи. У него больно забилось сердце, и он, потрясенный, не знал, что делать с собою. Вырвав свою руку, он сразу почувствовал, что нанес ей острую боль. Она смотрела на него робко и покорно. И кажется, что если бы он оскорбил ее, наговорил ей грубостей, она перенесла бы это как заслуженную кару. И это покорное молчание поразило его и схватило за душу больше всего. С исказившимся лицом он бросился к ней, схватил ее руки и впился в них губами.

— Родной мой!.. Мальчик мой!..

3

Вечером к Ольге заехал Викентий Михайлович. Бодрый, веселый, он показался ей моложе, чем в Москве. Даже обычной суровости не было в лице. Он увидел Ольгу в открытую дверь и крикнул ласково-сварливым баском:

— Что же это такое, Ольга?.. Приехать внезапно, ночью, тайком, спрятаться в этой берлоге и — ни слова привета!

Она радостно вышла к нему навстречу.

— Викентий Михайлович! Дорогой!.. Не ругайте меня... Я думала о вас все время...

— Думали... Не вижу, что думали... Забились в эту дыру и глаз не показываете... А вот я думаю, как бы вас наказать посвирепее...

Балеев улыбался, но густые усы и бородка, щетинистые волосы и недобрый нос были по-прежнему неприветливы. Он смотрел на нее с пристальным лукавством, точно хотел сам удостовериться, что происходит у нее в душе. Настойчиво и уверенно он взял ее руки, поцеловал их, пожал и сердечно встряхнул. Она растерялась от непривычки к таким нежностям.

— Как я рада, что вижу вас, Викентий Михайлович!.. Я звонила вам и на квартиру и в управление, но вы были на работах...

Они прошли к ней в комнату, и Ольге показалось, что он здесь стал еще выше и крупнее. Около него Ольга чувствовала себя маленькой и хрупкой. Он окинул взглядом комнату и нахмурился.

— Дурной номер гостиницы... Скверно! Вас нужно было, дорогая женщина, принять, как знатную гостью, а вы нас позорно подвели...

— Мне очень хорошо, Викентий Михайлович, право же!.. Мы здесь с Наташей... хорошей девушкой, почти моей дочкой...

— Ну, хорошо. Говорите, надолго ли приехали. Помните, вы — в почетном плену, и я должен этот ваш плен отпраздновать.

Ольга сокрушенно вздохнула.

— Завтра утром удираю, Викентий Михайлович.

— Ну, это, положим, ерунда. Праздники вы должны провести у нас.

— Не выйдет, Викентий Михайлович. Никак невозможно. У меня же — фабрика. Я и так улизнула сюда украдкой. А вы знаете, что я обязана каждый день входить во все мелочи...

Викентий Михайлович помрачнел и сердито зашевелил бровями. Он сел и затеребил усы и бороду.

— Я удручен. Ведь завтра я хотел устроить пир горой.

Ольга села против него на стул, и в волнении поправляла волосы, блузку, и не отрываясь смотрела на него с теплой улыбкой.

— Я ведь примчалась сюда по личным делам, Викентий Михайлович.

— Знаю. Лишняя душевная неурядица. Зачем это нужно? В каком вы состоянии уедете обратно?

— В самом чудесном, Викентий Михайлович.

Балеев озадаченно насторожился и последил за нею взглядом.

— Хм... Для чудесного исцеления необходимо наличие чуда...

— Вот именно! Чудо, Викентий Михайлович! Я нашла... может быть, я нашла больше, чем сына...

— Это действительно чудо...

— И я почувствовала, что мой ребенок, умерший вместе с прошлым, может воскреснуть... в другом, не рожденном мной... Вы понимаете?

— Нет, убейте — не понимаю...

— Ну, одна судьба, один путь, одни испытания... Он и говорил теми же словами, какими бы говорил и тот.

Викентий Михайлович потирал лоб, брови, щеки и хватался за усы, недоверчиво поглядывая на Ольгу исподлобья.

— Если это так, если это не самообман, я желал бы одного, чтобы ваша радость никогда не угасала. Пусть это будет не от ума, а от сердца.

Она неожиданно подошла к нему и погладила его голову, а он, встревоженный, в волнении пожал ее руку.

— Анечку я посещала, Викентий Михайлович, через день. Вот и в ней ощутила я то же... Пусть я все это создаю... пусть!.. Но, Викентий Михайлович, мы ведь обязаны прежде всего в своих детях создать самое прекрасное... Мы не умели этого делать, бросали их... предоставляли их самим себе и улице... Помимо нас являлись люди, вроде Шастика, собирали их по трущобам и тюрьмам и создавали Вакира, Братцеву и им подобных...

Она спохватилась и засмеялась со слезами в глазах.

— Рассуждаешь вот, Викентий Михайлович, а ведь рассуждаешь-то по нужде... Нельзя не рассуждать, когда подводишь итоги своей жизни... Ну, так вот Анечка... Она постоянно говорила о вас... о матери реже вспоминала... В ее жизни вы, вероятно, тоже чудо...

Викентий Михайлович растрогался.

— Она мне пишет каждую неделю. Странные, волнующие письма: и ребенок и мудрец.

Ольга с живым интересом устремилась к нему.

— Детей-то у вас не было, Викентий Михайлович? Вы извините...

— Жалею, что не было. А насчет Анечки вы правы. Неизвестно, что за человек была бы у меня, скажем, дочь.

Когда он встал, чтобы уйти, Ольга умоляюще поглядела ему в глаза.

— У меня к вам просьба, Викентий Михайлович: не забывайте о Вакире...

Он взял ее руку.

— Думаю, что мы с ним сойдемся.

— И меня не забывайте, Викентий Михайлович.

Балеев задержал ее руку в своей и, улыбаясь, ответил с притворной строгостью:

— Буду в Москве, в первую голову — к вам. Не так, как вы...

4

Ночью на плотине был устроен митинг. Прожекторы обливали светом толпы людей, зажигали красным пламенем знамена, транспаранты, флажки на парапетах и ослепительно вспыхивали на медных трубах оркестра. В этом ярчайшем голубом свете фигуры людей четко рисовались в общем кипении, а лица ораторов узнавались издалека. Играла музыка. Площадка с бадьей, увитой цветами, стояла на эстакаде.

Мирон подводил итоги, вспоминая о борьбе, о жертвах, о победах, говорил о прекрасном будущем, о счастье, которое создается каждый день каждым из этих людей. Он называл имена ударников и отмечал их героические дела. Много было имен — от Кряжича и Шепеля до Вакира и Кати. Вспомнил о том, как замерло строительство весной и летом и как рабочие и инженеры совершили чудеса за эти месяцы. Отметил, как выросли люди за это время, как хорошо работала молодежь и наша интеллигенция. Упомянул о врагах, которые делали все, чтобы сорвать наш труд и погасить наш дух. Но они жестоко поплатились. Он поздравил всех с победой и призвал к дальнейшей, еще более напряженной борьбе.

Он видел Ольгу, которая стояла вместе с Наташей и Викентием Михайловичем. Феня не смотрела на

него, а когда нечаянно встречала его взгляд, морщила брови и отворачивалась.

«Какая злопамятная!» — думал он усмехаясь.

Ольга оживленно разговаривала с Балеевым и Наташей, и Мирон знал, что она никогда уже не улыбнется ему с теплым ожиданием и не скажет задушевных слов. В Москве он еще мог бороться с нею и защищаться от ее горьких обличений. Но сейчас ему нечего противопоставить ей: Цезарь обезоружил его безжалостно.

Вспомнилось орлиное лицо Серго, его горячие глаза, проникновенная улыбка и задушевный голос: «Буржуазия погасила священные огни, а мы их зажгли...»

И как убежденно и гневно сказал он: «Революционер не может быть плохим отцом».

Да, он, Мирон, был революционером, бойцом, но ребенок отверг его. Ольга заплатила своими муками не только за свои, но и за его ошибки. Она ужаснулась, но было уже поздно. У Прихромова она в отчаянии решила, что он умер для нее навсегда...

Что ж, умен не тот, кто не делает ошибок, а тот, кто умеет во-время исправлять их. Он видел ошибки других, а к своим был слеп. Чтобы иметь право судить, надо обладать мужеством беспощадно относиться к себе. Если смотрят на тебя осуждающие глаза, ты еще не знаешь, что такое счастье.

Викентия Михайловича встретили рукоплесканиями. Он поднял руку и крикнул своим, по-рабочему грубоватым голосом:

— Мы дрались не только за плотину, но и за жизнь, за человеческое достоинство. Мне или Кряжичу труднее всех досталось в этой борьбе, но и счастье наше острее. И теперь, несмотря ни на какие кромешные силы, уже не отдерешь нас с вами друг от друга... никогда!..

Это был крик торжества и исповедь друга. Он заключил призывно: этот подъем — только прилив новой волны. Мы завоевали невиданные высоты, а впереди еще более высокие хребты. Не останавливаясь, мы пойдем дальше с новой энергией.

5

Катя весь день не находила себе места. В Доме общественных организаций она узнала, что ночью на митинге будет произведен розыгрыш мест в блоке для приема последней бадьи. Только несколько счастливчиков из передовых бригад удостоятся чести уложить эту историческую последнюю порцию бетона. И это известие ошеломило ее. До этого она была уверена, что обязательно примет бадью, утопая в ее цветах. Об этом узнают миллионы людей, и сам Серго улыбнется, когда прочтет ее имя: ведь она это счастье заработала, этого счастья никто не мог у нее отнять. И вот неожиданно перед нею закрылась дверь, и эта дверь откроется перед тем, кто вынет счастливый билет. Девчата измучили ее своим беспокойством — вздохами и недовольным бурчаньем. Только Валечка Анохина стрекотала и вертелась как сорока. Когда расходились по домам, Глашатка не выдержала и пролепетала:

— А если все-таки... если мы все-таки окажемся за бортом?..

Катя упала духом.

Ночью она стояла вместе со своей бригадой в толпе бетонщиков и ужасалась: разве можно надеяться на счастье, когда тут яблоку негде упасть? Каждый из этой толпы имеет такое же право спуститься в блок, как и она. Кто из них будет счастливцем — этого не знает никто...

Подошла Паша и с обычной строптивой лаской отвела ее в сторону.

— Мне прямо стыдно глядеть на тебя, Катерина: ты владеть собой не умеешь... Что это такое?

— Откуда ты взяла, Паша? Я очень спокойна. Но пойми: ведь я же мечтала об этом... Я, может быть, больше других имею право...

— Вот как!.. А я и не знала, что у тебя — особые привилегии. Растолкуй мне, пожалуйста...

— Толковать не о чем, ты знаешь сама... — озлилась Катя.

— Я одно знаю, Катерина, что ты очень зачванилась. Задираешь нос и якаешь... Видеть не могу!..

— Ты меня, Паша, не туркай. Я сама знаю, какая мне цена...

Паша насмешливо сверкнула очками, отвернулась и утонула в толпе.

Пожилой бетонщик, в праздничном костюме, чисто побритый, в насупленной кепке, все время щурился на Катю и усмехался. Он подмигнул ей и пискливо пропел:

— Для своей красоты — ленты да цветы... Так, что ли?.. А дружье дело свинья съела... а?

И засмеялся.

Ей казалось, что все эти и молодые и пожилые бетонщики смотрят на нее с презрением и радуются ее унижению. А когда она увидела поодаль отца, который посасывал трубочку и с улыбочкой поглядывал на нее из-под козырька старой кепки, ей стало тошно. Он не подошел к ней, а как будто ждал, как она выдержит это испытание. Ей хотелось и броситься к нему, как бывало в детстве, когда ее обижали, и скрыться, чтоб не видел он, как ей больно...

Розыгрыш начался. Около урны стояли Мирон, Васяй и Паша, а перед ними вдруг очутился Алешка Осокин. Ему было поручено вынимать билеты и передавать их Мирону. Васяй, в пальто нараспашку, без картуза, стал вызывать по фамилиям бригадиров. Алешка, в белом свитере и тоже без картуза, встречал подходящего сердитым взглядом и решительно опускал руку в урну. Передавал он Мирону бумажку с независимым видом, сдвигая брови. И когда Мирон объявлял пустой билет, Алешка небрежно отстранял рукою неудачника, а перед счастливчиком вытягивался с серьезным видом.

Ольга искала Вакира в этих толпах, окутанных красными знаменами, но его нигде не было. Наташа оживленно разговаривала с Балеевым о постройках в соцгороде, о будущих архитектурных работах.

Феня, очень взволнованная, но уверенная, стояла у опалубки и взмахами рук требовала очистить место у блока. Время от времени она подзывала такелаж-

ника и отдавала ему какие-то распоряжения. Он подбегал к кабинке крана, вскакивал на подножку, высовывался машинист, и они о чем-то переговаривались.

Ольга закрывала глаза, когда встречала далекий взгляд Мирона. Ей хотелось уйти отсюда, чтобы больше не видеть его и не тревожиться ожиданием встречи с ним. Он казался ей до отвращения неискренним, и она страдала от его голоса, от кожаного пальто и картуза.

«Какая напускная важность!..» — думала она враждебно.

Подошла Паша и пожаловалась:

— Катюша нервничает... Если вынет пустой билет, — боюсь, разрыдается...

И сразу же требовательно заявила:

— После подъема — ко мне, Ольга... Вы поддержите меня, Наташа.

И, не ожидая ответа, опять отошла на свое место.

— Нет, нет!.. — забеспокоилась Ольга. — Я никуда не поеду...

— Конечно, нет, Оля... — горячо согласилась Наташа. — Я сама устала до последней возможности.

Почему нет Вакира? Может быть, он здесь, но затерялся в толпе? Нет и Братцевой. Надо обязательно с ней увидеться. Вспомнила, как ездила по трудовым колониям и искала родное лицо. Все эти юноши вызывали острую боль. Их много было, этих лиц, и они сливались в одно лицо... Нужно пережить многолетнюю скорбь и тоску по угасшему ребенку, чтобы почувствовать в глазах каждого из этих детей глаза родного сына. Но ни с кем она так не делилась своей болью, как с Вакиром, и ни в ком не находила такого душевного отклика. Он охотно рассказал, как и когда ушел из дому, как потом приезжал в Москву, чтобы встретить мать, и Ольга поразилась до испуга: он исчез в один год и, может быть, в один день с Кирюшиком — в тот памятный разлив Москвы-реки. Был миг, когда она ждала, что он внезапно скажет: это я, Кирилл Ватагин... Ты не узнала меня потому, что забыла мое лицо, потому, что лицо мое — не то лицо, которое ты знала в ранние годы...

А он только ожесточенно проговорил:

— Кто бы я ни был — Вакир или Вадим Кирпичов, никому от этого ни жарко ни холодно... Вадим-то сгинул, а Вакир человеком стал...

Ольга никакого Кирпичова в Москве не встречала и такой фамилии не помнила.

— Я с вами, как с матерью, говорю. И мне хорошо, что вам открываюсь.

...Васяй вызвал Катю Бычкову. Она бросилась бегом к урне с надеждой и ужасом в глазах. В коротеньком сером пальтишке, в синем беретике, она с готовностью повернулась к Алешке и встретила его задорный нос и насмешливые глаза.

— Подтянись, товарищ Бычкова!..

И, как будто желая помучить ее, долго и старательно перемешивал в урне билетики. Катя стояла бледная, с горячим переливом в глазах, в неподвижном ожидании. Видно было, что ей очень трудно и страшно и она изнемогает от усилий держаться твердо и мужественно. Она не стерпела и, чуть-чуть вскинув голову, вздохнула.

Алешка передал маленькую трубочку в руки Мирона и вытянулся на своем посту с бесстрастием исполнителя закона.

Мирон развернул бумажку и взглянул на Катюшу, но она даже не повернулась к нему. Он молчал несколько секунд, и Катя поняла, что счастье прошло мимо нее. Она опустила веки, оглушенная молчанием. Вероятно, для того чтобы ободрить ее, Ватагин громко сказал:

— Мы все ценим твои заслуги, Катя. Ты умеешь бороться и побеждать...

Но Катя повернулась и перебила его:

— Да ты прямо скажи, Мирон Васильевич, — пусто?

Мирон показал ей пустой билет. А Васяй весело крикнул:

— Не робей, Катеринка!..

Мельком увидела она пристальные, ожидающие глаза Паши, испуганное лицо Фени и вызывающе лукавый взгляд Алешки. Эти массы людей тоже следят

за каждым ее движением. Она отшагнула от урны и звонко крикнула:

— Товарищи, мне, конечно, очень горько... Мы ведь мечтали... Но мы, девчата, дело свое сделали и имеем право гордиться...

Викентий Михайлович быстро подошел к ней и пожал ей руку.

— Вы сильная девушка, Катя. Спасибо.

Разразились овации, заиграла музыка, и Катя вдруг почувствовала себя легко и свободно. Ее подхватила Паша и зацеловала в лицо.

— Катька моя!.. Да ведь я же знала, золото...

Ольга взволнованно прижимала к себе руку Наташи.

— Какая хорошая девушка!.. Викентий Михайлович, дорогой, как это замечательно!.. Ведь это самое лучшее...

У Викентия Михайловича дрогнули брови.

— Я вижу, что вы не напрасно сюда приехали...

Феня прерывающимся голосом отдавала приказания. Кран пронес стрелу над головами толпы. Грянул оркестр, все обнажили головы. Стрела величаво и плавно проплыла обратно с бадьей в цветах и, пульсируя, застыла над блоком.

1928—1938

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Повесть

1. Осенние облака

Когда я остаюсь одна в своей комнате и смотрю в окно — на широкий квадрат двора, на сиреневую муть холмистых далей в прорывах между зданиями, на пустынную печаль осенних полей, — я переживаю угрюмую тоску. Мне кажется, что мир отхлынул за эти размытые горизонты в недостижимую безбрежность, что он — только мерцающее воспоминание о полузабытых образах. Эти тугие увалы в ущербных далях, в зеленой плесени озимей, в фиолетовом бархате осенней вспашки мреют сонным покоем и безвременьем. Сейчас же за корпусом киснет кочкастое болото в бурой путанице осоки и камыша, смятых и изъеденных мокрыми ветрами. А влево, за этим болотом, которое смердит хинной горечью, бесприютно и зябко грудятся в кучу ободранные, с облезлыми соломенными крышами, дряхленькие избушки нашей соседки — беспризорной деревеньки. Людей там я не вижу, и чудится, что она — необитаема. На расквашенном дворе пусто — тоже нет людей. И я леденею от мутного страха: я заживо погребена в этой первобытной пустыне.

Впрочем, эта внезапная волна угрюмого смятения наплывает как облако и уносится быстро: обдаст душу холодом и сыростью и — растает. Обычно это бывает в ненастные дни, когда люди, с которыми я живу — коммунары, — будто слепнут; глаза их выцветают, сипнут голоса, а лица становятся дублеными. В эти

дни они молчаливы, обособлены, замкнуты, слова их скучны, а смех — некстати, как лай собаки в пустоту.

Мимо моего окна прошел Андрей Семенович Ветров — председатель, хозяин, организатор. Он на ходу по привычке быстро вскинул голову в кепке с задранной тульей, встретился с моим взглядом и приветственно взмахнул рукой. Лицо его — жухлое, с суровой складкой на щеке. Глаза с зеленым отливом — жестки, прозрачны, с льдинкой. Он всегда ровен, всегда занят какой-то затаенной мыслью. В этом году собрали чудесный урожай, — у всех были праздничные лица, а товарищ Ветров сутуло ходил по своей территории, точно избегал встреч и разговоров, — ходил не оглядываясь, ущемленный каким-то проклятым вопросом. Я завидую этому простому, рожденному полями человеку, природному мужику, с мозгом чистокровного пролетария. Вера этого парня в будущее, в свое дело, в свои силы — необычайна, и самая его жизнь и жизнь всех нас — только ничтожные пылинки под простором этого неба. Зачем же ему волноваться, нервничать, тревожиться, когда это — чепуха, жалкий младенческий лепет.

Мне неудержимо захотелось выбежать из комнаты, догнать его и прикоснуться к его твердому плечу. Это — единственный человек, который мне нужен был в эту минуту. Я накинула на плечи пальтишко и на бегу хотела надеть калоши, но запуталась в них. Ветров уже заворачивал за угол нашего корпуса. На нем была длинная теплая куртка из солдатского сукна, и эта куртка делала его коренастым и тяжелым. Без дела он никогда не бродит по двору и по задворным корпусам: значит, у него есть какая-то важная работа. Я бежала, как девчонка, по кирпичному тротуарчику вдоль нашего корпуса (этот тротуарчик квадратным бордюром стелется по всем четырем граням двора). Тротуарчик за ночь был вымыт дождем. Только посредине пачкала его рваная лента следов. Из черных окон школы в льдистых отблесках стекол вырывались крики ребят. Сейчас перерыв в моей работе: в яслях матери кормят своих карапузов, а в детском саду —

горячий завтрак и какао для малышей. Там вышколенные мною няни, но, по привычному недоверию, я редко оставляю их одних. Из кухни общественной столовой хлынула на меня теплая, влажная волна варева. В открытую дверь из тьмы вылетели визгливые крики дежурных женщин, смех, обрывки песен, лязг посуды и пронзительное клокотанье жаркого на сковородах, точно там напором хлестали струи воды. Через два часа обед.

Ветров, без сомнения, слышал, как я догоняю его, но не встревожился, не обернулся. Он прошел мимо здания мельницы и маслобойни, но туда не взглянул. Коммунары в длинных парусиновых рубахах выгружали мешки с семечками с можар. Они тоже не обратили на него внимания, но когда я пробегала мимо них, они лукаво скалили мне зубы и дружески махали руками.

Ветров молча, не глядя на меня, всунул свою руку под мой локоть. Я почти бежала рядом с ним, и два моих шага укладывались в его одном.

В руке его я чувствовала дружескую близость и ласку. Этому человеку я верю больше, чем себе.

— Мрачный ты человечина, Ветров. Я не помню ни одного случая, чтобы ты от души расхохотался. Надо, брат, уметь не только хозяйничать, но и смеяться.

— Это ты, впрочем, верно... в чем дело?.. Такая прорва работы и разных неотложных вопросов, что некогда пожрать, некогда пробежать газету, не только о себе думать.

— А вот я, Ветров, прожила здесь год, но мне кажется, что приехала вчера. И все-таки прежняя жизнь кажется очень далекой и давней, как детство. Почему это?

— А потому, что мы живем немножко впереди общего времени. Впереди этих полей — вперегонку с солнышком.

— Очень хорошо сказано, Ветров.

— Какое дело — такое и слово, Галя. В нашей стенной газете один комсомолец написал такие стишки:

Город строит, землю роет,
Кроет директивами.
Поселяне стерли грани —
Стали коллективами.

Видишь, какие слова!.. И мысль — не деревенская.

Он всматривался в кирпичные корпуса впереди и беспокойно играл морщинками над переносьем, точно заметил какой-то непорядок в хозяйстве. Ему хотелось ускорить шаг, но я стесняла его.

— Школу вот надо с весны строить... с сельхозуклоном... Оборудовать надо по-настоящему — лаборатории, практикумы и все такое. Ты знаешь, что с будущего года мы селекционные работы вводим? В чем дело? Почему мы не можем?

В зрачках его затрепетали искорки задора.

— Школа школой, Андрей Семеныч, — это чудесно. Но, дорогой товарищ, ты не забывай о детских учреждениях. Ведь ясли и детский сад помещаются в душных комнатенках.

— Не все сразу, Галя. Сейчас в школе заниматься нельзя — она хуже конюшни. У нас, вон видишь, конюшня-то какая — дворец. Мы же — дураки, на нас — мужичья короста. Коммуне нужны культурные работники. Мы не в бирюльки играем. В чем дело? Сколько ухлопано сил, здоровья, бессонных ночей, и — как мало сделано! А впереди... подумаешь — череп лопается... все впереди. От вчерашнего дня прошли версту, а до завтра остается десять тысяч верст.

Сейчас же за нашими жилыми корпусами (раньше это было имение богатого кулака) молодо и крепко алели свежей кирпичной кладкой несколько зданий — одно выше другого. Первый корпус с продольными окнами под крышей — огромная конюшня для наших першеронов. Она отгорожена широкой оградой. Под длинным навесом тесным рядом стоят можары, тачанки, дроги. На дворе — курганы навоза. Они дымятся, как вулканчики, и теплый парной смрад волнами плывет нам навстречу. Выше — широкий распластанный пакгауз — база земледельческих машин. Этими машинами завалена вся утроба здания, а под навесом, вдоль стены корпуса, громоздятся тракторы, плуги,

сеялки, сенокосилки, дисковые бороны. Еще выше, переламываясь под прямым углом, новенькое здание в саженных окнах, с бесчисленными переплетами рам в разорванном блеске стекол, с теремками на крышах. Это — механическая мастерская. Налево, на отлете, ближе к нашим общежитиям — высокий казарменный клуб, а за ним взлетают тонкими, четкими линиями высоченные радиомачты с фонарями на вершинах, и двумя длинными струнами натягиваются, обвисшие посредине, провода антенны.

Отсюда открываются мутные горизонты. Предрассветный и предвечерний сумрак дней тяжел и холоден. Я жду ночей — без неба, без измерений, — черных, как бездна, когда не видишь во мраке своей руки, а земля растворяется в ничто. Но я люблю свои ночи не за мрак — я люблю их за нашу мечту: скоро наши ночи расцветут частыми созвездиями, затрепещут пронзительными ресницами электрических фонарей.

В путаных наивных словах я высказала это Ветрову. Мне почему-то было немножко стыдно за свой лепет, и я боялась, что он досадливо отмахнется от меня и сурово скажет: «Ну, будет тебе болтать чепуху. Ты бездельничаешь, Галя, вот и лезет тебе в голову всякая фантазия».

Но Ветров дружески улыбнулся.

Эта улыбка у него всегда мгновенна и заразительна — она у него пенится, как шипучка.

— Эх ты, Галя, милая!.. Ты, точно кукушка, считаешь года... Дай срок, дай воспитать и вылепить людей, и мы сотворим чудеса. Помогай, голубка, войди в коммуну — не хватайся за свои отрепья прошлого. Они — как на собаке прошлогодняя шерсть.

Мы привыкли говорить с ним откровенно, в лоб, напрямки. Он выправил меня, очистил (правда, с болью) от жеманных привычек горожанки, от свойственного моему возрасту лукавого притворства девчонки, от кокетства и женских предрассудков.

Иногда сама с собою я забываюсь и, когда смотрюсь в зеркало, невольно, бессознательно прихорашиваюсь и привередливо осматриваю свою фигуру. Лицо мое — некрасиво: я немножко ряба, но глаза —

большие, зовущие, нервные, а брови—густые, пышные у переносья, очень мужественные. Я мгновенно ловлю себя на этом созерцании и злюсь. С ним же, с Ветровым, я чувствую себя просто, открыто, как с родным.

— Андрей Семеныч, мне все-таки непонятно...

— Что непонятно?

— Ты, Ветров, замечательный работник, организатор, товарищ, весь одушевлен идеями и планами... но как же совместить твою личную семейную жизнь со всеми твоими делами и идеалами?

— Ну-с, дальше?..

— Ты не злись, а слушай.

— Я слушаю. Только мне мешает твоя нервность.

— Живешь ты непоследовательно, друг мой. Твоя жена живет замкнуто, тебя не понимает, все наши порядки ненавидит, детей держит при себе и не хочет отдавать их ни в ясли, ни в детский сад. Как же это понять? И как же можно при таком примере перевоспитать других женщин? Мне почему-то не удавалось раньше поговорить с тобой об этом, а теперь изволь мне отвечать.

Он невесело засмеялся.

— Эх, Галя, Галя!.. Ничего ты не понимаешь. Все это — верно, и это мне стоит очень дорого. Я тебе все это изложу как-нибудь, а теперь сделаем обход наших товарищей животных.

2. *Скотий мир*

Мы вошли в конюшню, и на меня хлынули теплые, влажные волны конского пота, солода и навоза. Впрочем, навоза не было: длинный коридор в полусумрачной перспективе, с открытыми кабинками по обе стороны, был чист, опрятен. В каждой кабинке могуче упирался на упругие ноги атласный, горячий зад лошади, с длинным волнистым хвостом. Крутые бедра вздрагивали, блестящие бока и вогнутые спины с породистой грацией напрягались трепетом жизни. Кажется, что лошади чувствовали нас на расстоянии: они вскидывали выгнутые шеи, сверкающие металлом,

встряхивали струистыми космами грив, поворачивали к нам чеканные головы и ржали нам навстречу. Ветров сразу же забыл обо мне и ринулся к первой кабинке. Он бесстрашно подошел к лошади и ласково пошлепал ладонью по крутым бедрам животного. Мне было страшно: лошадь раздраженно затопала копытами, а по телу пробежали струйки дрожи.

— Андрей Семеныч! Оставь ее, пожалуйста!.. Не надо, — она убьет тебя.

Но он уверенно гладил перламутровую шерсть першерона, елозил рукой между ногами и по брюху.

— Красавец мой!.. богатырь!.. озорник, черт!.. Ну, ну, не балуй! Батрак!

Это тот знаменитый Батрак, который был куплен на лучшем племенном заводе как чистокровный производитель. Это — гордость нашей коммуны.

Ветров неохотно вышел из кабинки, не отрывая глаз от Батрака. Лошадь тоже любовно провожала его огненными глазами, чутко стреляла ушами и бархатно ржала, точно смеялась.

— Прямо оторваться от него не могу... какой красавец!..

Где-то в глубине конюшни свирепо кричал конюх:

— Гыть, ты... дурак!

Мы пошли по коридору мимо кабинок. Лошади тревожно вздрагивали, волновались, встречая нас.

Конюх Карпуха, добродушный силач, лукаво улыбался нам навстречу.

— Майка не дает покою этому черту, Батраку. Бунтует, как магнит. Да ведь как!.. Чистая девка... А он на стену лезет, начинает куролесить... Сегодня всю лошадиную команду растревожил: грохот, вой, бунт — насилу уняли. И все через ее подлое коварство.

— Так нужно было подпустить жеребенка... люди!..

— Только этим и уняли.

— Так при чем же здесь ее коварство? Жеребенок ей нужен, а не жеребец.

— Ну ты, Андрюша, не пой... Знаю я ее бабью натуру — любого с ума сведет. Такой уж капризный характер. Просто ведьма, будь она проклята!

— Распорядись, Карпуха, сейчас же послать за ветеринаром. (Голос Ветрова был по-хозяйски строг и требователен.) Он опять пропустил свой очередной осмотр. Я ему задам хорошую вздрючку.

— Да, Андрей Семеныч! До каких пор мы будем ухаживать за ним? Что он понимает в конском деле? Я сам, как сказать, лучше его размышляю. Никакая он родня лошадям.

— Ну, нечего рассуждать. Ты — конская нянька, а не доктор. Делай, что говорят.

Карпуха злорадно хихикал.

— Ведь умора, истинный бог!.. Как мышонок — серенький весь от страху: боится подойти... тыкнуть пальцем боится.

Ветров не слушал Карпуху и смотрел заботливо мимо него.

— После обеда придет наряд плотников. Надо переделать кормушки.

И улыбнулся своей мысли.

— Усовершенствования вводим. В журнале описано замечательное изобретение кормушек, ну, а я сам еще кое-что ввел. Да! Карпуха! насчет кормежки и комбинации корма... Ты провел, как я распорядился?

Карпуха погрустнел.

Видно было, что он не сочувствовал новшествам Ветрова, но подчинялся ему поневоле.

— Раз приказано — как же не ввел? Ввел. Я — не один год при лошадях, а все эти антимонии — только беспокойство для животней. Лошадь — природное вещество: она любит простоту. Ты у меня спроси...

Ветров сдвинул брови, но в глазах его вспыхнула насмешка.

— Ну, Карпуха, ты такой же эксперт, как наши бабы по части воспитания детей. В чем дело? Ежели бы мы слушали баб, так давно бы развалили коммуну. Конюх ты хороший, слушать тебя будем, но... делай все-таки то, что тебе полагается.

Ветров подошел к Майке с кофейным долгоногим жеребенком сбоку. Он терся об ее атласный бок, тыкался головенкой под брюхо, вздрагивал, помахивал кудрявым хвостиком, пугливо настораживался, вски-

дывал шею и смотрел в нашу сторону наивными глазами. Майка, стройная, выточенная, в переливах искр, с гибкой фигурой тонкого, прекрасного рисунка, посматривала на нас гордо и строго. И когда Ветров обходил ее и ласково гладил по торсу и бокам, по шее и голове, она брезгливо вздрагивала и нетерпеливо отстранялась.

— Ведь вот какая задавака!.. — восхищенно морщился Карпуха. — Никак не потрафишь... Всех считает за дрянь, за хамов, только она хороша да красива. Ведь вот поди ж ты... — с пристальным изумлением щурился он на меня: — лошадь... животная... а ведь о себе здорово понимает — чует свою красоту. Ведь вот вы, девки, какие!..

Меня разбирал смех.

— При чем же тут девки, Карпуха? По-твоему, может быть, нужно и девок поставить в кабинки.

— Да ведь один черт, Галя Ивановна: такие же каверзные и ехидные. Одна порода.

— Как же тебе, Карп, не стыдно... а еще коммунар!

— Да это я любя... Неужели же я, как сказать, позволю на тебя надеть недоуздок и водворить, за мое почтение, на это кобылье место? Ежели бы я так любил людей, как лошадей, цены бы мне не было.

Меня мутила обида и зависть. Вот Ветров о животных заботится привередливо, а о детях, о детских учреждениях не говорил со мной ни разу. Это мужичье влечение к лошадям оскорбляло меня: для него лошади дороже, чем дети.

Из конюшни мы сразу же попали в коровник. Те же кабинки, только просторнее, с мягкой соломенной настилкой. Я люблю этот молчаливый, задумчивый коровий мир. Тут — запах молока и пряный аромат колосьев. Эти рыжие, плюшевые коровы, с мощными утробами, с грустными глазами, с тяжелыми розовыми бурдюками вымени, распирающими задние костистые ноги, с сосками как жирные пальцы, — эти наши породистые коровы трогают меня, к ним я чувствую какую-то телесную нежность. Это — мир матерей, мир радостного кормления и любви к детенышам.

Кажется, что эти покорные, тяжелые от материнства чудовища только и живут своим чревом, своим выменем и всю свою грузную жизнь только и лижут своих тупомордых, слюнявых, таких же плюшевых телят. Коровы помещались по одну сторону, телята — по другую, — по два, по три, по четыре. Матери и телята дремотно жевали жвачку.

«Эти глупые сосунки — тоже в яслях», — думала я, и мне хотелось гладить их по теплой шерсти. Ветров вполголоса говорил с двумя рабочими — щетинистым стариком, с доброй усмешечкой, и молодым парнем, который поминутно подтягивал штаны.

Они ушли в дверь направо — оттуда доносились хрюканье свиней и пронзительные визги поросят. Я с сожалением уходила из этого материнского молчания. Почему даже у животных-матерей всегда тишина и воздух дышит таинственной скорбью?

В нос бросился острый мускусный запах. Он отшиб меня назад, и я сразу вспомнила, что мне надо идти к себе — к своим ребятам. Там уже, вероятно, ждут меня. Надо начинать обычные игры в детском саду.

В свинарнике был такой же простор и стальной рассеянный свет. Широкий коридор струился вертикальными линиями: столбы в серой окраске — как колонны, и между ними — железная решетка. По одну сторону лежали борова, по другую — матки с целыми выводками розовых шустрых поросят в серебряной щетине. И опять я забунтовала от обиды. Ветров — сам скотина, если способен наслаждаться свиньями. Дети задыхаются в маленьких комнатках с маленькими окнами. Нет ни удобной мебели, ни зелени, ни набора белья. Ванны — из листового железа — грохочут как гром, гнутся, режут руки. Они в яслях стоят вдоль стены и пахнут ржавчиной. Между кроватками трудно пройти: они сбиты в кучу, и их приходится раздвигать и беспокоить детей. Эти железные клетки, сделанные в нашей мастерской, свистят, звякают, кусаются. Этого больше терпеть нельзя. Здесь — нежные заботы, усовершенствования, сюда он ходит каждый день. Он, как врач, строго и внимательно осматривает

каждую клетку, где лежат обессиленные от жира, как туго налитые бурдюки, хрюкающие уродины.

— Ты не чувствуешь этой нелепости, Ветров? Свиньи и дети...

Он ласково и мягко взял меня под локоть и засмеялся.

— Ты погляди-ка лучше на этих чертят, Галя. Ведь какая потешная шантрапа, а?

Упругая куча поросят шарахнулась от нас с хрюканьем и визгом в золотые волны соломы. Потом все сразу застыли на месте и опять шарахнулись в сторону, к рыхлой розовой туше, похожей на густое тесто, выброшенное из огромной квашни. Туша лежала неподвижно, зарывшись мордой в солому, и хрюкала, нежась от лени и жира. Ее вымя переливалось внутри, и набухшие гроздья сосков сползали в солому, горячие, налитые молоком. Поросята вдруг сразу повернулись к нам курносыми мордочками. Пятачки их розово и жадно задрожали в судороге и четко отпечатались на сердитом серебре их щетины. Это была целая свалка живых сахарных булочек, тесно сбитых, сросшихся боками. Глазки их, в седых ресницах, глупо моргали и уморительно свирепо грозили нам своей настороженностью и яростным любопытством. Две пары их внезапно оторвались от общей стаи и беспричинно стали вертеться на месте с остервенением диких зверков: и тот и другой терлись боками и били пятачками по ляжкам друг друга. Я вцепилась руками в решетку и смеялась. Ветров сел на корточки и просунул руку в отверстие решетки, цокая языком. Поросята вдруг опять с визгом шарахнулись к матери и сразу же рухнули на рыхлое брюхо. Все они быстро зарылись пятачками в вымя и зачмокали с младенческой алчностью. Свинья заколыхалась, расплылась еще шире и застонала тихо и томно.

Жизнь. Нерушимое, бессмертное, полное горячей любви и жажды размножения материнство. На сердце хлынула теплая, трогательная волна умиления к этим ворохам наивных, уморительных существ. Ветров смотрел на меня с веселой мальчишеской шалостью в глазах и улыбался.

3. *Встряска*

Небо было бурое, мокрое, низкое, холодное. Плыла туманная изморось, и волосы мои сразу отяжелели. Пахло болотом, мокрой землей и прелой гнилью бурьяна. Казалось, что наше взгорье стекает вниз медленно, противно, как кисель. Длинный корпус механической мастерской твердо алел кирпичной стеной, и огромные окна блистали разорванными вспышками. Точно впервые я увидела над зданием мельницы и маслобойни высокую тонкую трубу с карусельными лучами проволок, которые струились от ее середины вниз, в крутом наклоне. Зеленый дым кудряво и мягко улетал в размытые дали, в болота и распластанные кряжи на той стороне долины. Стремительно взлетали в небо упругие вертикали высочайших радиомачт у клуба. И эти вертикали, и плоскости стен, и вихри дыма сразу выпрямили меня — в душе стало устойчиво, просто и уверенно. Нет, я несправедлива к Ветрову: здесь, в этой дикой яме, где еще обитают домовые, где затеряны крестьянские хутора в смраде жилого духа прадедов, дерзко отливается новый человеческий труд. Нет, я — глупа и зла.

— Ты не сердись, Андрей Семеныч. Но, дорогой мой, ведь мне хочется, чтоб все было чудесно.

Неожиданно он подхватил меня и поднял, как ребенка. Потом тихонько поставил на ноги, отвернулся и быстро зашагал к мастерской.

Лицом к лицу со мной столкнулась Луша. Она стройная и гибкая, а глаза — девичьи, ожидающие. Лоб ее — выпуклый, как у ребенка, а губы так и тянутся к поцелую. Вся она дышит здоровой плотью. Волосы у нее — пышные, густые. Длинные косы высоким жгутом лежат на затылке. Это — жена секретаря совета коммуны, Гуляки.

— В мастерскую иду, родпаечка. Возятся там греховодники со столовой мебелью. Быт, быт... а о столовой нет заботы. Ах, Галочка, жизнь-то ведь нам дается один раз... не напрасно цветы по весне расцветают!

У нее сверкали белые зубы. Глаза, знающие, голубые, ласкали меня своей жизнерадостностью.

— Плюнь ты на всех, золотая!.. Ну и пускай видят, пускай ахают и судачат. Да ежели я захочу — вся распахнусь душой. Вот цветы из бумаги все делаю в столовую. Ведь я очень ловкая насчет цветов, страсть люблю делать цветы! Моего Гуляку... слышала, чай?.. Посылают в ученье... на какие-то курсы... Дура я, Галочка, милая. Одна у меня тоска — детенка нету. Ах, роднаечка, я на все бы пошла, только бы разочек родить. Своего Гуляку, бывает, удушила бы. Бывает, из души воротит, видеть его не могу.

Я чувствовала, как кровь обжигает мое лицо. Мне было досадно и стыдно, точно меня изобличили в воровстве. Луша видела, как нес меня Ветров, но в глазах ее я не заметила пакостной насмешки сплетницы. А все-таки мне было страшно: бабы будут чесать языки, и зашелестят сплетни по углам.

— Ты видела, Луша? Это было совсем неожиданно... Никогда у него не было даже намека... да ничего и нет... и не будет... Я совсем не хочу, и к нему у меня нет ничего, кроме товарищеской дружбы.

— А ты и не думай, роднаечка... Ведь сплетни-то злобятся у завидущих бабенок. Где зависть — там и сплетня. А мне чего не хватает? Я и красивая, и здоровая, и радошная... Одного у меня нет от жизни... Ведь вот, кажись, люблю его, моего Петьку, мужик хоть куда... а ежели бы кто другой по нутру попался, и не подумала бы...

— Как! Что ты, Луша?.. Как это у тебя — просто!

— А что же? Эко, грех какой!.. Что я, пустоцвет, что ли? Чай, по-хорошему, без пакости...

И вдруг испугалась.

— Нет, вру я, девочка, вру... Не слушай меня!

— Луша, хорошая моя! Может быть, ты и права. Я ничего в этом не понимаю.

У ней всегда так: она шагу не может ступить без ласковой тревоги.

— А ты, Галочка, люби... люби и люби... Жизнь-то

ведь, если у души спросишь, хорошая и радостная. Зайди ко мне, роднаечка. Цветы-то у меня какие!

Она пошла от меня споро, зыбко, и здоровую красоту ее тела не скрывали даже пухлые складки ватного пальто.

4. *Заноза*

Жена Ветрова стояла на дороге против маслобойни и, спрятав руки под фартук, разговаривала с грузчиками. Вышла она налегке — по-домашнему — в грязной кофточке, с прорехой на плече, но в теплых шерстяных чулках и истрепанных резиновых калошах. Высокая, костлявая, она выпячивала живот и, откинувшись назад, выкрикивала сварливо, с болью забитого человека. Лицо ее было крупное, деревенское, но высохшее, осеннее, с острыми скулами. Глаза провалились, но веки набухали водянкой. Она искоса посматривала на меня с темным ожиданием, и, когда встретилась с этим ее ожидающим взглядом, я уже знала, что она подстерегает меня. Ветрова выкрикивала с икотой, со смехом, с тоской, а коммунары переглядывались и скалили зубы.

— То-то вы и навыкли глотку драть: кулаки! батраки!.. — Она гнусаво передразнивала их и жалила острым подбородком. — Кулаки! Деревенщина!.. Согнали вас всех, дураков, в общий барак, как арестантов, и дерут по три шкуры...

Бородатый коммунар лениво дразнил ее:

— Матвевна, не рыдай! Промеж дураков тебе, умнице, — не житье, а масленица.

— Дураки — везде одинàки. А умному с дураков нечего взять, окромя горба.

— Это по тебе видать, председательша. Дураки горбы гнут, а ты, умная, только хлеб жрешь. Хоть бы жрала да жирела, а то — никакой от тебя спорыньи: ни красы, ни удовольствия.

— На всех вас, дураков, у меня и мужа хватит. А чтобы я кости ломала на других, без своего интересу, — дурой я еще не была. Я и у родного отца полной хозяйкой жила.

— Да хлеб-то, хлеб-то ты чей жрешь, Матвевна? Кто не работает — тот не ест. А ты — как захребетница: и хлеб жрешь и в хари плюешь.

— Я — мужняя жена, и мой муж обязан кормить меня и детей. Когда я жила в своем гнезде — никто меня не корил насчет куска, а теперь я всем глаза намозолила. Будьте вы прокляты со своей коммуной — ни дна бы ей ни покрышки! Спалить бы ее до золы, чтобы за сто верст от нее гарью воняло. И семья — в порухе, и люди — чумные, и сердце — в неволе...

Откуда-то, из-под пыльного навеса вышел Гришаня, бригадир по погрузке, кудрявый, приглядный парень, с дерзкими глазами. Он уверенно зашагал к жене Ветрова и с тихой угрозой предупредил:

— Гражданка Ветрова! Катитесь вон к чертовой матери! Направьте ваши калоши на обратный ход. Время!

Ветрова выпятила свой живот и закинула голову.

— Я тебе не гулящая, а ты — не вышибало. Кто ты такой? Вклещился здесь, бродяга, без роду без племени, да еще кочевряжится. Ишь мандрыга какая!

Грузчики хохотали.

Гришаня не смутился и, свирепо сдвинув брови, хищно устремился к ней, широко шагая.

— Время!.. — дико заорал он, делая страшные глаза.

Ветрова трусливо рванулась вперед и, оглядываясь, показала ему кукиш.

Рабочие хохотали.

Когда я проходила мимо Ветровой, она обожгла меня ненавистью в глазах.

— Тебя-то я и караулю, голубушка. Погоди-ка, погоди-ка, голоножка! Долго ты будешь за чужими мужьями трепаться? Мало того что к себе по ночам заманываешь, так середь бела дня на шею вешаешься. Нет, ты погоди! Не удирай! Все равно обохалю при честном народе.

Я изо всех сил старалась казаться невозмутимой, но сердце мое замирало и билось от страха и оскорбления. Меня догнал Гришаня и, посмеиваясь, пошутил:

— Хоть эта блоха и не прыгает, однако может ядовито укусить. Провожу вас, Галя Ивановна.

— Не беспокойся, Гришаня. Я не боюсь ее: она визжит и лает издали, как трусливая собака.

— Не скажите, Галя Ивановна. И трусливые собаки кусаются. До дома доведу. Время!

У него это слово «время» было назойливой поговоркой. Особенно часто вырывалось оно у него в те минуты, когда он сердился или распоряжался.

Ветрова шла за нами и орала на всю коммуну. Издали, из черных пустых дверей — из молочной фермы, из зернохранилищ, из кухни — смотрели на нас люди.

Мы шли и молчали, и я дрожала от стыда и яростного порыва броситься на эту дикую бабу и избить ее.

5. Мои первые шаги

Я часто вспоминаю тот час, когда впервые ступила на эту землю. Какая я была тогда смешная, дикая, шелудивая — подлинно городская девчонка. Эта лысая ямина в пологих взгорьях, которые дымились бархатом пашен и озимей, показалась мне пустыней, а белостенные бараки общежитий — тюрьмой. И когда я слезла с телеги в этом самом дворе без кустиков, без травы, в комках засохшей земли, я ощутила безнадежную тяжесть во всем теле и задавленную пустоту вокруг. Мне стало до боли жалко себя, и такой я почувствовала себя несчастной, что хотелось заплакать от отчаяния. Я чуть не вскарабкалась опять на телегу и чуть не погнала обратно извозчика, пыльного, желтоволосого парня, который сморкался в хвост лошаденки и ждал платы за провоз. Должно быть, я была очень встревожена, потому что из черной пустоты двери вышел человек в военной шинели внакидку, с серым лицом, с суровыми складками на щеках.

— Это воспитательница, что ли?..

Голос у него — приветливо-насмешливый и грубовато-снисходительный. Я изо всех сил старалась бодриться и держаться независимо. В самом деле, я не настолько слаба и беспомощна, чтобы хныкать от одного

вида этого бесприютного места и трусить этого человека в шинели. Я приехала на борьбу, на лишения, к людям, которые сами нуждаются в моей помощи. С сердитым вызовом я оглядела этого человека и крикнула:

— Ну, вот... прошу любить и жаловать! Кто у вас здесь главный заправила-то?

— Милости просим! Приехали и — дело с концом, вопрос исчерпан. Комсомолка?

Я усмехнулась и задиристо пошутила:

— Ваш вопрос я принимаю как комплимент.

Он засмеялся и сбежал с крыльца.

— А с добрым вы норовком, девица. И нервочки с шипами. Придется драться с вами, комсомолка.

— Да что вы, товарищ, придираетесь? Помогите мне лучше разгрузить вещи.

Он почему-то не подал мне руки, а только вскользь проворчал:

— Ветров, предсовета коммуны. Андрей Семеныч.

И сразу же сердито оглядел меня с ног до головы.

— А вас как величают? Галина Ивановна... Будем звать Галей. Удобное имя.

Он взял мой чемодан, постельку и скомандовал парню:

— Поезжай на конюшню! Скажи там, чтобы дали лошади овса... Потом придешь в столовую поужинаешь.

И пошел с моими вещами не в ту дверь, из которой вышел, а в сторону, к другому корпусу, высокому, с большими окнами и двумя шатровыми крылечками.

— Валяй за мной, Галя Ивановна! Тут тебе — комнатушка. Можешь устраиваться, как тебе угодно...

Мы пошли по длинному чистому коридору, как в гостинице, с множеством дверей по обе стороны. Несколько дверей и с той и с другой стороны были гостеприимно открыты. Комнатки — маленькие и светлые, очень опрятные, с белыми покрывалами на кроватях и с цветами на окнах. Когда мы проходили мимо них, на меня с любопытством смотрели женщины, простоволосые, с обветренными лицами. Мужчины сидели около столов и неодобрительно провожали меня

глазами. Одна женщина опиралась плечом о косяк и сучила ногами, как муха, которая счищает с лапок пыль. По певучему, изумленному голосу я поняла, что она была очень молода, может быть даже девушка.

— Ой, какая же она молоденькая!.. Ну, какой от нее толк-то? Нанесут ей ораву — разве она, такая, справится?

И засмеялась сочно, всем телом, но не обидно, а с сожалением и с веселым удивлением.

— Луша! — с грубой лаской крикнул, не оборачиваясь, Ветров. — Иди-ка подыши на нее нашим духом, а то девка совсем растерялась.

Он распахнул дверь направо и вошел в светлую комнату с моими вещами. У окна стоял новенький столик и две табуретки, — должно быть, своей работы, а у белой стены — железная кровать. Пряный сосновый аромат густо насыщал воздух.

В окно я опять увидела пыльный комкастый двор и моего извозчика, который дергал вожжами и хлестал кнутом лошаденку. Дымились далекие осенние холмы, и над холмами зеркалилось огненное небо с двумя пепельными облачками, похожими на острова в море. Мы встретились глазами с Ветровым и внезапно улыбнулись. Льдинки в его глазах дрогнули, и в мгновенной улыбке я сразу ощутила простого парня. Он сел на стол, потом сразу встал и, распахнув окно, опять сел.

— Ну-с, так в чем дело, Галя Ивановна?.. С места в карьер — и за работу?

— Что ж, товарищ Ветров, я сегодня же могу представить вам план работ на ближайший квартал, смету и методику.

— Ов-ва, это вот по-нашему!..

Он даже шлепнул ладонью по коленке и крякнул от удовольствия.

— В чем дело? Сейчас же после ужина и собираемся. Хороший будет вечерок. Ну и, конечно, сразу же обзнакомишься со всем нашим активом. А я, признаюсь, как взглянул на тебя в первый момент, так и замутился: ну, думаю, девчонка — тонконогая, с нервами. Но всмотрелся в личишко — ничего: кость

широкая, скула крепкая и брови густой шерсти. Ты — из рабочего или интеллигентного звания?

— Ну а как вы думаете?

— Да будто... кость поперечная, тело не вытянутое.

Мне стало очень легко, занятно и весело.

— Вы меня, товарищ Ветров, обследуете, словно корову.

— А что же? Хорошую работу может делать только здоровый человек. Ну, я пойду по делам: обсуждаем план работ на будущую неделю.

Он ушел, хозяйственно оглядывая комнату.

6. Зеркало

Я с остывающей болью смотрела на огненное небо, на фиолетовые взгорья и прощалась с последним днем моей прошлой жизни. Настанет ночь — темная, немая, по-осеннему мертвая и необитаемая, в степных призраках, и эта тьма распахнет передо мной мое будущее, которое завтра хлынет на меня новым, еще не испытанным рассветом.

Новенькая железная кровать была уже готова: она пухло круглилась под чистым покрывалом.

— Какая же ты молоденькая да свеженькая! И вся-то на парнишку похожа: и волосёнки стриженые, и юбчонка — до самых ягодок.

Луша стояла в распахе двери, вся облитая золотом, с лучистыми искрами в глазах. Янтарные ее волосы, очень густые, до излишества обильные, тяжелым жгутом закручены были на затылке и блистающим кокошником обвивали голову. Губы были мягкие, пухлые, беспокойные, плотские, привыкшие к поцелуям. А нос — точеный, твердый, как огурчик. Грудь держалась высоко, вызывающе, как у девушки. Одета не по-деревенски, а как ходят рабочие женщины — чистенько и привередливо. Она была босая, но ноги тоже были вымыты чисто.

— После города-то поди у нас дико показалось... Чего уж!..

Я подошла к ней и схватила ее за руки.

— Вы и есть та самая Луша? Это вас позвал Ветров?

— Ну да. Я самая и есть.

— Ну вот и отлично. Какая вы красивая!

— Вот тебе славно! Скажет же...

Она засмеялась и покраснела, и видно было, что ей — приятно.

Мы распаковали мой чемоданишко, вместе вынимали белье, юбки, книги, фотографии, безделушки. И когда я вытащила со дна большое зеркало, Луша вся даже задрожала от восхищения.

— Ах, красота-то какая! Такого большущего зеркала у нас во всей коммуне нет.

— Господи, Луша... Что ж тут особенного?

Но я вдруг сама удивилась: зачем притащила с собой это нелепое, громоздкое зеркало? Оно заняло все дно чемодана и тяжело оттягивало его вбок. Это мать купила его перед моим отъездом на последние гроши. Она сама долго смотрелась в него и даже помолодела от его чистого блеска.

— Всю жизнь мечтала купить, Галя, большое зеркало, а не пришлось в молодости. Теперь хоть ты покрасуешься. Это тебе — в приданое.

Я смотрела на нее и хохотала.

Луша заботливо, почти строго уткнулась в зеркальную пустоту и на мгновенье застыла, очарованная собою — другой, скользящей, неустойчивой за стеклом. И эта другая, несуществующая Луша потянула живую Лушу за собой. Молча, медленно вышла она с зеркалом за порог, не отрываясь от своего отражения, и лицо ее бессознательно играло множеством вспыхивающих и угасающих гримасок. Зеркало сверкало в ее руках, отдалялось, приближалось, поднималось, падало. Она любовалась собою вплотную, издали смотрела на волосы, на подбородок, пристально погружалась в свои глаза. Из коридора, не оборачиваясь ко мне, она очень серьезно пропела с задушевной радостью:

— Это мы повесим в коридорчике, Галочка.

В студенческом общежитии мои вещи, мои книги

были неприкосновенны, и к моей кровати, к моему столику никто не смел прикасаться. А вот здесь я, оказывается, лишена самой примитивной неприкосновенности, и на мои вещи смотрят как на общее достояние. Мать истратила для меня свои трудовые гроши, она просила хранить ее подарок, а тут случайная женщина хочет завладеть моей вещью, которая хранит в себе образ моего единственного родного человека.

— Луша, почему же обязательно — в коридоре? Я вовсе не намерена раздаривать гостинцы направо и налево.

Она испуганно обернулась, быстро подбежала к столу и, словно обжигая руки, положила зеркало на скатерть. Она была похожа на ребенка, у которого отняли игрушку.

— Да я же пошутила, Луша, ну?.. Чего ты обижаешься, глупая?

Мы встретились с ней взглядами и сразу же отвернулись.

Она вдруг выпрямилась, спохватилась и строго, как мать, сдвинула брови.

— Ну, пойдем умываться, Галочка. Я проведу тебя. У нас ведь все общее: и столовая, и ванная общая... баня тоже есть... и умывальная общая, и прачечная. Только одежда своя, да мужья и жены собственные. Сперва-то, конечно, дико... Ну, ведь потом привыкнешь... даже хорошо... ей-право!.. никаких забот... Выполнишь свое дело по распорядку — и голенькая, и легонькая, и ветерком обдувает...

Я взяла коробку с мылом, перекинула через плечо полотенце и выбежала в коридор.

— Видишь, как мы живем, роднаечка? Все — двери, двери... двадцать три двери — двадцать три комнатушки. А умывальная с ванной — особо.

— А где будут комнаты для сада и яслей?

— Это ж — рядом, с другого крыльца. Нарочно отделили... Чтобы особо. Вот умоешься, пойдем по квартирам.

— Нет, Луша, это потом... Я хочу поглядеть детские помещения.

— Ты чего же это, дева? Чай, ты в артель приехала, золотая. Сперва надо с людьми глазами встретиться, а там уж — как знаешь...

И в голосе и в походке все больше твердела строгость.

«Это она за зеркало на меня сердится, — думала я с обидой. — Она — бесцеремонна... дает мне понять, что я не их поля ягода...»

Умывальная широко распахивалась в коридор обеими половинками дверей, и воздух горел пылью, а на стене красным раскалом размыто огнились искаженные квадраты окна. Комната была просторная и пустая. Умывальники — длинные, цинковые, на деревянных подставках, как в наших студенческих общежитиях: сверху — резервуар для воды с медными сосульками, снизу — корыто с серым налетом окисления. На стенах — вешалки, на крючках — холщовые полотенца. На одной из стен кнопками был приколот аншлаг, крупно и старательно написанный от руки суровыми буквами: «Мой руки и лицо обязательно мылом!», «Каждый вечер мой ноги, чтобы не было пота! Пот — зараза».

Это мне понравилось. Вот тебе и мужики!

— И у вас тоже красуются надписи, Луша. Должно быть, и здесь развешивают их для того, чтобы нарушать предписания.

Луша надула хорошенькие губки, и глаза ее блеснули обидой.

— Может, это у вас, в городе, так, а у нас только попробуй — сейчас санкомиссия хвост накрутит. Ну, умывайся!.. Я пойду... коли надо — кликни.

И она повернулась совсем сердито и быстро убежала. Мне было ясно: она чем-то оскорблена. Я это почувствовала с болью, и опять одиночество засосало сердце.

7. Шкраб

По коридору я бежала обратно бодро, легко, вприпрыжку, точно смыла с души всю дорожную усталость и эти первые ноющие впечатления. В свою ком-

нату влетела по-ребячьи и сразу же наскочила на незнакомого человека. «Ну, вот опять, — подумала я с огорчением, — оказывается, всякий может войти ко мне бесцеремонно, когда вздумается. Неужели к этому придется привыкать?»

Я отшагнула назад и почувствовала, что мои брови неприветливо шевельнулись.

— Вам что нужно, товарищ? Вы ко мне?

Человек был похож на мелкого служащего — сутулый, в серой бумазейной толстовке, в сапогах, тощий, с синеватым лицом чахоточного, с желтой щетиной на нижней челюсти, с прилипшими ко лбу сальными мочалками волос. Глаза — лихорадочные, но очень печальные — упадочные глаза. И голос глухой и упадочный.

Он нехотя, точно насилуя себя, протянул мне худую ладонь и промямлил:

— Ну, что ж тут... здравствуйте, что ли!

— Ну, что ж... здравствуйте. Откуда вы с таким унынием? Неужели коммунар?

Он с пристальным упреком всмотрелся в мое лицо.

— Ну вот тебе!.. учитель... и коммунар, конечно. — И ядовито каркнул: — Шкраб...

Он оглядел мои вещи, стены, кровать и с досадой огрызнулся:

— Кириков.

И вдруг с презрительной насмешкой спросил:

— Ну-с, так, значит, — к сосункам?.. Вот уж не было печали... С образованием?

Я никак не могла принудить себя к приветливости.

— Ну, с образованием... а вам-то что?..

— Ну, какое там образование... форс один... Систему Монтессори знаете?

— А почему бы мне не знать?

— Ну, а Фребеля? Песталоцци?

— Да что вы ко мне пристали, товарищ? Что за странный экзамен? А потом у нас создается новая система воспитания — советская педагогика. Вы далеко отстали, товарищ.

Он вдруг печально посмотрел на меня совсем дру-

гими, очень усталыми, задумчивыми глазами и грустно сказал:

— Напрасно вы сердитесь, товарищ. Я очень, очень рад, что вы приехали. Работы — непочатый край. И насчет дисциплины у нас — круто.

И опять усмехнулся.

— Здорово здесь насчет дисциплинки винтики накручивают, Галя Ивановна.

— А что, по-вашему, это — плохо?

Я говорила с вызывающей злостью. Какого черта ему нужно здесь? Ведь он прекрасно видит, что он неприятен мне, что ввалился он некстати и унылое его ехидство отравляет меня.

— Ну, во-от тебе... с образова-анием... а вопросы задает нелепые... Круто вам будет с вашим характером.

Я бесилась, но мне хотелось смеяться.

— Подумаешь, какая проникновенность! Вы уж успели постигнуть мой характер...

Он распахнул окно и проворковал:

— Очень рад, что вы приехали... Очень рад... но туго, туго вам будет... Впрочем, обуздают...

— Нет, послушайте, товарищ шкраб, мне очень забавно. Вы ведете себя как пифийский оракул.

Он вдруг засмеялся, и плечи у него запрыгали, как крылья у петуха. И странно: мне тоже стало смешно по-хорошему, по-ребячьи, точно оба мы выкинули какую-то уморительную шалость.

— То есть... вы хотели сказать дельфийский оракул или дельфийская пифия?.. Пифийский оракул, ха-ха...

И этот смех вдруг очистил воздух и внезапно сблизил нас. Стало легко и сердечно.

— Да вы садитесь, товарищ Киреев! Давайте говорить по душам.

— Во-первых, не Киреев, а Кириков... плохое у вас восприятие звуковых впечатлений. В воспитании детей нужно быть чуткой, восприимчивой к звуку. А во-вторых, зовут меня просто Прохором. Меня все так зовут, кроме школяров. Это звучит гордо и основательно — Прохор. И в-третьих, садиться не желаю. Да-с. Ветров — булыжник: крепко сидит в хозяй-

ственных вопросах, как в мостовой. Большой любитель скотских и машинных проблем. Сейчас занят проектом электрификации. Сторонник хозяйственной базы, начиная от свиного и коровьего база.

Он прошел мимо меня, неожиданно выпрямился, молодцевато закинул голову, засунул левую руку в карман и с деловитой рассеянностью взглянул на меня из-за скулы. И сразу же я увидела, что он — совсем молодой, что здесь он — свой человек. В его облике, в уверенном шаге чувствовался самолюбивый характер. Он, вероятно, заметил мой пристальный взгляд и сердито повернулся ко мне на пороге.

— Так вот-с: вы зачем сюда приехали?

Я опешила и засмеялась, но почувствовала, что краснею от смущения.

— Вы меня, товарищ, все время удивляете своими странными вопросами. Вы, очевидно, считаете меня за какую-то простушку.

— Ну во-от... — Лицо его опять стало унылым, а глаза — упадочными. — Ну вот... Сразу видна городская жеманность... увиливание... Не нужно это здесь. Знаю я, как вы мне ответите: служить прибыли.

— Так ведь это же ясно и без вашего нелепого вопроса, товарищ Прохор.

Он строго погрозил мне пальцем.

— Забейте гвоздик в свою кудлатую головку, Галя Ивановна: не служить! Нет! Сотрудничать! Работать наравне с другими по созданию коммунистического общежития... да-с! — И ткнул пальцем в сторону стола. — Вы эти вот свои штучки разные... финтифлюшки... ликвидируйте... Зеркало там... коробочки... Чепуха! Пифийский оракул! Тут надо обобществляться до самой требухи... да-с! Очень, очень рад, что вы приехали...

Меня уже неудержимо влекло к нему. Я вызывающе смотрела в его глаза, нервно-насмешливые, чуткораздражительные, и говорила дерзости:

— Врете вы. И весь вы какой-то заштопанный и в прорехах...

— Диамат учила? Бездушно учила... по шпаргалке... Ну так вот, здесь формулы — побоку: тут

этот диамат чувством и собственными боками нужно зарабатывать.

Он сутуло пошагал к двери, но как будто вспомнил что-то и опять возвратился.

— Да, коммуна... Ячейка будущего общества... да-с!.. А вот школа — какая-то гнусная мухобойня. Своего колодца нет — воду пьют из болота, вонючую. А еще эффектнее — рекордный номер: на двор ходят под небесный покров. Такая пастушеская идиллия. Нужника нет.

Я взвыла от хохота и упала на кровать.

8. *Свое гнездышко*

До ужина я устраивала свое гнездышко. Перестелила кровать, и снежная белизна ее и воздушная легкость окрыляли меня. Убрала столик: накрыла его большим платком в пышных нарядных цветах — подарок матери (этот платок я помнила еще ребенком), — разложила по краям книги, в середине водворила маленькую чернильницу из серого мрамора. Эту чернильницу я купила перед отъездом — не утерпела. Я давно мечтала приобрести хорошенькую чернильницу с блестящим колпачком, похожим на колокольчик. Я поставила ее на столик, долго любовалась сверкающими отблесками на серебристой ее шапочке и даже с детской радостью брала ее за шарик, позванивая по хрустальному кубику чернильницы. Рядом с чернильницей поставила деревянный стаканчик для карандашей и ручек. За чернильницей водворила арматурку из проволок и густым веером натыкала в нее фотографии и открытки. Стены украшала долго: раза три перекраивала и ревниво осматривала с разных точек зрения — от двери, от кровати, от стола. Над кроватью повесила набойку «Аленушку», над «Аленушкой» — Ленина. Напротив на стене — Крупскую, а в виде рамы, буквой «П», повесила свой газовый шарф. В разных местах на той же стене кнопками пришпилила лубочные плакаты: «Как обращаться с грудным ребенком» и «Игры и занятия с детьми дошкольного

возраста». Над столом, в простенке (стол я поставила в угол от окна), пришпилила Максима Горького в молодости, когда он носил длинные волосы. Зеркало я повесила между кроватью и дверью, под ним поставила табуретку, накрыла ее коммунарским покрывалом, которое лежало на кровати, и расставила там всякие принадлежности туалета: бутылочки, баночку, мыльницу, щеточки для зубов и ногтей. Перед кроватью, на полу, постелила маленький половичок домашнего тканья — тоже старинная реликвия: это еще мама привезла из деревни до моего рождения. Все это я делала с большим увлечением и любовью — быстро, вдохновенно—и чувствовала себя счастливой. И когда нечаянно увидела себя в зеркале, даже застыдилась и ахнула про себя: я показалась себе очень хорошенькой. Я отошла к столу, села на табуретку и почувствовала, что устала. Яркими обрывками вспыхивали образы прошлого. Вероятно, вызвали их эти вещи, которые ожили под моими руками.

...Маленькая рабочая семья: отец, мать, я. Маленькая комнатка в рабочем корпусе. Текстильная фабрика. Отец — в инструментальной мастерской, всегда, даже дома, чумазый, в нудных запахах железа и масла, угрюмый, с глухим басом. Он никогда меня не ласкал, но я чувствовала его любовь ко мне и нежную доброту. Он умер внезапно, от паралича сердца, когда я была еще девочкой. Мать боялась его до безумного трепета. Она еще сейчас работает на фабрике.

...Вот я — школьница, шустрая, кудлатая девчонка, задира, забияка, которой боятся даже мальчишки. Потом — фабрика, прядильное отделение. Белая паутина нитей, крылатый полет банкаброшей. Комсомол. Организатор пионерского отряда. Потом — рабфак, вуз. Как все это быстро пролетело! Мне — двадцать три года. Черт с ними, если я чувствую себя семнадцатилетней комсомолкой! Я здесь сотворю чудеса, я поражу всех смелостью своих планов и упорством в борьбе. Сегодня вечером... да, сегодня вечером — через час, через два, — я развернусь перед ними, перед этими захолустными людьми, которые варятся в собственном соку, беспомощные от своего невежества

и деревенских привычек. Они ахнут, разинув рты, и в восхищении будут хлопать себя по лбу: эх, вот кого нам недоставало!..

9. Неожиданные люди

В коридоре вдруг зарокотали мужские голоса, забрякали тяжелые сапоги, и сумеречная пустота сразу заполнилась грохотом. Я встревоженно решила, что эти люди идут ко мне.

Дверь раскрылась быстро, во весь распах, без предупредительного стука. В зеленой красноармейской гимнастерке и штанах, смело вошел парень, очень похожий на цыгана — смуглый, горбоносый, с черными глянцевыми волосами на голове. Глаза его тоже были черные — с кипятком, самолюбивые. Рядом с ним — маленький, коренастый человек, точно сдавленный сверху; лицо широкое, с коричневой шерстью на щеках и подбородке.

Парень цыганского облика протянул мне руку и пристально уставился на меня горячими глазами.

— Гуляка — фамилия. Секретарь совета.

И отошел в сторону — заскользил вдоль стены.

Другой человек подошел вслед за ним и молча, равнодушно, нехотя сунул мне руку. Туго разбухшие пальцы совсем не сжимались.

Гуляка осматривался молча, как будто взволнованно: дотрагивался пальцами до картинок, до шкафа, постукал ногтем по зеркалу, поворошил баночки и коробочки и пощупал покрывало на табуретке.

— Вот что, Галя Ивановна... вопрос становится таким манером: тут у нас сам черт ногу сломит. Я вот гляжу на ваш распорядок и... какой у вас взгляд на свое положение? Ерундистика! Вещественное засорение личности.

Я почему-то испугалась, и мне почудилось, что рука его ущипнула мое плечо. С насмешливой враждой я буркнула:

— Ничего не понимаю, товарищ Гуляка. Что-то уж больно запутанно.

Гуляка молча смотрел на меня несколько мгновений, потом опять прошелся по комнате. От порога он зорко наблюдал за мной с секунду и что-то соображал. Потом показал пальцем на своего товарища.

— Это — Банкин, наш парторг. Парень ничего себе. Он обрадовался вам: женорганизатор ему нужен. Ну, так что же, Банкин, выдвигай свои проблемы или... сообща с бабами?..

Банкин стоял у окна и перелистывал книжку. Он молчал и будто по этой книжке проверял мой образ мыслей. Потом бросил ее и ответил странно, не то себе, не то Гуляке:

— Дело потерпит до собрания. Для нас сущий клад: пролетарка, партийка. Решим сегодня на бюро... Хороший руковод для женщин — похлеще трактора.

Я смотрела на того и на другого, и на душе было невесело: трудно будет жить с этими людьми.

Гуляка опять очутился около меня и вопросительно улыбнулся.

— Да, товарищ... Галя Ивановна... проблем у нас много... Вы как насчет бытовых проблем? Ну там... скажем... вопросы брака... семьи?.. вопросы ревности и половой взаимности? а? и насчет собственности? а?

Почему он издевается надо мной? Чем я вызвала его недоверие к себе?

— Вы лучше, товарищ Гуляка, доложили бы мне о том, какие средства отпущены вам для организации детских учреждений. А ваши вопросы, право, смешны.

Он смущенно почесал себе переносицу и озадаченно поглядел и на меня и на Банкина.

— Гм... зря!.. Мы этим здесь здорово страдаем. Ну, как, Банкин?

А Банкин усмехнулся и пренебрежительно ответил:

— В личной своей судьбе ты только кувыркаешься, друг. Какие твои проблемы? Чушь!

Гуляка все еще задумчиво стоял около меня, точно ждал ответа на свои вопросы. Банкин взял колпачок с хрустального кубика чернильницы, поднес его к лицу и тщательно осмотрел со всех сторон.

— Вот это да-с... Вещь... Колокольчики-бубенчики мои... Трель...

Гуляка, погруженный в себя, зашагал по комнате, засунув руки в карманы.

Он будто рассуждал сам с собой, и голос его был крепким, со звоном, требовательный:

— Ну, все эти проблемы мы решим... в процессе жизни. Идет все к тому в нашем быту, что проблемы отношений часто открываются независимо от нас. Вот наш Кириков на эти проблемы отвечает шарадами. Только, Галя Ивановна, дело в том, что вы запутаетесь в ваших вещицах. В нашем быту нельзя забивать вещами свои интересы. Вы неправильно использовали мебель: табуретка — для сиденья, а покрывало — чтобы одеваться. Шарф вы сделали украшением — значит, он роскошь. Роскошь — самый вредный оборот в обиходе. Как хотите, а мне вот всю эту дребедень хочется вымести отсюда метлой. От этих собственных предметов человек превращается в ежа.

Банкин отмахнулся от него и засмеялся.

— Ну, понес свое... Какие там проблемы!.. У нас — одна сущая проблема — как воспитывать людей, чтобы радостно коммунизм строить. Тебя бы вот в первую голову отхлестать твоими проблемами, чтобы понял и почуял, в чем мудрость коммунизма. Ведь дело коммунизма и твоя судьба. А ты, Галя Ивановна, включайся в творчество: женщин организуй... политработой и воспитанием их займешься.

Гуляка повернулся на каблуках и вышел в коридор. Банкин, не прощаясь, вышел за ним. В коридоре мы столкнулись с Лушей. Этой женщине я обрадовалась, как родной, точно в ней видела свою защиту. Мне было стыдно и больно, и весь уют моей комнаты сразу показался мне постылым и нелепым.

— Луша, дорогая, пойдем ко мне... Всё выброшу... Ну его к черту!..

— Ты, роднаечка, знаешь, кто этот идол? Это же — мой мучитель, муж мой от старого режиму. А я так думаю: ежели мы революцией все растрясли в пыль и прах, так он мне, поповский-то, недействительный.

Хочу живу с ним, хочу — нет. Хоть он, черт паршивый, въелся, как клещ, в душу, а вот взяла да и порешила: ты живи по-своему, я — по-своему, каждый по своим углам, а любовь — вместе... Хорошо ведь?

В этих ее словах было что-то свежее, очень хорошее, неожиданное, новое.

— Луша, милая!.. Ты такая теплая и ядреная!

Гуляка вошел внезапно: увидела я его в тот момент, когда он ласково, с лукавой улыбкой обнял Лушу и прижал к себе.

— Все-таки бабы с полслова понимают друг друга и проблемы решают вздохом.

Луша с притворным негодованием ударила его по руке.

— Ты что это?.. ищейка!.. Сунул нос к новому человеку и сразу же сплеча бьешь обидой... Просили тебя? Ну?

10. Тоска по новым словам

Мне хочется сказать о пережитом новыми словами, такими, которые уже кем-то и где-то произнесены, но еще скрыты и неясны для нас. Я себя чувствую уже по-новому — не так, как я чувствовала и думала год назад. Как хочется воплотить свои порывы и мысли в какие-то неожиданные и свежие слова, которые еще не имели таких красок, такого рисунка, как прежде. Почему люди так бессильны владеть своим языком? Слова, как привычки, как традиции, сильнее смерти: они переживают величайшие революции и целый ряд поколений. Классы умирают — слова еще долго живут. Может быть, наши силы потому изнашиваются раньше времени, что наше слово — еще первобытное орудие воздействия на мир. Может быть, люди умирают сейчас безвременно потому, что их убивает трупный яд старых слов? Мы творим в действии новую жизнь, но нас душат призраки мертвецов.

Впрочем, — мимо. Буду говорить старыми словами о новых делах.

11. Сосунки

Комнаты для яслей и детского сада помещаются в том же длинном корпусе, где живу и я. Они больше всех жилых комнатушек, но все-таки обидно тесны и душны. Комната для яслей в два раза больше моей, а комната детского сада в два раза больше яслей. Обе светлые, ярко-белые. В яслях стоят в два ряда железные кроватки с высокими решетчатыми стенками. Эти кроватки сделаны в своей же механической мастерской. Я до сих пор радостно волнуюсь, когда смотрю на эти чистенькие, белоснежные постельки, где копошатся пухленькие детеныши. Некоторые из них лежат на спинках и сучат ножками и ручками, хватаясь, как паучки, за незримые паутинки, тугой струной протянутые в мир, в будущее. Некоторые из них «гулят», жадно играя с пространством, в невероятных усилиях овладевая лучами солнца. Некоторые орут, бунтуя против своего бессилия достигнуть обильной груди матери. Пусть орут: их легкие будут сильнее, и мускулы лица энергичнее — это первая закалка в жизненной борьбе. И мне всегда становится весело, когда я слушаю этот рев. Заводила этого бунтующего рева — Володька, сынишка нашей Наташи. Он — здоров, сыт, весь в перетяжках, упруг. Орет он обычно колокольным альтом. Он стреляет руками и ногами, лицо его наливается свирепой кровью и искажается гримасой ярости, но глаза не плачут, они ненасытно хватаются за людей, за переплеты кроватки, за солнечные лучи, за собственные кулачки. Шелковая головка ходит ходуном, тугой розовый живот надувается, как пузырь, и кнопка пупка дышит и дрожит непобедимым упорством. За ним начинают орать и визжать другие такие же сосунки и так же сучить ногами и руками. Их беззубые розовые десны, похожие на подковки, с остервенением гложут воздух. Жажда и алчба бьет судорогой их пузатенькие тельца, с тепленькой бархатно-нежной кожей, и все они, такие вкусные, пахнущие молоком, сдобные, трепещут крепкой, ядреной, требовательной волей к жизни. Я часто

смотрю на этот их общий животный бунт, и внутри у меня начинает тоже дрожать непонятный, немой живчик. Я проникаюсь удивлением к этим горяченьким, густо налитым кровью существам — к этим мятежным человеческим почкам, которые уже всосались и в солнце, и в воздух, и в матерей. Потому они и немы, потому они и покрыты щупальцами, что они должны пройти целый океан испытаний — бурь, водоворотов, катастроф, чтобы завоевать мир. С ними я стала богаче, глубже и мудрее.

12. Матери

Несколько раз в день приходят матери и кормят своих младенцев. Они садятся на низкие табуретки около кроваток, около стен, — всюду, где есть свободное место, — чисто вымытые, немного праздничные, странно углубленные, и в их глазах я вижу затяжеленную нежность, торжественную прозрачность и грусть, хотя они всегда в эти мгновения умиленно улыбаются и как будто охвачены изумлением, чувствуя, как младенцы переливают их в себя. Они вываливают из блузок, из рубашек свои разбухшие, трепетно-мягкие груди, с сосками, похожими на клубнику, ребенок рычит «га-га», жадно хватает их своими губами, всасывается, погружает в них нос, щеки и пальцы и начинает урчать от наслаждения. Мать замирает от какой-то внутренней волны и сосредоточенно вслушивается в себя. Я часто не могу оторваться от них, очарованная этим их самоуглублением, и всегда ощущаю какое-то мучительное замирание в груди. Руки матерей уже иные, чем за работой и в обычное время,— они как будто рождаются заново: в их пальцах свой, невыразимый язык, который не хочет и не выносит слов. Глаза матерей встречаются и сливаются в общем всплеске. Часто женщины не могут выдержать внутренних волн. В глазах их дрожат лучистые капли, и они начинают ворковать странные, необычные слова любви, которые не живут на языке будней. Это язык особой

материнской поэзии, который понятен только этим двум слитым в одно существам.

— Сынишечка моя, шишечка, дороговишечка...

— Пипуля моя, мимуля, дочуля...

Иногда я вдруг слышу эту материнскую заумь, как бред, как игру взрослых в младенцев. Я смотрю на них и смеюсь, смеюсь тоже необычно, по-младенчески, колокольчиком. Они не обижаются, — и теплые капли в их глазах лучатся.

— Вот роди да корми, милуша, тогда и почуешь... тогда и узнаешь, где у тебя сердце... испытаешь тогда, что есть плоть и кровь...

У этих женщин — обветренные лица, и каждодневный их труд воплотился в них затаенной вдумчивостью, знанием жизни, морщинами житейской мудрости. При разговоре матери смотрят на меня как-то сбоку или в упор, испытующе, себе на уме, вытирают пальцем уголки рта, с сочувствием, и я вижу, что они уже заранее знают, что я думаю, что я скажу, и снисходительно улыбаются, как ребенку, который лепечет о серьезных делах, не понимая их сложности и смысла. Я уже сжилась с ними, и они прилепились ко мне. Но я чувствую, что между мною и ими дымится какая-то пустота: есть какие-то чувства, мысли, слова, которые не совпадают, есть какие-то движения в душе, которые взаимно отталкиваются.

13. Детский сад

Пока они кормят своих карапузов, я ухожу в другую комнату, в детский сад. Из-за двери в коридор вихрится детское разноголосье, отдельные взвизги и выкрики. Это — время завтрака или обеда. Детишки одеты в серенькие рубашонки, сидят за двумя круглыми, очень низкими столиками, на коротконогих табуретках — таких же, как у матерей. Эти круглые столики в бордюре непоседливых, беспокойных малышей похожи на огромные подсолнечники. Перед каждым воробьем стоит тарелочка с едой. Они неуклюже и

жадно пожирают пищу — одни орудуют деревянными ложечками, другие — просто пятерней. Толкаются, шалят, ссорятся. Няни обходят вокруг столов и водворяют порядок. Эти беловолосые, щекастые человечки любят меня, привязаны ко мне: достаточно мне появиться в дверях, как они срываются с мест и устремляются ко мне с оглушительным визгом. Они облепляют меня пчелиным роем, щебечут, хватаются за мой халат, страстно протягивают к моему лицу множество ручонок, хватают пальцами воздух и требуют моего внимания, моей любви к ним, одного моего взгляда, улыбки. Здесь, около меня, совершаются целые драмы и бурные ликования. Вот те, которые не могут протискаться ко мне, как отверженные, в отчаянии ревут, дерутся, кусаются. Ревность разыгрывается в самых тяжелых формах.

— Уйди-н!.. я хочу... Не ты, а я хочу...

— А-а! Ванька кусается... (пронзительный визг). Галя-а! Ванька щипается... Чего Манька — задом?..

Приходится немедленно спасать положение: я раскидываю руки, как крылья, и начинаю встряхивать ими, точно рассыпаю над всеми этими головенками все изобилие моих даров.

— Что же это вы, ребятки? Мы же все товарищи и любим друг друга. Как же вы даете в обиду другого? Ваня — старше, а Маня — маленькая и слабенькая.

И привычные крики:

— За руки! За руки!..

— Галя, расскажи... об араплане расскажи... Ковер-самолет...

— А Манька — опять меня задом... дуреха!..

Хохот.

— А Петька, паршивый, забрал все ножницы... Захватил брюхом и дрягается. Говорит — мое... Гляди, брюхом катается...

Петька ехидно глядит исподлобья и дразнит нас и руками и ногами.

— А ну, ребятки! Вы же все одинаковы, у вас все общее. Разве у взрослых есть что-нибудь свое:

лошадка? коровки? машины? Встань, Петя, — обрежешься...

— У папки — пальто свое...— с задорной хитростью победоносно кричит кто-нибудь из них. — А у мамки — новые башмаки...

— А у моей мамы — кольцо шеребряное и шерожки...

— А у меня — кукла есть... ага!.. — хвалится девочка с гордостью собственницы. — Ни у кого нет, а у меня есть... ага!.. Папанька из города привез... с глазами и зубиками...

Ах, как трудно бороться мне с этими их собственническими инстинктами! То, что внедряется в них здесь, то, что упорно и каждодневно стараешься развить в них, как привычку, как мысль-чувство, они теряют дома: семья в одно мгновенье кромсает все, что вкладывается в них в течение многих часов. Эта моя борьба не с детьми, а с семьей, которая еще живет старыми навыками, старой любовью к вещам.

С этими малышами мы гуляем по территории коммуны, знакомимся с трудом взрослых во всех участках хозяйства. Мы с Наташей приучаем их воспринимать этот труд как труд не для себя лично, а для всех, для всего коллектива в целом. Все эти люди, которые работают артелями и в поле, и на мельнице, и на маслобойне, и на скотном дворе, и в мастерских, и на молочной ферме, и на кухне, — не чужие дяди, не соседи, отгороженные собственническим забором, а близкие, родные, члены единой семьи, и жизнь их — не стяжание, а общее благо. Каждый день мы тоже работаем — выполняем общественный труд: мы изготовляем игрушки, рисуем, украшая комнату, мы собираем букеты цветов для столовой, шьем тетради для школьников, изучаем наши машины, изготовляем по-своему модели и работаем на них, разбиваясь на бригады, по всем правилам разделения труда и распределения рабочей силы. Мы изучаем анатомию и физиологию животных, их жизнь и нравы и уход за ними. Мы, наконец, изучаем сами себя, утверждаем гигиену, организуем разные ячейки: бытовую, шефства над животными и растениями. Одна из важных ячеек — шефство над сво-

ими семьями и над детьми хуторян: мы стараемся воспитать отцов и матерей так, чтобы они не ссорились, не говорили грубостей, не молились, не держали икон, не сплетничали, а в соседних деревеньках, куда мы ходим очень часто, сближаемся с ребятами, рассказываем о себе, о коммуне и убеждаем матерей отдавать детей в ясли и детский сад.

И в этом детском миру я чувствую, что сама приобретаю новые привычки. За год незаметно мои мысли воплотились в чувство. Я уже не стала замечать различия между теорией и поведением. Прежде я всегда чувствовала над собой некий дамоклов меч: догма, идеология, как грозные судьи, всегда внушали мне что-то вроде страха. Я всегда следила за собою: каждое мое слово рождало тревожный вопрос — достаточно ли я мыслю по-марксистски, достаточно ли я усвоила диалектический материализм, нет ли у меня мелкобуржуазных, мещанских уклонов. И когда кто-нибудь из студентов и товарищей в спорах бросал мне насмешливо и ехидно: «Ну, ты, Галя, ересь порешь. Это — не большевистская установка. У Ленина в такой-то статье говорится иначе...» — я замирала от испуга, бежала в библиотеку, перелистывала Ленина и искала то место, на которое указывал товарищ.

А теперь мне даже и в голову не приходит следить за своими мыслями. Марксизм — это я, это — мое общественное бытие. И я, и все эти люди — от мала до велика — нераздельны, точно я — только проявление их всех, а они — это я. Их ошибки — это мои ошибки, их успехи — мой успех, и их волнения, заботы и радости воплощаются во мне. Согласно ли это с идеологией, противоречит ли это ленинизму — как-то не догадываешься спросить себя об этом.

Но люди здесь все-таки разные, и разное у них отношение ко мне. Одни из них ненавидят меня и всегда смотрят как на непримиримого врага, другие — очень любят и дружат со мной, третьи — равнодушны, не замечают меня, как и всех. Острую злобу вызвала я у некоторых в первые же дни.

14. Женщины

Вскоре после приезда я собрала женщин и устроила беседу о яслях, о детском саде, о воспитании детей, о кормлении младенцев и все время напирала на то, что это они, коммунарки, в этом глухом углу являются первыми организаторами общественного детского воспитания. Женщин было много. Они сидели на скамьях в просторном зрительном зале, в платочках и простоволосые, с затруженными жухлыми лицами, с плотно сжатыми губами, с пытливым отчуждением в глазах, в которых твердела какая-то своя, приобретенная деревенской жизнью, установившаяся, простая мудрость. Много было девушек, уже одетых по-городски, — в коротких юбочках, в блузках. Некоторые были стриженые. И лица их были иные — вызывающие, озорные, заносчивые, а глаза — широко открытые, порхающие, взволнованные. Они уже забыли деревенский, стародавний этикет притворной скромности и стыдливости: они уже не «статились», как их матери в девичестве, то есть не поджимали губ, не опускали глаз и не говорили слабеньким голосом покорной кротости. Они были похожи на комсомолок и на фабричных девчат. Держали себя развязно — кричали зычно и хохотали. Бабы огрызались на них, а они только отмахивались и пренебрежительно фыркали.

— Постыдились бы, охальницы. Хорошо, что ли... Эка, бесстыдницы, как распохабились!.. А еще девушки...

Девчонки дерзко срывали бабьи голоса:

— Ну, ты не очень-то больно лайся, тетка Авдотья. Будьте довольны, что вы за нас в свое время отстыдились. Нам стыдиться нечего. А батька родной — такой же коммунар, как и я. Вожжи-то тут — общественные, а на битье — руки отрезаны.

И в этот памятный вечер я впервые пережила бурное восхищение от выкриков девчат. Вот с кем я буду работать! Вот кто будет моей опорой в борьбе!

В президиуме сидела рядом со мной пожилая жен-

щина с иконописным лицом. В глазах — утомленная, непередуманная мысль. Но она решительна, строга, как свекровь, грудь выпячивает вперед, крупную голову закидывает назад. Это жена коммунара, одного из организаторов коллектива, бывшего партизана. Ее, в отличие от других, зовут по фамилии — Чушкина. Беременная Наташа, комсомолка, подпирала руками обильные груди, смотрела в зал, на женщин, с едва приметной лукавой улыбкой. Живот у нее уже туго выпирался и натягивал юбку. Точно дразнила она замужних женщин своей девической дерзостью: любуйтесь, мол, как я бесцеремонно разрушаю ваши вековые предрассудки.

Чушкина встала, строго оглядела собрание и вдруг улыбнулась.

— Ну, что же, бабы? Распоясывайтесь. Когда мы в деревне, как проклятые, ни днем, ни ночью покою не ведали, мы, по нашему обездоленному положению, только молчали да горе мыкали. А теперь никто не может нам рот заткнуть — ни кулаком, ни бородой, ни дубиной. Говорите! Выкладывайте, что есть на душе!

Она медленно опустилась на стул и сварливо крикнула:

— Ну, нечего шушукаться! Давай! Выступай, кому охота.

Все молчали, ежились, смотрели на нас угрюмо, скрытно, себе на уме.

Первыми сорвались с мест те же девчонки. Они разрумянились от волнения, и глаза их блестели жарком.

Глаша, комсомолка, крупная, мускулистая, румяная, вышла к столу и закричала:

— Мы уже давно об этих самых яслях думы думали. Ждали и в городе все пороги обили.

В куче баб кто-то визгливо засмеялся.

— Это ты, что ли, ждала, Глашка? Аль родить собралась?

Глаша дернула головой и огрызнулась:

— А мне родить никто не запрещал, — может, я напложу детей целую ораву. Я — не в деревне:

младенцев душить не буду, и двери мне дегтем не вымажут. Да и выкидышей не буду делать, как вы.

Нетерпеливый голос вздохнул с притворной озабоченностью:

— Глашка, ты говоришь, девкам — равноправие. А ведь бабы-то — жадобы. Со света сживут. Почему это девкам родить стыдно, а бабам — почет? Надо всех зачислить по одному разряду, а стаж — дело маленькое.

В рядах засмеялись, бабы озлились, а Глаша сурово и грубо выкрикивала:

— Я же и говорю, девчата: их деревенский устав для нашей артели ни к чему. Они сами себя выпороли. От кухни оторвались, от стирки отстали, а когда детей девать стало некуда — яслей этих не было, — они и родить не захотели. Посчитайте, сколько у нас баб аборты делают, сколько больных лежит. Отчего две молодухи окачурились? Пускай уж лучше молчат. С детищами у всех до ручки дошло, все приволокут свои выводки. Не беспокойтесь...

И она пошла на место с победоносной усмешкой.

Это было не обычное собрание, со строгим регламентом, с чинным выступлением оратора, с дисциплинированной аудиторией. Президиум совсем не руководил заседанием: пришли женщины после работы — и молодые, и пожилые, и девчата, — сбились в кучу и стали калякать о своих делах. К столу выходил всякий, кто хотел, по своему желанию. Разговор шел и в самой толпе женщин: шептались кучками, спорили, смеялись. И Чушкина не водворяла порядка. Она как будто сама была рада, что женщины так свободно, по-домашнему воркуют о новых событиях в их быту: о ломке их старых деревенских привычек, о грядущих днях, которые и пугали и волновали их. Молодайки держались тоже плотной кучкой, отдельно от кучки девчат и от пожилых, но между ними и девчатами была какая-то интимная близость. Пожилых женщин было немного, но они чувствовали себя как чужие. Некоторые из них сидели сычихами и замкнуто смот-

рели и на меня, и на молодежь, и на беременную Наташу.

К столу вышла женщина с таким же обветренным лицом, как у Чушкиной. Она зябко поджималась и почему-то враждебно и ехидно посматривала на меня. Углы рта с землистыми тонкими губами низко опускались. Я заметила, что такие опущенные углы губ бывают только у женщин, которые кем-то обижены на всю жизнь.

— Мне вот что, милые, скажите, да. Вот — ясли эти. А у меня — дите. Как это понимать? Я свое дите вынянчила, выходила, а тут от сердца отрывай? Да что это за порядок такой — детей от матери отрывать? а? В жизни не отдам. Умри оно — с кого спрашивать? Чай, всякой матери свое дите жалко. Вот Ветриха не пришла, Ветриха — не как мы, овцы; она харю нахлещет, ежели до ее детей чужая рука коснется. Что я — хуже Ветрихи, что ли? «Вы, говорит, коммунарки — как же! большевистские сударки. Вам так полагается по должности. А я, говорит, своего родного гнезда не порушу». Вот она — как! Ей — можно, а нам — нельзя. Откуда-то кургузенькая прилетела. Кто она мне? Чему она ребенка моего научит? Нам и своих девчат хватит. И бога не боятся и людей не стыдятся...

Женщины проводили ее смехом и шутками. Чушкина сурово и спокойно ждала первой волны затишья.

— Ты, товарищ Жижикова, дурость порешь. Ишь на что зависть взяла! Мы таких, как ты да жена Ветрова, окрестим по-своему, на коммунарский манер. Слово скажем, два скажем, а потом: вот тебе ворота — там тебе дорога. Не ты и не Анисья Матвевна тут законы да порядки строите.

Луши не было среди женщин. Я искала ее долго в цветущих платках и повязках, и мне было грустно, что ее нет. Я поняла, что на собрание матерей она не придет: она не находила своего места среди них — это место было ею утрачено. Бедная Луша! Она, вероятно, страдала от обиды и отчаяния в эти минуты. В ней бунтовала мятежная мать, обреченная на бесплодие. Где она была в этот час? Может быть, металась по

своей комнате и билась о стены, а может быть, одинокая, бродила по задворкам коммуны во мраке осенней ночи.

Женщины и девушки волновались и грудились к столу. Вскакивали с мест и возмущенно кричали все вместе, не слушая друг друга.

— Да, да!.. Это надо, Чушкина, записать... Она, эта Ветриха, в рожу нам плюет, а мы, дуры, сидим да облизываемся.

— Ишь какая барыня! Ноль внимания... а от нее покоя нет... Председательша, как же!..

— Чушкина, волоки ее сюда!.. Знать ничего не знаем... Мы здесь распушим ей перышки...

Девчонки примчались целой гурьбой к столу и крикливо облепили Чушкину.

— Мы пойдем, Чушкина... Мы ее за подол притащим... Бежим, девчата...

И, не дожидаясь разрешения Чушкиной, гурьбой полетели к двери.

Чушкина подняла руку, хотела что-то сурово крикнуть им, но только безнадежно отмахнулась.

А женщины бунтовали:

— Нечего ее баловать... проучить хорошенько — будет помнить...

— Да, да!.. Мы — работай, и то и се, а она сидит себе и чертыхается. Не желает ни на работу, ни в столовую. Паек из кухни получает. За мужем — как за каменной стеной.

Женщины даже похудели от злости.

— Уж ежели нас охомутали, хомутай и Ветриху. Хуже ее, что ли? Видали мы такую растрепу.

— Пущай сюда является, как все. У ней — двое выползков.

А Жижикова отмахивалась с едкой усмешкой и басила:

— Эх вы, дуры комолые, эх вы, чумные!.. Ну-ка, возьмите ее голыми руками... в жизнь не возьмете... Вот оно, как надо! Анисья Матвевна не метет подолом. У ней — карахтер. Она свое даром не отдаст. Она одна мучается, горемыка. Я знаю, как она слезы льет по ночам.

Ветрову хаяли, разоблачали: Ветрова — и воровка, и детей калечит, и мужа под кровать загоняет, и никому житья не дает, на все плюет, отгоняет от своей двери бригадиров и со всеми заводит склоку.

Когда все успокоились и с любопытством уставились на двери, я встала и очень решительно и четко, со звоном в голосе, отчеканила:

— Я удивляюсь, товарищи, как же вы терпите в своей среде такого коммунара, который злостно нарушает правила вашего общежития. Такой человек, как Ветрова, должен быть безоговорочно исключен из коммуны. Вы строите новую жизнь, а вредители уничтожают ваши усилия. Как же вы это допускаете? Вы должны требовать.

Одни смотрели на меня угрюмо, другие смеялись, а некоторые переглядывались с изумлением: какая, мол, эта приезжая глупыха! Не понимает самых простых вещей. Только несколько девчонок крикнули мне с восторгом:

— Верно, верно! Гнать ее в шею! Проучить ее, ведьму!.. Нечего с ней валандаться!..

К столу подошла женщина с низко натянутым на глаза платком. Лицо у нее было молодое, но почему-то опечаленное, будто заплаканное. Она, боязливо оглядываясь, ощипывалась и ежилась.

— Вот я, бабы, о нашем деле... Как тут Глаша выкрикивала: выкидыши... А ведь всякой из нас жить хочется. Неужто всю жизнь и роди? И работища и детищи... оно, грудное, вякает, а ты с ним ночей не спи. Ему, мужу, что... дрыхнет только, а свое дело около бабы знает. Молодость-то один раз дается. И рада бы не родить, да родится. Глашке сейчас хорошо болтать. Попробовала бы бесперечь: то брюхо таскать, то детей кормить да ухаживать...

А Глаша звонко оборвала ее:

— На то и баба — роди. А тут тебе — и ясли и сад.

— Да, да, Глашенька, — голос молодухи дрожал, точно она боролась со слезами, — да, да!.. Ты еще не испытала, как это трудно, какие это муки... А всякой матери свое дите мило и дорого. Отдай свое дите

в эти ясли, оторви от сердца... ну, и больно. Уж не твое дите-то. Нет уже материна глаза и ласки.

Ей не дали больше говорить. Женщины уже кричали друг на друга. Пожилые опять озлились и смотрели на меня с ненавистью.

— Это что за новости?.. Где это видано детей отбирать?.. Родить — роди, а их у тебя метлой выметают...

— Не отдам и не отдам... Я привыкла, чтобы они у меня под руками были: оно хоть и пошлепаешь его, когда хайлáет, а все на душе своя кровь чуется...

Я опять выступила с объяснениями: матери не отрываются от детей, они кормят их, а в перерывах от работ могут их навещать. На ночь опять берут к себе. Но меня не слушали и орали упрямо, злобно, враждебно. Это пожилые. Молодежь бурно нападала на пожилых.

Дверь распахнулась, и все замерли. Девочки столпились в черной пустоте, толкались плечами и смеялись. Они ворвались все разом и гаркнули:

— Не хочет... Чуть веником не отхлестала... Хватит с нас и этого...

Все дружно захохотали. Вскочила Дуня-коровница, молодайка с озорными глазами, и насмешливо уставилась на пожилых женщин.

— Ну вот, бабочки... получайте на орехи... Вам харкают в глаза, а вы говорите — божья роса. Вам этого хочется? Вам с Ветрихой по дороге, за компанию? Нет, бабочки, мы хотим жизнь делать по-новому. И мы всем этим ветрихам накрутим хвосты. Мы, женщины, добились свободы и свободу свою никому не отдадим.

Кто-то ехидно пропел:

— Да уж такой свободы, как у тебя, Дуняша, ни у кого нет. Играешь, как кобылка в табуне.

— А вам какое дело? Монашка я, что ли? Играю открыто. Блудом не занимаюсь а, вы все из-под полы норовите... Знаем мы вашу деревенскую святость.

Ей бурно захлопали в ладоши.

— Давайте-ка лучше жизнь нашу новую строить по-хорошему. Постановление вынесем... Кто не согласуется и с Ветрихой стакнется — по затылку вон. А с Ветрихой — особо. Ветриха нам — поперек горла. Что ж, что она жена Ветрова. Раз против коммуны — долой! Чтобы духом ее не воняло.

Поднялась Чушкина и вытерла пальцем уголки рта.

— Ну, милые женщины, поговорили. Хорошее было собрание. Сердца на Жижикову и других у нас нет. Знамо, у них душа болит. Да ведь мы-то — не враги себе. Все ведь как лучше. Надо обвыкать, матушки, надо жизнь нашу на другой лад переделывать. Давайте уж сообча. Все будет по-доброму, по-хорошему. А с Анисьей Матвевной — верно... надо воспитать ее не дурным словом, не дубиной... Нет, матушки! Потерпеть надо. Что же сделаешь. И так и этак надо. Мы же — не злодеи. У нас ведь — не острог какой.

Я встала и говорила с этими женщинами с восторгом и упоением. Меня окружили горячие тела, милые лица. Девчата и молодайки обнимали меня, и я в те минуты не помнила себя.

15. Шипы

С моими помощницами я повела ежедневную работу — устроила для них настоящие курсы. Я руководила девушками, как детьми: приучала их к чистоте, к уходу за ребятами — как их держать на руках, как кормить, как пеленать, как вести себя с ними в разные моменты. Я одела их в изоляционные халаты и развила в них потребность держать комнаты в чистоте и свежести. Трудно им было привыкать к этому, и была такая полоса, когда я чувствовала, что некоторые из них устроили против меня заговор: они, хмурые, старались делать все наоборот или совсем ничего не делать. Я собрала их однажды, и мы жарко поговорили по душам. Опорой моей была Наташа. Девушки раздраженно, капризно, с красными пятнами на щеках

ругались между собою, а временами оскорбляли меня, но я была спокойна и тверда.

— Да что мы, проклятые, что ли, какие? Это — не так, то — не этак. Крепостные мы, что ли? Дети наши — не барские. Поглядите, как в деревне ребятня живет: жрет что попадя, в навозе со свиньями барахтается.

Мы с Наташей долго беседовали с ними, спорили, волновались, и наши дискуссии сводились к одному — мы должны переделаться в корне; это трудно сначала, а потом уж иной жизнью мы не захотим жить. А жили мы плохо, по-свински. Нас не считали за людей. Сейчас же мы завоевали все человеческие права, так надо же оправдать это право распоряжаться жизнью.

И сейчас мне приходится бороться с этим упорным противодействием деревенских привычек.

Особенно была упряма и прямолинейна в своих поступках молодайка Аксюта. Тощенькая, скуластая, с маленькими черненькими глазками, тусклыми и слепыми, как черемушки, она ходила с развальцой, лениво, молчаливо и всех презирала. Она ненавидела меня тупо и неизбывно. У ней была какая-то мучительная потребность делать все назло мне.

— Ты, Аксюта, сейчас же приведи стол в порядок: ребята будут заниматься ручным трудом.

Она молча и будто покорно выходила, потом приносила грязный веник и начинала шлепать по столам.

— Аксюта, да что ты делаешь? Не впервые же работаешь... Как не совестно!..

Глаза ее вспыхивали, и она опять выходила в коридор. Потом являлась с мокрой тряпкой и начинала пачкать столы. Опять ссора.

Не обращая на меня внимания, она упрямо елозила по комнате без всякой надобности и срывала наши занятия. Однажды я в отчаянии, сдерживая слезы, наедине с ней, взяла ее за руку и, пристально заглядывая ей в глаза, спросила:

— Аксюта, что я тебе плохого сделала? И чем перед тобой виноваты дети? Мне очень больно, Аксюта.

Она вырвала руку, отвернулась и пошла к двери. Уже от порога, уткнувшись в стену, подумала и с хрипотцой сказала:

— А мне не больно? Надоело все. Глаза бы мои не глядели. Домой хочу! Мочи моей нет! На чего я здесь? И руки и душа — как слепые. Тычутся без пути, без надобности. Дома-то я свою опору знала: и угол, и барахлишко, и коровенка, а сейчас меня всю обрубили и на улицу выбросили — ходят люди и ногами меня пинают.

Я обняла и ласково ее уговаривала:

— Ничего, Аксюта. Надо, голубчик, обломать себя. Будешь учиться — многое узнаешь. И прошлая жизнь твоя покажется тебе грязной и дикой. Ты не одна. Будем помогать друг другу устраивать жизнь.

— Я не знаю... Бес какой-то во мне. Покоя не найду.

Я гладила ее волосы и шептала ласковые слова. Расстались мы тепло, как сердечные подруги. В первые дни она работала изо всех сил и все старалась угодить мне, предупредить мои желания. Этот ее бес бунтует в ней и сейчас, но уже редко. В обычное время она — тупа, покорна и равнодушна. Она воюет не со мной, а с собой, и я знаю, что черная сила душит ее мучительно.

А дома в деревне жизнь ее была беспросветна. Муж ее ходил в пастухах, а она одна справлялась с хозяйством. Ее заела бедность. Муж пил, дети болели и умирали один за другим, но она любила свою лачугу, свой двор и целые дни, с утра до ночи, возилась в своей норе. И вот теперь она этой своей норы не чувствовала, и ее душила тоска.

Наташа — единственная работница, которая действует и говорит по убеждению. До родов она была просто няней, уборщицей, кастеляншей — всем, чем угодно, но держала себя уверенно и строго, как настоящая хозяйка. Ее все очень уважают и, пожалуй, боятся, и о ней больше всего сплетничают и шепчутся по углам. Она знает об этом, но смотрит на всех со своей обычной змеиной улыбкой. И только иногда,

под задорную руку, насмешливо и вызывающе скажет со звонким смехом в голосе:

— Ну что, девочки, все плетете плеточки?.. Когда же эти плеточки заходят по вашим плечикам?

Женщины смущенно мигают, ежатся и улыбаются, как воровки.

— Да что ты, Наталочка! Мы же так это... Аль уж и поговорить нельзя?

Она улыбается знающе и успокаивает их:

— Ах, девочки, сколько угодно!.. На то и языки привешаны, чтобы ими трепать. Мне только жаль вас: уж больно вы их мозолите, а толку от этого — ни на грош.

После родов она была назначена заведующей детскими учреждениями. И в этой работе быстро выросла. Она теперь даже строже и взыскательнее меня. Аксюта трепещет перед ней. Но и зловеще ненавидит ее. Я очень боюсь, как бы чего не вышло между ними. Однажды я сказала об этом Наташе, но она даже не подняла глаз.

— Я, Галочка, ведь насквозь ее вижу. Она ночей не спит. Ты заметила, какие у ней красные веки, будто пьяная она? Такие люди только сами себя едят. Они — безвредные.

К нам часто приходит Чушкина. Еще в дверях она кричит по-бабьи певуче:

— Ну как, девчонки? Дела-то — кабала, иль в руках — работка-красотка? Дайте поглядеть ваших людят.

Мы очень рады, когда она приходит: сопровождаем ее к умывальнику, подаем ей халат и разговариваем с ней наперебой. А она с притворной сварливостью кричит на нас, как свекровь:

— Ну, чего раскудахтались, чего как куры с нашестей слетели! Вот занесет к вам нелегкая, а вы уж готовы замордовать человека: хламиду напяливают, как на попа, да с водой, да с мылом... Труда-то сколько!.. Бани еще не хватало... с паром, с веником... Не приду к вам больше, будь вы неладны!..

И вдруг, сердитая, растроганная, начинает нас целовать подряд.

В яслях она с радостной нежностью смотрит на пухлых сосунков, которые сучат ножками и ручонками и играют с солнцем. С теплой влагой в глазах она долго не может выговорить слова.

— Вот... дожили... и в мыслях-то раньше не было... Жили, как свиньи, в грязи, в дикости, в горе... Света не видали, а сейчас... Девочки мои! прямо слепну от этой небесной чистоты. Это уж люди будут... настоящие!..

И неизменно, когда мы проходим в детский сад, она еще в коридоре задирает халат и вынимает из кармана конфетки. Я ловлю ее руки и торопливо, тревожно отбираю у ней сладости.

— Нельзя этого, Чушкина! Ты неисправима. Отучись, пожалуйста, от этой дурной привычки: ты нам портишь детей.

Она сердится и негодует — не понимает, как это возможно лишать детей гостинцев.

— Повыдумывали здесь всякую ерунду. Ведь детишки же!.. Да для них лучше сладостей ничего на свете нет.

— Нельзя этого, Чушкина, — пойми. Это страшно портит их характеры: они капризничают и срывают весь распорядок дня.

Она дуется, ворчит, но подчиняется. И в комнате, в толпе ребятишек, она не может наговориться с ними, принимает участие в наших играх и, как маленькая, сама увлекается их работами — рисует, вырезывает ножницами фигурки из бумаги, показывает, как шить, как кроить, как делать куклы.

С Банкиным она выдержала упорную борьбу: как он ни старался меня провести в женорганизаторы — Чушкина решительно запротестовала. На собрании женщин она в конце концов вышла из терпения и горласто обрезала его:

— Ты — недотепа, Банкин. Нельзя ее, Галю Ивановну, в женорганизаторы. Она для нас — деторганизатор, значит по работе она — женорганизатор. Не допущу, и все женщины не допустят, чтобы ты нагрузил ее этой работой. Я возьму эту нагрузку. Хоть и дрягалась раньше — кухню хотела хорошо устроить,

а сейчас возьму. Столовую и кухню мы поручим Луше.

Так Банкин и остался побитым в этой борьбе. Он безнадежно махнул рукой и сказал сурово и бездушно:

— Ну, что ж... так и сформулируем... Отмечая активность коммунарок и пролетарскую сознательность... в отмену постановления бюро... Товарищ Чушкина женщина сильной запряжки: я уж давно ее облюбовал. Ежели баба активно бьет себя по бедрам — значит, выдюжит. Так, в целом, и запротоколируем.

Банкин был склонен к юмору, и оттого, что он говорил угрюмо, мы смеялись весело, от души.

16. *Женщина из подпечка*

В детский сад не сдали своих детей Жижикова и жена Ветрова, которая забаррикадировалась у себя в комнате и не появлялась ни в клубе, ни в столовой, ни на собрании женщин. Два раза я видела ее, как она развешивала белье за корпусом, на заднем дворе. Неряшливая, нечистоплотная, костлявая, с очень широким и плоским задом, с крепко сжатыми губами и спрятанными глазами, она нелюдимо, со слепой ненавистью на мгновенье взглянула на меня и быстро отдернула голову. И от этой встречи с нею у меня почему-то больно заныло сердце.

Я поговорила о ней с Наташей, с Лушей, с нянями, с Чушкиной. Все они почему-то загадочно улыбались. Наташа с обычной усмешкой, прислушиваясь к себе, сказала не мне, а в окно:

— Новый дом без крыс не бывает. Она — как лиса: ходит только по своим следам.

Я посоветовалась с Чушкиной — сходить ли мне к этой женщине, чтобы уговорить ее привести детей в детсад, или воздействовать на самого Ветрова. Чушкина задумчиво, утомленно посмотрела на меня и вздохнула.

— Вот Ветрова только жалко, а то бы давно добилась, чтобы ее вытурили отсюда. А придется все-

таки судить ее. В страхе она нас держит Все сделает — и спалить может. Вот родила недавно — так акушерку на порог не пустила, а с бабкой возилась одна.

— Товарищ Чушкина, я все-таки схожу к ней. Попробую. Узнаю хоть, что это за женщина.

— Гляди, Галочка, сама. Как бы она тебя не обидела. А ведь когда-то баба была очень славная. Что с ней случилось — невдомек. Ведь года полтора жила, как все. Из хорошей... по-нашему, из богатой семьи она... Вот и отрыгается!

Пошла я к Ветрихе на дом как-то перед обедом. Комната была в самом конце коридора — в тупике. Дверь была заперта, и за дверью разноголосо ревели дети. Она орала на них, топала ногой, и я слышала смачные шлепки по голому телу.

— Молчи, стерва, убью!.. Пропасти на вас нету... Машка, дай ему, выродку, соску!.. Не успеваешь ему хлеба жевать: все лопает, как чушка... Прожора чертова!..

Я постучала в дверь робко, дрожащей рукой, с замирающим сердцем. Дверь отворилась не сразу, с подозрительной предосторожностью. Анисья Матвевна вонзилась в меня одним глазом из-за косяка и грубо спросила:

— Чего надо?

— Я хотела поговорить с вами, Анисья Матвевна... насчет детей...

— Нечего тут говорить... Проваливай отсюда!.. Ишь заголилась вся... до ляшек... Уходи, пока цела!..

И злобно захлопнула дверь.

17. Два мира

Коммуна «Новая земля»... Эта новая земля — материк среди архипелага мужицких «полос» и «душевых наделов». Деревни и хутора на той стороне болотистой речки, за камышами, дымятся под кряжем, как перегорающие кучи навоза, с белыми и сизыми колоколенками и часовнями, с разграфленными

задворками, которые сползают в кочкастую топь. А на холмах, за деревнями, чернеют и зеленеют вдоль и поперек клиньями, квадратами и тоненькими полосками подворные поля. Там осенью и весною стоят телеги с задранными вверх оглоблями, утомленно и лениво ползают одинокие лошади, поматывая мордами, и тащат за собой сохи и бороны. Если мужик спотыкается позади лошади — значит, он пашет свое поле; если впереди лошади идет женщина или мальчишка — значит, лошадь тащит борону. Тогда где-то недалеко в стороне шагает, широко размахивая рукой, мужик и сосредоточенно разбрасывает семена. Кажется, что на животе у него барабан, и он бьет в него в такт своим редким и зыбким шагам. Поля мутнеют пустынной дымкой, пологие склоны холмов во впадинах и балках густо стекают к деревенькам и болоту, и застойная тишина мерцает покорными далями. Мне всегда почему-то очень грустно смотреть на этот мужицкий труд, одинокий, убогий и скорбящий. Я смотрю на эти безлюдные косогоры, на этих изнуренных лошаденок и спотыкающихся людей, пегеньких и беззащитных, и сердце у меня вздыхает стихами, прочитанными когда-то давно, забытыми давно, но воскресающими в эти минуты:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...
Край родной долготерпенья...

Поля эти далеки, как призраки минувшего, как видения, ушедшие в иной мир. Я смотрю на этот пейзаж с другого берега. Наша земля расстилается по холмам и уходит за высокие волнистые горизонты кряжей по эту сторону болота. Наши поля не пестреют лоскутками и заплатами, не рассекаются полынными межами — это необозримые пашни, целые моря зеленого шелка озимей, а летом — океаны янтарно-золотой зыби, пылающей пламенными волнами, бегущими в мреющие дали увалов и широких просторов. Кажется, что всюду земля зажжена солнцем и бушует пожаром, и шквалы огня пожирают землю в бесконечных пространствах. Летом стройные ряды

железных чудовищ тяжело ползают по этим пламенным полям и пожинают солнечные волны пшеницы и ржи. А осенью и весною вереницами и дружными колоннами в желтых струях пыли с трудолюбивым упорством расчесывают землю многолемешные плуги, дисковые и зигзаговые бороны и рядовые сеялки. Здесь уже не вижу я ни понурой издерганной лошаденки, ни мужика, который выбивается из сил, путается ногами в борозде. Не вижу я ни косцов, ни жниц, которые целыми днями унизительно кланяются своей чеверелой землишке и за каждый поклон получают горсть соломы с чахлыми колосьями. Такая же чахлая жертва, как скупые пучки их церковных, молитвенных восковых свечей, дрожащих голодными язычками огня. И мне очень понятна эта обидная связь между их полями и столетними церковками.

У нас — две тысячи гектаров земли, где нет ни одного клочка, не взрыхленного плугами и не оплодотворенного семенами злаков и трав, не упитанного тучными азотами. И в этом густом море рождающей земли наши жилища — каменные корпуса общежитий, хозяйственных построек, мастерских, высоких палат для скота и ссыпок — это флотилия судов, где команда подобрана строго и знает свои цели и обязанности. Это — родные братья и соратники, которые связаны клятвой верности и дружбы. Это — семья в триста человек. У них нет ничего своего, но у них есть все. Они ничего не имеют, кроме своей силы, но они владеют общим достоянием.

И когда к нам приходят крестьяне из этих «бедных селений», от этой «скудной природы», нечесаные, грязные, в заплатах и лохмотьях, как их стародавние истощенные поля, — приходят с докуками — в мастерскую, на мельницу, в клуб вечерами, — Ветров всегда с деловым упорством и гордостью говорит им:

— У нас многопольная и плодопеременная система... мелиорация... А вы гнете спину над своим трехпольем. Когда я уломаю вас, чертей? Ведь нищие: ни хлеба, ни порток, и вше негде притулиться. Надрываетесь вы с утра до ночи и дохнете. Который

год я вам доказываю и делом и словом: бросьте вы к дьяволу эту свою каторгу. Ничего у вас не выйдет, вконец зарежетесь. Надо строить жизнь по-иному — новую жизнь, общими силами. Надо идти по одной линии — с партией и нашим государством.

Крестьяне угрюмо и хитро смотрят ему в ноги и мычат:

— Да ведь... Андрей Семеныч... оно бы, стало быть... кто себе враг?.. Только... сам гляди, голова садовая... куда же податься?.. Понятное дело, жить в нашем положении не при чем. У вас во-о сколь земли-то!.. помещики!.. Кругленькая земля-то... Есть где и ветру погулять и небесам облокотиться, а у нас ведь — ни для коня, ни для могилы... Сам ведь был мужик — знаешь. Мужик прикован к нужде, как каторжник к тачке...

— Да вбейте же, наконец, себе в башку-то. Земли у вас всех много — соедините ее в одно, сотрите полосы и межи. В первый год мы вам вспашем, посеем, сожнем... Многополье... травосеянье... суперфосфаты... Приобретите машины... В чем дело? Государство всяко поможет. Будем работать заодно — на общую пользу. Эмтеэс будет. От насиженного места зад всегда голый.

Мужики крутят головами, посматривают на него хитренькими глазами и ухмыляются в бороды.

— Чудак человек, Андрей Семеныч!.. У нас вон сын с отцом на одном поле и в одной избе не уживаются — только и знают, что делятся. С нашим братом пива не сваришь: одних лодырей — как слепней на лошади. Я буду работать, хребту гнуть, а он — на моей шее сидеть да пьянствовать, да обжирать меня. Наши народы — уроды.

— Ну, а мы-то из другого теста, что ли, сделаны? Ведь так же вместе с вами когда-то спины гнули. А вот живем же... Сколько мы вытерпели от вас, чертей!.. И палили вы нас, и мародерствовали... А вот теперь мы гордость нашей области. Об нас даже в газетах пишут... в Москве...

Ветров со своим активом возится с крестьянами упрямо и неустанно: собирает совместные собрания

в клубе, ездит в деревню на заседания сельсоветов, ячеек, делает доклады, отчеты, агитирует, обрабатывает отдельных мужиков и все бьет в одну точку: надо переделывать старую жизнь — иного выхода нет, надо колхозы создавать. Он водит по своим полям и по хозяйству целые толпы мужиков и баб, показывает им свои достижения — обработку полей, урожайность, величину колосьев, зерна, кормовую свеклу, посадочный картофель, засеянные травы, машины, племенной и породистый скот, молочную ферму, кормит их в общественной столовой, устраивает для них клубные вечера, заставляет слушать радио.

И я чаще и чаще слышу изумленные вздохи:

— Что и говорить... Достижения у вас — на весь охват... Решаться надо... Думано много — дела нет.

Мы поражаем баб яслями, детским садом. Они, как овцы, сбиваются в кучу и глазеют, ахают сконфуженно, недоверчиво, неодобрительно. Уходят они домой побежденные, но упрямые в своих привязанностях к собственному логовищу.

— Все хорошо, только... страшно больно... Да и то сказать: разори свое гнездо — плохое, да — мое. Поглядеть надо... как люди, так и мы... А деточкам у вас — гоже... чистенькие, сытенькие... Коснись дело — нам бы так... а все — кто в лес кто по дрова... Чудно больно...

18. У меня в комнате

Ветров приходит ко мне почти каждый вечер. Случилось как-то, что он с самого моего приезда привык заходить ко мне — хоть на минутку, но заглянет. Он садится к столу и некоторое время молчит, будто прислушивается к себе. И мне кажется, что он окоченел на всю жизнь, что он ожесточен, что он завяз в каком-то мучительном противоречии, которое он не в силах превозмочь. Почему он в своей личной жизни такой безвольный, робкий и испуганный человек? Ведь он сам знает, что невозможно совмещать в себе крепкого организатора, твердого коммуниста, сурового к себе и другим, с такой рыхлостью, с такой

жалкой бесхарактерностью в своем семейном быту. Он знает, что авторитет его зыбок, что он не внушает доверия своим товарищам, что настанет момент, когда от него потребуют ответа: или сам будь примером как коммунар, или не вводи в соблазн других и уходи из коммуны. Нельзя требовать от других того, чего не можешь выполнить сам. Он никогда не жалуется: он только говорит о хозяйстве, о своих планах, о контрольных цифрах, об организации колхозов в районе, о постройке новых корпусов для общежитий, школы и детских учреждений, об электростанции, о культуре быта, о коммунистическом воспитании. Электростанция — это его основная идея: он говорит только о ней, и она ему не дает покоя.

Он еще от порога, не здороваясь, указывает на керосиновую лампу, и в глазах у него — тоска и волнение.

— Видеть не могу этой вонючки. Так и выбросил бы к чертовой матери за окно. А надо потерпеть, ничего не сделаешь. Обязательно оборудуем электростанцию. Выживем всех домовых и летучих мышей. Этого проклятого добра еще хватит у нас у каждого.

После моей встречи с его женой у мельницы он и виду не показал, что знает об этом. Но женщины из их общежития рассказали мне, как Анисья Матвевна орала на весь корпус, как охалила меня, как обливала грязью молодых коммунарок и девчат. Он уговаривал ее спокойно, держал на коленях ребятишек и ласкал их. А она, взорванная его спокойствием, лаяла на него до хрипоты.

Ветров бережно посадил ребенка на стул, твердо подошел к ней и сковал ей руки. Впиваясь ей в лицо, он с холодным бешенством сказал ей так, как обычно говорил о делах:

— С этой минуты ты не посмеешь сказать об этой женщине ни одного обидного слова. Я раздавлю тебя все равно. Или уничтожу, или выкину.

— Ни в жизнь! Этой потаскухе житья не дам. Все они здесь — шлюхи. Не взять вам меня — ни мытьем ни катаньем. И от тебя не уйду, и всем вам поперек

горла буду. Как хочу, так и жить буду. Ты разорил гнездо, порушил нашу жизнь, тебя похитили чужие люди. Все — чужое. В аду я. Не хочу! Я все сделаю: или убью, или сожгу — себя не пожалею.

Он швырнул ее на пол и с прежним ледяным спокойствием отвернулся от нее.

Но я в тот вечер в упор поставила ему вопрос:

— Ветров, я возбуждаю перед советом дело против тебя и твоей жены. Я считаю, что твоей жене — не место в коммуне. Если ты потворствуешь ей потому, что ты ей муж, я буду добиваться, чтоб тебя взгрели по партлинии. К ней относились мягко. При мне уже вот год терпят ее безобразия. Надо этому положить конец.

Он потупился, обессиленный, долго сидел передо мною молча. В глубине его глаз застыло страдание. Потом он с усилием повернул ко мне пепельное лицо и провел по щекам и лбу окоченевшими пальцами.

— Подожди немного, Галя Ивановна... Не торопись. Я сам справлюсь.

— Позволь, Ветров, это дело не только твое: оно касается всех нас. Я не говорю уже о том, что меня мешают с грязью, дискредитируют перед людьми. Я имею дело с детьми и матерями. Работать в таких условиях я не могу. Твое же положение — глупо. Твой авторитет трещит. Ты себя ведешь позорно, Ветров.

— Нет, подожди, прошу тебя. Я сам возбужу дело. Мне только нужно зацепиться.

— Вот как! Тебе не за что зацепиться, Ветров? Я не уважаю тебя. Я завтра же подаю заявление.

Он мучительно осматривался, будто искал у кого-то защиты.

— Ты, Галя Ивановна, поймешь и не сделаешь этого шага. Не горячись, пожалуйста, и подумай.

— Нет, Ветров... тебя нужно ударить, чтобы ты понял, в какой барахтаешься яме. Одной рукой ты организуешь, а другой разваливаешь жизнь. Эх, ты!

Утром я написала заявление в бюро ячейки с требованием немедленно поставить вопрос о Ветрове как партийце и другое заявление в совет о жене Ветрова. Но Банкин впервые стал избегать меня, а

когда встречалась с ним, он старался не видеть меня. Как-то я схватила его за рукав и прикрикнула на него:

— Ты что же это, Банкин, виляешь? Почему не ставишь на заседание мое заявление? Я принуждена буду апеллировать к общему собранию. Смотри, Банкин.

Он крутил головой и крякал.

— Тут... видишь ли... катавасия. Погубить можно. Надо умненько... С кондачка нельзя... Я, конечно, с тобой согласен. Мы уж не раз толковали... Но авторитет нельзя ломать. Шлепнешь без рассуждения, и — развал. По твоему заявлению и тебе несдобровать...

Говорила я и с Чушкиной. Она окрысилась:

— Ты, матушка, торопыга. Чего ты, девка, мутишь? Ежели Ветров артачится, значит — неспроста. Я знаю кой-что... Скажу, дай срок... А ты не озоруй раньше время. Для слепого, матушка, и день за ночь кажется.

Я озлилась, но стала ждать событий.

19. Хирургия Прохора

Вечером, за ужином, мы сидели вчетвером за столом: я, Ветров, Прохор и Гулякa. Говорили о том, как трудно было бороться с застарелыми привычками коммунаров к ругани и пьянству. Борьба была длительна, упорна. Вынесли строгое постановление на общем собрании о прекращении площадных ругательств, о том, чтобы в коммуне с этого дня совсем забыли о спиртных напитках. Выработали суровые меры взысканий с нарушителей этого постановления. Некоторых неисправимых ругателей и алкоголиков пришлось изгнать из коммуны. Удивительно, что все алкоголики и матершинники — большие лодыри. И действительно, за время своей жизни в коммуне я не слышала ни одного гнусного слова и не видела ни одного пьяного, хотя и забиралась в самые отдаленные участки работ, где рабочие без бригадиров вы-

полняли свои наряды. Иногда при мне они покрикивали друг на друга, раздражались. Был момент (это — в кузнице), когда молотобоец не сделал так, как приказал мастер, а потом совсем запутался, и работа оборвалась. У мастера разбухло от крови лицо, глаза лопались от ярости. Он набросился на парня, заорал, но ни одного матерного слова я не услышала. А они не видели меня: я стояла за штабелем железа и нарочно не показывалась. За столом в этой беседе я и высказала свои наблюдения.

— Это — большая культурная победа, товарищи. Такие привычки, которые внедряются еще в детстве и в юности, особенно ругань, выкорчевываются с невероятным трудом. Это вам зачтется историей, товарищи.

Я видела, что Ветров был доволен.

— Зачем история? История — историей: история— это бабушка. Мы сами прежде всего зачли это себе в актив. Но это нас мало утешает.

— То есть как мало утешает, Ветров?

Кириков безнадежно махнул рукой.

— Это же нелепые люди, Галя Ивановна, — какие-то растопырки. Ругань выводят, а отхожего места нет. С пьянством борются, а на азартную игру — ноль внимания.

Ветров даже вскочил от изумления.

— Как это — азартная игра! Где?

Кириков не обратил на него внимания.

— Лошади — в дворцах, а дети отравляются спертым воздухом в лачуге. Вот общественная столовая, а от грязи и вони мутит: умывальников нет, а на сапогах приносят целые вагоны слякоти. Газеты и книги выписываются, а неграмотных — сорок процентов.

— Нет, ты подожди, Прохор. Где же ты видел азартную игру?

Кириков пристально, с изумлением посмотрел на него и горестно сморщил нос. И я впервые увидела, как Ветров растерялся, смутился, как уличенный сам в этой азартной игре. Я не поняла ничего из этого разговора и почему-то сама смутилась: чувствовала,

как лицо мое запылало жаром. А Кириков огрызнулся в мою сторону:

— Эх вы... пифийский оракул!

— Сами вы пифийский оракул. Ни черта я не понимаю, что вы изрекаете.

— Воспитательница называется, а врет...

— Что такое, Прохор? Вы говорите дерзости.

— Говорить дерзости — покорить мерзости. Это я — не к вам: просто рифма такая удачная напросилась. Есть азартные игры разные. Так коммунар Ветров играет в темную в бытовом и семейном укладе. Продуется... факт! Гуляка — хороший секретарь и могучий организатор и хозяйственник, он и Ветров — Кастор и Поллукс. А родить вот детей не можете. Играет в любовь с плохими картами. Дело затяжное.

Гуляка вздрогнул и сразу вспотел от неожиданного удара.

— Это совершенно верно... Тут ничего не попишешь... Проблема!

— У нас всё — проблема... проблема контрастов: Банкин вон — столп и утверждение коммуны, парторганизатор, а коммунары и коммунарки у него в церковь ходят. Правда, он был рубака в гражданской войне... Кавалеристы вместе с Ветровым. А вот до сих пор не открыли вечерней школы для взрослых.

Подошедший к нам Банкин усмехнулся.

— С больной головы на здоровую... Почему ты не открыл эту школу? Учитель называется. У меня дел невпроворот с коллективом насчет хозяйственных вопросов. Это только с моим характером можно людей на рельсы ставить. И люди меня боятся, хоть я и молчу.

— Люди любят бояться, — съязвил Прохор. — Боятся они и домовых, и колдунов, и всякой не́быти. Ну, конечно, и Банкина боятся. Но от него свечкой и крестным знамением не отделаешься.

Ветров рассердился и с негодованием оборвал Прохора:

— Ну, хватит! Зарвался и заврался, Прохор. Банкин о себе не думает: он и в молчанье не жалеет себя

для коммуны. Пока люди идут за Банкиным, а не за тобой.

Кириков поднял на него глаза, и у него молодо блеснули белые зубы.

— Хороший учитель должен быть чутким наблюдателем. Я наблюдаю и изучаю факты. Без этой моей лабораторной работы вы, друзья, блуждали бы, как слепцы. Контрасты приучают к обобщениям и выводам. Например, как можно совместить попа и коммуну? Примус и общественную столовую! Детский сад и порку детей? А выводы?

Ветров оледенел и полузакрыл глаза. Мне стало страшно. Я почему-то была уверена, что через мгновенье Ветров вскочит в исступлении и ударит Кирикова. Гуляка тоже смотрел на него красными, лихорадочно влажными глазами. Лицо у него было необычайно рыхло и красно. Этот Кириков истязал их до изнеможения. А они покорно переносили все его издевательства и насмешки.

— Или, например, как не отнести к контрастам такие факты... Впрочем, что такое контраст? Отвечайте, педагогичка!

— Ну... явления и факты, взаимно отрицающие друг друга...

— Плохо. Вы не усвоили диалектики. Контраст — это палка о двух концах, это — несовместимое единство, которое прет на нас в образе нелепости. Это — Дарвин, слепо верящий в спиритизм, Ветров, который трусливо пасует перед пошлостью. Или вот Гуляка — свирепый преследователь всех, кто только нечаянно нюхал запах алкоголя, а сам сидит перед нами пьяный, как гнилая дыня. О Банкине не говорю: он мудрец, как слепец. Строит новое, а не видит вреда от пережитков, хотя из карманов у него торчат газеты и брошюры.

Гуляка сидел как обреченный: его будто ударили по лицу, он терпеливо мигал, и веки его прыгали живчиками. Кириков смотрел в сторону, точно он выполнял по необходимости нудную нагрузку.

Ветров встал и бросил только одно слово:

— Идем!

Но от этого глухого голоса, с занозой в горле, который оглушил меня больше, чем рев, мне стало невыносимо тягостно. Так, вероятно, приказывают встать и идти непримиримому врагу, которого сейчас должны расстрелять. Гуляка покорно и послушно поднялся и разболтанным шагом пошел за Ветровым. Мне почудилось, что люди в столовой все ринулись к нашему столу и в панике замахали руками. Языки пламени в висячих лампах забились в лихорадке, вылетели из стеклянных пузырей. Я испугалась: вот-вот они погаснут, и мы исчезнем во тьме. Это в открытое окно врывался ветер. Черная тьма за окнами вспыхивала необъятным огнем. Начиналась гроза.

Я выбежала вслед за Ветровым и Гулякой и услышала из мрака голос Ветрова, тусклый, с хрипотцой.

— Ты — мерзавец. Я поставлю немедленно вопрос о тебе на бюро.

А Гуляка все крякал, точно у него першило в горле.

— Андрей, ты послушай, друг... Ведь ежели я уйду, так и тебя же за собой потащу. Давай уж вместе разваливать коммуну. Мы завязли в болоте личности, товарищ Ветров.

Спотыкаясь во мраке о комья земли, я бежала только на голоса, и мне было страшно, — страшно было своей оторванности от видимых вещей и людей. Но мир вспыхнул зеленою молнией, и впереди, очень близко, на лунно-белой вспышке стен, четко, выпукло ожили две фигуры — Ветров и Гуляка. И когда молния исчезла, мрак стал еще чернее, только мутным видением роились вихри искр. Очень пряно пахло землей. Сослепу я наткнулась на обоих сразу, разъединила их и взяла каждого под руку.

— Товарищи, что случилось? Ведь Прохор пошутил, друзья мои. Неужели вы не знаете, что такое Прохор? Это — обычная его провокация, а вы — на дыбы.

Ветров боролся с собой изо всех сил: мускулы его напряглись до дрожи.

— Прохор не шутит. Ты Прохора еще недоста-

точно знаешь, Галя Ивановна. Прохор никогда не балуется словами, — это ты запомни. Он слишком уважает мысль, чтобы разбазаривать слова. Он прав. То, что он сказал, — верно. Гуляка — пьян. Сегодня он ездил в район и выпил. Ты знаешь, что это такое — Гуляка пьян? Это — провал, дезорганизация, потому что завтра это будет известно во всех углах, и нас разгромят вдребезги: Гуляка напился — значит, мол, нам и подавно простительно нализываться. Я о себе не говорю. Это — особый разговор. Ну, вот теперь ты скажи: что делать? Ну что теперь делать?

У него вдруг оборвался голос, он хрипло кашлянул и быстро пошел вперед. Гуляка ринулся за ним.

— Галя Ивановна, — голос Ветрова мягко и печально прозвучал во тьме. — Галя Ивановна... ты, милок, молчи. Ладно?

— Андрей Семеныч, как тебе не стыдно?..

— Ну, иди, голубка, иди себе.

Нет, я очень люблю Ветрова — люблю за его сверхсильную выдержку, за его понимание человека с его слабостями и мятежностью. И я изумляюсь его великому терпению и гордому страданию. Он — беспощадный судья самого себя и других, но он же трогательно сердечен к ним.

В этот вечер я долго не могла успокоиться, — не стыд и не гнев мучили меня: мне было больно за Андрея Семеныча.

20. *Пустоцвет*

Этой же ночью пришла ко мне Луша с угарной тревогой в глазах, возбужденная и испуганная. Она все время оглядывалась, прислушивалась, вздрагивала, прижимала руки к груди. Конфузливо и растерянно, точно виноватая, она с мольбой заглядывала в глаза и искала в них поддержки, ободрения, помощи...

— Мой-то... ты знаешь, Галочка?.. Гуляка-то?.. Ты понимаешь, роднаечка?.. Разве это возможно? Он — пьяный... Сейчас что бы-ыло... ой! Ползает по

полу и умоляет: роди да роди!.. Ты только подумай, Галочка. Как же я могу? Разве я вольна. У меня сердце надрывается, на все бы пошла... а что же я сделаю?.. Насилу уложила его. Как за маленьким ухаживала — не хотел отпускать.

— Ты хоть бы, Луша, с доктором посоветовалась.

— Была, Галочка. «Можешь, говорит, при желании народить ребят целую кучу». Этого Петьку, черта, я бы истерзала всего. Шесть лет живем, и никакой спорыньи. А ведь мужик-то какой!

— Ну, так что же ты думаешь насчет Гуляки? Ведь это же преступление для коммунара.

— А разве он не знает? Очень даже хорошо знает. Он умный и сознательный. Чует: нет нам счастья в нашей любви. Пустоцвет. Да и я не могу так... Не могу, Галочка...

Она вдруг задрожала и будто вся расплавилась. Всхлипнула мучительно и горестно.

— Не могу я так, роднаечка... помоги мне!.. пожалей!.. Чую я: люблю его, а любовь эта — пустая. Как тень — идет с тобой, а нет ее... не поймаешь. Чую: сохнет эта любовь, как вода в зной. Невмоготу мне... Хуже других я, что ли? Хоть бы черт прилетел ко мне ночью... да чтоб наверняка уж...

И вдруг глаза ее застыли от ужаса.

— Не слушай меня, Галочка!.. Не слушай!.. Я не знаю, что со мной... Дура я...

А я смотрела на нее и знала: черт этот явится — нет пустоцвета в любви.

21. *Разговор по душам*

Ветров все-таки приходит ко мне каждый вечер. Он советуется со мной о своих делах и замыслах. И каждый раз вспоминает прошлое, точно пережитые годы борьбы для него неиссякаемый источник живой воды. Я очень люблю слушать его и всегда чувствую себя участницей всех пережитых событий. И я понимаю, почему у него льдинки в глазах, почему он всегда сутулится от мысли, — этот человек знает, куда

идет, верит в будущее, потому что это будущее — неизбежность, борьба, которая требует от него всех его сил, всей его жизни и полного его отрешения от себя. И мне кажется, что личной жизни у него не будет никогда.

О всех испытаниях в борьбе за коммуну, за созидание будущего в настоящих днях он говорит просто, очень обыденно, даже обидно скучно. А мне хотелось бы, чтобы каждое его слово жгло, как огонь.

— В чем дело, Галя Ивановна? Не всякая борьба красит человека: к примеру, борьба собственника и борьба за личные интересы — жадность, карьера, месть, тепленькая мышиная норка. А вот борьба не для себя, а борьба во имя всех — это борьба, которая требует самоотречения и подвига.

И совсем неожиданно он тычет пальцами в мои вещички на столе:

— Это — короста, а короста — от нечистоплотности. Короста — это болезнь, а всякая болезнь заставляет думать только о себе. Ведь как люди хотят всяких зараз и болезней! Думаю, что ежели бы люди не любили болезней, их, этих болезней, уж давно бы не было... Хотят! Болезнь — это тоже жадность.

— А любовь, Андрей Семеныч? Ведь это тоже узколичная страсть.

— Ну нет. Любовь это тоже борьба. И любовь бывает разная. Любовь для себя — это то же, что прибавочная стоимость. Она требует рабства и взаимного прикрепления. Это тоже мы несем у себя в крови, как наследственную болезнь. У нас уже понемногу такая любовь вянет. Родится новая любовь. Погляди на нашу молодежь: в ней уже эта любовь начинает выражаться по-новому. Жизнь и человеческие отношения строятся уже по-иному — в этом все. Старую, рабскую семью мы уничтожаем — значит, уничтожаем и старую любовь.

— Андрей Семеныч! Откуда у тебя такое развитие и культурность? Я слушаю тебя и изумляюсь. Ведь ты же — недавний мужик, нигде не учился. Смотрю я на тебя и диву даюсь: совсем не похож ты на крестьянина.

— А школа великой революции, Галя? А вот построение нашей коммуны — не школа? Ведь выше этого вуза нет никакого университета. Сначала партизанщина, потом Красная Армия. Кровавая борьба даром не проходит. А ежели эта борьба — за великие идеалы, за новый мир да за эту вот нашу новую землю, — такая кровь многих родит заново; в этой крови мы варились, как в кипящем котле. Строить социализм — это не дрова рубить. До чего у человека силы много! Просто даже страшно... и радость — до невыносимости... Кажется, всю бы землю обнял и всю бы ее на свой лад переделал... Ну, я еще на курсах был... это — не суть важное... Учились мы многому, Галя, много кой-что знаем, чего не знает буржуазия, а все-таки... обидно: неучи мы... С нами происходило, как с Иванушкой в «Коньке-горбунке»: бросили его в кипящую смолу, а он нырнул, да и вылез другим, молодым, — родился во второй раз. Драться-то мы дрались, в крови-то кипели, а вот пришли с победами да с орденами Красного Знамени в свои деревушки, и пахнуло на нас старым, столетним бытом, тощими полосками земли. Пришли мы в голод. Поля горели, как при пожаре. Скот доедал последнюю гниль с крыш, грыз прясла и землю, а люди и его доедали. И эти же люди лежали в водянке, разбухали, как трупы. Валит людей тиф. Идешь по улице — стоны, бред, крики, — смерть душит людей. Впервые я испытал, что такое страх. На войне этого не было, а здесь замер. И страх-то оттого, что на тебя надвигается гибель, как сверхъестественная сила. И будто ты увяз в топи, а тебя затягивает тина, и спасения тебе никакого. Голод. Ты знаешь, что такое голод в деревне? Я человек без предрассудков и суеверий, но прямо говорю тебе: я стал страдать видениями. Голод видел. Не могу тебе описать, что это за призрак, но он постоянно шел на меня, как страшный сон, — из земли шел, как вихрь, лохматый и рыжий, — шел, несся и стонал, сжигал меня жаром. Ведь вот — голод, а есть не хотелось. Только тоска — тоска страха. Есть не хотелось, а один раз украдкой подошел к ветле и, как крыса, начал грызть кору. Просто невтерпеж хоте-

лось грызть — не есть, а грызть. До крови изранил десны. Грыз и себя позабыл. А когда очнулся — испугался, застыл, как перед расстрелом: понял, что с ума схожу. И вот в это время был я свидетелем двух случаев. Вхожу в сени соседа, вижу: невестка его сидит около зыбки младенца и лижет языком пеленку. Младенец-то болел дизентерией. Как малый ребенок, заорал я и без ума выбежал на улицу. И в другой раз было. Зашел я к товарищу по фронту, коммунисту (да вот этот самый Банкин и есть), чтобы собраться в ячейке, обсудить наши дела, какой выход искать из положения. Тогда впервые у меня созрело решение: образовать коммуну. Вхожу. Под образами — покойник. Брат его младший помер, не женатый. Вижу, около покойника копошится жена Банкина (тогда же умерла от тифа). Банкина не было, в избе — пусто. Мухи вьются над лицом парня. Подошел я поближе и оледенел: молодуха упирается в голову мертвеца и все норовит укусить его, да не может. Схватил я ее за руку: «Что ты, говорю, делаешь, окаянная? С ума ты спятила»? А она будто озверела: отбивается и рычит, как собака. Потом ослабела, упала на пол и лишилась сознания. Очнулся я в поле и никак не могу понять, почему я очутился в яме. Увидел свои руки в земле и в крови, понял, что я сам выкопал яму-то, своими руками. Да, Галя, это надо было пережить, чтобы на этих страданиях создать вот эту самую коммуну. Она, эта наша коммуна, родилась и выросла из голода, мук и смерти. Уж подлинно, что только из смерти рождается новая жизнь. Да! Вот еще что мне не нравится в тебе, Галя, — хорошишься очень, все стараешься казаться лучше, чем ты есть. Фальшивишь и модничаешь. Я говорю прямо — не обижайся, по-дружески. Не надо этого здесь.

— Молчи, Ветров! Ты лучше думай о себе.

Но чувствовала, что отчаянно краснею.

— Я о себе всегда помню, Галя. А надо, чтобы поступки всегда совпадали с мыслями.

— А у тебя они совпадают? Не к лицу тебе учить других, Ветров.

— Эх, не понимаешь ты меня, Галя. Ты не знаешь меня. Для меня нет ни жены, ни друга. Придет час — пожертвую всем. И я как будто терплю покорно, но знаешь ли ты, что кроется за этим терпением?

— Ну мы еще с тобой повоюем, Ветров.

Он как будто не слышал моих слов.

— Так вот, Галюха, любить свое создание можно только тогда, когда отдаешь ему всего себя, когда выстрадаешь его. Ценно и бессмертно только то, что вышло из страданий и крови, из самоотверженной борьбы и веры. Нужно самого себя положить в фундамент здания, и это здание пойдет в века. В старину будто молодых девушек закапывали в землю, под углы зданий. Было поверье, что от этого здание будет крепче и не поддастся разрушению. Я понимаю это как притчу. К тому, что я говорю, это очень подходит. Так же вот и мы создавали нашу коммуну.

22. Рождение коммуны

И он рассказывал мне, как возникла, как образовалась эта коммуна и как она боролась в эти годы за свою жизнь.

В тяжелые дни голода коммунисты — партизаны и демобилизованные красноармейцы — Ветров, Банкин, Гуляка, Чушкин — пошли к учителю Кирикову, который теперь носит гордое имя Прохор. Собрались, поговорили и решили — немедленно же вербовать всех желающих идти в обетованную землю.

— Милые люди, — сказал взволнованно Кириков, — отдаю всего себя в ваше распоряжение, буду работать наравне с вами. Я слишком легковесен для вашего подвига: не рисуюсь, а говорю правду, — я себе цену знаю. Но с вами пойду до конца. Вы — нелепые люди: как люди земли, вы не цените работы мозга, а для меня человеческий мозг — все. Так вот, желая оставить при себе мой мозг и не дать его в обиду, я буду сохранять свою независимость, а вы только от этого выиграете.

С помощью Прохора выработали устав, с помощью Прохора повели агитацию в селе за коммуну и с его же помощью добились в райсовете передачи им соседнего хутора, который раньше принадлежал богатому кулаку Буракову. Земли у него до революции было немного — гектаров двести, но зато был просторный дом, казарма для дворни, две больших конюшни, паровая мельница и маслобойня, но они давно не работали. Кулак Бураков жил еще в своем доме на этом хуторе.

Умирающие от голода, безумные от страха крестьяне в отчаянии повалили валом к школе — записываться в коммуну.

— Все едино пропадать. Уж лучше артелью, на людях, чем в своих берлогах.

Шли без веры в спасенье, шли для того, чтобы умирать скопом: бежали от ужасов, от призраков, от самих себя. Завыли бабы: они, как ведьмы, знали только свои печки и никогда не выпускали из рук помела. Они предпочитали умереть под боком домового. Началось избиение баб по всему селу. Это было похоже тоже на общее безумие.

Но жена Ветрова не бунтовала: она была даже заинтересована делом мужа и что-то соображала. Она часто бегала к отцу, состоятельному старичку, и приходила домой веселая.

Набралось семей шестьдесят — людей без разбора: и лодырей, и пьяниц, и нужных, верных людей. Решили: не справиться с этой оравой. Сначала думали, что охотников будет мало, но когда хлынули люди, организаторы увидели, что коммуна разложится и погибнет, если не будет сурового подбора настоящих работников.

Прохор однажды спросил Ветрова и товарищей:

— Кому нужна и выгодна коммуна, милые люди? Вы подумали над этим?

— Тут и думать нечего, Прохор Петрович.

— Зови просто Прохором. Не такое теперь время, чтобы даром слова терять. Говори!

— Я и говорю: тут и думать нечего. Коммуна выгодна только бедноте.

— Ну, во-от тебе... — с досадой и огорчением отмахнулся Кириков. — Бедноте!.. Какой бедноте? Беднота бедноте рознь. Есть беднота, которая будет вреднее и гаже кулака, потому что она продажна и горласта. Ваша коммуна может утонуть или сгореть в одной капле алкоголя. Подбирайте людей, подобных себе, и только. Берите список — давайте усекать всех, кто опасен. Вы, друзья мои — партизаны и красноармейцы: примените все ваши приемы и правила военного времени к людям, которые прут к вам, и выберите самых надежных. Обяжите их свирепой клятвой, поставьте их перед неизбежностью жестоких кар. Железная дисциплина боевого времени. Понимаете?

Из шестидесяти семей оставили двадцать. Многосемейных не брали, чтобы не нарушать принципа равенства. В городе утвердили устав, дали семссуду, дали денежный кредит и коммуну назвали: «Новая земля». Кулака выселили и конфисковали у него весь инвентарь, две лошади, три коровы, пять свиней.

Коммунары привели с собой несколько дохлых одров, несколько коровьих скелетов, притащили телеги, сохи, плужки и принялись за дело. Земля была в разбросе: одни клочки — рядом, другие — километров за пять. Начали на этих голодных одрах пахать пар под озимое. На работе падали лошади, падали люди. Сам Ветров однажды до того истощал, что в обморок упал в борозду, а когда очнулся, увидел, что лошадь его тоже лежала — издыхала, и он барахтался в борозде и плакал — плакал не потому, что лошадь было жаль, а просто так, плакал беспричинно: слезы лились сами собой.

Это был самый тяжелый год. Но люди держались. Уж одно то, что они все-таки что-то ели, что каждый день собирались вместе и подбадривали себя, им было легче, чем на селе. Там люди мерли как мухи. Своими силами и средствами отремонтировали конюшни под общежития и на зиму разместились по своим углам. Приходил каждый день Прохор и вел беседы, поднимая дух, возбуждая веру в прекрасное будущее. И

если случалось, что он не являлся, все волновались, нервничали и на другой день утром посылали к нему парня — не умер ли?

Сразу же устроили общественную столовую, в которой кормились все бесплатно. Приезжали из города товарищи, подбадривали и закрепляли связи с коммуной. Прибыли несколько заводских рабочих, организовали мастерскую и внесли в жизнь свой пролетарский дух.

Зимою от безделья бабы затосковали по своим собственным печкам, и в коммуне началась смута. На собраниях то и дело визжали женщины:

— Согнали нас сюда, в эту прорву, проклятые, и сиди тут как каторжные. Дома-то куда лучше было: хоть дело, хоть не дело — все рачишь для себя. Тормошишься у печки али на дворе с телятами. Там уж — знато: никому как только себе в торбу. Ну вас к черту с вашей коммуной, будь она проклята! Не жизнь, а тюрьма. Там хоть один таракан, да свой, а здесь и сам-то неизвестно чей.

И Ветров на одном таком собрании вдруг заявил:

— Товарищи, кому в тягость коммуна, подавай сейчас же заявку о выходе. Лучше уйти сейчас, чем загонять заразу в нутро. Мы не скрывали и раньше, что у нас ставка на выносливость и преданность: на этом строится дисциплина труда и общежития. Кто колебнулся, раздумался, почувствовал тонкую кишку — уходи сейчас же. А бузить, волынить и заражать других мы не позволим.

Ушли две семьи, взяли свой выдел, а через два месяца пришли опять. И не мужчины, а женщины явились на собрание.

— Вот, товарищи коммунары, с повинной мы... позарились на свое... ушли... А моготы нет — не в благость нам жизнь в старом гнезде... Замучились. Обовшивели все... Глаза бы на все не глядели... Примайте опять... Всем закажем: не слухайте дур баб: воют они да лаются на месяц, как суки... А вы, бабы милые, и забудьте думать. Зачешется язык — прикусите его, окаянного трепача.

Это произвело потрясающее действие. Среди женщин надолго прекратились пересуды и сплетни. Анисья Матвевна уже начала хмуриться, но еще соображала что-то.

Лето было прекрасное. Урожай был чудесный. Люди повеселели и работали без устали. На клочках полей дежурили по ночам с винтовками. Случилось так, что на ближних полосах ночью вспыхнули скирды. Там не было сторожей. Кто поджег — неизвестно, но огонь охватил не только коммунарские хлеба — по жнивью огонь перебежал и на полосы крестьян. Тушили все сообща — и коммунары и мужики, — но пожар очистил на полях большое пространство. В то время, когда тушили огонь, произошла свалка: мужики бросились на коммунаров с кольями. Кто-то пустил слух, что хлеб подожгли коммунары, чтобы насильно загнать мужиков в коммуну. Одного парня из коммуны изувечили так, что его отправили в больницу. Там он умер на другие сутки. В деревне арестовали нескольких крестьян и отправили в город. Деревня превратилась в свирепых врагов. Коммунары не спали по ночам: ждали нападений и поджогов. Однажды ночью около риги захватили двух деревенских парней, остальные трое убежали. Когда их обыскивали, нашли пузырьки с керосином и ножи. Вместо того чтобы арестовать их, Ветров наедине с ними долго «обрабатывал» их, угощал на кухне (это глухой-то ночью) остатками ужина и отпустил домой — сам провожал их до самой деревни. Коммунары набросились на него за его «гуманность», а он радовался и потирал руки.

— Чудаки вы, ребята! Это же — пешки. Враги бьют нас нашими же руками. Поймите. А эти руки надо взять лаской и умом, а не отсекать их.

После этого события деревня помаленьку успокоилась, и между нею и коммуной установилось перемирие.

С урожаем едва справились: на тощих лошаденках трудно было перетаскивать хлеб с отдаленных полос. Ветров, председатель коммуны, рыскал по

округе и вынюхивал самые потаенные места, где спрятаны и забыты земледельческие машины. У Буракова были когда-то локомобиль и молотилка. Машины стояли у него где-то в укромном месте: они как в воду канули. Ветров однажды нагрянул к нему в село и сразу же в упор задал ему вопрос:

— Гражданин Бураков, где спрятаны ваши машины?

Бураков, человек еще молодой, с лоском мелкого торговца и вычурным говорком, бритый, молча снял со стены ружье и постукал по нему пальцами.

— Уважаемый товарищ, ваше степенство! По моей рассудительности мысли, по фактуре дела вы должны расценить по действительной стоимости сию машину, каковая находится в этих опытных руках. Ежели вы человек сообразительный и знаете, что такое выгодный расчет, то поймете, что вам надо катиться отсюда живым манером. Мы здесь с вами с глазу на глаз. Эта машинка изготовлена для вашего коммунского благородия. Вы — мои грабители и бандиты, и я вас перестреляю, как кур.

Ветров с дружеской улыбкой подошел к нему, ловко вырвал у него ружье и сказал с зловещей кротостью:

— Гражданин Бураков, это ружье пригодится нам для диких уток и куликов. Болото рядом. А вам советую быть поосторожнее: не ровен час, не нынезавтра можете по всем правилам суда и следствия подставить свой череп под винтовку. У нас это живо для врагов и вредителей.

— Хо, ваше степенство, не на дурака напали. Глядите, как бы вам сохранить свои мозги. Мужики — народ справедливый: на грабителей и конокрадов у них в обычае свой суд, скорый и решительный.

— Да ведь, гражданин Бураков, мы сами — мужики... в чем дело? Жили в полях — глаза и слух у нас острый. И попартизанили неплохо. Да и разведка у нас пристальная. Не беспокойтесь за нас. Спасибо за отеческую заботу.

Так с ружьем и ушел Ветров от Буракова.

Однажды Ветров поехал в волость к агроному. Этот агроном, длинный, костлявый, был с давних пор другом и домашним человеком Буракова. Жил он в своем доме, с крепкими надворными постройками. Сейчас он состоял на службе в земотделе. Ветров узнал стороной, что в этих надворных зданиях хранятся у него какие-то сельскохозяйственные машины и орудия. Он явился к нему для переговоров о руководстве по рациональному ведению хозяйства коммуны. Агроном встретил его хмуро, подозрительно и все время брезгливо и раздраженно хмыкал.

— Ничего у вас не выйдет, хм... Без денег, с голыми руками... без знаний, ордой, хм... Сто распорядителей, сто личных интересов... и без одного основного двигателя хозяйства — без хозяйской заинтересованности. Если личную предприимчивость разделить на сто, в результате получится пыль... и родится захребетник и мародер... Утопия, хм... Но, что ж... по долгу службы, хм... обязан давать некоторые указания...

— А если бы мы вас приголубили, товарищ агроном... и сделали своим самым прожорливым захребетником?

— А... ну, что ж... Это, хм... называется симбиозом... не возражаю...

И агроном многозначительно усмехнулся.

Как раз в этот момент ввалились нужные люди, предъявили ордер на обыск, и на другой день локомобиль, молотилка и набор других машин были вывезены в коммуну.

Прошел еще год. Землю округлили: взамен разбросанных полос коммуна окружила себя сплошным полем в восемьсот гектаров. Ввели многополье. Обстроились поуютнее. Пустили маслобойку и мельницу. Мужики, которые раньше издевались над коммуной и которые выжидали, начали осаждать совет заявлениями о принятии их в коммуну. Принимали единицами, осторожно, скупо.

Вдруг летом произошла катастрофа: разразилась страшная гроза с ливнем и крупным градом. Огромная часть урожая погибла. Люди ошалели, пришли

в смятение. Всем казалось, что коммуна — ловушка, где люди обречены на рабство и на голодную смерть. Общие собрания были бурны. Все сошли с ума: ждалось — вот лопнет какая-то паутинка, люди бросятся на Ветрова, Банкина и его товарищей, устроят кровавый самосуд.

— Если в бедствии некому мстить, люди всегда мстят сами себе, — мудро ответил Ветров, рассказывая об этом периоде их жизни. — Когда масса рассыпается, человек всегда теряет разум: он бросается на самоубийство. А месть — самое подлое самоубийство.

Коммуна бурлила, как растревоженный муравейник. Начались позорные ссоры и драки из-за пустяков. Несколько семей опрометью бежало из коммуны. И только в решительный час, когда коммуна была уже совсем на волоске от гибели, Ветров, Банкин, Гуляка, Чушкин и рабочие мастерских нашли в себе мужество собрать последние силы. Спокойно, с жестокой настойчивостью они объявили, что всякий, кто вносит смуту в среду коммунаров, — изменник, предатель и враг. С таким будет беспощадная расправа: его выгонят без всякого выдела, с волчьим билетом. Сейчас, как никогда, нужны сплочение, взаимопомощь, братская солидарность.

Банкин сделал доклад в окружкоме, и вместе с Ветровым добились в банке кредита коммуне. Мельница и маслобойка дали хороший доход. Крепко связались с кооперацией. На коммуну стали смотреть как на могучую силу, как на опору в борьбе за коллективизацию в деревне. Все кампании проводились в районе при большом содействии коммунаров. Но случились два пожара по ночам: сгорела рига с необмолоченным хлебом, а через месяц — большой деревянный амбар. Виновников не нашли, но все знали, откуда прилетел огонь: были убеждены, что это работа шайки Буракова.

Следующий год опять был урожайный. Связались с Сельмашем, с помощью обкома приобрели две рядовых сеялки, плуги, сенокосилки, веялки и трактор,

Пошла работа по коллективизации деревни, работа упорная и длительная: коммуне надо было свободно жить и развиваться. Ее обособленность от единоличного села грозила опасностью разложения.

С этого времени Анисья Матвевна перестала соображать, и глаза ее потухли. Она не выходила на работы и заперлась в своей комнате. Так как в первые годы не возбранялось готовить пищу дома, она брала свой и детский паек из общественной кухни. Начались скандалы с мужем. Держалась она так, будто ее бессовестно обманули.

В этом году коммуна стала выводить капитальные постройки: оборудовала кирпичный завод, выстроила конюшни, механическую мастерскую, приобрела породистый скот и заложила здание электростанции.

Быт еще оставался по-прежнему деревенский. Каждая семья жила той же жизнью, как и раньше, в селе. Конура, грязь, дети в куче, стирка белья в коридорах. Во время работ дети были беспризорны. Но женщины вдруг точно сговорились: они не пожелали больше родить. Освободившись от печки, от варева, они испытали свободу от кухонных обязанностей. Это было стихийное стремление к свободе от детей. Повальные аборты, которые производились своими средствами, вызвали тяжелые болезни. Несколько женщин умерло. И тут же возник вопрос об организации яслей и детского сада.

23. *Проблема сердца*

Гуляка уехал на агрономические курсы. Отъезд его произошел как-то незаметно. Был Гуляка, и нет его. Ветров по-прежнему сутуло-деловит, и в глазах его обычный морозец. Банкин невозмутимо сидит у себя в партбюро и корпит над планами по партработе, вызывает активистов и проверяет партнагрузку.

Утром, за час до отъезда, Гуляка пришел ко мне вместе с Лушей. Оба были тревожны. Он посматри-

вал на нее с паническим вопросом и надеждой. Она играла с черной его шевелюрой.

— Скажите вы мне, ребята, сколько лет вы любитесь? Вы до сих пор как жених и невеста.

Луша лукаво шлепнула его ладонью по щеке.

— Скажи ей, Петька, сколько на меня ты истратил своей любви и на сколько ее еще хватит?

— Нет, это ты скажи. Насчет меня дело не требует бухгалтерии. Цифрой ничего не докажешь, а проблема не решается арифметикой. Ежели я скажу, что мы живем с тобой шесть лет, то будущее время может не совпадать с течением любви.

— Ну, ты все накручиваешь по-ученому, Петенька. Шесть годов мы любимся — чего еще надо? Сердце бьется своевольно: оно свои секундочки отбивает. Разве можно навязать ему свою волю?

Гуляка взволновался и встал. Он, по обыкновению, прошел по комнате, обтирая стены плечом и дотрагиваясь пальцами до вещей.

— Вот, Галя Ивановна... Как тут решать проблему пола? Она, эта проблема, нерешима. Насиловать нерешимое невозможно. Ничего не попишешь: самая трудная борьба — борьба с собой.

Мне смешна была эта его мудрость: ею он хотел заглушить свой страх. Он умел владеть собою: ему хотелось плакать, но бодрился и муштровал себя. Мне было жаль его, но в то же время я уважала его за эту мужественную борьбу с собою. Я не сдержалась и схватила его за плечи: нужно было твердо поставить его на ноги.

— Гуляка, милый, любить шесть лет — срок немалый. Годы любви превращают ее в привязанность. Луша тебя очень любит — я знаю. А разлука с тобой только сделает любовь полнее.

Было мгновение, когда глаза его вспыхнули молнией в зрачках. Но он сразу же обмяк — стал проще и вдумчивее.

— Галя Ивановна, я уезжаю. Вы обе — подруги. Если ей вдруг будет не по себе... ну, вдруг что-нибудь случится... Обида там какая или заболеет... ты уж ее не оставь... поддержи.

— Ну, Гуляка, зачем ты мне это говоришь? Об этом, милый, не просят.

Луша смеялась певучей взволнованной трелью.

— Петька, иди сюда, дрянь ты этакая!

Этот внезапный переход от нежной трели к грубому, почти сердитому окрику поразил меня.

— Иди сюда, черт, дьявол, балбес! Целуй меня, на! Крепче! Раздави меня... ну, крепче же!.. чтоб кости затрещали...

Гуляка бросился к ней, схватил в охапку, всосался в ее губы и изо всех сил придавил ее к груди.

— А-ах!.. Петька!.. — Она даже заревела от боли и наслаждения: — А-ах!.. умру!.. Души скорей, что ли!

Он подвел ее к стулу и бережно посадил, как ребенка. Она бледно, как слепая, осматривалась вокруг себя.

Я дрожала, и мне нестерпимо хотелось, чтобы он и меня так же раздавил до боли.

Луша как будто угадала мой порыв и, обессиленная, крикнула с непонятной злостью:

— А ну-ка, ее!.. Пусть она узнает, какие у тебя мослы...

Он с робкой улыбкой подошел ко мне и, боязливо оглядываясь на Лушу, распахнул руки.

— Ну, давани ее... чего трусишь? Сахарная она, что ли... Такая же, как и я.

И в тот миг, как я почувствовала, что воздух сгустился около меня, мне стало страшно. Вдруг я бурно взметнулась куда-то ввысь, и меня стиснула неиспытанная сила. В этих страшных мускулах я вдруг ощутила себя ничтожно маленькой, невесомой, как воробышек.

Я отошла от него, вся изнуренная и опустошенная, но какая-то другая — незнакомая.

— Вот видишь, роднаечка, какой он бык?.. Пусть едет, черт с ним! Хоть отдохну от него маленько...

А Гуляка вдруг успокоился, взял стул и сел перед Лушей с деловой озабоченностью.

— Ну, вот что, Лушок... Я извиняюсь, Галя Ивановна... говорю, чтобы ты слышала. Мы — коммунары, и жизнь нашу мы должны строить по-новому. Мы

грешные люди, но общежитие наше обязывает нас ко всему относиться по разуму. А грешим мы оттого, что в нас сидит деревенский мужик, мелкий собственник... Мы еще люди мохнатые, грязные, и внутри у нас какая-то болтушка. Переделываем мы себя с каторжным трудом... И всякая вещь, всякое дело, а наипаче всякое чувство для нас — проблема... Мысли — один грамм, а чувства и всякой этой нутряной дребедени — целая тонна. Вот почему мы такие дурные и нелепые. Правильно говорит Прохор. Ну, а для нас этот грамм мысли дороже тысячи тонн навозных отбросов старой жизни. Потому эта мысль — наша, выстраданная. Так вот-с, извиняюсь... О чем это я?.. Что-то этакое здоровенное хотел сказать... даже весь будто загорелся, а... слов нет... И все будто испарилось... Ну, помогай, Лушок... Чего ж ты сидишь, как сова?

— А я ораторов не умею слушать: и скучно, и грустно, и некому руку подать...

Она будто дразнила его.

Мне опять стало жаль Гуляку: он боролся с собою — он старался ухватиться за какую-то свежую, новую мысль, чтоб укрепить себя. Я подсела к нему и взяла руку Луши: нельзя, мол, раздражать человека в минуту его подъема. Мгновения разлуки всегда возвышают человека и всегда бывают глубже и значительнее встреч.

— Ты, Петр, хотел сказать что-то о себе... хотел высказать какую-то мысль... Кажется, о преодолении себя?..

— Да, да. Так вот-с... Я уезжаю, Лушок.

— Ну, знаю, родной, знаю... уезжаешь, милый, сейчас уезжаешь... Видишь? (Она взглянула в окно и протерла вспотевшее стекло.) Видишь, лошадей уже подали... тарантас ждет...

— Ну, так вот-с... Мы здесь все равны, все коммунары. И ты и я независимые. Ты свободная, и я свободный. И нет у нас счетов и претензий друг к другу. Наша любовь — дело внутреннее, душевное. Сердце — сила своевольная. Это ты, Лушок, верно... Ты ведь коммунаркой на глазах моих росла. Помнишь, какая ты была в деревне? Глупая и робкая и меня даже

боялась. А теперь что? Теперь ты уже позабыла, какой бывает страх. Свою мысль сильнее всякого страха имеешь. Страх — от одиночества и зависимости, а мысль — от борьбы за свободу, от коллективной жизни.

— Эх, родненький, говоришь уж больно долго: оттого, верно, что самому что-то страховито. Знаю я: себя страшишься... в себя не веришь...

Она опять ласково шлепнула его по щеке и заворошила волосы на голове. И эта ее ласка, как электрический ток, выпрямила его, и он стал красивым и гордым.

— Нет, Лушок, я сейчас ничего не боюсь, и в мысли моей большая твердость и убеждение. Я скажу тебе только два слова: ты — коммунарка, это помни. А коммунару нужно знать одно: он должен революционно плевать на все деревенские предрассудки. Мы — люди общественные, не рабы. Так вот какая проблема: ежели, скажем... ну, допустим вдруг... случится... случится, что твое сердце заработало по другой линии... вдруг, скажем...

— Ой, Петька, скорее... ну, я доскажу...

— Постой, Лушок... я сам сумею округлить свою мысль... Ну, скажем, нелегкая на тебя накатит, и ты к какому-то там мужчине почувствуешь влечение...

— Ну, любовь... Скажи... любовь и — крышка.

— Допустим, извиняюсь, любовь... Так вот... ты, Лушок, можешь располагать собою свободно... Я тебя обязывать не могу. Как я могу требовать и приказывать? У тебя и меня есть и воля и рассудок. Но об одном прошу: никакой тайны... чтобы не было простого блуда. Это, по-нашему, хуже кражи общественного достояния.

Лицо Луши залилось румянцем. Она вся трепетала от волнения. Она даже не могла выговорить ни одного слова. А я смотрела на них и тоже дрожала.

Луша встала. Я еще ни разу не видела у нее таких чудесных глаз: залитые слезами, они мерцали целомудренной красотой.

— Брось, Петька, не мели чепухи! Не обижай меня, не терзай, а то изобью тебя на прощанье...

Провожали его только четверо: Луша, я, Ветров и Банкин.

— Ну, брат, валяй... — с дрожью в голосе напутствовал его Ветров. — Приезжай домой агрономом. А то нам надоели эти мызгуны. Вот селекционные работы надо развернуть во всю ширину. Приедешь весной, — встретим тебя электрической иллюминацией.

Гуляка рванулся к нему с тарантаса, точно хотел спрыгнуть и отказаться от поездки.

— Эх, Андрюша!.. Жалко уезжать от дела... Ведь моя нагрузка на тебя ляжет... секретарство, счетоводство... Кто может сладить с этой работой? А еще жальче, как электростанцию без меня пустите. Ведь вместе душу свою вкладывали...

— Ну, валяй, валяй, друг! Ты в городе лучше помощь окажешь: надавишь, где надо... сам понаблюдаешь, пощупаешь, со сведущими людьми потолкуешь...

С Банкиным он простился за руку. Парторг смотрел мимо него и растроганно бурчал:

— Ну... что ж, Петруха, приезжай агрономом... Помни: партия — всё... без партии мы — без головы и без ног... обрубки...

Глаза Луши заливались слезами, а в сухих глазах Гуляки горела лихорадка. Першероны, сверкая бронзовой шерстью и играя могучими мускулами, гордо вскинули головы и стрельнули ушами.

24. Будни

Жизнь стала для меня полнее, интереснее: я уже была активной участницей больших и маленьких дел, которые совершались в коммуне. За год моей жизни я изучила до мелочей весь ее уклад, всю систему хозяйственных и людских отношений, но я была все-таки до сих пор только наблюдательницей. Я работала по партлинии с комсомольцами, работала немного по клубу и библиотеке-читальне, по ликбезу, но мое участие в хозяйственных делах коммуны было ничтожно.

Прохор тут работал больше меня: он еще до сих пор оставался правой рукой Ветрова и играл роль образованного эксперта. Летом же он работал на полях как обычный простой рабочий. Его ученики выполняли практические занятия на машинах, в мастерских и в огородах. С ними же он прошлой весной насадил фруктовый сад площадью в два гектара и организовал пасеку в сорок ульев. Из своей школы он сделал что-то вроде биостанции и агрономического практикума. Перед садом, за корпусами, оборудовали метеорологическую станцию — маленькую, второго разряда: решетчатую будочку — с термометрами и всякими измерителями, дождемер на столбе, высокую мачту с флюгером и розой ветров. Ребятишки любовно, тщательно, с потешной серьезностью вели по очереди наблюдения, записывали и вывешивали свои таблицы на черной доске, которую прикрепили к столбику крылечка школы. Коммунары и коммунарки толпились около этой доски с серьезными лицами.

— Тянет к дождю... Какой тут дождь... снег скоро потянет... вишь, как закручивает... Забивают голову...

— То-то у тебя голова свинцовая. По времю — снег, а по барометру — дождь... Вода.

— Ну, а как градусник? Сколько там? Ударит мороз без снега — озимям крышка.

— Да ты пойми: коли по барометру — дождь, жди, оказывается, снега... По градуснику — дело идет к нулю... не страшно...

— Оно хорошо... это нам на руку...

— Чего это, девки, кооперация лимонит? Давно уже пора теплую одежду распределять, а она еще в город не собирается...

Часто в толпе вдруг начиналась пляска. Девчата и молодайки с серьезными, странно застывшими лицами начинали выкрикивать частушки и кружиться впереплет одна другой. Они вызывающе и сурово напирали на людей, расширяли круг и притоптывали лихо и дерзко.

Меня мать родила
С курино яичко...

И толпа тоже застывала в очарованном самозабвении.

Тут же шли разговоры и споры по всяким вопросам хозяйственной и политической жизни.

— Идут хлебозаготовки... К мужику надо уметь подойти, иначе он хлеб в бороду спрячет...

— Надо бы с весны сушить болота. Этих болот гектаров сто... За границей их сушат машинами. Надо взять за бока совет коммуны.

— Пишут, что есть такой опытник, который получил колосья в пятьсот зерен. Надо бы пригласить его к нам и ошарашить мужиков. Сразу бы вся округа в колхозах была.

— Вот о войне говорят капиталисты... Эх, повременить бы... укрепиться бы... коллективы развить... к социализму поближе... Мы бы тогда везде посеяли советскую власть...

— В коммуне триста заявлений от крестьян... Не принимать бы в коммуну, а объявить колхоз...

Подходил Банкин и вступал в разговор. Около него плотным кругом теснились коммунары. Он как-то незаметно для всех уводил их подальше и с добродушным упреком говорил:

— Что это вы, ребята?.. И о работе забыли и других к себе маните... А Владимир Ильич смотрит на вас издали, покачивает головой и усмехается: хорошие, мол, коммунары, да сказки любят...

Детские ясли и детский сад я поручила Наташе. За этот год она стала строже и педантичнее меня. Комнаты она держала в сверкающей чистоте, нянюшек вымуштровала так, что они уже по привычке выполняли весь распорядок дня. Только Аксюта еще продолжала капризничать время от времени.

25. *Наш актив*

Как временный секретарь коммуны я участвовала на всех заседаниях и вместе с Ветровым разбирала кляузные дела коммунаров: спорила насчет заработков, нарядов, трудовых норм, обсуждала планы ра-

бот и вмешивалась в распределение сил по различным участкам хозяйства. А дел было очень много. Они требовали большого напряжения, опыта, знания жизни и быта коммуны. Домой я приходила изнуренная, но бодрая и счастливая. Никогда жизнь моя не была так полна и богата. Но во внешних проявлениях жизнь эта шла однообразно, и дни были похожи один на другой, как страницы большой книги.

Каждый следующий день начинался с вечера. В комнатку совета, похожую на обычную маленькую канцелярию, со шкафами и бумагами, с плакатами и графиками на стенах, собирались после ужина заведующие разными секторами хозяйства и бригадиры для составления плана работ на завтрашний день. Заседание под председательством Ветрова с обязательным присутствием Банкина длилось часа два. Чтобы выслушать отчеты бригадиров и наметить работы на завтра, нужно было не более часа. Но люди спорили, кричали по пустякам, волновались, упрекали друг друга в упущениях, разбирали по косточкам каждого работника и работницу, оценивали их характеры, поведение, привычки. Я быстро усвоила технику распределения труда среди членов коммуны и смогла сама критически относиться ко всяким предложениям и к способу выполнения работ.

После заседания бригадиры шли по общежитиям и оповещали коммунаров о заданиях на завтрашний день. Каждый уже накануне очень точно знал свое дело и объем работы и отвечал за ее выполнение перед бригадиром, бригадир — перед заведующим сектором, а оба вместе — перед председателем коммуны.

В бригадиры назначались старые коммунары и коммунарки, которые уже вросли в коммуну и считали ее своим созданием. Это были люди крепкие, испытанные, дисциплинированные. На заседаниях они говорили о дисциплине с особым смаком, и мне часто казалось, что они до излишества щепетильны и требовательны, что строгость их превращается в бездушный формализм. Но это только казалось: лица у них были жухлые, обветренные, голоса — суровые, сиповатые,

но в глазах их, очень свежих и зорких, играл смех и озорство. Кажется, вот-вот разразится ссора, и вдруг в разгар словесной схватки кто-то пустит крепкую остроту, от которой глаза вылезают на лоб. Все хохочут — хохочет и оратор, и тот, кто подвергся нападению. Это были грубые шутки, но в них не чувствовалось грязи, и я хохотала вместе со всеми до слез. Только Ветров был невозмутим и не отрывался от своих дум, но в глазах его тоже играла смешинка. В эти дни я впервые узнала, что Банкин охотник до шуток и до веселого смеха: он вскидывал угластую голову, и глаза его задорно блестели.

Чушкина я редко видела раньше: он всегда был на работах. Он был председателем производственного совещания. Теперь мы встречались с ним каждый день по нескольку раз. Это был бородатый мужик, со шрамом, который полосовал лицо через глаз и щеку. Глаз у него был поврежден: он мутнел жутко и неподвижно. Этот шрам он получил во времена партизанства в рукопашном бою с казаками. Он особенно страстно громит всех за малейшие упущения в дисциплине и все недостатки в работах — недовыработки и неряшество — объясняет только изъянами в дисциплине. Для него дисциплина — все: он одержим навязчивой идеей о дисциплине. Его даже прозвали «ходячей дисциплиной». О чем бы он ни говорил — о хозяйстве, о культработе, о быте коммунаров, о погоде, о политических событиях, — непременно все сведет к дисциплине. Для него судьба нашей страны, судьба коммуны, воспитание детей, виды на урожай определялись только дисциплиной. Он никогда не упускал случая приводить в пример дисциплину Красной Армии.

— Мы еще, черти окаянные,— мужики-лапотники... Когда же вы, друзья лыковые, будете в боевых рядах?

Мне несколько раз приходилось разговаривать с ним по душам, и я с удивлением чувствовала в нем очень мягкого, мечтательного человека. У него не сходила улыбка с лица, и шрам его страдальчески дрожал и будил жалость к нему. Он очень

любил говорить о прочитанных книгах, а нравились ему книги о войне, о революции, об открытиях науки и техники. Этот практический хозяин и взыскательный председатель производственного совещания каждый раз обращался ко мне с неожиданным вопросом о будущем:

— А скажи мне, Галя Ивановна, от сердца: вот есть на свете под империалистическим игом народ — негры. Будут они когда-нибудь белыми?

— Думаю, что нет, товарищ Чушкин: ведь это природная пигментация, расовая особенность.

— Чего? Каким же манером пигментация... расовая?.. По-марксистски это, Галя Ивановна, — от угнетения капиталистов. При коммунизме не будет никакой разницы — все будет одной окраски: единый коллективный человек. Дисциплины нет у них, чертей, а то бы давно освободились от рабства. Я вот думаю: не выписать ли нам человека два-три этих негров... для опыта... Ведь мы же коммунизм здесь строим, а? Основы закладываем... Обязательно бы мы содрали с них эту черноту рабства. Эх, дожить бы до общих времен!.. Страсть умирать не хочется!.. Красота-то, верно, какая будет!.. Жить до зарезу любопытно... а?

Заведующий механической мастерской, сормовский рабочий Рогаткин, молчаливый, маленький человек, с вечной трубочкой в углу рта, со спрятанными в бровях безучастными глазами, всегда смотрел задумчиво в пол или в бумаги на столе и не принимал никакого участия в прениях. Но когда ему задавали вопрос или просили сказать свое мнение, он глухо и небрежно отвечал в трубочку:

— Моя точка зрения и установка таковы: надо решать вопрос по классовой линии. Правило: отвечает ли наша работа требованиям партии и государства? Конкретно по данному вопросу надлежит поступить так-то и так-то...

Луша — заведующая кухней в общественной столовой. На заседаниях она неузнаваема: суха, скупа на слова, отчеты делает строго, с сознанием большой ответственности. И всегда кончает одной и той же фразой:

— Нам трудно, товарищи, работать: женщины — элемент еще отсталый. Тут одной голой дисциплиной сделаешь мало: надо, товарищи, одно — надо над женщиной работать, учить ее, воспитывать, а то у нас культработа в забросе... Попы еще тянут в церковь... сродники... колдуны...

Рядом с ней всегда садился Гришаня, нарядчик, — наш неизменный клубный конферансье. Он — тракторист и бывший грузчик. В коммуну пришел откуда-то издалека, из города: услышал о нашем коллективе, загорелся, сорвался с работы, поступил на краткосрочные курсы трактористов и по окончании их сразу же подался к нам. Пришел к Ветрову и отрапортовал:

— Вот, товарищ, хочу к вам, в коммуну. Нарочно для вас стал трактористом. Можете использовать как угодно, но я — человек братский: люблю брать от жизни не бражку и брак, а всю ее сразу. Время!.. Хочу жить в коммунистическом обществе.

В короткое время он показал себя мастером на все руки: инструктором по тракторному делу, по клубной работе, искусным и очень веселым ликвидатором неграмотности, музыкантом (он организовал драмкружок и оркестр).

Парень он был здоровый, жизнерадостный. Только я никак не могла привыкнуть к его маленькой голове на широких плечах. Ни в каких склоках не участвовал и к каждому человеку относился с пристальным интересом, точно всякий час и день видел людей новыми и неповторимыми. На заседаниях он выступал больше с предложениями — новыми, изобретательными, интересными.

Он почему-то очень охотно выступал вслед за Лушей и относился к ней почтительно, изысканно вежливо, называл по имени-отчеству и смотрел на нее с восхищением. И по ее лицу я видела, что она чувствует его всегда около себя, и от этого ей было приятно и неловко. Он садился около нее и вдохновлялся ее словами. А она отодвигалась от него и подбирала юбку. Одно такое выступление взволновало нас всех. Как обычно, он выступал сейчас же после Луши и,

как обычно, нетерпеливо рвался выложить какие-то новые, созревшие мысли.

— Лукерья Николавна совершенно верно изволила заметить насчет наших товарищей женщин. В писании поповском сказано: «Женщина — сосуд дьявола, источник греха», — а в народной поговорке так рекомендуется: «Люби жену, как душу, тряси ее, как грушу». Ну, и трясли ее, не щадя сил, да так растрясли, что из человека даже и груши не осталось, а так... родильная какая-то кишка... Лукерья Николавна высказала остроумную мысль: нельзя голой дисциплиной женщину на живую точку зрения поднять. Уж женщина рассказала бы вам, что такое эта самая дисциплина: эта дисциплина для ее вековой судьбы была жестким канатом, на котором она муштровалась хо́дить под кнутом нашего брата. Я предлагаю Чушкину выстрелить этой его дисциплиной в кого-то другого, а женщинам вооружиться до зубов... Время!

— Ого, война!.. Вот это — выстрелил...

— Обязательно. Вот мое предложение: женщинам организовать свои бригады по работе в деревне — среди женщин же, послать эти партизанские отряды против попов и кулаков, против мужей, против скотов и домовых. Время! Это, товарищи, война небывалая. Дать им наряд — взбунтовать баб: выгнать их из-под печки, звать в коммуну, устроить школы ликбеза, кройки и шитья, организовать ясли.

— Ну, ну... Они, брат, сковородники да ухваты в дело пустят... и ног не соберешь...

— Ничего подобного. Надо уметь пускать хитроумие. Как вы думаете на сей счет, Лукерья Николавна?

Луша вдумчиво и строго ответила:

— Очень даже правильно... только уж больно бабы-то наши с ума сойдут... невидаль для них... дико и небывало... По-овечьи в угол отпрянут... боязно... Мало ли что может случиться в деревне... перекалечут...

— Эх, товарищи! Вообразите только: бабий поход на стихию — красота! И механика любит подъем духа. Женщина обожает поэзию. Надо к женщине идти

с музыкой: Галя Ивановна бессомненно будет на нашем фланге, а товарищ Банкин только одобрительно улыбается... Улыбнитесь, товарищ Банкин. Время!..

Банкин действительно улыбнулся, а собрание слушало Гришаню, как конферансье, и весело смеялось. Я горячо выступила за предложение Гришани — волновалась, разошлась вовсю. Меня слушали напряженно и строго. Нечаянно я взглянула на Ветрова: он смотрел на меня пристально, и в глазах его я увидела необычный, пугающий меня огонь. Должно быть, я была не та — привычная, будничная, а какая-то иная, вновь рожденная, необыкновенная (впрочем, я и сама это чувствовала), потому что после моей речи все долго смотрели на меня блестящими глазами. Гришаня пожимал мне руку, а Луша терлась щекой о мое плечо.

— Ну, а как твое мнение на сей предмет, товарищ Рогаткин?

Он вынул трубочку и, подчеркивая ею значительные слова, авторитетно проговорил:

— Со стороны политики партии в деревне... а мы только об этом и должны думать... предложение Григория поддержано женщинами правильно. Только надо это провести без лишнего крику, без загибов и без барабанов. Я приму активное участие.

И он опять всунул трубочку в угол рта.

26. Новые вехи

Осенью и зимой работы в коммуне были однообразны, тихи, несложны: они укладывались в восьмичасовой день. Вставали по привычке рано. С семи до восьми — завтрак в общественной столовой в три смены. С восьми до двенадцати — работа, с двенадцати до двух — обед, с двух до шести — опять работа, с семи до восьми — ужин. А потом до десяти часов — культработа и партработа в кружках, в клубе, в библиотеке-читальне. Наиболее однотонный труд был у женщин и девушек: это — дойка коров, работа

по кухне, по продуктовому складу, уборка общежитий (я не считаю женщин в детских учреждениях, прикрепленных на постоянное дежурство), работа в зернохранилищах, в прачечной, пошивочной и в кухне. На мужчинах лежала вся тяжелая работа: уход за лошадьми, за машинами, погрузка и извоз, мельница с маслобойкой, сыроварение. В механической мастерской работали квалифицированные рабочие — слесаря, кузнецы, токаря, плотники, столяры и маляры. Большинство из них были коммунары, единицы — наемная сила. Но оплата труда и тем и другим была по одной разрядной сетке. Наемные рабочие пользовались одинаковыми правами в общественной жизни с коммунарами, и мы забывали, что они не члены коммуны.

Я работала с комсомольцами. Ячейка у нас — небольшая: на всю коммуну комсомольцев было человек двадцать — парней больше, девушек меньше. Работа у них шла плохо: бюро копировало заседания парторганизации, ставило те же вопросы, скучало, насиловало себя. Все умничали и уходили с заседаний утомленные и опустошенные. И только на дворе, на свободе, как школьники после унылого урока, оживлялись, возились, пели и орали всласть. Секретарь Коля Тишин, белобрысый кудряш, талантливо играл роль Банкина — он до мелочей повторял его слова, выражение лица и жесты.

— Ну, товарищи... открываем... в общем-целом... наше собрание...

Члены бюро — Наташа и ученик из слесарной мастерской, Павло, непоседливый, с беспокойными руками, бледный, длиннолицый, с ожидающей улыбкой в глазах, — терпеливо, покорно жевали вместе с ним уже разработанные вопросы в партячейке. Мне сразу же стало скучно. Ребята страдали и были беспомощны выдумать для себя что-то интересное, захватывающее, чтобы жизнь заиграла в их делах искрометно, молодо. Я ворвалась в их работу и смазала всю повестку дня.

— Бросьте пока, ребята, вашу повестку. Давайте поговорим по душам.

Тишин попробовал было протестовать и поглядел на товарищей с надеждой, но Наташа улыбалась змейкой, а Павло сразу в нетерпеливом ожидании засмеялся.

— Вот что, голубчик Коля... Брось ты, во-первых, это нелепое присловие: «в общем-целом», а во-вторых, приди в себя, проснись и будь хорошим парнем.

— А что же я? чем же плохой? — Он покраснел и растерялся. — Мы все тут комсомольцы... и должны... крепить свои ряды...

— Сейчас ты плохой, Коля. Настоящий чурбан и чудило.

Наташа протянула руку, уверенно вцепилась в его вихры и повернула к себе его лицо.

— А я все время гляжу на тебя, Колька, и думаю, почему ты такой дурак. Опомнись, балбес! Ну-ка, я за тебя председателем буду: увидишь, как заверну.

Тишин вдруг вскипел, обиделся и сразу будто вырос.

— Ну, это ты... катись под гору колесом... и мой котелок не тревожь... А то — за ноги и в окошко... Саранча!

Он сам схватил ее за стриженую голову. Павло шлепал руками о коленки и весь клокотал от восторга. Наташа вскочила и с удовольствием ударила Колю по спине. Я тоже сорвалась с места и ввязалась в их возню. Деловая скука полетела вверх ногами.

Решили на первое время молодежь увлечь физкультурой и футболом.

Я взяла на себя роль инструктора по физкультуре, а Гришаня — тренера по футболу. После того как у нас дело пойдет на лад, — мы в этом не сомневались, — организовать ударные бригады на разных участках работ.

Решили установить шефство над школой, организовать отряд пионеров.

На другой день вечером мы сбили в клубе всех парней и девчат и сообща обсудили наши планы. С этого вечера начались впервые занятия по физкультуре. В пошивочной мастерской заказали трусы и рубашки, и через неделю в рядах все, — и парни и

девушки, — стояли уже с голыми ногами и руками. И мне было забавно, как они по-ребячьи любовались своими костюмами и гордились ими, как боевыми доспехами. Девушки сначала конфузились, краснели, но по их глазам было видно, что они счастливы.

Коммунары и коммунарки ввалились к нам в клуб и ошарашенно глядели на полуголых парней и девчонок. Мужчины посмеивались, а женщины панически ахали, шептались и стыдливо закрывали рты фартуками.

Банкин тоже однажды пришел и долго смотрел на нас. Потом заулыбался.

— Вот это — да! Это — здорово! Зашуровала комса почем зря... Хоть сам штаны скидавай, ей-богу... Молодцы, ребятки!.. Округляй дальше... Буду приходить — любоваться... Не прогоните?

Физкультуру мы ввели с шести часов утра до завтрака, на дворе, и удивляли коммунаров: как это мы, голые, не замерзаем на осенней сырости.

Футбол стал уже ежедневной игрой.

Работа в комсомоле пошла по-новому: мы уже по-своему разрабатываем все деловые и хозяйственные вопросы и сами являемся инициаторами в коммунарских делах. Теперь в комсомоле уже около сорока человек. Мы командировали учеников в мастерские. Гришаня сколотил ученическую группу трактористов. А этой осенью послали учиться в рабфаки пять человек: трех парней и двух девушек.

27. *Ревность*

Однажды глубокой ночью, когда я уже собиралась лечь в постель, ко мне вошел Ветров. Я даже испугалась его внезапного, странного прихода. Одет он был на скорую руку: очевидно, только что поднялся с кровати.

— Пойдем-ка, Галя Ивановна! Шубины подрались. Дуняха прибежала бешеная и требует сейчас же разобрать дело.

— То есть как подрались?

— А черт их разберет. Кажется, парень в ревность поиграл, — ну и дал ей по скуле.

Я быстро накинула теплую шаль и побежала впереди Ветрова. По дороге я забежала к Чушкиной, растормошила ее и помогла ей одеться. Ветров пошел за Банкиным.

Дуня вошла в комнату совета первая, за ней — муж, рябой парень с пыльной бороденкой. Все сели вокруг стола. Дуня с лихорадочным румянцем и блестящими глазами сидела прямо, выпятив грудь. Муж, с улыбкой воришки, стоял сконфуженный. Чушкина позевывала, и спросонья глаза ее, красные и мутные, казались заплаканными.

Ветров благодушно и насмешливо посмотрел исподлобья на Дуню.

— Ну, выкладывай. Ставь дело всерьез, ежели с постели стащила.

Шубин вдуг озлился.

— Да чего она голову морочит. Чего подняла шум в глухой час, чего зря людей булгачит? Никому даже не интересна эта твоя склока.

Дуня вскочила со стула и мстительно рванулась к нему.

— А, ты так? Значит, когда волю даешь кулакам — это склока? Это — моя склока, да?.. Меж мужем и женой в нашем коллективе нет личной склоки, коли, товарищи, дело до кулаков доходит. Вот. Скажи: ты меня ударил? да? Ты скажи об этом. Прямо говори.

— Ну, ударил... ну, что с того?.. Да тебя, такую шараду, всякому с руки ударить..

— Ага! Ну, так вот, товарищи. Слышите? А за что? За что ты меня ударил? Нынче днем, товарищи, когда с работы возвращались, парнишка там вьюна задал... Ну, поиграли с ним... Неужели поиграть нельзя? Ну, а он увидал, что ли... И вот весь вечер, как бык, — прет и ревет. А что ж? Ну, и указала ему свое место. Должна я защищаться или нет? А он на мою словесную защиту — со всего плеча... А если бы в глаз попал? Да фонарь? И это — в коммуне-то!.. а?.. Муж

бабу бьет... Это допустимое дело? Я знаю наши законы, да. Тут не деревня. Тут не смей рукам воли давать. Вот разъясните ему его характер.

Она села в негодовании и задышала порывисто и надсадно.

Банкин посмотрел и на Дуню и на мужика и улыбнулся. Задорный блеск вспыхнул в его глазах.

— Так... значит, бытовой драмкружок... Жаль — не видал. Потешили бы.

Чушкина молчала и сварливо изучала глазами обоих Шубиных.

Мне казалось, что дело не требует никакого расследования. Все ясно — к чему разводить словесность?

— Корпеть и канителить нечего, Ветров. Шубина надо исключить.

Дуня вздрогнула и с изумлением уставилась на меня.

Шубин медленно, ничего не понимая, потянулся к Ветрову. Дуня поймала меня за рукав.

— Погоди-ка, погоди, воспитательница. Ты чего это сказала-то?

— Я сказала, кажется, ясно: Шубина надо из коммуны исключить.

Шубин замигал и зачесался.

— То есть как это — исключить? За что?

— За ревность... за кулак.

— Ну, вот тебе... Ведь она — жена мне аль нет?

— Ну, жена. Так что ж из этого?

— Ну, и, значит... пустой разговор...

Шубин оскалил желтые зубы со щербиной в резцах и отмахнулся.

— А как же ты, товарищ, понимаешь жену? Устав знаешь? Чем твоя жена отличается, например, от меня или от Чушкиной?

— Ну, сказала... Ты — одно, а жена — другое.

Я вскипела и набросилась на него.

— Это что же за дикое понятие о жене? Раз жена — так можно колотить ее, держать в повиновении и постоянно следить за ее поведением? Это — варварство. Я требую немедленного исключения.

Ветров смущенно взглянул на Чушкину и на Банкина.

— Может быть, решение отложим до завтра, товарищи? В чем дело? На свежую голову завтра потолкуем еще? Поспешность здесь ни к чему.

Я стукнула ладонью по столу.

— Ни в коем случае, Ветров. Ты заметаешь следы. На что это похоже!

Банкин молчал и мудро улыбался.

Шубин вытаращил на нас обалделые глаза.

— Товарищи, что же это такое?.. За что это, товарищи?.. Вы же знаете... ну, ей-же-ей, сердце зашлось...

А я вошла в раж и поучительно била его в упор:

— Что значит сердце зашлось? Ты здесь живешь, товарищ, в иных отношениях с людьми, чем в деревне. Ты — общественный человек, ты — дисциплинирован. А этот твой поступок — для быта коммуны удар. Ты, дорогой, не жену ударил, а внес в коммуну разложение. Понял?

Дуня побледнела и растерянно развела руками. Она плаксиво улыбнулась и стала ощипываться.

— Товарищи, да ведь я же не для этого... Разве я хотела?.. Ежели бы знала, что так обернется, я бы, дура, и виду не подала. За что же это, товарищи?.. из коммуны!.. Да куда же он пойдет?.. Чай, не первый год с ним живем. Я только для той статьи, чтобы вы его пошпыняли. Ну, челку бы маленько натерли... А то что же это?

Ветров смущенно посматривал на Банкина и Чушкину, точно ждал от них поддержки.

Лицо Чушкиной стало скорбным и раздумчивым.

— Эх вы, люди, люди!.. — и вздохнула. — Нельзя так, Галенька, с налету: с человеком дело имеешь. Подумать надо, а то ударишь сплеча, и человека — нет.

У Ветрова радостно вспыхнули глаза, и он оживился.

— Вот я и говорю. В чем дело? Вздрючку дать — это верно. Ну как, Банкин?

Я встретилась со взглядом Банкина и ничего не увидела в его глазах.

— Оно так-то так... Но мы ведь, Галя Ивановна, социализм строим!.. Нам партия дороже всего... Надо прямо... честно... В жалости ядро вредное.

— Подожди, Банкин... Может, позовем Рогаткина? Он по-пролетарски твердо поставит вопрос.

— При чем тут Рогаткин? Ты ерундишь, Ветров. Я протестую...

Все жадно устремились к Банкину и ждали, что скажет он дальше.

Глаза его вдруг вспыхнули гневом, и он крикнул решительно:

— Думать нечего. Такие безобразия надо сразу истреблять. Так и Рогаткин скажет. Исключить! Согласуюсь с Галей... Правильно!

И от этих слов его, твердых и сильных, я ощутила себя вдруг крепкой и радостно уверенной. Ветров растерянно улыбался, а Чушкина со скорбным изумлением покачивала головой.

Я встала перед Дуней и с дружеской суровостью одернула ее:

— Ты, Дуня, поступила хорошо: адресовалась к совету. Это — пример для наших женщин. Но ты струсила, и за эту трусость тебя надо подтянуть. Шубин должен сам отвечать за свой поступок перед коммуной. Это не только ваше личное дело. Раньше ты говорила, как сознательная женщина, а сейчас извиваешься. Что это за мода? Шубин пусть поразмышляет на свободе. Воспитание не дается готовеньким: оно зарабатывается. Голосуй, Ветров!

Дуня, бледная, ринулась ко мне и хотела крикнуть что-то оскорбительное, но вдруг жалобно, сквозь слезы проговорила:

— Это — неправильно, товарищи. Я буду тут, а он — не знай где. Не хочу я. Ты, воспитательница, — холостая, не суй носа в семейное дело. Мы живем здесь по-свойски и с малых лет, с самых голяшек, друг дружку знаем. А ты сюда припрыгала, не знай отколь, и свой норов показываешь. Заткнись, сделай милость, и не суйся, куда не надо.

Ветров строго постучал карандашиком по столу.

— Ты, Дуня, это зря. Галя Ивановна — такой же член коммуны, как и ты, и ей так же дороги наши общие интересы, как и всем нам.

Дуня будто впервые заметила Ветрова и набросилась на него:

— Ты, Андрей Семеныч, не можешь нас судить. Лучше не ввязывайся в это дело.

— Вот тебе раз! — Он смущенно засмеялся. — Однако ты побежала все-таки ко мне, стащила-то с постели все-таки меня. Это как же понимать?

— Управу ты, Андрей Семеныч, можешь дать, а судить — руки коротки. У тебя у самого с женой-то неладно. Тебя самого судить надо. Почему ты жену свою не судишь? Сперва ее исключай, а потом с легкими руками и за мужа моего берись.

— Ну, не горячись... В чем дело? Не я же творю суд и расправу. И до жены моей дойдет очередь — не беспокойся.

— Ее очередь уж давно прошла. Твоя — на очереди...

Ветров встал и тяжело уставился на нее глазами.

— В чем дело, Дуня?

Чушкина сурово осадила ее:

— Ну, ты, матушка, что-то не той вожжой закрутила. Ты чего это расходилась больно? Заварила кашу, так доводи до конца. Плясать мы, что ли, сюда пришли? Ежели ты хотела, чтобы мы перед твоим муженьком покрасовались да языком трепали — незачем было тебе нас поднимать в ночь-полночь...

Ветров сел и очень тихо, почти скучно проговорил:

— Ну, будет, товарищи. Хватит. Пожалуй, мы отложим, а?

Я резко отрубила:

— Это — слюнтяйство, Ветров. Я протестую. Чушкина, будь ты, пожалуйста, потверже. Ты — женорганизатор, а допускаешь такую путаницу.

— Ой, матушка, ведь люди же... свои же... а ты — с ножом к горлу...

Банкин смотрел на Шубиных с улыбкой себе на уме: он заранее знал, что этот случай научит их многому.

Ветров сокрушенно поставил вопрос на голосование. Решили Шубина исключить. В последний момент Чушкина вся встряхнулась, будто вспомнила о чем-то тяжелом, что обрушилось на нее в былые годы и осталось в сердце на всю жизнь. Она высоко вскинула руку. И рука и голова ее вздрагивали.

— Нет, матушка, баба привыкла молчать и сносить все в покорности. Трудно бабе бороться со своей природой, а уж приходится воевать... Ничего не сделаешь.

Ветров крутил головой, но тоже присоединился к нам. Шубины ушли убитые. Дуня плакала.

Утром Шубины явились в совет и долго упрашивали Ветрова отменить вчерашнее постановление. Ночь для самого Шубина была мучительной: очевидно, он совсем не ложился спать. Лицо у него было больное, какое-то дубленое, глаза — мутные, в лихорадке. Дуня, тоже поблекшая, заплаканная, присмиревшая, стояла около него и умоляюще искала моего взгляда.

Ветров чувствовал себя неспокойно, но сохранял обычное председательское достоинство.

— Ничего я не могу сделать, Шубины. Это постановление не мое.

Шубин сипло и упрямо мычал:

— Я, Андрей Семеныч, не уйду из коммуны, — что хочешь, то и делай. Я в коммуне вместе с тобой страдал. Без коммуны мне — могила. Не уйду, Андрей Семеныч. Отруби мне руки за дурость, а из коммуны меня не выбросишь.

У Дуни дрожал подбородок, и глаза тонули в слезах.

— Да Андрей же Семеныч! Галя Ивановна! Разве же так можно? Он ведь всю ночeньку будто на казнь шел. Теперь он всем друзьям и недругам закажет. И у меня все сердце на части изорвалось. Стою сейчас, как дурочка.

Мы переглянулись с Ветровым, и у него радостно вспыхнули глаза.

— Ну, вот что, ребята. Постановление пока в силе, а Шубин пускай как работал, так и работает. Поста-

вим его на испытание. Драть вас надо, окаянных. Хлопот-то сколько наделали!

Шубин заморгал, заулыбался, испугался своей улыбки и взглянул на Дуню. Вдруг они бросились на шею друг к другу. Дуня рыдала от счастья. Ветров глядел и на них и на меня и хватался за кепку, за подбородок, потирал щеки и лоб. Шубин схватил Дуню, как ребенка, и на руках уволок в коридор. Я встала и подошла к Ветрову.

— Ну, Андрей Семеныч?.. А ведь хорошо вышло, а?

Он не ответил мне и быстро вышел из комнаты.

28. Бабье лето

Глубокая осень, а на душе — чудесная весна.

Мы шли в столовую — Чушкина, Луша, я, Наташа и Ветров. Говорили о сегодняшнем вечернем собрании женщин. Решили привлечь на собрание и некоторых женщин из ближайших деревень — наших друзей и старых подруг коммунарок. Мы уже привыкли их видеть в нашем клубе: они привязались к нам и часто заходили в гости. Ветров молчал и был чем-то подавлен: лицо у него осунулось, окостенело, и весь он както ссохся, точно страдал от лихорадочного озноба. Он не слушал нас и будто тяготился и нами, и солнцем, и своими обязанностями; кажется, что ему смертельно скучно, что он переутомлен до полного изнеможения.

Чушкина шла, как поводырь, величаво закинув голову. Она кричала на весь двор и шлепала руками по бедрам.

— Вы, девки, всё налетом хотите. Захлопали крыльями да полетели. Баба наша любит, чтобы с ней поохали, поплакали, поприласкали ее. Доброго слова да ласки она в жизнь свою не видела. Что знает она, кроме беспросветной работищи? Ей бы только пожаловаться. Хоть столбу, да пожаловаться. Ты с попом не шути: поп для деревенской бабы — утеха и прибежище, всех скорбящих радость. Тут, девочки, надо не тяп да ляп, тут очень даже надо тонко в душу бабе

залезть. Ее надо приголубить, надо ей бабий праздник устроить, чтобы она у нас почувствовала себя как в церкви, — от скорбей утешилась, лаской сердце порадовала, да чтоб здесь, у нас, свое прибежище увидела.

Наташа весело крикнула:

— Ты, Чушкина, вопишь, как плакальщица. Мы вот с Галей детскую кухню устроим. Уж об этом бабы в деревне судачат. Не плакать надо над бабой по-поповски, а бить ее покруче мужних кулаков...

— Ты дуреха, Наталька... Чего ты понимаешь в бабьей судьбе? Ты в раю живешь.

А я радовалась, я ликовала, поглядывая на Ветрова.

Недавно он перебрался от жены в другой корпус, в маленькую темную конурку, похожую на чулан. Заходил он только к детям, а с женой не разговаривал и держался как чужой. Это сильно встряхнуло всю коммуну. Несколько дней только и судачили о поступке Ветрова и ждали каких-то тревожных событий. Даже в читальне, среди шелеста газет и журналов, люди говорили о Ветровых и спорили об исходе этой истории. Сходились на том, что Анисья Матвевна доживает в коммуне последние дни. Открыто, не стесняясь, передавали стихи о каких-то темных ее проделках, о ее частых прогулках в деревню, где она гостит по нескольку дней у своего отца, который сильно поправился после войны и голодовки. Выяснилась какая-то родственная связь между отцовской семьей и Бураковыми и какие-то общие их таинственные дела. Ходит же туда Анисья Матвевна неспроста — вероятно, шпионит, ведет подрывную работу и нарочно не подчиняется правилам коммуны: не ходит на работы, не отдает детей в детские очаги, демонстративно не посещает собрания и не показывается в общественной столовой. Вспоминали прошлогодний падеж поросят, недавний пожар амбара с одеждой, какие-то странные болезни среди коммунаров. Сколько здесь было правды — трудно сказать: доказательств не было, но слова тревожили и возбуждали.

Я слушала все эти разговоры, и мне самой было не по себе: невольно хотелось верить этим слухам, потому что я видела, что женщины и мужчины — особенно женщины — не сомневались в истине этих фактов. Верила и Чушкина, верила и Луша. Но Наташа загадочно улыбалась и говорила туманно:

— Уж больно всем хочется, чтобы Ветриха была злодейкой. Она — дура и труслива, как крыса: хоть и грызет, да без толку.

И я не могла понять — верит ли этим разговорам Наташа, или считает их сплетнями.

На совете было решено лишить Ветрову пайка, а временно выдавать из кухни готовые блюда только детям. Но в кухню она не являлась, и Ветров сам приносил еду детишкам. Анисья Матвевна в первый же день опрокинула судки над лоханкой и, под рев старшего мальчонки, с немым остервенением вышвырнула ногами всю посуду в коридор.

— Ну, ты, кажется, баба, совсем ошалела. Что ты этим хочешь доказать?

— А пущай эти выродки с голоду сдохнут. Ты начал, а я кончу.

— Ну, насчет голодовки — валяй для себя! На детей у тебя власти нет: они — собственность коммуны. Мы уж сумеем освободить их от твоих забот.

— Ох, ты!.. Год не умели, а сейчас и подавно. Своими руками их задушу, сама сдохну, а из рук не выпущу. Весь народ в деревне подниму. Ты загубил мою жизнь, ты разорил родное гнездо. Ты — злодей для деревни. Тебя ненавидят все.

Ветров был жутко спокоен.

— Ты напрасно беснуешься. Выбросим тебя завтра же, как собаку.

— Это меня-то?.. Кровью изойдусь, а назло не уйду. Буду висеть над твоей душой. Житья вашей шайке не дам.

Она завыла в злобном отчаянии:

— Где моя молодость? Где думы мои о своей семье и достатке? Все съели, все растоптали, дьяволы, шантрапа, бездомники! Ничего не осталось. О том ли думала я... о том ли сердцем болели отец мой и мать?

Того ли я ждала от этой проклятой твоей коммуны? Вот и казнюсь теперь всю мою жизнь.—И завизжала, как кликуша. — Нет!.. Дождусь же! Уж потешусь над вами. Как баранов вас всех перережут. И камня на камне не оставят... Само место это будет окаянным...

Он не стал слушать ее криков и ушел.

В последнее время стали твориться странные вещи. Однажды утром меня разбудили тревожные голоса за окном. В коридоре захлопали двери и затопотали сапоги.

Я вскочила как встрепанная и почему-то с замирающим сердцем решила, что в коммуне — пожар (мне даже почудилось, что я ощущаю запах гари), что этот поджог сделала Ветрова. Кое-как я натянула юбку и пальтишко и выбежала из коридора. Люди бежали на задний двор, к саду, но ни дыму, ни пожарного смрада я не заметила. Небо было прозрачное, голубое и очень высокое. Дали были четки и холодны. Холмы глубоко зеленели озимями, и хотя я не видела облаков, по взгорьям пепельными пятнами неслись огромные тени. За корпусами — там, где рядами стояли ульи и голубятней маячила метеорологическая будка, — толпились говорливые кучки коммунаров. Прохор, взлохмаченный и грозный, носился с ребятами вдали и размахивал руками. Ульи в беспорядке валялись на земле, и пчелы в агонии застыли на их стенах, как короста. Ветров вместе с другими коммунарами заботливо и молча ставил ульи на место. Лицо его было строго и спокойно. Люди угрюмо посматривали на стену корпуса.

Громче всех кричала Дуня:

— Это — Ветриха... Это она, дрянь паршивая, делов наделала... Ну, ну, потерпите еще... попляшите под ее дудочку... Я бы ее живо схватила за косы и выволочила на чистое поле...

Вдруг я увидела, что дождемера не было на столбе. Я подбежала к будке, вскарабкалась по лесенке, чтобы осмотреть, все ли цело в ее решетчатой клетке. С высоты я заметила, что дождемер валялся изуродованный, за пряслом, в саду: очевидно, его топтали ногами с остервенением и мстительным отчаянием.

С лесенки я взглянула в окно общежития и в черном квадрате стекла встретила зеленую костлявую маску лица Ветровой. Она смотрела только на меня, и я опрометью слетела на землю. И в то мгновение, как я поймала ее глаза, я с холодным страхом почувствовала, что это разрушение произвела она. И когда я опять невольно взглянула на окно, Ветрова почему-то кивала мне головой и скалила зубы.

Весь этот день коммунары были особенно молчаливы и о случившемся совсем не говорили.

Через день опять произошло событие, которое обрушилось уже на мою голову. Поздно вечером я возвращалась домой после заседания в совете. Болела голова, и мне очень хотелось спать. На крылечке я внезапно столкнулась с уродливой тенью. Она со страшной силой толкнула меня в грудь, и я кубарем полетела по ступенькам вниз. Когда я очухалась и встала, никого около меня не было, только где-то далеко взвизгнула и хлопнула дверь. С беспокойным предчувствием я опрометью побежала к себе в комнату. Лампы на столе не нашла, но сразу почуяла, что и на столе и всюду — беспорядок. Под башмаком треснуло что-то хрупкое и рассыпалось осколками стекла. Спички я всегда носила в кармане, чтобы при возвращении в свою комнатку не искать их среди вещей. И, когда вспыхнула спичка, я не узнала своей комнаты: это была сплошная свалка из вещей. Все было сброшено на пол, истоптано, изорвано. Лампа валялась у порога, и масляное черное пятно от разлитого керосина расползалось рваным полукругом. Постель валялась у стола, и из распоротой подушки вываливались перья и пух. Я выбежала в коридор и застучала в комнату Луши. Она выскочила, слепая, одуревшая от сна, и, глупо улыбаясь, смотрела на меня, немая, убитая испугом.

— Луша, голубка!.. У меня — столпотворение... ворвались громилы и все перевернули вверх дном.

Она испуганно вскрикнула.

— Роднаечка!.. Что это такое?.. Кто это тебя так?.. Да ведь ты вся — в кровищи... Батюшки мои!..

Луша взяла свою лампу, и мы вошли опять в мою комнатку. Она поставила лампу на стол и почему-то села на табуретку.

— Это — она... Она это, роднаечка... Ветриха...

На сегодня было решено собрать чрезвычайное собрание коммуны, где будет решена судьба Ветровой. Но внезапно заболел у них ребенок. Ветров спешно послал за доктором, а Анисья Матвевна бросила малыша на руки шестилетнего мальчика и еще с утра ушла на село.

29. *Смешная трагедия*

Все это я вспомнила, когда смотрела в спину Ветрова. Он был и сильный и беспомощный.

Из-за угла столовой вышел, путаясь в рясе, тощенький попик, в измятой черной шляпе, с растрепанными бабьими косицами, с облезлой бородкой. Шел он рядом с Анисьей Матвевной зыбко, короткими шажками, будто ступал только на пальцы. К груди он прижимал сверток и прикрывал его широким рукавом. Анисья Матвевна шагала около него с вызывающей смелостью, выпячивая живот.

Ветров вдруг остановился, словно его ударили по лицу. Лицо у Чушкиной осунулось и обострилось, как у больной. Луша замерла с раскрытыми губами. Наташа улыбалась спокойно, как будто она уже давно привыкла к этим неожиданностям. А я бесновалась и теребила Чушкину за рукав.

— Нет, что это такое, товарищи?.. Ведь это же наглость!.. Я не могу...

— А ты моги! То ли еще бывает... Ты хоть не мешай: дай потешиться.

А Ветров легко и весело подошел к попику и преградил ему дорогу.

— Вам что здесь угодно, гражданин?

Лицо у Анисьи Матвевны стало трупно-синим. Она была раздавлена Ветровым, который не считался с нею, и не могла превозмочь своего страха перед ним, но в то же время этот страх вызывал в ней бунт. Я ждала мгновения, когда она вцепится в него судо-

рожными пальцами и будет рвать в клочья одежду, плеваться и кусать его, как собака.

— Какое тебе дело, ну? Иди своей дорогой, сделай милость. Иди, ради бога, не наводи на грех. Тут твоего дела нет, и тебя не трогают... ну? Иди к своим кралям — вон они дожидаются тебя... Иди, тебе говорю, Андрей!

Но говорила растерянно упавшим голосом, как будто умоляла мужа.

Ветров повернулся к ней спиной и пристально смотрел в бороду попика.

— Да вот... Анисья Матвевна... дать молитву и... причастие ребеночку... говорит, очень болен...

— Ну, а вы-то тут при чем?

Попик хотел что-то сказать, но поперхнулся от смущения.

— Я считаю, что нужно быть сумасшедшим, чтобы посметь ступить на эту землю. Однажды я вас отсюда уже вытурил — этого никто не видал. Я уже предупреждал вас, что здесь вам не место. Вам этого мало?

Попик плаксиво заулыбался, рукав рясы вздрагивал на свертке, но он изо всех сил старался сохранить свое достоинство священника. Он оскорбленно посматривал на Анисью Матвевну. Но взгляда Ветрова не выдержал.

— Для меня, Андрей Семеныч, везде место, где нужно выполнить требу. Как священник я не могу отказаться от своих обязанностей. Ко мне пришли с настоятельной просьбой, и я не задумался. Какой же я был бы священник, если бы я убоялся каких-то преград? А люди везде нуждаются в душевном утешении и молитвах.

Ветров слушал терпеливо и холодно: лицо его окаменело, как маска, но складка на щеке и губы вздрагивали.

— Ну, так вот, кроткий служитель культа....

Анисья Матвевна вдруг оттолкнула плечом Ветрова и почтительно взяла под руку попика.

— Иди, батюшка, пожалуйте!.. Это никого не касается — это дело мое. Ежели я хочу молиться и душу

свою облегчить, никто мне не посмеет стать поперек воли.

Попик хотел было пройти мимо Ветрова вместе с Анисьей Матвеной, но Андрей Семеныч опять стал ему на дороге.

— Ну-с, так вот, кроткий служитель культа... Поворачивайте оглобли назад, и больше чтобы вашим духом здесь не пахло.

Анисья Матвевна тянула батюшку вперед. Ветров не пускал его и оттеснял назад своим холодным взглядом. Попик и трусил, бледный и растерянный, и хотел показать, что он не может отступить перед велением своей совести. Анисья Матвевна вдруг обезумела: она с мукой и яростью в лице замахала перед Ветровым руками.

— Не смеешь ты мне указывать, Андрей!.. Лучше умру, чем отступлюсь... Ты замучил меня... сил моих нет. Батюшка, иди! Иди, милый батюшка!.. Сдохну, как собака, без покаяния и божьего слова... Ума я лишаюсь, батюшка... Помоги мне, ради Христа...

Ветров порывисто обернулся к ней и крепко схватил ее за руку. Он вонзился в нее глазами, и я по затылку, по его спине увидела, что он был страшен. Она билась в его руках и готова была упасть от потрясения. Попик приблизился к ней и ласково погладил ее по голове.

— Не надо так отчаиваться, Анисья Матвевна. Нельзя так злобствовать и затемнять душу. Не злобой достигается мир в душе, а всепрощением и любовью. Я всегда рад облегчить твое горе.

Ветров повернул к нему лицо, и попик испугался — отступил на шаг и опять плаксиво улыбнулся.

— Иди отсюда, поп, сейчас же!.. Слышишь! Удирай к черту, если дорожишь своей шкурой...

Чушкина махнула нам рукой и подошла к Ветрову, который стоял перед женой, сжимая, как клещами, ей руки. Она от боли шаталась и стонала:

— Пусти... пусти мои руки!.. Ой, больно мне!.. Пусти, проклятый, подлый ты человек!..

Чушкина со скорбным негодованием подошла к ним и хотела оторвать руки Ветрова от рук жены, но они окоченели и вросли в ее тело.

— Это ты что же, матушка, бунтуешь здесь, а? Это на что же похоже, а?..

Анисья Матвевна не видела и не слышала ее: она была точно в обмороке.

— Ты что же думаешь, что ты одна здесь, голубушка? Свои законы вводишь в нашей артели? Оставь ее, Ветров!.. Не твое теперь дело усмирять ее. Теперь настал час нам взяться за суд и расправу. Брось ее, Ветров, говорю... слышишь?

Но Ветров сам застыл, как в столбняке. Он так цепко и сильно сжимал руки жены, что кисти ее рук набухли и побагровели, вены готовы были лопнуть от напора крови. Она обессилела и упала на колени со стоном и отчаянием.

Я сама дрожала — не знаю почему. Знала только, что этот проклятый узел наконец развязывается.

Я схватила руку Ветрова и стала разжимать его пальцы. Они трещали в суставах, но боли он, вероятно, не ощущал.

Луша поднимала Анисью Матвевну под мышки, и в лице ее не было ни вражды к ней, ни ненависти.

— Ну? Вставай, вставай, Анисенька, милая!.. Иди со мной! Назола ты наша, непутевая!

Наташа стояла на прежнем месте и, как обычно, улыбалась загадочно и безучастно. В дверях кухни толпились женщины, густо сбитые в кучу, и смотрели на нас с застывшими улыбками. На крыльце школы стоял Прохор в толпе ребятишек. Он смотрел на нас сверху, точно вел предметный урок. Когда он указал рукой вдаль, мимо нас, я невольно оглянулась и увидела, как попик, путаясь в рясе, шел между зданиями по дороге и оглядывался, будто ждал, что его позовут обратно.

Чушкина распоряжалась строго и властно:

— Иди, Ветров, по своим делам. Здесь тебе, милый, нечего толкаться. Мы и без тебя порядок наведем. Ведите ее, девки, домой. Да подежурить около нее надо, а то еще наделает бед.

Анисья Матвевна была уже бессильна и покорна: она упала духом и онемела.

Ветров как-то незаметно пришел в себя и очень спокойно, точно отдавал распоряжения по хозяйству, сказал Чушкиной (только хрипота выдавала его волнение):

— На сегодняшнем собрании, Чушкина, я выступлю сам.

— Ну, иди, иди себе... нечего хорохориться... И тебе, батенька, не отвертеться сегодня. Иди, иди!

— Я только заявляю...

— Эх, ты... организатор!.. Что ты с собой понаделал, детина! Балбес ты этакий!

Анисью Матвевну повела одна Луша: я не решалась подойти к этой женщине — признаюсь, я боялась. Ее глаза, мутные, затравленные, были жутки: эти глаза не прощали.

30. Общественная столовая

Обед в столовой прошел как будто обычно: не было ни возбуждения за столом, ни шепотов, ни споров. Говорили больше о новшествах в распорядке столовой. Я обедала в первой партии, сидела за столиком рядом с Лушей и Гришаней. Банкин — за соседним столиком с Рогаткиным. Только здесь Рогаткин отрывал трубку от губ и прятал ее в карман, но видно было, что ему трудно без нее, непривычно, и он молча и торопливо хлебал щи, подхватывал вилкой жаркое и к чему-то вдумчиво прислушивался, рассуждая про себя, и убежденно кивал головой с масленой косицей на лбу. Наш столик был крайний в среднем ряду и выдвигался в проход около стены кухни. В широкое отверстие в стене мы видели толкотню дежурных женщин в глубине, около плиты и столов, в клубах пара, среди штабелей тарелок, похожих на стопки блинов. Бегали мимо нас в серых халатах девушки с борщом в тарелках, с жарким, с молоком, с кофе и какао. Горячие и влажные запахи щей, супа, жареного мяса, пригорелого аромата кофе жирно мешались со смолистым запахом свежих досок: сегодня была поставлена

новая мебель в столовую. Длинные, покрытые белыми скатертями столы и золотые шеренги стульев. Стены и столы расцветали букетами искусственных цветов. Впервые люди сидели по-домашнему: верхнее платье висело на вешалках в прихожей. Все дышало уютом и праздником. Луша перед обедом, взволнованная и счастливая, сказала маленькую речь, и когда говорила — краснела и бледнела.

— Товарищи, мы уже очень даже можем похвалиться: мы стали воспитанные. Пора нам хранить чистоту. Мы не ели раньше на отдельных тарелках, а теперь едим: мы уже общей чашкой брезгаем. А теперь, товарищи, мы обязательно в умывальне должны руки мыть перед едой и после еды. Мы ведь прямо с работы в столовую идем. Некоторые сегодня по старой привычке прямо с грязными руками в столовую прошли. Это очень даже нехорошо, товарищи. Которые товарищи коммунары даже рассердились, когда их послали в умывальную, и дежурным девушкам в прихожей неприятности говорили, — ну, это, товарищи, мы сознательно должны прекратить. Мы строго достигли чистоты разговора — у нас уже нет бесстыдства в словах: эти гадости мы выжгли... Ну, а мыть руки мылом, раздеваться, грязь с сапогов стирать, на пол не плевать, — это, товарищи, тоже обозначает — гадость выводить. Чтобы с этого дня, товарищи, было строго и по порядку. Я кончила, товарищи.

В разных местах закричали, заспорили, но голоса эти распылились в треске аплодисментов и одобрительных возгласов молодежи.

Где-то в середине обедающих ворчал старческий тенорок:

— Всё день ото дня — выдумки... всё новые мундиры... всё — по-модному... цветочки, тарелочки... салфеточки скоро заведут... И всё — по расписанию, по часам-минутам... Как в больнице... а, може, как в остроге... караул на людей...

Ему не отвечали, а ухмылялись в усы, и я не могла понять, сочувствовали ему или считали ниже своего достоинства отвечать на его слова. Только издали кто-то крикнул громко, на всю столовую:

— Эх, сразу видно человека: арестантом был... острог больно хорошо знает...

А другой голос сочувственно посоветовал:

— Эй ты, Лукьяныч, шел бы, голова, в свинарник: там свиньи тоже не признают ни тарелочек, ни вилочек... Уж не общая чашка, а раздольное корыто. Не скучай напрасно!..

Засмеялись. А ворчливый голосок отозвался с охоткой:

— Да ведь, Вася, и там один черт: корыто-то свиное, да часы-то человечьи. Хлебца тоже не возьмешь, ежели брюхо захочет... Тоже все по часам, по минутам... тоже конвой...

Молодой гулкий голос грубо оборвал его:

— Так тебе что же, бродяга, даже свинское житье у нас кажется барским? Не по нраву? А что ты жрал, когда сидел в своем хлеву без порток? Ни кола, ни двора, ни одра. Здесь ты оголодал, а там, в своей хибарке, подбитой ветром, жиру набирался? Вот — фрукт.

— Да ведь... юнош!.. к тому я, что не привышны мы сызмала к этим часам да минутам. Здесь, милый, и краюшечку в карман не положишь — за вора сочтут. Здесь минутка — страж, а звонок — кандалики.

А первый голос опять крикнул в восхищении:

— Обязательно был в остроге. А? Так и режет тюремным обиходом. Богатая жизнь!

Молодой парень уже добродушно подтрунивал:

— Ведь вот какой жадный до жратвы человек! Жалеет, что один только чемодан имеет. Не лезет в брюхо, так еще карманы охота набивать.

Рогаткин безучастно скосил глаза в сторону, к голосам, и по привычке вытащил трубку из кармана. Он всунул ее в угол рта, а потом опять положил в карман.

— Это что там за фрукт? Что за Лукьяныч? С моей точки зрения, это — сволочь.

Банкин, занятый едой, не ответил. Потом многозначительно взглянул на Рогаткина.

— Сторож... и всякие услуги... А в конечном счете — бродяга. Проверим.

— Сволочь. Яснее ясного. Опасный тип. Последить надо.

Луша зарумянилась от счастья, а пухлые губы и мягкий подбородок по-девичьи играли сочным наливом. Она осматривала плотные ряды людей, встречалась с их взглядами и улыбалась.

Было много женщин с деревенскими старообразными лицами, блеклыми, натруженными, в морщинах застарелых деревенских забот и скорбей. Это — замужние. Девушки были непоседливы, по-галчиному говорливы и развязны. Мужчины смахивали на заводских рабочих, парни — на рабочую молодежь. Только старики (их было очень мало) еще несли в себе старомодный избяной облик: бороды у них стекали на грудь седой куделей, а волосы благолепно причесаны шлыком — по обе стороны рядка, на висок и ухо. Несколько старух в повойниках, в черных и кубовых платках, сколотых под подбородком булавочкой, держали себя тоже по-старинке: сидели, как в гостях, чинно, благочестиво и поджимали морщинистые губы!

Луша ввела другое новшество — карточки меню. Эти квадратные бумажки торчали в защепках на подставочках. Защепки эти тоже сделаны в мастерской одновременно с мебелью. На обед я насчитала по этому меню до полдюжины кушаний по выбору, а на третье блюдо — тоже по выбору — кофе с молоком, какао, цельное молоко, фруктовый кисель, компот. Дежурные девушки и женщины улыбались Луше, как подруги.

Гришаня смотрел на Лушу, и в глазах его теплился трепетный огонек. Она встречала этот взгляд, краснела и сердито надувала губы. И эти ее сердитые губы способны были раздразнить даже Банкина.

— Лукерья Николаевна, позвольте мне сказать прямо: я впервые вижу в вашем лице женщину замечательного образа действий. Вы после деревни только что оперировались, но уже активно свиваете гнездо культуры. Обязательно вас нужно повесить на красную доску.

Я уже привыкла к его вычурному языку. Сначала я не могла удержаться от смеха, когда слушала его

забавную иностранщину, но он встречал мой смех с изумлением в высоко вскинутых бровях. Он не понимал меня и был уверен в подлинной красоте своих речей. Сейчас я чувствовала в этих его словах трогательное восхищение: каждое движение Луши, каждое ее слово возбуждало его до самозабвения. Ее волосы, ее глаза, ее голос, походка, ее хлопоты по кухне и столовой — все потрясло его восторгом. И верно: в Луше все было сочно, округло, ядрено, задушевно. Здесь она казалась одухотворенной, взволнованной, праздничной. Ее чувствовали все. Она светилась и цвела, как яблоня. Гришаня уже не стеснялся никого: он жил ею, тянулся к ней неудержимо. Для него было величайшим наслаждением сказать ей какое-нибудь необыкновенное слово, в которое он мог бы вложить всю свою душу. И день ото дня язык его становился все сложнее, кудрявее, наряднее. И эти его слова мне уже не казались смешными: в них пылала глубокая нежность и мягкая деликатность. В этот день я впервые открыла в его глазах настоящую головокружительную любовь к Луше. Но я открыла и другое: в глазах Луши я увидела новый блеск. Она чувствовала его любовь, и эта его любовь волновала и пугала ее. В ее глазах была тревога, какой-то панический трепет, недоумение, но она пьянела от его близости, ослеплялась его глазами, и его слова играли в ней, как музыка. И когда он говорил и смотрел на нее, она беспричинно смеялась — тоненькой короткой трелью.

— И вот, Лукерья Николавна, когда я наблюдаю ваш образ, я бравирую вам...

И он с дрожью в пальцах и голосе жадно потянулся ко мне:

— Галя Ивановна, скажите: разве она не достойна, чтобы ей бурно бравировали?.. а?.. Время!..

Я поймала ее глаза, и они метнулись и затрепетали счастьем и отчаяньем. Она положила свою руку на мою, и с ее пальцев струился горячий трепет.

— Роднаечка моя!.. Галюша!..

К Луше и ко мне подходили женщины и девушки и шептали, точно это была тайна:

— Сегодня, Галя Ивановна... Ой, даже сердце заходится... Ведь вылетит она за ворота... Куда она пойдет?

От них пахло соломой и воздухом.

Луша, к моему удивлению, сердито морщила брови, но не тушила глаза, только голос грубел и рвался.

— Она — вредная. Уж очень долго кочевряжились с ней. Это — лебеда и ябеда.

Вошел Ветров. Он замкнуто и молчаливо, обособленный, прошел к широкому провалу в стене кухни и неслышно сказал что-то девушке в белой повязке. Она не могла оторвать от него испуганно-любопытных глаз и покраснела до слез. Чувствовалось, что все эти люди смотрят на него с тревожным предчувствием. Он вдруг легко подошел к нам и улыбнулся мне еще издали прежней ядреной улыбкой.

— Луша! — весело крикнул он. — Не будь пустоцветом... Ах, кабы зимой да цветы расцветали!.. Знаешь, как в песне?.. Впрочем, тебе и зима нипочем. Не робей, Банкин! Всё хорошо, что плохо кончается. От плохого конца — всегда хорошее начало. Мы это с тобой крепко знаем.

Рогаткин прошел мимо него с холодной трубкой в углу рта и вдумчиво, прислушиваясь к себе, скосил на него зоркие глаза.

31. Клуб

Осенние вечера у нас — терпки, хмельны, прохладно пахнут полями и солодом трав. Мрак черным туманом наплывает из низин, от болот и камышей и густо наливает долину. Когда я шла в клуб в этой черной бездне, я подчинялась только чувству привычного направления. Я видела редкие искорки огоньков и отмечала: это огонек в конюшне, это — на радиомачте, это — на машинной базе. А вот два огонька вместе — это у входа в клуб. Впереди и сзади невнятно перекликались голоса.

В этот вечер небо было ближе и понятнее, чем земля: оно все было обрызгано звездами, оно сопровождало с детства мою жизнь родными созвездиями.

Там — звездные вихри, снежная пурга и свежий молоденький лед в перламутре. Осеннее небо богато звездами: оно расцветает, как весенний сад.

В огнистом тумане, у входа в клуб — хороводы мужчин и женщин. Меня уже совсем не замечают эти люди: я — только одна из маленьких единиц в этой массе и уж ничем не отличаюсь от них. Я — работница, которая каждодневно выполняет один из многочисленных видов общественного труда, положенного мне по наряду. И, когда я вместе с другими протискивалась в толпе людей, меня так же мяли, наступали на ноги и толкали в зал, как и других женщин, и я, как и они, так же кричала от боли и отбивалась от напирающих и нависающих тел.

Просторный зрительный зал, с воздушно высоким потолком в мутном свете керосиновых ламп по стенам, с глянцевитыми панелями, был полон людей. Воздух, душный, сырой, грязновато-вагонный, был насыщен беспокойством и ожиданием. Молодежь смеялась, шалила, тискалась, визжала, хохотала, перекликалась с соседними группами. Где-то в середине зала тихо, с нерешительной смелостью запели песню. На них зашикали, закричали, но этот протест только подзадорил ребят, и песню дружно подхватили в разных местах.

Женщины волновались от нетерпеливого ожидания. Вероятно, они перемывали косточки и Анисьи Матвевны и Ветрова. Мужчины тоже толковали, прижимаясь плечами друг к другу. О чем? Ах, да мне и не нужно было слышать их разговоров: я заранее знала, о чем они думают, что их занимает и как они относятся к каждому событию в нашей жизни. Тут были женщины, которые жалели жену Ветрова, и те, которые радовались ее несчастью. Я на мгновенье случайно увидела Жижикову: глаза ее чернели злым ликованием. И я вспомнила, как Жижикова еще в прошлом году привела свою девочку в детский сад и швырнула ее мне в ноги.

— Ну, вот вам... нате!.. Оторвала от сердца... подавитесь! Я живу здесь как проклятая, отнимайте уж дитенка... Все одно пропадать...

И потом, когда девочка рвалась из дома, плакала и тосковала по ребятишкам, по играм, по мне, по Наташе, она била ее и приходила зловещая и растерянная.

— Приколдовала дитенка-то... Уж от матери нос воротит... Может, совсем уж отнимешь?..

И только недавно она пришла ко мне вечером за своей девочкой растроганная, виноватая, и вдруг заплакала обильными слезами.

— Что с тобой, Жижикова? Горе у тебя, что ли, какое? Скажи, голубка, — может быть, общими силами поможем. Ты — не одинока.

Она захлебывалась слезами и в слезах топила свои слова.

— Милка моя!.. Жизнь у меня — хуже как у каторжной была... свету божьего не видела... Озлобилась на всех... Не взыщи с меня... Слова я от тебя плохого не слышала... В ножки тебе поклониться надо... Через ребенка своего и человеком стала...

32. Суд над Ветровой

За столиком, покрытым красной материей, выросла Чушкина и зазвонила колокольчиком.

— Товарищи, сейчас у нас будет прискорбное дело... дело вам всем известное...

Она помолчала, оглядела зал, подумала.

— Так вот, товарищи милые... Судите сами, — ваша воля. Ежели бы оно, это дело, было только меж мужем и женой, да еще в деревне, так мы бы только судачили. Чужая, мол, беда — не наша страда... муж, мол, для жены — единственный судья. Ну, наше дело — инако: мы — коллектив, родная семья. Мы все в одном котле варимся, как каша, и никакая крупинка не может на свой норов своей судьбой в этом котле распоряжаться. В нашей братской жизни можно только идти нога в ногу, сердце в сердце, душа в душу. А наступил другому на ногу — все будут спотыкаться, а ежели поперек пошел — одно из двух: или чехарда получится, сутолока, смущение, мордобой и разруха

жизни, или, родные мои товарищи, такому человеку не миновать конца — сомнут, выкинут в свалочное место.

— К делу, Чушкина!.. Знаем... не разливайся... Ставь на ребро!..

— Ну, а дело, товарищи, примите со вниманием. Кончать надо его, измотало оно нас...

Выбрали президиум. В него попали и я и Кириков. Села я рядом с Прохором. Он безнадежно сморщился и ущипнул меня за ногу.

— Прохор, не дурите: вы участвуете в трибунале.

— Пифийский оракул! Это — не трибунал, а рыбьи пляски.

Поодаль от стола сидела Анисья Матвевна с опущенными руками. Лицо ее было трупно-тупое, как у приговоренной к казни. За этот день она похудела еще больше, и мне было почему-то жаль ее до щемящей боли. Что переживала она в эту минуту?

Между нею и столом президиума появился Ветров. Он был бледен, но спокоен. В глазах его и в жестких складках на щеках застыло страдание. В первое мгновение он молча смотрел в зал, потирая руки, как от холода.

— Я выступаю перед вами, товарищи коммунары, не для того, чтобы обвинять в преступлениях против коммуны гражданку Ветрову, а для того, чтобы вы по всей строгости, без снисхождения судили вместе с нею и меня — того человека, которого до сих пор вы терпели как вашего председателя. Поэтому вы должны еще беспощаднее отнестись ко мне, потому что я не себе своим поведением приносил вред, а всей коммуне, всем вам. Правильно сказала Чушкина: в нашей братской семье нет личных дел. Всякое дело — это часть дела коммуны. Слабость отдельного — это уязвимое место коллектива. Проступок одного дезорганизует всех. Преступление одного разрушает единение всех. Вредительство одного может, как бацилла, убить всех.

Кто-то нетерпеливо крикнул из гущи голов:

— Кончай об этом предисловии, Андрюша! Давай самый корень.

Ветров вышел на шаг вперед, и голос его стал почти грозным.

— Долгое время эта женщина, гражданка Ветрова, была врагом коммуны. Она сначала просто саботировала, а потом открыто повела подрывную работу. Она была моя жена, и я упорно боролся с нею: хотел переломить ее всеми средствами. Я не терял надежды, думал: в чем дело? переживу все, ее переделаю. Это деревенское, собственническое упорство взбунтовалось в ней не сразу. Началось это два года назад, когда и деревня и мы окрепли. Ее потянуло назад. Деревенская сила отрыгнулась в ней. А тут — связь с родителями. Как коммунарка она должна по наряду идти на работу, но она запирается в комнате. Ей нет здесь товарищей и друзей. Она вся — в прошлой жизни, и друзья ее — наши враги. Сегодняшнее происшествие вам известно. Так вот, товарищи, я своевременно не принял против этой женщины решительных мер и тем нанес большой вред коммуне. Мои попытки перевоспитать ее потерпели крах. Заявляю, что она мне — не жена, не товарищ, а мой смертельный недруг. Я с нею разрываю навсегда. Считаю, что оставлять ее в коммуне невозможно. Особая комиссия расследует все факты ее вредительства и доложит вам.

Он сел с краю стола, с достоинством человека, который гордо и уверенно отдает себя на суд и расправу грозного судьи — всей этой массе людей.

Анисья Матвевна по-прежнему сидела как мертвая. Едва ли она сознавала, что происходит перед нею, едва ли слышала, что говорил Ветров.

Чушкина встала и звякнула колокольчиком. К этому даже и надобности не было: зал молчал, устремленный к Ветрову и к его жене.

— А теперь, товарищи, выкладывайте всю душу. Дело, товарищи, тяжелое и серьезное. С человеком имеем дело, милые, не шутка.

Она не говорила, а пела, причитала с болью, с сердечной проникновенностью.

Зал молчал, и это молчанье было мучительно и сурово.

Побарывая свою нерешительность, чуть пошатываясь, шел по узкому проходу Карпуха, конюх. Он подошел к рампе, потоптался, встряхнулся и поднял руку.

— Ведь вот вещь какая! Судьба у человека — запутанная. Родится, как сказать, человек, а уж сейчас — тенета, вроде как сбруя, в момент тебе — пожалте! — ошлеят тебя... ну, и... как сказать, всю жизнь выпутывайся... Взять наше конское дело...

— Да ты чего там с конским делом? Вышел, так крути.

На этот голос Карпуха с негодованием оскорбленного в своих чувствах человека посмотрел через бровь.

— Вы все, как сказать, крутить любите. Человека нельзя крутить — закрутишь, и будут из человека одни узлы да петли. Вот вещь какая! Взять нашу Майку. Такого ехидства в жизни не видал. Коварная кобыла. Лошадь я знаю — всю внутренность характера вижу. А вот, как сказать, с Майкой совладать не могу. Никаких твоих поступков не принимает.

Веселый голос крикнул из передних рядов:

— Ну? Неужели не принимает?

— Никак!.. Майка?.. Ни боже мой!..

Хохот.

Чушкина потянулась к Карпухе через стол и сердито стукнула ладошкой.

— Ну, ты, Карпуха, заврался. Сто раз я слыхала от тебя насчет твоей Майки. Свернись с своей Майкой: по-твоему, красивше твоей Майки и лошади нет на свете.

— Что говорить!.. Пройти всю округу и, даю руку на отсечение, такой красавицы, как сказать, для Америки не обнародуешь... Чего зря толковать!..

Зал улыбался и нетерпеливо плескался к сцене.

— Ты, Карпуха, зачем сюда вышел? О Майке говорить или Ветровым критику дать?

Карпуха хитренько прищурился, и голосок его стал нежным, ласковым, заискивающим.

— Я, как сказать, к тому... как в этом деле... баба — вообще коварное вещество...

Глаша вдруг встала с места и вскинула руку к Чушкиной. Глаза ее блеснули, как у кошки, и она закричала на весь зал:

— Чушкина, это довольно даже возмутительно... Как ты допускаешь, чтоб он женщин в конюшню загонял...

— Ведь вот какая вещь! — в восхищении закрутил головою Карпуха. — К чему же я речь-то заявляю? Вот, как сказать, Андрей Семеныч... такой человек жизни не пожалеет...

Чушкина опять звякнула колокольчиком. Брови ее дрожали.

— Ну, батюшка мой... Ты нам всю обедню портишь... Погоди, родной. Я тебе не перечила... Ну, а теперь скажу: ты спрошай... спрошай, милый человек, в чем тебе нет ясности...

Карпуха, озираясь по сторонам и поднимая руку, упрямо вел свою линию:

— Да вот, как сказать... Я сердце Андрея Семеныча не тревожил... а точку зрения держал... Двое разов я накрывал Матвевну почком. Зыркнешь на нее, а она сядет на кукорки и свидетельствует: лошади, говорит, мужу моему дороже жены и своего гнезда. Все одно, говорит, ему не совладать... сожгут вас мужики, перережут, а потом, говорит, тридцатый псалом читает мне бобылка: «На тя, господи, уповаю, да не постыжуся вовек».

Какая-то старуха во втором ряду, в черном платке, подколотом под подбородком, привередливо-гневно проскрипела:

— Чего зря говорить понапрасну: в ее деле надо не тридцатый псалом, а сто первый, об унывающих: «Господи, услыши молитву мою».

В зале опять дружно захохотали.

Карпуха, весь измятый, вразвалку ушел в густую толпу людей.

Прохор даже вздрагивал от восторга. Лицо его помолодело.

— Вавилон, педагогичка!.. Не покой и мирное житие творит новую жизнь, а мятежность... Как здорово! а? Сто первый псалом об унывающих и — дерзость

коммунистического переворота... А? Даже мозги чешутся...

Когда все упокоились, Чушкина обернулась к Анисье Матвевне (она не меняла позы) и спросила:

— Гражданка Ветрова, вот тут спрашивают тебя: зачем ты без надобности и неурочно в конюшне гуляла?

Анисья Матвевна не слышала ее: она сидела попрежнему окоченело и немо.

— Гражданка Ветрова!

Ветрова будто проснулась — вздрогнула и оглядела зал. Она не поняла вопроса Чушкиной и испуганно вскочила.

— Ну, разорвите меня!.. Ну!.. Ваша власть, пытайте!..

Высоко вскинулась над головами женская рука, и Дуня Шубина встала и дрожащим голосом спросила:

— А я вот хочу обратиться к товарищу Ветрову. Ведь коли нет любви, ее из сердца не выдавишь: вместо любви гной будет, как из чирья. Чего хотел Ветров от жены? Любви, что ли?

Ветров усмехнулся и махнул рукой.

— Ну, вот! А в общежитии — гвалт, тарарам. Переделать, говорит, хотел. А сам-то ты себя, Андрей Семеныч, переделал? Ты, товарищ, о себе больше думал. Сколь время коммуна страдала? Кто покрывал свою бабу? Тебя-то ведь берегли, на душу не наступали. Нет, товарищ Ветров, ты других судил!.. За пустую глупость чуть моего муженька не выкинул. Мой Шубин и сейчас еще лишенный прав. Это — по-каковски?..

Дуня оглядела толпу с торжествующим блеском в глазах и быстро села.

Ветров сидел суровый, замкнутый: слова Дуни как будто совсем не встревожили его.

Из рядов тихонько, вдумчиво, истово пробиралась Жижикова. Она мягкой поступью подошла к сцене, стала против Анисьи Матвевны и посмотрела на нее пристально, с жалостью.

— Ну, подружка моя былая, Анисья Матвевна! Не схотела ты с мужем своим, Андреем Семенычем,

сердце к сердцу в путь наш дорогу пойти — вот и сгубила ты свою женскую судьбу. Всякий человек, милая, за свої норов в ответе, а кукиш дальше своей руки не бросишь. Вот оно что, милая Анисья Матвевна. Проглядела ты своего Андрея Семеныча. А человек-то какой, а!.. Муж-то какой хороший, а! Да такого мужа дай бог всякой бабочке...

Зал заулыбался, зашелестел.

Кто-то закричал из рядов молодежи:

— Вот именно не так!.. Ветров — муж ни в какую монету. Работу его насчет мужа считать неудовлетворительной.

По залу пролетел смех.

А Жижикова все еще стояла истово, лицом к Ветровой, и причитала с обличающей строгостью:

— Ах ты, Анисья!.. дура ты, дура шелудивая! То-то. Я была дура, я была овца чумная, ну, а ты, милая, дура сознательная... Я раньше с тобой бесперечь перед образом пречистой слезы в одну с тобой горсточку собирала. А теперь как свет родной увидала... через своего малого ребенка... и так мне стало стыдно, так мне стало прискорбно, что сердце свое слезами да кровью улила. И вот я... (она медленно, торжественно повернулась к людям, точно выполняла возвышенный ритуал). И вот я кланяюсь всему здесь нашему собранию: милые мои товарищи! Простите меня за мою прежнюю дурость, за бабью мою, за овечью неразумность и темноту окаянную... Буду я с сего часа верная и правильная коммунарка по гроб моей жизни... И хочу я, родные мои, в партию записаться...

Она поклонилась собранию. Мне даже показалось, что в этих ее торжественных словах и жестах было что-то театральное, надуманное, как бывает в деревенских обрядах, но делала она все и говорила так умело, плавно, сердечно, что каждое ее движение и слово захватывали дух.

Это был миг, который перевернул весь распорядок заседания. Девушки и женщины с восторженными лицами бежали к Жижиковой, тормошили ее и тащили с собой. Все забыли и о Ветрове, и об Анисье Матвевне, и о Чушкиной, которая звонила колокольчиком.

Без вызова Чушкиной вышла женщина, закутанная в теплую шаль. Я ее знала давно, но отмечала только по лицу. Оно у нее всегда было заплаканное. Это была одна из тех женщин, которые теряются в массе: их видишь каждый день на работе, в столовой, в клубе, в ликбезе, но сейчас же забываешь. И потому, что она никогда и нигде не выступала и молча терялась в артельной массе, на нее и теперь никто не обратил внимания. Я же была удивлена этой ее смелостью, а Чушкина даже оперлась руками на стол и тянулась к ней с изумленным ожиданием. Она даже отдернула платок со щеки и заложила его за ухо.

Не ожидая, когда успокоится зал, женщина подняла лицо и крикнула в потолок, раздраженно, с плачущей дрожью в голосе:

— Не согласна я! Не согласна и не согласна!.. Вот вам мое слово!

Чушкина с сердитой лаской, баском перебила ее:

— Мартыновна, ты скажи, матушка, с чем ты не согласна-то?

— Ни с чем я не согласная...

И вдруг люди увидели Мартыновну, сразу замолкли и с любопытством потянулись к ней.

— Виданное ли дело, так человека в обиду вводить? Матвевна не хуже других баб, а ее затыркали, заушили, бросили все!.. И муж ее забросил, и всякий на нее пальцем тыкал. Как окаянная она жила. Мы все, бабы, обиженные. Разве так можно? Обозлили человека, а потом его — на съедение. Не согласная я. Обласкать ее надо и утешить.

И она ушла в хмурое молчание зала, сама угрюмая и обиженная.

К рампе бежала Глаша. Она была похожа на парня и лицом и жестами.

— Дай мне, Чушкина, слово, — крикнула она решительно. — Мы только дурака валяем, товарищи... А решить мы вот что должны. Анисья — не для коммуны: она деревенскую свою натуру не переменила. Все наши дела были ей против души. Я вот задаю вопросы Ветровой: товарищ Ветрова, ты не подчинялась нашим порядкам и все делала назло нам и наперекор. Почему?

Молчание. Ветрова сидела по-прежнему, окоченевшая и глухая.

— Так! Пойдем дальше. Товарищ Ветрова!..

Кто-то крикнул с несдержанной злобой:

— Какой она товарищ... Шкура, а не товарищ.

— Погоди, не ори. Я задаю вопрос. Товарищ или там гражданка Ветрова, какое ты имела право приходить на склад и в кухню и брать без спросу продукты и отдавать бобылке и попу? Об этом мало кто знает, а я знаю. А теперь — почище. Она ходит в деревню и имеет там связи. Я выследила, и у меня все записано. Вот. Я за ней давно уже глаз имею. Ветров и вы прошлепали. Вот у нас сгорел деревянный амбар с одеждой. Как это вышло, что Ветриха в эту ночь ушла с ребенком в деревню и ночевала у отца? Может, и не касается ее, а случай чудной.. Молчишь, Ветрова? Хорошо. Постановим так, товарищи: выгнать и к детям не допускать.

И как только услышала Анисья Матвевна выкрики Глаши о детях, она вздрогнула, очнулась и оглядела собрание выпученными глазами. Потом поднялась, схватилась за грудь и охнула:

— Не дам!.. Мои они!.. Ни в жизнь!.. Убейте меня, зарежьте!.. Не дам!.. Лучше сама их задушу... изрублю их, а не дам... Жизнь мою отняли... мужа... семью. Ничего нет... Шайка вы... разбойники вы!..

Она дрожала, задыхалась, ища руками опоры, точно слепая, и вдруг с истошным криком упала на пол.

— Не надо, не хочу я, не хочу!.. Нет моготы моей!.. Пропала я... Не дам я своих детей, не дам!.. Лучше убейте меня... Некому за меня заступиться... одна я... Пожалейте меня... люди милые!..

Ветрову подняли и посадили на стул. Она была уже убита, сидела жалкая, растрепанная, с блуждающими глазами. И только плакала, тихо и покорно.

Случилось как-то так, что без шума, с угрюмой деловитостью решили единогласно: Ветрову исключить из коммуны, а детей отобрать. Ее увели под руки: она уже не могла стоять на ногах. Я видела, как некоторые бабы маячили над волнами голов, неотрывно смотрели на Ветрову и молча плакали.

Ветров, спокойный и деловой, попросил слова.

— Товарищи, ваше решение — разумное: оно и быть иным не могло. Я ждал только, что вы меня пошлете на низовую работу. Однако, пожалуй, оно верно: теперь коммуна вступила в трудную полосу — электрификация, коллективизация деревни, большие планы на ближайшее будущее. Об одном прошу: как только будет выполнено все это, снимите меня с моего поста как человека, который не оправдал вашего доверия.

Где-то впереди засмеялся дружеский голос:

— Андрюша, садись!.. не валяй дурака... и так надурачился досыта...

Луша поднялась и, вся сияющая, восторженная, красная, крикнула на весь зал:

— Дорогие товарищи! от всего сердца возвещаю вам о радости: живем мы вот новой жизнью, живем мы на новой земле и стали мы другими людьми.

Этот вечер был праздником нашей коммуны. Никогда еще не было такого возбуждения и встряски. Наташа, необычно взволнованная, пылающая, хотя и старалась обуздать себя, подбежала к столу и призывно крикнула:

— Товарищи женщины, моя речь — к вам. Мы изгнали ведьму на помеле. Но разве в этом дело? Теперь в деревне для нас единая вражья сила — бабье безумство. Так вот, во след этой нашей ведьме мы сейчас же должны сколотить наши женские бригады и послать их в деревню, чтобы не дать вредной черноте подняться. Первая записываюсь в эту бригаду я. А вторую прошу записаться Жижикову: она чудеса наделает.

Я ожидала, что Жижикова встанет и в страхе отмахнется от Наташи, но она вышла из рядов и на ходу кротко пропела по-старушечьи:

— Я своей души не убью. Спасибо вам, что меня не забыли. Потом обернулась к общему собранию и поклонилась. — Бабочки милые! записывайтесь! Сделайте великий подвиг для несчастных женщин деревенских.

Ее сменила восторженная Луша:

— Роднаечки! Пойдем... все пойдем... С песнями, с музыкой, разукрашенным поездом поедем. Масленицей хлынем к ним... Девочки, милые, записывайтесь!..

33. *Малыши*

Расцветала вторая моя зима на «Новой земле». Эта ослепительная снежная белизна пенится в сияющих просторах холмов и долин. Только в глубоких впадинах взгорий сгущается задымленная тишина.

Весь двор в облачной мякоти снега. Застыл густой сахарный туман и на крышах общежитий.

Воздух мягко приглушен, и близкие голоса людей, клохтанье двигателей и машин за корпусами кажутся далекими и размытыми.

Мы с малышами из детского сада вышли организованно встретить первый снег. Они шли по двое: впереди — крошки, а позади — октябрята. Все растянулись длинной шеренгой и щебетали по-птичьи. Впереди шла я, а позади — Наташа. Снег отражался в глазенках детей, и личики румянились здоровьем и радостью.

Это было утро зимы, без солнца, с затяжеленным небом. Для нас это было утро нашего ребячьего дня. Дети уже привыкли к порядку: они не рвут рядов, не толкаются. Снег был невесомым, как пух, и ножонки ребят пахали его, швыряли в воздух. Впервые была нарушена дисциплина малышом, бледным, с водянковой мутью в лице, нелюдимо-капризным. Это — сынишка Ветрова. Он ударил в бок девочку и отбросил ее от себя пинком. Девочка взвизгнула, кубарем полетела в снег и зарылась в нем лицом. Ребята бросились к ней и быстро ее подняли, и я, растроганная, смотрела им в личишки: глазенки ласкали ее участием и улыбались ей ободряюще.

— А ты не плачь, Катик. Он — паршивый... он еще не наш... Он еще не знает, как дружиться...

А мальчонка отчужденно оглядывал их исподлобья и разгребал башмаками снег. С ним это часто случалось: вдруг ни с того ни с сего начнет арта-

читься, упорно, с диким отчаянием, озоровать — плевать в лицо, больно наступать на ноги. Нос у него обостряется, как у лисенка, зубы оскаливаются, глаза смеются и жалят — наслаждаются болью и обидой ребят. Когда я и Наташа начинаем ласкать его, уговаривать, спрашивать, зачем это он сделал, — он молчит безнадежно, убийственно, не обращает на нас внимания и старается опять плюнуть, ударить, ущипнуть, сделать больно. Ребята отходят от него отчужденно и враждебно. Он, одинокий, остается со мной или с Наташей. Он успокаивается, слабеет, щеки покрываются румянцем, и глаза заливаются слезами. Я прижимаю его к себе, и он, уткнувшись в мою грудь, начинает рыдать, захлебывается слезами. И мне больно, и самой хочется с ним плакать. После таких хлопот с ним я чувствую себя всегда изнуренной. Потом я весело зову ребят, и мы начинаем игры. Мы уже разговариваем в это время глазами, и я внушаю им, чтобы они с ним вели себя как добрые друзья, чтобы они позабыли его злые шалости. И я и они улыбаемся ему, оказываем ему внимание. Он незаметно оживляется, смеется и увлекается игрой. Эти его нервные заскоки повторяются все реже и слабее.

Мы не раз с малышами беседовали о жизни их в семье, о том, как надо держать себя дома и как хорошо можно устроить по-своему свою детскую коммуну. На одной из таких бесед мы написали по-своему, по-детски, петицию в совет коммуны с требованием, чтобы детский сад и ясли работали круглые сутки.

«Не мешайте нам строить свою детскую коммуну», — так заканчивалась наша петиция. В совете обсуждали эту петицию серьезно и решили немедленно пойти навстречу детям.

Я вспоминаю этих детей год назад: они были капризны, сумбурны, неустойчивы, исковерканы. Первые месяцы я изнемогала в борьбе с их самоволием, — их озорство, драки, рев девочек приводили меня в отчаяние, и только невероятная борьба с собою, самодисциплина и сознание, что воспитание детей — это самовоспитание, укрепляли мой характер. Нужна была

творческая изобретательность, нужно было каждый день рождаться новой, неповторимой, нужно было узнать каждого, заставить его найти свое отражение во мне, чтобы взволновать их и завоевать любовь.

Эта утренняя экскурсия — не бесцельная прогулка. Для нас снег имеет огромное значение: это — наши новые впечатления о мире, это — наш чудесный путь в природу. Мы рассматриваем звездочки и изумляемся их геометрической красоте. Они рассказывают занимательные сказки вселенной и раскрывают тайны земли. И когда эти перистые звездочки тают на пальчиках, на лицах ребятишек — улыбки сожаления и восторга. Мы узнаем, что снег — теплая меховая одежда земли в морозные зимы, что для наших полей важно, чтобы эта одежда была богаче и пышнее, а летом, в знойные дни, необходимо, чтобы эти звездочки превращались для полей в обильный грозовой душ.

Наташа под моим руководством превратилась в талантливую воспитательницу. Дети ее любят не меньше, чем меня. Она наблюдательна и ребенка понимает по одному неуловимому трепету его глаз, по одному незначительному жесту. Она умеет всегда быть интересной, новой для детей, и они не чувствуют в ней взрослой женщины, матери Володьки, который барахтается в яслях. С настоящим, чисто детским увлечением она работает вместе с ними в часы занятий и лучше меня ведет игры, позабывая о себе. Она очень много читает и часто поднимает такие вопросы воспитания, что я слушаю ее с удивлением. Рыжая голова ее пылает огнем и заметна всюду.

...По дороге мы зашли в столовую посмотреть на работу женщин в кухне, где есть наше детское кулинарное отделение. Мы попарно входим в столовую и изучаем в ней перемены: нас встречает сердечно, певуче Луша. В зале столовой — голубой рассеянный свет. Глаза Луши широко распахнуты, и я будто впервые вижу, что они — необычно синие, горячие, поющие. Я уже не один день замечаю в них эти новые вспышки, но теперь они волнуют меня. Она только на мгновение встретилась с моим взглядом, и в лице ее вспыхнул румянец. Чтобы скрыть свое смущение, она

счастливо бросилась навстречу ребяткам и изумленно взмахнула руками.

— Ах, карапузики вы мои родненькие!.. Пришли!.. Да какие же вы все хорошенькие!

И вдруг неожиданно с суровым упреком кто-то из малышей запротестовал:

— Мы — не карапузики.

— Ой, не карапузики? Ну, так не лягушата же?

И уже с разных сторон раздавались возмущенные голоса:

— Мы совсем даже не карапузики... И вовсе не лягушата... Мы — коммунары.

И тоненький голосок девочки уверенно и крепко заявил:

— Мы — дети коммуны.

— Ой, родненькие мои! А можно мне звать вас коммунарчики?

Дети переглянулись между собой и стали беспокойно шептаться. А прежний мальчик ответил авторитетно, будто сообщил резолюцию их совещания:

— Коммунарчики — нельзя. Мы — коммунары... дети коммуны...

Наташа улыбалась удовлетворенно и гордо.

Когда мы выходили из столовой, Луша не утерпела и потерлась о мое плечо.

— Роднаечка моя!

Она замирала от волнения.

— Ну что, Луша? Что с тобой? Ты сегодня необыкновенная.

— Ах, не надо, не надо... Если бы только знала... если бы понять могла...

И в смятении убежала от меня в кухню. Мы пошли мимо наших зерновых корпусов, длинных, как пакгаузы. Широкий двор внутри этих корпусов очищался коммунарами от снега. Мужчины и женщины с лопатами, метлами и подгребалками работали торопливо и бодро. Одна девчонка увидела нас и засверкала зубами. Она крикнула рабочим и работницам, показала в нашу сторону. Все бросили работу и повернулись к нам. Некоторые из парней и мужчин сняли шапки и приветственно помахали ими. Улы-

баясь, скаля зубы, все — мужчины и женщины — зашагали нам навстречу. Ребята во время экскурсий незаметно приучились кричать ликующим хором:

— Слава труду!

Мы подошли к ним, и здесь нас встретили матери и отцы. Матери на миг подбежали к своим ребятам, сели на корточки и почмокали их в щеки. А отцы скупо улыбались и крякали:

— Эк, молодцы какие!.. герои!..

Подошла и Жижикова к своей девочке, худенькой, с опечаленными глазенками, и посмотрела на нее спрашивающей молчаливой улыбкой. И на меня посмотрела, виновато и ласково. Уж не было прежней Жижиковой: прежняя, озлобленная Жижикова умерла и больше не воскреснет.

34. Зародыш электроэнергии

В зернохранилище мы не пошли. Там шла работа ударных бригад по очистке зерна — там пыль и суета, вой машин и грохот сортировок. Эти корпуса — по дороге к зданию электростанции, куда мы решили совершить экскурсию. На днях пришла первая партия электрооборудования. Со станции железной дороги (она — за десять километров), из-за хребта холмов, несколько подвод под командой Гришани по грязи приволокли на наших першеронах тяжелые части дизеля. На очень крепких дрогах стояли большие сизые кубы ящиков, а на двух подводах лежали плашмя половинки маховика в решетках из толстых досок. Выгружали у кирпичного корпуса электростанции в ударном порядке, и партия коммунаров работала с дружным одушевлением. Они с преувеличенной осторожностью и уважением смотрели на эти ящики, любовно, почти нежно, спускали их с дрог по толстым отполированным бревнам и переворачивали с ребра на ребро в открытые двери корпуса. С маховиком возились долго, до поздней ночи, и кончили работу с песнями. От приработка все отказались и ночью у дверей корпуса на летучке порешили работать лишний час. Весь этот день

в коммуне чувствовалось волнение и праздничность, и в столовой при встречах, в клубе и в читалке только и говорили о прибывших машинах.

По свежим следам в снежной целине мы потянулись к электростанции.

За ней краснел кирпичный корпус механической мастерской, а по другую сторону, ниже, такие же здания машинной базы и скотных помещений. Еще ниже, на отлете, — закопченная, пыльная паровая мельница и маслобойка с высокой черной трубой, из которой клубился вихрем грязный дым и очень высоко и спокойно поднимался к снежному небу. Из-за спины возбужденный голосок закричал вдруг с изумленным нетерпением:

— Галя, смотр-ри!.. Зачем плавает снег голубой?.. смотри! голубое, голубое!..

Детишки заволновались и стали радостно перекликаться в восторге:

— Голубое! голубое!.. плывет голубое...

— Что — голубое? Где?

Я осмотрелась вокруг, поглядела на снежные поля, на снежные взгорья. Снег действительно кружился и плыл на нас со всех сторон — и близко и далеко, голубыми волнами. Вероятно, я и впредь буду изумляться этим причудливым открытиям ребят, и мои озарения будут вспыхивать от тех искр, которые непрерывно проносятся в их головенках.

В механической мастерской били тяжелые молоты. Визжали и скрежетали напильники, хрипел и трещал двигатель трактора где-то внутри этих зданий, — должно быть, в той же мастерской. Сиреной пели дисковые пилы в деревообделочном отделении.

Мы вошли в пустое отделение электростанции и сбились в кучу у двери, чтобы привыкнуть к полусумраку здания.

Детишки тесно облепили меня и с пристальным любопытством присматривались к новому, еще невиданному месту. Эти завоеватели мира еще нуждались в проводнике по дебрям неисследованных областей и неиспытанных впечатлений. Их вылазки в жизнь пока

еще совершались под защитой такого всемогущего гения, как я или Наташа. Но Наташи не было около нас. Она исчезла, и это было необычно.

Я выглянула в дверь. По снежной белизне тихо шли рука в руку, лаская друг друга взглядами, Наташа и Прохор. Ах, любовь всегда нуждается в красоте тайны! Но нет ли в этой тайне трусливости вора? По-моему, любовь в коллективе должна дышать иной красотой — открытой гордостью. Впрочем, может быть, они правы: эта тайна защищает их от грязи бабьих сплетен и гаденьких глаз.

Здание было небольшое, наполовину оштукатуренное. Пол — цементированный. В середине около большой четырехугольной ямы возились рабочие в брезентовых фартуках. В противоположном углу несколько человек лопатами месили бетон. Пахло сырым цементом и известью. Вдоль стены справа громоздились наваленные в кучи странные металлические части машин. Половинки огромного маховика лежали на полу, на бревнах, готовые срастись. Сверкали мотками золота бронзовые провода. Множество мелких деталей, кучи фарфоровых изоляторов, как вороха сахару, насыпаны были в ящики и разбросаны на длинных столах и прямо на полу. Рабочие, звякая железом, возились среди россыпи мелких деталей и разломанных, еще дорожно-пыльных, частей большого, сложного механизма.

Неожиданно к нам подошел Ветров.

Это уже был не прежний Ветров — замкнутый, с морозцем в глазах, сутулый от дум: это был новый человек — размашистый, радостно-взволнованный. И когда я встретилась с его вымытыми глазами, я покраснела, но сердито сдвинула брови. Ребятишки уже стреляли в него ручонками.

— Слава труду!

Он им ничего не ответил и отвернулся: зачем, мол, сюда привалила эта мелюзга!

— Андрей Семеныч, ты не чуток к людям.

— Вот тебе здорово! В чем дело?

— Ты не умеешь чувствовать детей. О тебе можно судить по твоему отношению к ребятам. К скоту ты

более нежен. Вот детишки приветствовали тебя криком: «Слава труду!» — а ты им и не потрудился ответить. Ты оскорбляешь коммунаров.

— Оп!

— Да, эти дети коммуны умеют требовать уважения к себе. Они так же заинтересованы в хозяйстве, как и ты.

Он смутился и замигал глазами, точно впервые заметил ребят, и не знал, что делать с ними и о чем говорить. И вдруг крикнул на весь корпус:

— Да здравствуют юные коммунары!

Но выкрик этот вышел у него фальшиво.

Рабочие скалили зубы и смотрели на него с любопытством. В глазах их светилась ласковая теплота. Я пошла к выходу и потянула за собой ребят.

— Ребята, за мной. Не забывайте, что у нас наступает час труда.

— Подождите, подождите! Ребята! Галя Ивановна!!

Ветров с юношеской прытью забежал вперед и поднял руки.

— Ну? Ребятишки! В чем дело? Я сдаюсь. Виноват.

И смеялся сконфуженно.

Ребята угрюмо столпились около меня и молчали.

— Ничего не выйдет, Ветров. Ошибки всегда имеют последствия. Конфликт должен быть разрешен другим порядком. Ты опоздал с своим приветствием.

— Ну, уж ты ставишь дело всерьез. Ты сама за них играешь комедию.

— Андрей Семеныч, ты меня оскорбляешь. Я говорю то, что чувствуют дети. Я не шучу.

— Тут где-то мой паренек затесался в этой компании.

— Уходи, Андрей Семеныч. Здесь перед тобой все одинаковы, и нарушать наш порядок нельзя.

Он совсем растерялся. На мгновение зрачки его опять оледенели — просквозили гордое отчуждение и обида. Но сразу же в них вспыхнули огоньки задора и юношеской насмешки. Я хорошо видела, что он любовался мною.

35. Нагрузка

У меня было очень много работы, и я не находила свободных минут до полуночи. Одновременно выполняла несколько дел. С утра проводила часа полтора в яслях и детском саду, собирала воспитательниц и вместе с Наташей четко разрабатывала расписание работ на целый день: инструктировала их, указывала на ошибки в работе вчерашнего дня и обязательно подкрепляла свои указания сведениями из физиологии и социальной педагогики. Впрочем, два раза в неделю я и Прохор читали им популярные лекции по естествознанию, гигиене и санитарии. Лично я собирала матерей — коммунарок и деревенских — и беседовала с ними о том, как обращаться с детьми, как нужно кормить младенцев и ухаживать за ними. Я организовала постоянную консультацию по вопросам материнства и младенчества и по воспитанию детей дошкольного возраста. Наташа была настоящим молодцом: консультацию она проводила уверенно и знала, как подойти к каждой женщине. Деревенские женщины охотнее шли к ней, чем ко мне: они ее знали давно и доверяли ей свои тайны и горести. Они калякали с ней о своих деревенских новостях, о мелочах их быта, и Наташа умела во время этих задушевных разговоров дать им много ценных советов. В наши ясли и детский сад прибавлялись и деревенские дети, и матери скоро почувствовали себя у нас как дома. Эти деревенские женщины очень помогли нам в нашей работе на селе.

Из детских учреждений я бежала в совет коммуны, где мы вместе с Ветровым выполняли текущую работу. Секретарство и счетоводство коммуны лежало только на мне, и после отъезда Гуляки я уже через месяц чувствовала себя великолепно. При составлении смет я до изнеможения спорила с Ветровым о цифрах по детским учреждениям, по культработе и школе. Прохор в такие дни приходил к нам, как всегда с сатирической миной, и насмешничал над Ветровым. И он, Ветров, почему-то боялся Прохора, точно Кириков знал за ним какие-то тайны и держал его в руках.

Но это, вероятно, было оттого, что Ветров привык видеть в Прохоре образованного человека и уважать его знания: ведь Прохор в истории коммуны играл большую роль. Ветров относился к нему почти с нежностью. А Прохор морщился и гаерствовал:

— Весьма сожалею, воспитательница, что не сохранил в себе обаяния кумира и мудреца. Раньше этот человек относился ко мне с явным почтением, ибо почтение возможно только при известном расстоянии от предмета почитания. А расстояние есть идеализация. Теперь же я брошен в ступу и растоптан вместе с другими в однородную массу. Он меня может любить и выражать всяческие пылкие чувства, но... но — заметьте! — оказывать мне почтение не желает.

— Ну, Прохор... на кой черт вам это почтение и обаяние?

— О пифийский оракул, вы, по своей лицемерной привычке, притворяетесь: вы, как и я, очень хотите стать немножко повыше людей. Увы, я уже не просто шкраб, а обезличенная массовая единица.

Наша работа в деревне сначала не ладилась. Бабы относились к нам хмуро, недоверчиво. Мы организовали три бригады: две только из одних женщин, а одну — смешанную. В смешанной — из мужчин и женщин — работала и я. Она вела работу и среди всего населения по вопросам коллективизации, а женские бригады имели дело только с деревенскими женщинами.

Где-то в темных углах деревни зловеще дышали избяные тени.

Однажды, когда мы вечером вели очередную беседу в соседней деревне в школе, меня отозвала в угол конопатая девушка с волосами цвета соломы и с боязливыми глазами. Это дочка бобылки — старухи, местной знахарки — Матреша. У нее почему-то постоянно дрожали руки, и она нервно ломала пальцы до треска в суставах. Опасливо осматриваясь и ощупываясь, она зашептала надрывно (этот надрыв — ее особенность):

— Уж ты, Галя Ивановна, пожалуйста... чтобы никто не подумал, что я... народ у нас стал сейчас бешеный, малохольный...

— Ну, Матреша, ты об этом не беспокойся. Со мною ты можешь быть совершенно откровенна.

Она в страхе оглянулась и потащила меня в сени.

— Ты, Галя Ивановна, не выдавай меня. Мамаша у меня — гадина, хоть и жить без меня не может. Жалко ее, а то бы бросила и к вам в коммуну ушла...

Пальцы ее захрустели и защелкали во тьме.

— Ну, так вот, Галя... даже говорить мне жутко... Нынче приходила к мамаше моей Анисья Матвевна... Вот увижу ее — так вся и дрожу... Гадала у мамаши .. Боюсь я, Галя... ой, как боюсь!.. Трудно сейчас жить в деревне девушке... Она, эта Матвевна, совсем осатанела... до смерти запуталась... так и носится, как бешеная собака... и голова опущена, и все слюни глотает... и вся как мертвец... Не кончится это добром. Жутко мне... Ой, доглядайте там... И ты сторожись, Галочка. Ты ведь девушка... Кабы чего не вышло... Сейчас особливо страшно... Что-то больно Бураков рыщет... спаивает мужиков... своих баб к нашим бабам засылает... А Матвевна среди них зверем мечется... Может, ты бы, Галя, на время сюда не показывалась... Мало ли что может случиться...

От этой своей большой надрывной речи она в изнеможении и в страхе оперлась на мое плечо, а потом прижалсь ко мне, точно искала у меня защиты.

— Я сейчас, Галочка, такая пужливая стала: и темноты боюсь, и человека позади боюсь, и даже пустого места боюсь... Ой, не дай бог, что такое!..

Я обняла ее и прижала к себе, а руки ее струились дрожью.

— Ты не беспокойся, Матреша. У нас это с тобой тайна. А от матери ты уйди: мать тебе — чужая. Она и тебя может продать. У ней свое ремесло, и ты ей не помощница, а помсха. Из-за жадности она сунет тебя любому мужику — тому, кто больше даст.

— Ой, нет!.. как это можно? Она во мне души не чает... Что она без меня? Зачем ей жить тогда на свете? Ой, нет!

— Ну, смотри, Матреша... Знай, что во всякое время ты можешь найти у меня защиту. Коммуна для тебя будет лучше матери.

Ночью, когда мы шли гурьбой по заснеженному болоту, из камышей в нас полетели камни. Ночь была безлунная, мутная, и камни брякали в снег, не долетая до нас. Мы сбились в кучу и в первый миг оторопели. Но мужчины с гиком и свистом бросились в камыши. Ветров выстрелил из револьвера в воздух. Несколько размытых теней выбежали из камышей и быстро улепетывали в деревню.

Ветров взял меня под руку, и мы зашагали впереди всех.

— Ну, Галя, опять начинается. В деревне — кавардак. Разворотили мы эти навозные кучи. Деревня раскололась. Теперь начинается борьба среди мужиков не на живот, а на смерть. В чем дело? Очень великолепно! Черт их дери!..

Я передала ему разговор с Матрешей, и Ветров удивил меня. Он не встревожился, не дрогнул, а словно вырос, окреп, выпрямился — сутулость его исчезла.

36. Поэма Луши

Лунные ночи в январе были необыкновенно прозрачны — сияли спокойно и четко зелеными снегами. Они хрустели, как сахар, и радужно искрились. На стеклах моей комнатки играли перламутром причудливые растения невиданных форм: и перистые листья неповторимых рисунков, и членистые стебли, и россыпь рыбьей чешуи в неожиданных переливах цветения.

Я только что пришла в свою комнатку и не зажгла огня. Я стояла у окна и очарованно смотрела на перламутровый мир на стеклах. Было три заседания организаторов колхозов из соседних деревень, ударных деревенских бригад и культкомиссии. Струилось во всем теле утомление приятной истомой.

— Галочка! Я на минутку, роднаечка...

Луша неслышно, по-кошачьи вбежала в комнатку и мягко обхватила мою шею. И в зеленом мерцании лунного света она показалась мне странно легкой и фосфорически зыбкой, как призрак.

— Что случилось, Луша? Почему ты такая тревожная?

Она вздохнула глубоко и отпрянула от меня.

— Ой, Галочка, выйдем на снег!.. Я не могу... Выйдем, роднаечка!..

Мы вышли на улицу. Вокруг луны, широким кругом, темнело прочищенное небо с туманной радугой в окружности. Над снежно сияющим кряжем красиво реял трехзвездный пояс Ориона. Мороз звенел и колол иголками, и от этого хотелось смеяться. Было очень тихо, и всюду чувствовался иней. Вся земля пышно поднялась снегами, а наши корпуса зябко прижались к земле. И всюду, от зеленой белизны земли до неба, плыла и мерцала величавая музыка лунного и звездного сияния.

Луша опять вздохнула и опять тепло прижалась к моему плечу.

— Ну, до чего же хорошо!.. Ох, ну зачем так хорошо!.. Сказать не могу... Так бы всю ночь и любовалась... Так бы и полетела..

Да, я чувствовала Лушу: я знала, чем полна она была в эти минуты.

Она была счастлива.

— Знаешь что, Луша? Я ожидала этого...

— Галочка, родненькая, если бы знала!.. Ох, если бы ты только могла войти в мою душу!.. Мне страшно, Галочка... Я не знаю, что будет. Как мы встретимся с Петрушей? Что с ним будет, бедненьким?.. А вот сейчас, Галочка... и думать не могу... Вся я — другая. Меня уж нет, бывалошной... нет!.. Цвела моя прежняя жизнь и отцвела. И будто я снова родилась и снова девушка и невеста.

— Луша, ты действительно любишь Гришаню?

— Его? я? Да, моя роднаечка! Как же мне его не любить?

— Но ведь ты так же любила и Гуляку?

Она засмеялась.

— Нет, нет... разве можно?.. нет, нет!.. там, роднаечка, — другое...

Я почему-то испугалась — сжала ее предплечье и тревожно спросила:

— Луша, ты — беременна?

Она упала на мое плечо и засмеялась счастливо, а потом неожиданно заплакала.

— Галочка!.. Это у меня — впервые. Люби... не пустоцветом люби... в пустоцвете нет любви и радости. Ведь, Галочка... я вот только сейчас узнала и почуяла... Не я его люблю, а детенок во мне любит... родиться ему хочется, рвется он к жизни, тоскует... Кричит он во мне... и я сама не своя...

— Да ты напрасно радуешься, Луша: может быть, ты еще не беременна.

Она опять засмеялась, поймала мою руку и сунула ее к своему теплому животу.

— Он — уже... Галочка!.. Уже — полтора месяца... и сама знаю, и доктор сказал...

— Ну, Луша, еще рано судить об этом. Доктор может ошибиться.

— А пускай доктор как хочет, а я знаю... Во мне! живой! мой!.. Ах, люби, Галочка, люби! Ведь ты же любишь его... Андрея Семеныча?

— Я? Какая чепуха, Луша!

Пораженная этой ее уверенностью в моей любви к Ветрову, я не знала, что сказать.

— Нет, Луша, ты ошибаешься. Мы не любим друг друга — ни он, ни я...

— Ах, подожди, милаечка!.. ты еще не знаешь... Это в тебе еще девичья слепота... ты еще в девичьей сорочке... Для любви свобода нужна... солнышко... А как Андрей-то Семеныч тебя обожает!.. Галочка!

— Это — его дело, а я себя знаю. Да! я уважаю и глубоко ценю. Он — хороший товарищ и друг.

Она с сожаленьем посмотрела на меня и лукаво прищурилась. Какая все-таки эгоистическая вещь эта любовь! Она чванлива и самодовольна. В ней есть что-то оскорбительное, когда она безумствует и торжествует.

Мне стало грустно. Я завидовала счастью Луши. Мне двадцать четыре года — зенитный возраст для девушки. Почему же до сих пор я глуха к зовам любви?

Луша вдруг ахнула и остановилась.

— Ах, что же это я, роднаечка? а? Как я забыла?.. Ведь он меня ждет... волнуется...

— Иди, иди, милая Луша, конечно!..

И она бегом пустилась к корпусам общежития. Счастливая Луша! Как-то она перенесет встречу с Гулякой? И как он переживет свою беду?

37. Грызуны

Я долго ходила по льдистым дорожкам среди корпусов и за корпусами коммуны, и в этой лунной бесконечности, в снежном мерцании ночи мое непривычное одиночество тревожило меня смутными предчувствиями. Нет, я не люблю одиночества, я боюсь одиночества: в нем есть что-то страшное, что-то лохматое, от первобытных предков.

По дороге домой я столкнулась с патрульным — с Лукьянычем, сухоньким, жидкобородым старичком, с винтовкой за спиной. Он морщил улыбочкой лицо, и в глазах его играли искорки.

— Вот караулю... как солдат острожников. А чего караулить? Жизнь не укараулишь. Жизнь, дружок, — вода... сквозь пальцы просочится. А человек — обманщик: чем строже его караулить, тем он хитрее и проворнее. Сколько ни выдумывай нового, дружок, а новое не выдумаешь. Люди живут беспокойно и все долнотят: слобода! слобода! В вечной тюрьме люди и вечно себя караулят. Вот, к примеру, дружок, эта коммуна. Слобода, слобода! И вот тебе!.. (Он засмеялся в бороденку.) Вот тебе и новая тюрьма... Да еще какая тюрьма-то! Кандальная!

— Так зачем же ты сюда пошел, Лукьяныч? Жил бы себе в деревне — там тюрьма вольготнее.

Он остренько уколол меня искорками в глазах и постукал пальцем по моему плечу.

— Я — бродяга, дружок, грызун. Деревню не люблю. Под лежачий камень вода не течет. А человек сыт, когда его караулят. Жизнь моя всегда была голодная и дождливая. Я всю Расею изгрыз. Сибирь знаю, в тайгах побывал. Кавказ знаю, с горцами жил.

В Якутском краю был — на золотом деле промышлял. И за мной охотились, как за зверем, и я охотился за людьми. Слобода, она вещь бесприютная, жуткая: не всякий ее может перенести. Всяко было. Что есть слобода? Блуждание без конца и краю. Человек тюрьмы хочет — толпежу, стада, чтобы не страшно было, чтобы караулили его. И все выдумывает, как бы половчее эту тюрьму себе устроить. Вот — электричество. Что оно такое? Я вот с ружьем хожу — ограду ходячую из себя делаю, а электричество — негасимый конвой, многий недремлющий глаз. А человек — вор.

— Ну, Лукьяныч, с такими мыслями в коммуне жить нельзя. Ты ошибся, что пошел в коммуну.

— Зачем? Я, дружок, во всю жизнь свою в разных коммунах был. Я — человек артельный. И в острогах был, и в каторге был, и на ватагах рыбных был, и в бурлаках был... Где я только не был? А человек остался: везде человек беспокоится.

Из-за корпусов выбежала, оглядываясь по сторонам, женщина и торопливо зашагала к нам. Потом остановилась и тихо, украдкой окликнула:

— Папаня, иди-ка!..

Лукьяныч подмигнул и заморщился хитренькой улыбочкой.

— Ну, ну, Уляша, шагай сюда... шагай, девка... не бойсь!.. Вишь ты... как человек-то крадется, а?.. И любовь — воровство, и вражда — воровство. Всякому слободы своей хочется.

Женщина подошла к нам, вынула из-под полы узелок и передала Лукьянычу. Это была его дочь, девушка, скорее похожая на рожавшую женщину — мясистая и рыхлая. Она уставилась в меня и беспричинно заржала. Запахло вареным мясом и хлебом. Она бессменно работала судомойкой на кухне.

Съестное она, очевидно, украла и принесла отцу, и оба они не видели в этом преступления.

— Это что же, по-твоему, дед, — тоже борьба за свободу?

Он захихикал и лукаво подмигнул мне.

— Беспокоен человек... Вот и ты... кто ты? Зачем тут бродишь без дела? Какие могут быть мысли у оди-

покого человека? Я должон взять тебя и повести к начальству. Вот, мол, захватил... на месте преступления.

Я опрометью побежала по дорожке к корпусам.

Через неделю в дежурство этого Лукьяныча в полночь вспыхнул пожар: загорелся большой омет соломы между зданиями электростанции и мельницей. Ветров не спал и сам с винтовкой проверял патрульных. Пожар он увидел первый. Он стал стрелять из винтовки, ему ответили патрульные в разных местах. В этом участке почему-то патруля не оказалось. Во время перестрелки случайно или умышленно две пули свистнули около Ветрова, и одна из них вырвала у него клочок ваты из рукава пальто. Выскочила вся коммуна, и пожар быстро затушили снегом.

О моей встрече с Лукьянычем я рассказала Ветрову в эту же ночь. Ветров пристально посмотрел на меня и ничего не сказал. Лукьяныч был устранен от патрульного дежурства сейчас же после пожара, а за ним и за Уляхой установили строгий надзор.

38. Судороги земли

Жирно пахнет весной. Поля уже черные, дымные, бархатно-мягкие, а зелень озимей прибита зимними снегами. Склоны холмов дрожат солнечным маревом. В ложбинах еще белеет снег яркими пятнами, но эти снежные клочья легки и мутны, как облака. Черная земля издали кажется орошенной кровью, точно с нее вместе с снегами слезла прошлогодняя кожа: стоит вонзить в эту мякоть лопату — и брызнет густой алый фонтан. Пели далекие и близкие петухи, и с бабьей страстью кудахтали куры. Вместе с курами необъятно пела земля. Плыли теплые влажные дни. Солнце заливало землю жарко и обильно, и банная парь розовым дымом мутила горизонты: небосклоны были густы, тяжелы, а склоны холмов телесно потели в мреющих волнах.

Наш двор уже совсем сухой. Он — рябой от следов, и земля здесь тоже жирная. Прохор со школьниками кроит, нивелирует всю площадь, и ребята, вору-

женные колышками и лопатами, с веселым одушевлением планируют весь размах двора под сквер и цветочный сад. И я радуюсь, что моя мечта видеть это голое место в пылающей сирени, в зелени газонов и в пене цветов наконец воплощается в жизнь. На этих днях Прохор поедет в районный совхоз и привезет несколько возов сирени, березок и лип. В фруктовом саду оборудованы теплицы, и сердце мое вспыхивает вместе с блеском стекла в рамах парников.

Коммуна в трудовом волнении. Начинаются весенняя вспашка и сев. На машинной базе — рев и грохот металла, вой тракторов. Идет спешный осмотр и починка машин. Мобилизованы все рабочие механической мастерской. Всем орудует Рогаткин; молчаливый, сурово озабоченный, но бесстрастный, с неизменной трубочкой в углу рта, он чувствуется всюду. Вместе с Ветровым и Банкиным они часто разъезжают по району — проводят посевкампанию и орудуют по организации колхозов.

Гришаня вдохновенно носится среди машин, как боец, как герой, даже в столовой его не видно в обеденные перерывы. А машины, блеклые от зимней спячки, еще окоченелые, стоят шеренгами, как батареи орудий, и устремлены на поля и в мутно-розовые дали увалов. Там нужно вспахать и засеять до тысячи гектаров под яровые, под травы, под корнеплоды, под селекционные работы. Кроме того, часть машин отдельным отрядом перебрасывается на поля колхоза.

Гуляка должен приехать на днях, чтобы лично руководить полевыми работами, но от него нет никаких вестей. Впрочем, три недели назад он отправил остальное электрооборудование. Но письмо его было коротко, сухо, как рапорт: видно было, что человек тяжко угнетен и ему было трудно писать. А письма от него раньше были пространны, горячи, полны нетерпеливого ожидания весны, когда он полетит опять в коммуну.

Когда мы читали это его последнее письмо, мы молчали и наши глаза тревожно спрашивали друг друга. Наедине со мною Ветров растерянно улыбался и крутил головой.

— Ну, Галя, дело будет скверное. Как бы чего не натворил Гуляка-то. Большой для парня удар. Ведь вот какая страшная штука эта любовь! Запутанная штука, Галя. Мне раньше самому казалось, что эта человечья история проста, как и всякая потребность. Приспичило и — любись. Однако, черт те подери, верно... Гуляка прав: это, товарищ дорогой, — проблема. Я потешался над его любимым словом, а теперь знаю... Знаю, Галя!.. Проклятая это заноза, которую вытащить трудно, ежели вытащишь — все равно будет заражение крови.

— Почему ты, Андрей Семеныч, говоришь это так трагично? И почему говоришь именно мне, точно я в чем-то виновата?

— А кому же мне говорить-то, ну? — Он озлился и крикнул во все горло: — В чем дело! Кому мне говорить, как не тебе?

И вышел из канцелярии стремительными шагами. Мне было смешно и больно: не знаю, почему — смешно и почему — больно. Было и другое: глупая беспредметная радость, ликующий крик тела и — досада, беспокойство, протест и жалость.

Однажды рано утром, когда солнце заливало все небо, а небо было легко и неощутимо в своей синеве и белые пузатые облака клубились над полями, — наши машины стояли в походном порядке. Пряно пахло землей, сырой и распаренной. В розовой задымленности холмов и далей молчало блаженное ожидание. Где-то очень близко и очень далеко в опаловых волнах играли на свирелях жаворонки. Хотелось дышать ненасытно и лететь, как птица.

Тракторы стояли на площади по косогору, перед машинной базой — десять тяжелых, неповоротливых существ, головастых, с короткими туловищами и грузными колесами. Все они стояли в беспорядке, живые, горячие от весеннего хмеля полей. Коммунары-трактористы во главе с Гришаней сидели перед баранками и дрожали вместе с тракторами. Глаша в красной повязке махала мне рукой и скалила зубы.

— Галя, садись ко мне! Вместе поедем чертей пугать.

Трактористы смотрели на нас и на машины строго и торжественно. И когда подходил Ветров или кто-нибудь из коммунаров, парни несдержанно улыбались. Длинным хвостом, как цепь гребней, как куча пауков, переплетаясь ластами, зубьями и щупальцами, ворошились за тракторами плуги, бороны и сеялки. Целый табун глянцевых першеронов впрягали в можары, нагруженные зерном. Всюду хлопотливо копошились коммунары и колхозники-молодежь. Первой партией выезжала сегодня комсомольская бригада. Никто из населения не провожал этот весенний поезд: все были на работах. Мы с Ветровым тоже решили поехать в поле. Когда все было готово и наступило затишье, а трактористы и возчики ждали сигнала, Ветров махнул рукою и крикнул певуче, с надломом в голосе:

— Товарищи! Первая колонна — марш! Вторая колонна на колхозы — марш!

И было похоже, что он командует артиллерией.

В этот день Рогаткин отсутствовал: был в командировке — на посевкампании в районе.

Трактора загрохотали, заревели, двинулись по двум дорогам и пошли развалкой в разные стороны. Глаша уже ежилась, а на лице у нее вспыхивали страх и гордая радость. Хвосты машин, колыхаясь, потянулись за тракторами. Першероны обгоняли их и рысью поехали по дорогам мимо корпусов коммуны.

Внизу, в долине, вся кочкастая равнина зеркально блистала водой, и в ней четко отражались избушки деревни, склоны холмов на той стороне и белые сугробы облаков. Наша речушка не знала ледоходов: лед изнывал под солнцем быстро и незаметно. Еще в прошлом году было решено заняться осушительными работами на этом болоте, но мы никак не можем достать экскаваторов.

Ветров сердился и нервничал.

— Не могу понять, почему не едет Гуляка. И давно не пишет. Придет такой день, когда он вдруг ляпнет: «Прощайте, друзья! В коммуне я — не жилец». Может случиться.

— Да что ты каркаешь, Ветров? Гуляка до сих пор не изменил нам ни в чем. Ведь его заботы об

электростанции не прекращались до последних дней. И не твоя, а его инициатива: он прислал бурильное сверло для колодца и водопроводные трубы.

— Но я ему послал пропасть писем, а он хоть бы плюнул в ответ. — Он сам раздраженно плюнул. — Дурак! Из-за бабы что с собой делает, мерзавец! Из-за бабы! В чем дело?

— Свинья ты, Ветров.

Я быстро пошла от него прочь.

Он изумленно остановился, озадаченно подумал и вдруг бегом бросился за мною.

— Ну, что ты горячку порешь, Галя? Что я такого сказал? В чем дело?

И схватил меня за руку. Я враждебно вырвала ее.

— Я тебя, Ветров, не уважаю и разговаривать с тобой не хочу!

— Да подожди ты! ну, глупость сказал... Зачем же из этого устраивать скандал? В чем дело?

— Да, Ветров, в чем дело? Теперь мне понятна твоя позорная история с женой. Своих животных ты считаешь ценнее и выше женщины. Довольно!

Он стоял рядом со мною и любовался моим гневом.

Перед обедом он явился ко мне в детский сад и первый крикнул от порога, весело и размашисто:

— Ребята! Слава труду!

Ребятишки, под руководством Наташи, делали ритмическую гимнастику и пели хором. Они сразу оборвали пение, но не смяли рядов и звонким разноголосьем грянули:

— Слава труду!

Наташа с улыбкой взглянула на меня и на него. Мне было приятно, что он пришел, но хотелось помучить его, проучить немножко.

— Ну, вот что... мешать не буду. Только хочу, чтобы на очередное ваше собрание, ребятки, вы потребовали меня. Будем вместе обсуждать ваши нужды. Слышите? Обязательно меня пригласите.

И ребятишки серьезно и деловито закричали:

— Ладно... Приходи... Ты всегда приходи, дядя Андрюша!..

— Вот и здорово. Обязательно. Как что — так сейчас же и зовите.

Он долго сидел у порога и смотрел не отрываясь на гимнастику детей. Мне показалось, что он даже позабыл, зачем пришел, — он весь был поглощен гибкими крылатыми движениями ребят и их птичьим пением.

— Вот это — здорово! Верно, занятно, товарищи. Никогда и мечтать об этом не могли деревенские наши дети. Это, брат, не с свиньями жить.

И с лукавинкой в глазах повернулся ко мне.

— Ну, Галя, поедем на поля. В колхоз. Везут обед рабочим. Едет и Прохор.

На дворе шла работа ученической бригады под руководством Прохора. Всюду торчала золотая щетина колышков. Ребята обкапывали лопатами места для будущих клумб, деревьев и дорожек. Они работали с увлечением.

Прохор, помолодевший от работы, встретил меня с обычной шуткой:

— Ваши сморчки, педагогичка, — еще личинки, и вы с ними глупеете каждый день. Это очень заметно. За этот год вы стали сучить ножками и беззубо лепетать, как младенец. Эх, где ваш былой пифийский оракул?

— А где ваша гордость, Прохор? Где ваше высокое величие?

— О! Меня убил этот коварный людоед. Он уничтожил меня не силой слов, не мозговой мудростью (этого дара он лишен), а нивелирующей силой мероприятий. Вы слышите, какое жуткое слово — мероприятия? Отхожее место возведено — павильон! Артезианский колодец — уже трепещет, хотя еще и не рожден. Это — шутка? Впрочем... что особенно важно... побеждены и мужики: они с завистью и виновато, как наивные хитрецы, потерпевшие неудачу в своей жульнической мелкобуржуазной мудрости, уже виляют хвостом, подобно дворняге: «Ну и достижения в коммуне! Ну и молодцы коммунары!.. Ну и сила в округе!.. Колхозиться надо и — ша!..»

Ветров с небрежной гордостью сказал, пристально усмехаясь в глаза Прохору:

— А что, милый друг! К нам приезжают мужики верст за сто. Но почему ты молчишь о своих походах и победах?

—Я — скромный шкраб. Мне ли говорить о каком-то там героизме...

— Эх ты, философ! Раньше у тебя это мудровато выходило, а сейчас — мелкотравчато, жидко!

Прохор с притворным самоуничижением опустил глаза, но губы умненько вздрагивали. Я только теперь поняла частые отлучки его из коммуны по вечерам: он ходил в соседние деревни к учителям. Он упорно связывал сельскую молодежь с коммуной и мобилизовал все культурные силы на работу по перестройке мужичьих мозгов.

— Прохор, почему вы никогда не приходите поглядеть на своего Володьку?

Он покраснел и отступил от меня в растерянном изумлении.

— О, как беззащитен человек в этом беспризорном мире!..

— А как ничтожна и глупа ваша мудрость, Прохор!

— А что, педагогичка, правда бутуз великолепен?

— Замечательная личность. Но это потому, что он не похож на вас, Прохор.

Ветров молчал и хитренько усмехался.

39. Завоевание полей

Передвижные кухни уже уехали на поля. Мы сели на широкий тарантас, першерон рванул вперед, и ветер захлестал нам в лицо. Мы поднимались на взгорья и спускались в лывины. Земля дышала и волновалась. Пахло прошлогодними травами и дрожжами озимей. Дорога блистала накатанными колеями, а солнце лилось ручьями по прошлогодним пашням.

С перевала открывалась широким размахом волнистая ложбина, бурая и дымная, с блеклыми полосами озимой, с деревеньками, как вороха свалок. Очень длинными ломаными четырехугольниками густо

черпели свежие, еще теплые полосы вспашки. Вдоль этих полос голубыми гусеницами быстро ползли машины. По дорогам, по полям извилистыми пестрыми вереницами бежали мужики и бабы. Толпы сбивались по полосам вспашки и тормошились по целине. Мы обгоняли бегущих детей, запыхавшихся баб и мужиков. Они смеялись нам, махали руками и кричали, но что кричали — я не могла уловить. Эти толпы внизу и эти вереницы народа, которые тянулись и по дороге вместе с нами, и из деревни, рассыпанной в ложбине, были похожи на крестный ход, но это уже был другой праздничный выход деревенского люда. Благочестивые молебствия умрут с этого дня: деревня создает новые народные сходбища — весенние и летние праздники машин, урожая, древонасаждения в своих социалистических олимпиадах.

Тракторы стремительно, грузно и плавно шли один за другим и тащили за собой машины. Земля отплескивалась в сторону от лемехов густыми черными волнами. Широкая бушующая река кипела позади них глубокой лохматой тьмой. Кое-где в пустыне тусклых прошлогодних полей натужливо карабкались лошаденки и спотыкались за ними люди. Это единоличники пахали свои клочки. Ветров молча указывал на них рукою и смеялся, а Прохор ворчал мне в ухо:

— Это — история, которая гримасничает. Капризная лохмотница.

Мы въехали в самую гущу толпы и остановились около походных кухонь. Они дымились, и женщины хлопотали с посудой. Скоро будет обед. Нас сразу захлестнула людская масса. Множество лиц, бород, платков. Одни смеялись нам гостеприимно. Иные смотрели замкнуто издали. Ребятишки стаями бежали в сторонке около тракторов. Мельком я увидела Чушкину, которая сидела в хороводе баб и с обычной исконной скорбью и праздничностью калякала с ними, как с подругами. Потом мелькнула Жижикова. Носились стаями девчонки — и наши и деревенские.

— Здесь, Прохор, тоже идет работа тракторов.

— Пифийский оракул! поэзия сохи, исконной клячи и праведного первобытного труда — сильнее наших

тракторов. Овинный и голодный бог мужика — свиреп и долговечен. Он не прощает и мстит. Это только начало борьбы, которая будет стоить нам много жертв.

— О, не пифийствуйте, Прохор.

— Я не люблю бурных оптимистов, педагогичка: они опасны, как враги.

Бабы, мужики и девки очарованно смотрели на работу машин и не могли оторваться. Было тут несколько стариков и старух. Одна из них, сморщенная, беззубая, с выщелкнутым подбородком, сидела на земле и, вытянув ноги в лаптях, жевала хлеб. Она вдруг увидела меня, сморгнула влагу с глаз и постучала изуродованным пальцем в истлевшее жнивье.

— А все — бесии... бесии, матушка... Отступилась от нас, по грехам нашим, пречистая, пресвятая богородица. Ну, Христос терпит... терпит он, терпит, а потом грянет... сломит рога нечистого... согнет в три погибели...

Она смотрела себе в ноги, жевала беззубым ртом мякиш и крестилась.

— Ох, бывалоче, в наш век, как мы греха боялись!.. боялись бога, бывалоче, а батюшку за версту с ужастью встречали... А теперь — адовы кони... вишь, как тело земли-матушки кромсают... с громом, с огнем, с изрыганием...

Ко мне подошли девчата и жарко навалились на плечи. Они смотрели на старуху и смеялись. Зачем приплелась сюда эта развалина? Человеческая дряхлость не только печальна: она — смешна, как шутовское извращение жизни.

— Бабушка, умирать тебе пора, а ты притащилась сюда за восемь верст...

Она взглянула на меня ягой и зашамкала:

— Ты кто такая? Зачем ты на нашей земле? Она, эта земля, моей кровью и слезами улита.

И опять стала жевать и смотреть себе в ноги.

Колхозники пошли кучей за Ветровым по пашне, с хозяйской уверенностью и гордым возбуждением. Они обсуждали с ним вопрос о приобретении машин и просили у него поручительства коммуны. Ветров кричал сердито и бодро:

— Без машин вы не останетесь. Будут. В чем дело! Пока что наши машины — в вашем распоряжении. Приходите на совместное заседание совета.

Они шли по полю в сторонке вслед за тракторами и не могли оторвать восхищенных глаз от плугов, которые отбрасывали черные шквалы земли на горячие гребни клокочущей пашни.

На одном из ревущих тракторов сидела Глаша и победоносно орудовала рулем. За нею по полю бежали девчата и визгливо кричали ей вдогонку. Одна хромая девчонка отстала от подруг и, смешно приседая на бедро, ковыляла одна, упрямо и бойко.

Бабы кудахтали не слушая друг друга, а мужики гомонили озабоченно и строго.

— Ой, глядите, глядите, бабы... земля-то... так и хлещет, так и хлещет!

— А чего теперь будет с нашими клячами? Сдыхать им, что ли?

— Коммунарским бабам и делать нечего — жир только наживают. Все за них машины делают... и ребятишки отняты... Гляди, какие хари... как кобылы стоялые... ржут да играют...

— Уж будя тебе, кума!.. Чего зря болтать!.. Ясли-то наши прямо благость... чай, только сейчас и вздохнула...

— Молчи ты, шелудивая! Да чтобы я своего ребенка в ясли отдала?.. Будь я проклята, ежели своему дитю кукушкой буду! Разрази меня, господи! Кутята они, что ли?

Бабы начали перебраниваться. Старики смотрели на поля зорко, неодобрительно и крутили головами.

— Разве сейчас найдешь, чья земля: полыщет и режет через все швы — ни гашника, ни ворота... все — на уру...

— А ты здесь не шукай, Василь Карпыч. Ты назад потряси бородой-то — вот те что... Прихрюкает этакая вот скотина к тебе на усадьбу, и заборы да прясла, клети да хибарки — все накувырок... Вот те что!..

— Эх, люди, мир! На сходе рта открыть нельзя: кляпом затыкают. Дожили. Старикам сейчас — крышка, умирать пора. Пущай! Аль наплевать: все едино

пошло прахом... Как жил, так и буду жить. На порог никого не пущу.

— И выходит одно на одно: советская власть спокою не даст... Вот те что!..

Мужик, в опорках и красноармейском шлеме, со свежим бритьем на подбородке, пронзительно закричал на стариков:

— Вы, бородачи, жилы из нас вымотали... Крышка вам, подкулачникам! Сколь ни трясите своими сивыми бородами — не жить вам больше на нашем свете. Идите за Бураковым... Почему здесь нет Буракова? Мы бы ему здесь всыпали. Вон они — сила. Грохочут, бушуют и режут, как пулеметы. Спроть кого идете? Люди! Одна у вас защита — бороды ваши да лапти, хы-хы! Крышка! У вас — Христос, у нас — колхоз.

И засмеялся пискливо и злорадно, захлебываясь слюною.

Старики угрюмо и опасливо косились на него.

Я подошла к Чушкиной и села рядом с нею. Она обняла меня, как мать.

— А мы вот тут, Галя, с бабами речь ведем... хорошие у нас бабы. Жизнь-то у них больно слепая, мышиная... Эх, матушка, и по сей день слезы льются, как вспомню мою бывалошную жизнь... Вот тут и грустим...

И верно: в глазах у нее дрожали мутные капли. Наслаждались слезами и бабы. И я поняла, что только Чушкина может взять за душу этих женщин и незаметно повести их за собою. Нет, я не способна на слезы, когда у меня в душе ликование и бурная весна. Я могу жить только жизнью молодости.

Народ — мужики, бабы, ребятишки, — как на ярмарке, цветисто рассыпался по полю: люди сбивались в толпы, вереницей перебегали с места на место, растекались в разные стороны, кричали, размахивали руками. Все поле шевелилось, беспокойно, говорливо кружилось хороводом в праздном безделии. Но эти толпы с неудержимым любопытством смотрели только на ревущие тракторы, на многолемешные плуги, на бушующую черную реку, горячую, густую, в пенистых волнах. Эти волны шквалами плескались над плугом

в пыли и брызгах и сейчас же застывали гребнистой широкой пучиной.

К нашему приезду поле уже непроглядно темнело бархатом на широкое пространство; и межи, и седое былье, и прошлогодний пар, и рыжее гниющее жнивье — все эти ветхие полосы, «столбники» и «клинья» пожирались железными ревущими чудовищами и тонули в бурных потоках земли. Впереди бабы истошно кричали все сразу. Почудилось, что среди них угорело носилась костлявая, длиннорукая Анисья Матвевна. Мужики с презрительным любопытством толкались около них, скалили зубы и тоже махали руками, будто натравливали их на потасовку. Немного поодаль от них стояла в угрюмой молитвенности маленькая старушонка с очень большой головой. Собственно, голова ее была тоже маленькая, с крошечным носиком и беззубым ртом, но навороченная на волосах шаль в виде чалмы делала голову огромной и тяжелой. Она стояла спиной к бабам, лицом к тракторам, и, сложив руки на животе, ворожеей смотрела на машины, на отплески черноземных волн из-под лемехов.

Я вскочила на ноги, бросилась к толпе баб и встретила взволнованное лицо Матреши.

— Галочка, милая!.. Беда будет... Это — мамаша моя... Анисья-то что делает!.. А ты гляди-ка!..

Бобылка истово, уверенно, с неожиданно тяжелым упором ног пошла вперед, не снимая рук с живота, и за ней, будто по команде, толпой потянулись бабы.

Ветров и Прохор исчезли где-то в толпах мужиков.

Бабы махали руками, падали на землю и визжали, как кликуши.

— Наша земля! наша! Вертайте обратно в свою коммуну!.. Шагу шагнуть не дадим... Умрем, а не пустим...

Трактористы растерянно сидели у рулей и оглядывались конфузливо и беспомощно. Глаша слетела со своего сиденья и с черным от пыли лицом, белыми зубами и очень чистыми глазами в красных веках размашисто зашагала вперед.

Она по-мужичьи рявкнула на женщин:

— Это еще что за кобылы? Ишь взыгрались, надолбы!.. Живо выметайтесь отсюда!..

Она оглядела лежащих на земле женщин и, тыча в них грязным пальцем, захохотала:

— Ну и картина! Вы хоть заголились бы... Эй, Анисья! покажи пример... И тут без тебя дело не обошлось... гадюка!..

Анисья Матвевна сидела позади всех и мстительно смотрела на меня. Вдруг она надрывно закричала, показывая на меня рукой:

— Да вы, бабы, знаете эту шкуру? Это же — коммунарская потаскуха. Она и мужа от меня отбила. Такая сволочь поганая, что убить мало. Вот бы кого распластать-то...

Я не знала, что предпринять: в голове была путаница, в душе — сумбур. Мне в отчаянии хотелось крикнуть и заплакать. Я чувствовала себя ничтожной, глупой, голенькой, как галчонок. Глаша опять плюнула, отошла назад и села на трактор.

Подходили мужики и смотрели с брезгливым и насмешливым любопытством на бабий табор. Приплелась и старушонка в лаптях. Она истово крестилась, бормотала какую-то старушечью чепуху и тыкала клюшкой в землю около баб, точно исследовала, тверда ли эта земля, которую она знала весь свой век. Она выбрала себе место около бобылки и села успокоенно и надежно. Чушкина стояла молча и безучастно, но по лицу ее было видно, что она тоже страдает. Ветрова не было. Куда он запропастился?

— Чушкина, что же делать? Уйми их!.. Только ты можешь прекратить этот кавардак...

— Ничего, ничего, милка... Пускай полежат... Потерпи! Полежат и встанут. Дай сердцу отойти. Мы их сейчас обедом угостим.

Жижикова, к моему изумлению, тоже пробралась в кучу баб и тоже села в их свалке. Она склонилась к какой-то пожилой бабе и стала с ней заботливо шептаться.

Я обернулась к тракторам и увидела, как Глаша свирепо била кулаком по кузову машины. Тракторы

хрипели тревожно, нетерпеливо, и в воздухе трещал барабанный бой.

Я подбежала к Глаше и махнула трактористам. Они вскочили на сиденья и взялись за рули.

— Глаша, поворачивай в сторону. Мимо... под прямым углом!

— Ну, нет! Черта с два! Я поеду прямо... И ты веришь? Никакая дура не ляжет под колеса... Вот увидишь...

Она надавила на рычаг, трактор рванулся и с ревом пошел вперед, минуя переднюю машину. За нею поползли и другие тракторы, врываясь широкими когтистыми ободьями колес в сизую, прибитую дождями и ветром землю, в молоденьких зеленых мочках только что рожденной травки.

У меня замерло в груди. Бабы толкнули бобылку на землю, и она распласталась, раскинув руки и ноги. Огромная чалма ее свалилась с головы, и седые косицы растрепались мочалками. Толпа заорала, завизжала в ужасе. Трактор, не уменьшая хода, грузно шел на бобылку. И когда расстояние между трактором и старухой было не более двух-трех метров, раздался пронзительный визг и истерический хохот женщины.

Кто-то из мужиков орал с хриплой надсадой:

— Тащи ее за ноги, стерву поганую!.. Ишь развалилась на старости лет!..

В воздухе зажвыкал и захлестал кнут.

— Ввот — та-та! ввот — эдак, х-хеть!..

Вдруг к бобылке бросилась Матреша, схватила ее за руку и потащила в сторону. Я была поражена ее твердым, гневным голосом:

— Как тебе не стыдно, старуха!.. Не мать ты мне больше... Не мать!.. Гадина ты проклятая!

Но неожиданно бобылка вскочила на четырки и очень юрко, с обалдевшим от страха лицом поползла от трактора в толпу.

В толпе захохотали и заулюлюкали.

А Матреша кричала, задыхаясь:

— Не мать она... не мать! Не могу я с ней больше... не могу я... Измучилась...

Она билась у кого-то на руках и рыдала.

Вкусно запахло борщом и жареным мясом.

Чушкина крикнула сварливо:

— Бабы, милые! Мужики!.. Милости просим отобедать с нами... Милости просим, гости дорогие!..

Рядом дышали жаром кухни. Звенела посуда. Дразнил аромат свежего хлеба.

Бобылка, простоволосая, спотыкаясь, убегала в поле. Кто-то пронзительно свистел ей вдогонку. Она падала, ползла на четвереньках и опять поднималась. Бабы галдели и рассыпались в разные стороны.

40. *Порыв Ветрова*

Однажды вечером, перед ужином, Ветров зашел ко мне в комнату. Я сидела за столом и строчила в одной из своих тетрадей. Он подошел ко мне сзади и внезапно очень ласково, очень робко положил руки на мои плечи. Я не успела опомниться, как руки его мгновенно сползли с плеч и накрыли мою грудь. Это прикосновение его рук пронизало меня как электрический ток. Я инстинктивно вскочила и повернулась к нему, готовая к борьбе.

— Что это значит, Ветров?

Он улыбался, пристально, с дружеской теплотой, и ни в одной морщинке его лица не было смущения.

— Пришел за тобой. Что же удивительного? С каких пор это ты стала нервничать? Сейчас производим пробу дизеля и динамо. Думал, что тебе это тоже интересно, как и мне.

И я не знала, что больше взволновало меня — это ли бесцеремонное прикосновение его рук к моей груди, или та радость, которой я жила все последние дни. Радость была настолько бурна и порывиста, что возмущение мое и мой протест исчезли мгновенно. Я бросилась к нему навстречу и обвила его шею. Это было совсем непоследовательно, но я уже неспособна была следить за своими поступками. Обнимая его, я прыгала на носочках, как подросток, и смеялась прямо ему в лицо.

— Ах, Андрей Семеныч! родной мой! идем! сейчас же, немедленно!..

Он тоже обнял меня, но я уже не испытывала ни гнева, ни испуга, ни порыва к борьбе. Я уже ощущала его как очень близкого, очень родного человека. Мне нестерпимо хотелось даже поцеловать его и погладить по лицу. Он взял меня за голову и приподнял над полом на уровне с своим лицом.

— Ну, любуйся на Москву!

Я оглохла, мне было больно, ноги мои оторвались от пола, но мне было невыразимо приятно от его шалости и молодого его задора.

— Ну, одевайся, пойдем. Там уже все готово — ждут только нас.

— Почему же ты, Андрей, не сказал мне об этом днем?

— О! вот это мне больше всего по душе... это самое словечко — Андрей... Андрей без хвоста... Ведь с каких пор я ждал этого!.. Мы — квиты. В чем дело? Только почему же ты перестала сердиться на меня?

— Ах, отстань, пожалуйста, — не до этого. Только, Андрей, ты, пожалуйста, больше этого не делай, а то я рассержусь на тебя по-настоящему.

Он лукаво заиграл глазами и вдруг отошел от меня к задней стене, прислонился к косяку двери и вздохнул. Я прошла мимо него к вешалке и увидела его прежним, давнишним, сутулым, с льдинкой в зрачках.

— Что с тобой, Андрей?

— Видишь ли, какая история, Галя. Я — не из числа ухажеров и сердцеедов. Ты сама знаешь: я — человек дела, человек труда и разных целей. Может быть, я даже человек — сухой, деревянный, совсем не завлекательный для женщин.

— Не говори, Андрей... Я вижу, ты хочешь мне в любви признаться. Напрасно, милый.

— Подожди забегать вперед! При чем тут какие-то признания? Что такое? Я — не кавалер, ты — не барышня. Что за ерунда! Не в этом дело, Галя. Я уже сжился с тобою, считаю тебя близким другом. Если бы ты не жила вместе со мною, если бы тебе не была родной и дорогой наша коммуна, наша семья, ты

давно бы удрала отсюда. Но ты за эти полтора года даже не подумала съездить в город.

— Ну, так что же ты хочешь сказать?

— Самое простое, Галя. Говорю прямо, по-дружески. Не антимонии же любовные разводить хочу. Я нуждаюсь в постоянном душевном товарище... в тебе нуждаюсь. Чего я хочу?

— Андрей, разве я когда-нибудь нарушала нашу дружбу? Мы с тобой, кажется, жили до сих пор чудесно. И я никогда не изменю своей любви к тебе как к самому близкому товарищу.

— Да подожди ты, честное слово, Галюха! Что я? Упрекаю тебя, что ли, в этом? Не в том дело. Тут — другое. Ты же — женщина. Понимаешь?.. И вот я... Ну, одним словом, как хочешь... называй это любовью, нежностями... чертом, дьяволом... это меня мало интересует...

Он опять вздохнул, и этот вздох потряс его тело. В глазах его был невиданный блеск — не то страх, не то тоска, не то ожидание удара. Но в них трепетало и другое, что могла видеть только я одна: это — мужская страсть, скрытая, обузданная крепкой силой воли. Но ни влечения к нему, ни волнения, ни мужского его обаяния я не испытывала.

— Вот что, Андрей... Я готова говорить тебе всякие нежные слова, готова вместе с тобой работать до последних сил. Но, родной, я не пылаю к тебе любовью. Черт тебя знает, но ты, очевидно, не обладаешь этой силой мужского очарования. Нет, милый, ты это оставь! Не могу же я насиловать себя. Подожди, может быть, что-нибудь и выйдет.

Я шутила с ним, успокаивала его лаской сестры. Он выпрямился, вздохнул и твердо сказал:

— Ну, пойдем! Время! — как говорит Гришаня.

41. *Первая вспышка*

Внутри электростанции было опрятно, чисто, нарядно и просторно. Четыре керосиновых лампы, простеньких, с жестяными резервуарами, с пузатенькими

стеклами, накаляли своими оранжевыми язычками недавно выбеленные стены латунным блистанием. Бросился в глаза розовый мрамор пульта на стене, как большая мемориальная доска, в круглых циферблатах, врезанных в ее восковой блеск. Около сложного сооружения дизеля, в металлической путанице строгих серебряных деталей стояли и бродили люди. Тут был весь актив коммуны; в этой толпе, к которой я подошла, стояли в восторженном молчании оба Чушкины и Луша с Гришаней. Некоторые посматривали на нее с лукавым любопытством и тревогой, особенно женщины.

— Роднаечка, как хорошо! Ну просто донельзя радостно!...

Луша мягко и задушевно взяла мою руку и сжала ее горячими пальцами, и было непонятно, говорит ли она о себе, или о красоте дизеля.

Неподалеку от нас, за двигателем, связанное с чугунным взлетом маховика упругим трепетанием приводного ремня, жирно круглилось голубое тело динамо с толстыми жилами проводов. Дизель был уже живой, готовый очнуться, вздохнуть, открыть глаза, зашевелить металлическими щупальцами и могуче взмахнуть тяжелым крылом махового колеса. Рабочие с беспокойными глазами, уверенно и четко хлопотали около него: смазывали, ощупывали, поглаживали, звякали ключами в серебряной неразберихе его механизмов, лазили по легкой железной лестнице наверх, что-то проверяли, укрепляли и перекликались между собою. Ветров тоже присоединился к рабочим и хлопотал в их артели. Всюду с потолка спускались на длинных шнурах лампочки под белыми зонтиками, а на стенах изгибали длинные шеи канделябры с сахарно-матовыми розетками. Откуда-то из утробы двигателя ураганно ревело пламя горелки.

Луша шептала мне в щеку:

— Страшно мне, Галочка. До чего сердце у меня дрожит... по ночам просыпаюсь и вся обмираю. Петя уже обрезал с письмами. То сыпал ими через день, а тут — как умер... Боюсь я... Кто-то ему, должно, расписал.

— А разве ты сама ему не писала о себе, Луша?

— Ах, Галочка... я думала: вот приедет, ну и... все сам узнает, увидит...

— Ну, а на письма-то отвечала ему?

— Да ведь как же?.. разве можно не отвечать? На каждое отвечала.

— И ты, Луша, отвечала ему, как будто ничего не произошло?

— Ну, зачем же его тревожить? Ведь я бы его там убила... Ведь ему же там покой нужен. Ему там очень даже трудно, на этих курсах.

— Так чего тут было больше, Луша: трусости или жалости?

Я стояла против маховика, черного, глянцевого, чудовищно легкого и невыносимо тяжелого в своем реющем размахе. Он застыл в неподвижном полете, и его спицы, вросшие в стремительную окружность, были похожи на распорки крыла гигантской летучей мыши. Вот-вот это крыло затрепещет и взмахнет в воздухе страшным порывом мускулов, и по всему зданию пронесется буря. Это внезапное ожидание полета маховика толкнуло меня к нему. Я ощутила холодную гладь металла и попятилась назад.

Чушкина озабоченно прошептала мне в ухо:

— Ты, Галя, не мути ее, Лушу-то, матушка. Натворила дел, неладная... У меня у самой сердце в пятки уходит... Как бы чего Гуляка-то не набедокурил. Надо глядеть, милая, в оба. Чем она виновата? Надо ведь и ее понять... Эх, бабы, бабы!.. Тут бы, по бабьему делу, поберечь ее, а наши стрекотухи из грязи в коридорах узоры расписывают.

Все дрогнули и отпрянули назад, в тишину.

Мне показалось, что сверкание металла стало ярче, масленый блеск черных и зеленых цилиндров, колес и маховика стал животно-теплым, и во всем организме этой большой машины дрожат судороги жизни. Впервые я ощутила запах дыхания этого механического существа — запах металла и масла.

— Ну, давай, давай, ребята!

Голос Ветрова дрожал и задыхался. Что-то тяжелое дышало и хлюпало в недрах машины. Охнули

тяжелые вздохи и потрясли здание. Замахали рычаги, затанцевали, запрыгали наверху какие-то игрушечные молотки, дуги, диски. На меня хлынули теплые волны воздуха, и от этих волн люди опасливо отодвинулись к стене. Маховик уже летел легкокрыло, невесомо, страшно, и я, очарованная его полетом, чувствовала свое тело — такое маленькое, ничтожное, такое прозрачное, замирающее от этого полета. Женщины забыли свои сплетни и застыли с глупыми лицами и с ужасом в глазах. Ветров стоял наверху, на площадке, и был похож на капитана корабля. Пол дрожал и гудел, вздыхал и колыхался, и было странно от этого и необычайно радостно, как на качели. И все молчали, стояли неподвижно. Воздух носился всюду густыми вихрями.

У пульта рабочий вдруг взмахнул рукою — брызнули зеленые искры, и весь зал мгновенно рванулся ввысь и ослепительно загорелся солнечным блеском.

Женщины взвизгнули, ахнули, кто-то из мужчин захохотал, и чувствовалось, что я лечу в сверкающий простор.

— Роднасчка, что это такое? Я не знаю, что со мною... Вся душа в огне...

Луша дрожала и, как ребенок, хваталась за меня, беспомощная и пораженная чудом.

42. Высокое напряжение

И вот в этот самый потрясающий момент я увидела Гуляку. Он шел к нам твердо, широкими шагами, в длинном теплом пиджаке и в серой кепке. Он взволнованно улыбался и приветственно поднял обе руки. Я растерялась, и сердце у меня больно заколотилось.

Луша в первое мгновение обморочно ахнула, но тут же спокойно, даже будто сухо, прошептала:

— Он! Петька!.. Что же это он так сразу?..

Никто уже не смотрел на машину: все устремились навстречу Гуляке. Ветров тоже увидел его и всплеснул руками. Он слетел с лестницы, как на крыльях, и с размаху обнял его.

— Петро! Друг! Черт же тебя подрал, сатана! Ведь вот ты какой! Наконец-то!.. Гляди, гляди, дубина!.. На!.. Любуйся!.. Храм! Бронепоезд! а?..

Гуляка смеялся и, обнимая его, целовал взасос.

— Ну, Андрюша, поздравляю... Вот это я скажу-у. Вот это называется — работа!..

И он опять крепко обнял его.

— Ну, ну, показывай... веди!.. Ведь гад ты этакий! тут и моя же капля крови горит...

— Петро, да как же! Да ведь без тебя мы и теперь бы скулили в этом пустом сарае...

— Товарищи, здорово, дорогие!.. Вот опять дома... Эх вы, черти полосатые!..

К нему хлынули всей толпой, смяли его, жали ему руки, целовали, хлопали по плечам, по спине и кричали ему в лицо не поймешь что! Женщины стояли в том же отдалении и бессмысленно таращили на него глаза.

Он вдруг увидел меня и Лушу и окоченел. Я хорошо видела, как он стиснул зубы. Спокойно, немного даже робко он протянул руку Луше.

— Ну, Лушок, здравствуй!

— Здравствуй, Петя!

— Совсем не писал тебе в последнее время — зачеты. Ну, как дышишь? Живешь и теперь так же отдельно?

— Ну, как же мне еще жить? Ведь я ж сама по себе, Петя.

Я никак не ожидала такой смелости от Луши. Она стояла прямо и не отводила от него своих милых глаз, но пальцы ее дрожали, и вся она опиралась о мое плечо, точно боялась, как бы не упасть от потрясения. И эти ее глаза действовали на Гуляку с неотразимой силой. У него затрепетали живчики в веках и нижняя челюсть затряслась.

— Ну, так что ж, Луша... дружба — по-старому?.. По старой же близости поцелуемся, что ли?..

— А что ж, милый. Чего ж не приласкаться?

И он вцепился в нее мучительно, со стоном.

Бабы обалдело смотрели на них и растерянно улыбались.

Я оттолкнула Гуляку от Луши и нарочно громко и сердито прикрикнула на него:

— Это что же за безобразие, Петр? Со всеми ты здороваешься, пожимаешь руки, а на меня — ноль внимания. Хорош друг — нечего сказать!..

Он слепо взглянул на меня, одурманенный поцелуем Луши, и ничего не понимал. Потом страшным усилием воли заставил себя успокоиться. Он схватил обе мои руки.

— Дорогая!.. Галя Ивановна!.. Товарищ родной!.. Ты меня извини, дурака... Везде свои... родня... Кажется, всех будто к сердцу прижимал... а вот поди ж ты!.. Ну, этого я себе не прощу... Можешь меня наказать, как угодно...

Он размашисто обнял меня, и мы чмокнулись. Я шепнула ему:

— Мы с тобой должны спешно поговорить, Петр.

— Знаю. Я тоже имел намерение.

Чушкин потряс его за плечи и заковырял его единственным глазом.

— Молодец, молодец парень! Ох, и выдержка!.. Не пропала даром партизанская моя выучка. Молодец!

И обе — и я и Луша, — поняли, почему так крикнул Чушкин. А сама Чушкина стояла перед ним гордо и била руками по бедрам.

— Ведь вот, батюшка... Вырос-то как!.. Поздоровел-то как! Крепкий-то какой стал!.. Хорошо, хорошо, милый...

Ветров подхватил его под руку и потащил наверх по лестнице. Маховик летел крылато, беззвучно, и от него полыхали горячие волны воздуха. Машина вздыхала, звенела, потрясала пол, и от этого исполинского движения дрожали внутренности, шаги были неустойчивы и ноги сами собою скользили по полу.

Луша стояла смертельно-бледная, а глаза ее горели лихорадкой.

...Когда мы шли в снежном сумраке домой, женщины толкались около меня и, задыхаясь, перебивая друг друга, растерянно бубнили:

— Что же это такое, Галя Ивановна? Как же это

так, девки?.. Чего-то уж больно чудно вышло... Так-таки и скандала никакого не случилось? Да чего это, девки, а?

Я разозлилась и раскричалась на них:

— А вот — то самое... не нужно языками трепать... Всякая подлость и грязь творится сплетнями и нашептываниями. Что вам нужно? Чего вы хотите? Драки? Издевательства? Какая рабская у вас натура, дорогие женщины!

Они замолчали и надулись.

43. *Гуляка поражает*

Ужинали мы все вместе — одной компанией. Гуляка держал себя с Лушей сердечно, дружески, и ужин прошел в оживленной беседе. Я несколько раз с удивлением замечала, как он и Луша встречались взглядами и улыбались. Но улыбка его была какой-то жухлой, точно губы у него пересохли и растрескались до крови.

А коммунары и коммунарки молчали, посматривали в нашу сторону с любопытством и удивлением. Эти люди увидели необыкновенные вещи: человек не только не проявлял своей ревности, но как будто даже праздновал вместе с Лушей ее новую любовь. И я видела в глазах, в лицах женщин разочарование, смятение, конфуз и какую-то виноватость. А я сидела рядом с Гулякой и ощущала его нервную дрожь.

— Что же ты, Луша, ничего не написала мне о себе?.. Помнишь наш уговор?

Луша вдруг осунулась и побледнела.

— Духу не хватило, Петя... Я, роднаечка, никак не могла муку тебе принести... Тебе нельзя было там страдать... приедешь, мол, тогда... все будет ясно...

— Эх ты, женщина!.. Лушок, Лушок!.. Разве ты не знала наших баб... нашей жизни?.. Ведь только случись что-нибудь... сейчас же услужливо начнут крутить... и доносы, и анонимки, и провокация...

— Я же знаю... но я сама не могла жестокой быть... Я, Петя, нисколько к тебе не переменилась...

я — прежняя... Но что же сделаешь, роднаечка?.. Разве я виновата?.. Все равно у нас жизни с тобой не было бы... не нынче, так завтра...

Гуляка засмеялся, точно хотел ободрить ее, и схватил за плечи.

— Да чудачка ты, Лушок!.. Разве я не знаю. Ну, случилось... что же сделаешь? Ничего не попишешь. Не в нашей это воле. Я же тебе сам говорил при отъезде. Я ведь сам знал... я ведь давно ждал этого... Тут больше моя вина, чем твоя... Что же ты думала: я насилие совершу над тобой, что ли?

У Луши дрожали губы, и глаза были горячие и слезные.

— Петя, родной!.. как мне тебя, золото мое, жалко!.. Да что же я сделаю?.. Ну, как мне тебя утешить?

— Да в чем же утешать меня, Лушок? Я — живой человек. Силы во мне достаточно. Будем вместе работать.

Ветров вдруг шлепнул его по плечу и засмеялся.

— А я, брат Петро, теперь человек свободный — круглый, как шар. Слышал? Одно удовольствие.

— Знаю, знаю, друг... Мне твоя жена писала об этом.

— Жаловалась, что ли?

— Чего там — жаловаться! Боевой ультиматум прислала: ежели, мол, детей не отдадут, ни нам, ни коммуне житья не будет. Деревня будто на ее стороне, и разрушительная война неизбежна. А потом не надо забывать, что в самой коммуне у нее есть сторонники.

— По-моему, одна только сторонница, — сказала я, — да и та сомнительная.

Гуляка взглянул на меня так, будто впервые заметил около себя. Он обрадовался моему голосу и придвинулся, точно во мне нашел защиту. Он жил уже в нашей тесной среде, но чувствовал себя одиноким.

— Боюсь, что это не так, Галя Ивановна. Есть тут и другие наши враги, которые готовят нам хорошую свинью.

И я вдруг вспомнила о моей ночной встрече с Лукья-

нычем и его дочерью. В широком отверстии в стене я, как нарочно, увидела в глубине кухни Лукьянычеву девку. Она почему-то с особым жадным любопытством всматривалась в нас, забыла о своей работе и разбила тарелку. Луша вскочила с табуретки и побежала к стойке. Девка встретилась с ней глазами и скосила рот улыбкой сожаления.

44. Измена

А ночью произошло событие, которое очень всех взбудоражило.

Как обычно, я пошла в детское отделение, чтобы обсудить некоторые вопросы с Наташей и воспитательницами. Наташа зверенком бегала около Аксюты, которая сидела за столом, бледная, немая, будто обожженная крапивой. Глаза ее тупо, с упрямой насмешкой смотрели мимо Наташи в одну точку и очарованно следили за какими-то призраками, которые реяли только перед нею. Лицо Наташи осунулось, высохло и стало острым и опасным. Она обрывала концы платка, наброшенного на плечи, готова была броситься на Аксюту и вцепиться ей в волосы.

— Ну, вот... наконец-то... пришла... Ищем тебя, как угорелые...

— Разве что-нибудь случилось, Наташа?

— Если не случилось, то должно было случиться. Ты видишь этого фруктика? Знаешь, что она сделала? Она украла ребенка Ветрова.

— Как украла? Что ты болтаешь, Наташа!

— А вот спроси ее.

Аксюта сидела с застывшей усмешкой и не обращала на нас внимания. Наташа вдруг успокоилась и оледенела.

Она села против Аксюты и указала мне на табуретку.

— Время тратить нечего. Давай-ка допросим ее. Так вот, голубушка...

— Я все-таки ничего не понимаю, Наташа. Ты скажи мне, в чем дело-то?

Она сорвалась с табуретки, бросилась к двери и тихо сказала в пустой полумрак коридора:

— Девчатки, идите-ка сюда, кто свободен!

И опять подбежала к столу, а в двери вошли две няни-комсомолки в изоляционных халатах, стриженые, с хорошими деревенскими личишками, и женщина, Михайловна, старейшая наша работница, похожая больше на больничную санитарку.

— А дело вот в чем, Галя. Эта самая Аксюта, из нежной дружбы с Ветрихой, по сговору с ней... ты понимаешь!.. решила выкрасть ее ребенка и сегодня передать ей. Ветриха ждала ее у маслобойки. С этим самым ребенком и поймали ее девчата.

Эта новость меня почему-то не взволновала. Мне было как-то легко, точно я давно этого ожидала и не нашла в этом ничего потрясающего. Я в упор спросила Аксюту:

— Вот что, голубчик, я уже давно знаю о твоей связи с Ветровой. Скажи, ты зачем писала письмо вместе с Ветровой товарищу Гуляке?

Аксюта фыркнула и отвернулась.

— Вот еще! Вас не спросилась...

— Может быть, тебя Ветрова и еще на какую-нибудь подлость подбивает?

— Подбивает аль не подбивает — это не ваше дело. Чего вы ко мне пристали? Так я вам все и выложила.

— А как же ты смела красть ребенка?

— Да ваш он, что ли? Ежели мать хочет своего ребенка взять, как вы ей запретите? Ее он, ребенок-то. А вы кто такие дитенку? Всякой матери свое дите жалко.

Девчата и Михайловна наперебой закричали, похудевшие от злости.

— Мы больше с ней работать не желаем. Довольно! Уберите ее! Мы потребуем, чтоб ее духу здесь не было. Воровка! Она зарезать может...

Я протянула к ним руку, чтоб успокоить их.

Наташа наклонилась к Аксюте и стукнула ладонью по столу.

— Ну, я тебя теперь, голубушка, скручу. Я тебе дохнуть не дам. Тебя щадили, а теперь у тебя кости затрещат.

Произошло это неожиданно, с ошеломляющей быстротой. Аксюта взмахнула рукой и ударила Наташу. Сделала это она тоже молча, с усмешкой и злой слепотой в глазах. Наташа схватила ее за руку, и они несколько мгновений смотрели в глаза друг другу. Потом неожиданно Наталья погладила Аксюту по голове и сказала спокойно и матерински ласково:

— Ну, Аксюта... Теперь прошло. Теперь уж ты — другая. Перегорела душа и — хорошо.

Наташа мигнула нам, и мы вышли из комнаты. Уже в коридоре мы услышали рыдания Аксюты. Девчонки и Михайловна смотрели на меня испуганными глазами.

45. *Кризис*

Моя комната давила меня голыми стенами. Было душно, а на душе была тоска, похожая на предчувствие беды. Такое нудное томление бывает тогда, когда не находишь места, а работа — противна и тягостна, и ждешь, что должно с тобой случиться какое-то несчастье.

Было около полуночи. Коридор спал, стены дышали загадочными шорохами. Стены шевелились и бредили. Я вышла во двор. Огни в окнах общежитий уже угасли. Воздух был мягкий, глухой, пушистый. Пахло хмелем весенней земли. Я сошла с крыльца во тьму и быстро зашагала на заднюю усадьбу, в фруктовый сад. Такая прогулка между деревцами, быстрая и непродолжительная, всегда успокаивала меня. За метеорологической станцией, в саду, у ограды, лежала большая куча соломы. Я не знала ее назначения, но днем в ней кувыркались школьники, и этот золотой остров всегда был свеж и примят. Солома дышала солоделым ароматом.

Вдруг я услышала задавленные стоны. Человеку было, очевидно, невыносимо больно: чувствовалось, что он корчится от муки, скрежещет зубами и пол-

зает по земле, как смертельно раненный. Собственно, это были не стоны, а рычанье мужчины, который не умеет плакать, не умеет в слезах вылить своего горя.

В седом сумраке я увидела на соломе черный размытый силуэт. Почему-то сразу решила, что это — Гуляка. Может быть, я поэтому и вышла на улицу, чтобы найти Гуляку именно здесь, в этой куче соломы. Может быть, и моя-то тоска была отзвуком тоски этого парня. Все время — и в электростанции и в столовой — он держал себя превосходно, и я была поражена силой его воли и разумной рассчитанностью его поступков. И вот сейчас, когда он мечется здесь в смертельной тоске, он может только пережить эту боль один, чтобы никто об этом не знал, чтобы его личная беда не нарушила устойчивой системы нашей жизни. Милый Гуляка! Я понимаю, почему ты ни разу не произнес любимого своего слова «проблема»: эта твоя проблема решена так просто и так жестоко.

Он лежал плашмя, вниз лицом, и судорожно рвал солому. Он был без кепки: она содрана была с головы и брошена в сторону. Я не могла говорить с ним: я смогла только сказать ему о себе немым прикосновением руки, что он — не один, что в дружбе моей он найдет себе поддержку. Он застыл и замолк. Так оба мы молчали несколько секунд. Потом он, не поднимая головы, сказал странно спокойным голосом:

— Галя, оставь меня... Я хочу побыть один.

— Слушай, Петр, в таком состоянии я оставить тебя не могу. Маленький ты, что ли?

— Нет, Галя, оставь меня. Я тебя прошу.

— Ни за что не оставлю. И не проси. Наоборот, я требую, чтобы ты сейчас же пошел со мною. Выбирай любое: или пойдем гулять, или — ко мне в комнату. Что за новое дело — валяться на соломе! Очень глупо, Петр. Зачем терзать себя? Чего ты этим достигнешь? Сейчас же поднимайся! Я тебе приказываю, если ты не в силах владеть собою.

Он поднялся на локоть, но опять бессильно упал ничком. Плечи его задергались в судороге, и он вце-

пился пальцами в волосы. Он плакал покорно, молча, изнуренный долгой борьбой. И я плакала вместе с ним тоже молча и гладила его голову.

Он сел на соломе, схватил мою руку и прижал к груди.

— Я не знаю, Галя... я не знаю, как я могу перенести этот прорыв в моей жизни... У меня нет сил... Я наделаю черт знает что... Как буду жить?.. Ведь шесть лет душа в душу... родной человек — не оторвешь... вросла в меня... И вот... уже нет ее... И чем взял этот другой?.. чем?.. Что я — хуже его, что ли? И так скоро... так легко!.. О, порода ваша бабья!..

— При чем она тут, наша порода? Дуралей ты!.. В несчастье люди всегда несправедливы. Я уверяю тебя, что Луша мучается не меньше, чем ты. Но она — женщина, и не просто женщина, которая живет похотью, — нет, Петр. Ты пойми: Луша слишком долго переживала трагедию матери. Эту трагедию переживал и ты — я знаю, но не так и не с той стороны, как она. Пойми, Петр, Луша не виновата. Это ты хорошо знаешь. Луша как мать взяла верх. Не выдержала она, Петр, и ты ее должен оправдать. Может быть, переступить ей через тебя в сто крат было труднее, чем тебе пережить свою муку.

— О-о... Галя!.. Пропал я...

Он положил голову на мое плечо и заскрипел зубами.

— Я давно этого ждал. Я знал, Галя, что это неизбежно случится.

Он опять упал на солому и опять застонал.

— Ну как тебе не стыдно, Петр?.. Я любовалась тобой сегодня. Ведь ты своим поведением поразил всех. А теперь, милый, знай: ни одного неверного жеста, взгляда, поступка... Иначе — все погибло. Слышишь, Петр?

— Да, слышу... знаю... Но я-то?.. Я-то ведь человек? Обо мне-то думает кто-нибудь?

— Ах, Петя, милый друг! Неужели ты не видишь? О тебе все думают — все, до последнего человека. А Луша, Ветров, — они готовы для тебя на все жертвы.

Ну, я-то разве тебе чужая? Как тебе не совестно жаловаться! Вставай!

Он молча встал, поднял кепку, нахлобучил ее на лоб и послушно пошел рядом со мною. Я взяла его под руку. Он остановился, прислушался ко мне и к себе, вздохнул и потеплел.

Не успела я зажечь лампу в своей комнате, не успела еще взглянуть как следует на Гуляку, как в дверях показалась Луша. Она упала плечом на косяк и заплакала навзрыд. Ей хотелось возвратить прошлое и жить настоящим. От этого своего настоящего, которое охватило все ее существо, она не могла бы отказаться даже под страхом смерти. Так же неподвижно, как в столбняке, смотрел на нее и Гуляка. Только мой возглас вывел ее из оцепенения.

— Луша, зайди сюда. Надо все это кончить.

Она, шатаясь, вошла в комнату и упала на пол перед Петром.

Он откинулся на спинку стула, изнуренный и опустошенный. Лицо его было исковеркано пережитым припадком отчаяния, но он улыбался растерянно и жалко.

— Прости меня, Петя... — бормотала она, задыхаясь от рыданий. — Прости, родной!.. Не молчи только... Ну, прокляни меня... опозорь перед народом... Накажи!.. Только не молчи... Это мне хуже смерти...

Я подошла к ним и положила руки на их плечи. Этих чудесных минут нельзя забыть. Это была редчайшая в жизни тишина, когда человек чувствует себя новым, рожденным во второй раз.

46. Весенний прибой

Наш фруктовый сад — весь в цвету. Кажется, что густой пушистый снегопад покрыл все эти бесчисленные охапки ветвей, и душа моя тоже пылает цветами. Эти густые облака цветов — живые: они кружатся, волнуются, дышат и роятся сплошными вихрями бабочек, трепещут и полыхают, как пламя.

Склоны холмов за садом уже глубоко зеленеют озимыми, и эти обглаженные взгорья — ядрены, молоды, мягки; они тоже дышат и дымятся золотой пылью. И пышные поля зелени, уплывающие за горизонты, и цветущие деревья, убегающие рядами к холмам, — воздушны и прохладны. Оттуда плывут волны хмельного аромата. Небо тоже цветет: густые, клубастые облака поднимаются из-за холмов к зениту и жирно зреют в глубочайшей синеве.

Наш двор тоже дымится и брызжет деревцами и сиренью. Трогательно, по-младенчески, начинают распускаться почки. Между деревцами — перепутанные дорожки, посыпанные песком. Круглые и узорчатые клумбы чернеют курганчиками насеянной земли.

Воздух пронизан солнцем, и углубленная тишина — задумчива и тревожна. Днем коммуна безлюдна: все — на полевых работах. Только из кухни слышатся звяканье посуды, грохот ножей и песни женщин, да детвора шумит в школе и детском саду. Ревут сосунки в яслях.

Нет Ветрова — он в колхозе. Нет Гуляки — он на полях.

Утром, когда ребятишки сидели за завтраком, а я стояла на крыльце и смотрела на цветущий сад, ко мне подошла Аксюта. Лицо ее дрожало слезной улыбкой. И голос был ласковый и теплый.

— Галя, мы уж с Наташей хорошо живем... Ты, Галя, уж положись на меня. Ну, дура была... дура. Больно уж Анисья сердце травила... А теперь я словно от болезни поднялась. Хорошо-то как, вольготно-то как!.. Цвет-то какой рясный!.. Хрукты будет много...

Аксюта тоже цвела весною.

— Аксюта, ты наряжайся каждый день. По-праздничному. Ты — такая молодая, весенняя.

Она покраснела, посмотрела на небо, на сад и пошла от меня легкими, девичьими шагами.

К крыльцу подошел Банкин в бумазейной рубахе, в сером стареньком картузе. Он улыбнулся и взял меня под руку.

— Все мы заняты, всем некогда, и сами себя хороним. Нехорошо. А в самые тяжкие дни борьбы с белогвардейцами и интервентами Ленин письмо нам, партизанам, прислал. И в письме этом с большим сердцем и душой писал: «О товарищах не забывайте, больше, чем о себе, о них заботьтесь, потому что сила наша — в преданности и верности друг другу. Этим мы и побеждаем». Так вот, Галя... Ты по своей чуткости и женской сердечности сумей, голубка, и Гуляке и Луше жизнь сделать легкой... вдохнови их. Да и Андрею пару поддай.

— Товарищ Банкин, почему ты говоришь мне это? Я же не доктор, не психиатр.

— Я уже для них стар и холоден, а ты — задушевный их друг. Разве ты не видишь и не чуешь, как они ждут от тебя живых слов и... ну и поддержки...

Он неожиданно взял мою голову и поцеловал меня в лоб.

— Вот и хорошо... Не забудь: у тебя сейчас политкружок...

На тротуарчике я столкнулась с Лушей. Она шла изнуренно, откинув голову, тяжелая, грузная, и живот ее туго выпирал вперед, натягивая юбку. Она глядела на меня сверху, утомленно, с гордой покорностью и вся прислушивалась к себе. Раньше руки ее свободно размахивались при ходьбе, а сейчас левая рука лежала на животе, тяжело и надежно. Высокие груди обмякли и опустились. Вся она будто стекала вниз. Не было больше гибкой, горячей Луши: это была новая, невиданная, занятая собою женщина, с затаенной мудростью постигшая непонятную мне, скорбную тайну. Между нами с некоторых пор как будто образовалась пустота, которая оторвала нас и отодвинула друг от друга очень далеко.

Мы стояли лицом к лицу и улыбались, и в улыбках наших были тоже отчуждение и неловкость. И той и другой хотелось разойтись, но какая-то сила, не зависимая от нас, связывала наши движения. Потом мы обе бессознательно пошли в сад. Шли вместе, рука об руку, но каждая — порознь. Шли и молчали. Так мы медленно, каждая сама по себе, вошли в цветущую ал-

лею. Взметы ветвей струились в наши лица — тяжелые, пухлые, мотыльковые, как густые рои трепещущих крыльев. Хотелось остановиться и слушать необъятный струнный звон. Это наши пчелы роились в цветах и матовым золотом сами пылились, как живые цветы.

— Галочка! — Голос Луши был тихий и грустный.

Я подошла к ней, и она молча взяла мою руку.

— Галочка, отчего мне страшно?.. Жду я чего-то... будто смерти... или так, роднаечка, как во сне... и радошно и ужасно...

И отвернулась от меня — вся погрузилась в цветы.

Я ушла от нее незаметно, на носочках, чтобы не потревожить облачной тишины сада и Лушиной материнской тайны. И чувствовалось, что между нею и этими вихрями цвета было что-то общее.

47. *Вечер, с которого начинается новый день*

Весть о пуске нашей электростанции разнеслась в самые далекие углы района. Вместе с заходом солнца, за корпусами, по взгорьям и полям, табором сбивались крестьяне, которые съезжались из ближайших и далеких деревень. На вечерней отсини полей, по четким дорогам тянулись пестрые вереницы пешеходов и звенящих телег. Густая толпа уже ворошилась около кирпичного здания. Артелями бродили мужики, бабы и молодежь между корпусами и по двору, осматривали конюшни, мастерские, клуб, говорливыми толпами стояли между высочайшими радиомачтами и задирали головы к их вершинам, где мыльными пузырями поблескивали сильные юпитеры.

В задымленных сумерках болото в долине закудрявилось голубым туманом, а холмы будто осели — стали ниже и мягче.

Ветрова не было: он еще днем уехал вместе с Рогаткиным за районными руководителями. Он распорядился не ждать его к открытию станции, если он опоздает, а пускать энергию ровно в восемь часов.

Гуляка хлопотал один. Он ходил от корпуса к корпусу, озабоченный и взволнованный, но уверенный и сильный. Пережитая им передряга как будто не отразилась на нем, только в глазах еще не угасал черный жарок, да исчезла его разговорчивость. Он говорил только по необходимости: рубил слова коротко, решительно, нервно, все время сжимал челюсти, и мне чудилось, что зубы у него трещат и ломаются. Коммунары только поужинали и толпами шли к станции. Крестьяне-колхозники встречались с коммунарами в говорливом порыве друг к другу, шлепали руками и долго трясли их в крепком рукопожатии.

...С Петром мы встречаемся каждый день, и я всегда волнуюсь от этих встреч. Когда я чувствую его около себя, все тело мое наполняется неиспытанным блаженством. И не он, а я ищу этих встреч. Я каждый вечер захожу в его комнату, по-холостяцки пустую, с ворохами книг на столе, и сижу с ним без огня целые часы. Я мучительно хочу, чтобы он еще раз обнял меня так же крепко, как раньше, а он — робок и нежен со мной, как ребенок.

И вот на этих днях я сама безмолвно подошла к нему, в темноте взяла его голову и прижала к груди. Петр сначала испугался, а потом со страшной силой схватил меня, вскинул ввысь, как легонького младенца, и понес в горячую тьму.

...На широкой площадке перед зданием электростанции с давних времен стояла дощатая трибуна. Здесь несколько раз в год устраивались торжественные митинги в дни революционных праздников. Сегодня тоже решили ознаменовать открытие электростанции большим митингом коммунаров и крестьян.

У мужиков уже не было той опаски и недоверия, которые заставляли их замыкаться и скрыто враждовать с нами. Раньше они приходили к нам неохотно, боязливо: как бы не лишили их насиженного гнезда и того жалкого клочка земли, на котором они копались с каторжной надсадой по дедовским заветам. Теперь они уже приезжали к нам каждый день, и площадь около мельницы загромождалась лошадьми, воздух насыщался конским потом и лошадиными от-

бросами, а в канцелярии совета и на разных участках работ толкались деревенские кафтаны и шубейки. Люди приезжали за справками, за помощью, за машинами, за руководителями для их колхозного хозяйства. Жизнь в колхозах была еще неустойчива, и только наша неусыпная забота и чуткое отношение к разным их тревогам и сомнениям, глубокое знание их жизни понемногу укрепляли там новое житье-бытье. Руководители колхозов, молодежь и актив, были уже беззаветно преданы идее коллективизации и уже связаны с нами неразрывной дружбой. Но враждебная сила неустанно, невидимо отравляла воздух колхозов, и люди по разным пустякам поднимали бунт. Маленький собственник сеял тревогу: враг ползал в этих безалаберных толпах и разъедал их, как вошь. Этого врага мы знали, этого врага знали и колхозники. На ряде собраний был поставлен вопрос о выселении Буракова и других кулаков из района коллективизации, с конфискацией всего имущества. Это была утомительная и опасная работа. В коммуну забрасывались анонимки с угрозой расправы. В этих анонимках указывалось, что в среде наших коммунаров есть люди, которые ненавидят коммуну и пойдут на всё, чтобы уничтожить ее вместе с командирами.

Мужики и бабы — особенно бабы — не верили, что мы будем жить без керосина, без коптилок, что наши лампочки будут зажигаться мгновенно сами собою в любой час дня и ночи, что в мастерских, в зернохранилищах и во всех местах, где применялась раньше при машинах лошадиная или людская моторная сила, будет действовать электричество. Очень многие никогда не выезжали из своего села и не имели никакого представления об электричестве. И вот сейчас все эти толпы съехались из округи, чтобы посмотреть на чудо. Мы знали, что это событие исключительное: огни ослепят людей своим внезапным блеском. Мы знали, что кое-кто приехал сюда с недоверием и это недоверие сеял среди других: многие люди с замкнутой насмешкой следили за нами, как за обманщиками.

И если бы вдруг случилась какая-нибудь заминка, вдруг электричество не вспыхнуло бы в этот вечер,

все эти толпы издевались бы над нами и сразу превратились бы в наших заклятых врагов. Вся наша работа в деревнях была бы сорвана, и мы уже не могли бы показаться на глаза этим мужикам и бабам.

Я толкалась в толпе молодежи — нашей и деревенской. Делегаты колхозов и просто мужики и бабы заходили в здание электростанции, с оторопью, опасливо вытягивая шеи. И когда они выходили оттуда, их лица в синих сумерках улыбались от удивления и конфузливости.

Матреша терлась около меня, ломала пальцы и говорила вздрагивающим голоском:

— Я у тебя ночую, Галя... Уж не откажи — на одну ночку... А потом я... где-нибудь у чужих людей...

Молодежь держалась дружно, тесно, весело и беспокойно. Шалили, хохотали, пели песни. Толпа волновалась, гомонила, как на сельском сходе.

Просто, даже как-то незаметно, с пронизывающей неожиданностью вспыхнули огни, — вспыхнули, как молния, ослепили всех и застыли в лучистой яркости. В разных местах взвизгнули женщины. Толпа вздрогнула и онемела.

Воздух стал бездонно-глубоким и туманно-красным. И в этой глубокой тьме пронзительно быстрыми, невыносимо яркими взрывами лучей засияли очень высоко две огромных звезды — горели юпитеры на вершинах радиомачт. Со стороны двора, между корпусами бежали девчонки, женщины, парни и кричали, задыхаясь от радости:

— Горят!.. Горят!.. Во всех комнатах... все лампочки! И в коридорах!..

Я тоже вся вспыхнула вместе с этим чудесным светом. Прожила я здесь полтора года — жила во тьме слепых ночей, полных жутких теней, смутных предчувствий. Я научилась здесь не бояться ночных пространств, бездонной тишины и таинственных шорохов. Электрический свет города для меня был уже очень далеким, нереальным, как воспоминание, как трепет видений беспокойного сна. И вот теперь я с таким же волнением, как и эти люди, ждала мгно-

венной вспышки ослепительных созвездий в вечернем пепельном сумраке — ждала с замирающим сердцем. Мне казалось, что вместе с этой бурной вспышкой должно произойти что-то необыкновенное и огромное.

Люди переговаривались тихо, почти шепотом.

— Ведь, гляди-ка, машина какая!.. Горит, не подмигивает. Ну и ну!..

— А ты разуй глаза: что делает прорва... как забирает!.. Паровоз!..

— Огонь у ней — холодный. Машинный огонь, фальшивый: запала от него не бывает.

Кто-то захлебывался восторженным смехом:

— Вот так мы!.. Вот так мужики!.. Чего стоишь — не хвалишь? Сиволдай! Город в деревню притащили... чуешь? Как это тебе отражается?

— Чего — город? В городе — там насчет этого просторно. Ну, только от этого огню слепнут: близко видют, а далеко чтобы — нет. Очки носют.

— И тут напялят — вот погоди. Постановление вынесут. Было же насчет баб — остричь всех, коли собрались вобче, а мужикам — усы и бороды.

Кто-то обиделся и вошел в раж.

— Это — когда? Докажи! Когда это было? Ну? Тебя бы вот, барана, остричь надо, чтобы не вонял...

Вся площадь уже кишела народом. Было тесно́, беспокойно и душно. Это напоминало пасхальную ночь. Около меня стояли Тишин, Наташа и Луша. Чушкина, как на молитве, устремленно тянулась к огням. Жижикова держалась неподвижно и торжественно сурово, как на всенощной.

И вдруг я увидела, что Наташа плачет, а Луша уткнулась головою в ее плечо и трясется от рыданий всем своим беременным телом. Чушкина медленно по-матерински подошла к ним и молча, пристально застыла в немой скорби. По лицу ее обильно текли слезы и капали с подбородка. Жижикова даже не обернулась к ним — так и осталась кроткой и торжественной.

И Наташа с Лушей, и Чущкина с Жижиковой были уже не те женщины, которых я видела каждый день, — занятые кропотливой работой, с озабоченными

лицами. Передо мной были женщины, в душе которых мир вспыхнул невиданными огнями, и ночи их жизни сгорели навсегда.

— Ветров, Ветров!.. Андрей Семеныч!.. Товарищ Рогаткин!.. Приехали!..

И в вое и топоте толпы я увидела, как Ветров и Рогаткин взлетали над кучами голов. На миг я увидела их лица — озабоченные и испуганные.

Потом на руках понесли их к трибуне. Толпы двинулись за ними.

Когда Ветрова втащили на трибуну, я пробралась к нему через густую толпу, сквозь горячие спины и плечи.

Ветров увидел меня и протянул руку, чтоб обнять, но я отстранилась от него.

— Ну? Галя! Вот оно как! Что было и что стало... мне, понимаешь, жена встретилась... Ни черта! Как не жена... Впрочем, вру... Пристрелить захотелось...

Я зябко отошла от него, опасаясь, как бы он опять не попытался обнять меня. Он с оскорбленным изумлением ловил мои глаза, и складка на его щеке твердела и ожесточалась.

На трибуне говорил Рогаткин, внушительно отбивая слова, и слова эти были очень значительны и ударны.

1928

О РАБОТЕ НАД «ЭНЕРГИЕЙ»

(В порядке самокритики)

История «Энергии» такова.

Восстановительный период закончился, народное хозяйство вступило в период реконструкции, страна готовилась к первой пятилетке. План электрификации осуществлялся в постройке районных электростанций, сравнительно небольших по мощности. Волховстрой уже заканчивался, проект Днепростроя был уже разработан и утвержден. Впервые широкие массы заговорили о гигантской гидроцентрали как о событии большой важности.

Наши мощные электростанции рассчитаны постройкой на воде, на белом угле. Полноводные реки, удобный их режим, огромные запасы воды — все это предопределяло неизбежность развернутых гидротехнических работ.

Реки как раз находятся в таких местах, которые являются житницами нашей страны. Естественно, что эти гидроцентрали должны являться не только источником энергии для промышленности, но и большим двигателем реконструкции сельского хозяйства.

По первоначальному проекту плотина Днепрогэса была прямолинейной. По многим соображениям технического порядка и по физическим условиям места, плотина в конце концов приняла вид криволинейный. Электростанция сооружалась мощностью сначала

в 650 тысяч лошадиных сил, а потом в процессе работ мощность увеличили до 810 тысяч лошадиных сил, при 9 турбогенераторах по 90 тысяч лошадиных сил каждый, то есть мощность каждого агрегата равнялась целому Волховстрою. Длина плотины — 760 метров. Работа Днепрогэса рассчитана на обслуживание местных гигантских металлургических комбинатов, Днепропетровского промышленного узла и угольных районов Кривого Рога и Донбасса. Днепрострой привлекал самое горячее внимание трудящихся всей страны.

Он был первой грандиозной новостройкой Союза — он первым вступил в строй пятилетки. Он был пионером в организации массового социалистического труда на основе высочайшей механизации и великолепного подбора инженерно-технических сил.

Весною 1927 года я поехал на Днепрострой. Я застал еще подготовительные работы: геодезические съемки, постройки первых временных жилищ и первоначальные земляные работы грабарей. Берега были дикие, всюду — крестьянские поля.

Прежде всего я связался с партийной организацией и принял активное участие в ее работе. С первых же дней я был в курсе дела. Это были дни тяжелой организационной горячки. В Кичкас нахлынуло огромное количество людей, с которыми очень трудно было справиться. В Кичкасе в этот год прожил я больше месяца.

Связь моя с Днепростроем была закреплена, корни пущены, личные отношения завязаны. Я мог туда приезжать как свой человек.

Для того чтобы обогатить свои днепровские впечатления, я поехал на Волховстрой. Это была уже готовая станция, замечательна она была тем, что строилась в самые тяжелые годы гражданской войны. Это была поистине героическая стройка: без механизации, почти голыми руками, в необычайно трудных условиях сооружалась эта станция. Она вступила в строй в 1926 году. Как и на фронтах борьбы с белогвардейцами, рабочие массы вышли и здесь победителями. Это был первый камень, заложенный в фун-

дамент социалистического строительства Страны Советов.

Активно участвуя в работе общественных организаций Днепростроя, я не участвовал в трудовых процессах. Нужно ли писателю включать себя в трудовые процессы? Одно время в РАППе отстаивалось мнение, что писателю необходимо непосредственно быть у станка, чтобы по-настоящему дышать жизнью предприятия. Только при этом условии он может дать настоящее художественное произведение. Так родилась одна из скороспелых теорий о «второй профессии» писателя. Я думаю, что писателю участвовать в трудовых процессах совсем не обязательно. Надо знать трудовые процессы — это бесспорно, но можно их изучать и не будучи у станка. Живое обшение с рабочими, наблюдение, изучение через производственные процессы и посредством других путей даст широкую возможность осмыслить и характер этих трудовых процессов и настоящего, подлинного человека. Важно знать общий смысл процесса. Нужно быть все время в курсе дела. Изучая практически какую-нибудь профессию, я обрек бы себя на очень узкий круг наблюдений, потому что все остальное проходило бы мимо моего внимания. Важно, чтобы горизонт наблюдений был широк, чтобы вся система данного предприятия, данной стройки была ясна и понятна во всей своей сложности. Нужно знать целостное движение данного предприятия, данного коллектива. И я поступил так, что не был ни каменоломом, ни бурильщиком, ни бетонщиком, а только наблюдал, изучал жизнь и работу людей всех профессий.

Я решил, что прежде всего надо *познать человека*, который работает на том или ином объекте: рабочего, техника, инженера, партийца, комсомольца, женщину, сезонника; нужно кропотливо изучить отношения их между собою и отношение их к вещам, нужно вскрыть смысл совершающихся событий во всех жизненных проявлениях. Это работа довольно значительная и трудная.

Писателям дореволюционным творить было легче, чем нам. Производительные силы были низкие. Страна

была аграрная: подушные наделы, бурьянные межи, сохи, серпы, лапти, небо, ручейки, перелески. Не двигаясь с места, писатель наблюдал мирную и однообразную жизнь. Она была везде одна и та же. И быт и пейзаж изменялись очень медленно. Природа, сельский пейзаж, помещичья усадьба, деревня, поле, вотчина — вот что было перед писателем. Для него все было привычно, все несложно. Человек родился и умирал с одними и теми же впечатлениями. И люди мало изменялись. Лев Толстой мог сидеть у себя в Ясной Поляне всю жизнь и писать романы: и люди и природа врастали в него одним и тем же обликом с детства до могилы. Образы помещиков были тут же: семья, соседи, а мужики — рядом, в деревне. В наше время писатель является активным участником повседневной жизни, а наша жизнь изменяется бурно, революция отношений совершается каждый день, производительные силы развиваются с невероятной быстротой. Писатель уже не может сидеть у себя дома: он ездит за тысячи километров, он пропадает на заводах, на стройках, на колхозных полях. Он должен знать все, что совершается на том или ином участке его наблюдений. Наше искусство, точно так же как и наша экономика и вся наша жизнь, непрерывно растет, меняет облик, переживает революцию.

Я изучал работу и быт грабарей, каменоломов, бурильщиков, металлистов... Первый год прошел при слабой организации труда. Постепенно на место грабарей, очень своеобразной артели отходников, которые исчезали на моих глазах, пришли экскаваторы. Каждый экскаватор вытеснял сотни землекопов. Пилы и топоры уступили место мощному лесозаводу. Вместо колымажек грабарей начали появляться думпкары — самосвалы. Потом их стало много — целые поезда.

Сначала люди сидели и тюкали молоточками по бурильному стержню — долбили скалы. И было странно смотреть на работу таким способом: она казалась смешной и обидной. Сидит этакий дядя и долбит, устанет — покурит, потом поплюет в руку, опять долбит. Тут нужно сотни тысяч кубометров пробурить и взорвать целые горы, а он долбит по сантиметру

в час. Когда же будет готов Днепрострой? Так и бурили ручными бурами, пока не привезли перфораторы. Перфоратор — это пневматический аппарат, похожий на клепальный автоматический молоток. Работа пошла быстрее. Вслед за перфораторами получены были бурильные машины. На шлюзовом канале, например, за смену бурили восемь скважин по восемь метров глубины. Дыру приблизительно в десять сантиметров заряжали патронами жидкого кислорода. Взрыв — и скалы обвалом рушились вниз. Подходил экскаватор, брал камни и клал их на самосвал. Нагрузка целого поезда обычно продолжалась не больше пятнадцати минут.

Эти процессы были новы и поражали своим величием и размахом.

Людям надлежало освоить новые механизмы и приноровиться к их масштабам. А люди были сырые, не испытавшие на себе действия этих чудовищ. Нужно было стать их хозяевами, осмыслить их работу, их внутреннюю жизнь, чтобы мощные механизмы стали для людей простыми и понятными, как привычный инструмент. Люди входили в ритм машин, приобретали навыки, сами переделывались и приучались давать рекордные нагрузки механизмам. Конечно, и мне приходилось знакомиться с этими машинами. Надо было серьезно изучать не только процессы труда, но и гидротехнику. Нужно было читать книги и по бетону, и по металлургии, и по электротехнике. Надо было стать немножко инженером, чтобы знать, что к чему.

Моя работа на Днепрострое проходила так, что я никому не мешал. Я старался быть независимым. А это очень важно. Я был свободен и никому не был в тягость. Мой опыт говорит сам за себя — никогда не следует при изучении производства выпячивать себя: я — писатель, я требую того-то и того-то. Это не только не поможет, но погубит дело. Надо работать, наблюдать и не надоедать людям. Участвовать в газете надо, проявлять максимальную активность надо, но нужно всегда помнить: ты — рядовой, незаметный

человек; вникай во все, как ответственный хозяйственник и партработник, болей за всякие неурядицы и борись за план, как ударник. Вот такой метод изучения материала дает ту целостность освоения объекта, которая единственно необходима художнику наших дней.

Я противник разъездных писательских бригад. Бригадный метод работы ограничен определенным временем. Я предпочитаю всегда работать один, потому что это дает возможность широко, детально, постепенно осуществлять свой план. В самом деле, я обращаю внимание на те вещи, на те стороны избранного мною объекта, на которые бригада не всегда может обратить внимание. В работе не должно быть сутени. Этот метод работы считаю для себя наиболее правильным. Я могу позволить себе посидеть, постоять неподвижно и наблюдать самые простые движения рабочих. Мне интересно изучать характерные жесты, слова, игру лица, темпераменты, проследить, как человек чувствует себя у машины, как он держит себя в столовой, в семье, в общежитии, как прораб руководит людьми. Мне важно постигнуть, механичен ли труд, или освещен сознанием и ответственностью. Мне важно проследить человека в течение целого ряда дней и отметить его изменения.

Писатель должен хорошо знать производство. Но для этого, как я уже отмечал, не обязательно самому становиться рабочим. Конечно, хорошо, если начинающий писатель сам рабочий. Ему надо знать при этом, что отрываться от станка нельзя, пока не постигнешь писательского мастерства. Ранний профессионализм, незрелая художественная мысль, без опыта, без базы, неизбежно приведут к прожектерству, к любительству, к неудачам.

Передо мной был грандиозный материал: разнообразные трудовые процессы, широкий производственный размах, необычайные механизмы, стройная организация труда и люди, которые научились управлять новыми машинами с не меньшим мастерством и с большей производительностью, чем в Америке, — люди, которые строили новую жизнь, новые отноше-

ния. Я имел цельное представление о стройке и знал ее смысл в общем движении социалистического созидания. Классовая борьба, переделка и рождение новых людей, борьба за освоение проблемы быта и культурной революции — все это изучалось длительно и упорно, изучалось не только по методу непосредственного наблюдения, но параллельно и путем освоения соответствующей литературы.

Днепрострой был одной из культурнейших строек нашей страны. Я говорю это потому, что мне пришлось изучать одновременно и другие объекты. Я ездил в Магнитогорск, был на Сельмашстрое — в Ростове-на-Дону, на Челябстрое, на московских стройках. Правда, Днепрострой начал работу при благоприятных обстоятельствах. Он был одним из первых индустриальных сооружений, он приступил к работам еще в преддверии первой пятилетки, на него было обращено особое внимание. Подбор инженерно-технических кадров был там превосходный, а начальник строительства А. В. Винтер — выдающийся организатор. Его хорошо знал В. И. Ленин, он был другом Красина. Он старый, очень опытный инженер, построивший Шатуру. Винтер с самого начала поставил целью — построить Днепрогэс дешево и хорошо, не голыми руками, а силой высочайшей техники. Винтер рассчитал правильно: прежде чем строить большое предприятие, нужно обеспечить рабочих и инженеров хорошими жилищами, организовать общественное питание. Кроме того, надо приучить рабочих любить свой угол, ценить заботы о них администрации и общественных организаций, надо, чтобы они с первых же дней приучались жить культурно и работать культурно. И дома кадровых рабочих и инженеров были сделаны отлично: при каждом доме — сад, деревья, цветы; на площадях — скверы, по улицам — бульвары.

Рабочие ходят по хрустящему гравию и уже сами заботятся о чистоте, о порядке и опрятности. Еще не было закончено ни одной перемычки для плотины, а уже два поселка были готовы. Проводили дороги, шоссе, занимались озеленением, деревья сажали взрослыми. Основали свой питомник, во дворах жилищ и

на площадях разбивали сады. Для того чтобы не было пыли, посеяли овес. Были построены канализация, водопровод. На территории строительных площадок и в поселках соорудили души; в эти хорошенькие павильончики каждый мог зайти и вымыться после работы. Многие тогда не понимали таких новшеств и недоумевали: зачем Винтер тратит народные деньги на пустяки? Надо, мол, строить плотину, бетонокамнедробильные заводы, а он строит хорошие дома, разводит парки, мостит шоссе...

Из массы наблюдений и личного опыта, из всего того, что было накоплено путем изучения процессов труда и всей сложной жизни стройки и тех умных людей, которые эту стройку создавали, нужно было художественно создать новую жизнь.

Правильно ли я сделал, что взял в качестве объекта огромную новостройку? Может быть, нужно было ограничиться маленькой строительной площадкой, как рекомендует М. С. Шагинян? Принципиальной разницы тут нет, ибо дело не в величине объекта, а в умении освоить материал. Осваивать же объект надо обязательно во всей его целостности, которая отражала бы все стороны жизни — и политическую, и экономическую, и культурную, чтобы в ней чувствовалось дыхание эпохи. Эпоха отражается и в маленьких и в больших стройках. Можно и маленький объект знать мало, как и большой, а можно и большой знать лучше маленького. Все дело в глубоком и верном изучении действительности, в освоении целостности всех процессов жизни данного предприятия, в умении понять смысл происходящего, в умении видеть в малом великое, в части — целое. Здесь нетерпимо верхоглядство. Но есть у нас писатели, которые приезжают на стройку, на завод, в колхозы в роли туристов или гастролеров: поживут сутки-двое, от силы полмесяца — и исчезают навсегда. Глядишь, месяца через два-три готова повесть. О стихах я уже не говорю: ими просто стреляют. И получается нехорошо: авторы искажают действительность и совсем не дают ни типических людей, ни типических обстоятельств. Иначе и быть не может: верхоглядство — плохой метод наблюдения и

изучения материала. Выхватит такой литератор из общего потока жизни какое-нибудь отдельное явление и ставит его центральным в художественном произведении, а целостности нет, и, следовательно, связь этого явления с общим процессом движения отсутствует.

У нас есть романы о стройках, в них изображаются маленькие объекты: это «Соть» Леонова, «Гидроцентраль» Шагинян — хорошие книги. «Время, вперед!» В. Катаева — книга о большой стройке. Вопреки многим критикам я сказал бы, что эта книга — яркий пример легкомыслия. Во имя чего вся та суетня, которая в романе изображена? Автор старается убедить читателя, что сногсшибательные рекорды на количество замесов бетона решают все дело стройки: чем головокружительнее гонка за сотнями замесов, тем скорее будет достигнут рекорд на всесоюзное первенство. Здесь — скачка во имя голой цифры, погоня очертя голову за пустой беспредельностью. А всякий знакомый с проблемой бетона, с законами его действия оценит книгу В. Катаева как сочинение неподготовленного писателя. Если автор пишет о бетоне, он должен знать, что число замесов в определенную единицу времени не должно превышать твердо установленной нормы. Если эта норма нарушена, бетон теряет свою силу, получается брак. Правда, в 1931 году такая гонка за рекордами наблюдалась и на днепровских комбинатах, и на Магнитке, и в Харькове. Но как только число замесов в течение смены зашло за законный предел и стало грозить серьезнейшими последствиями, пришлось окатить рьяных рекордистов холодной водой. Был даже издан специальный закон, который устанавливал максимальное число замесов на строительных бетономешалках, именно — не выше 250. Конечно, книга Катаева рисует строительный энтузиазм. Но ведь такой энтузиазм впустую. Не всякий энтузиазм полезен.

Если советский писатель взялся писать книгу о каком-нибудь отдельном явлении социалистического строительства, он должен знать всю систему хозяйства и процессов стройки, должен осмыслить место, роль и

значение изображаемого явления в общем движении социалистического созидания.

При построении романа нужно брать *основную проблему.* Надо ставить задачей творчества показ эпохи. Эту задачу я, по мере возможности, ставил и в «Цементе» и в «Энергии». Надо было осмыслить, во-первых, что я хочу сказать в этом романе, во-вторых — как я должен был построить роман, то есть как его сюжетно сладить, как расставить людей, чтобы вся сложная жизнь произведения была яркой, полнокровной, захватывающей, правдивой, художественно убедительной. Нужно было построить книгу так, чтобы вся система образов во всей своей целостности, во всей своей устремленности была выражением нашей действительности. Люди и события должны быть обязательно типичными, характерными для нашей социалистической эпохи.

За художественное изображение жизни мы боремся как реалисты, а не как натуралисты. Существенным же признаком реализма является прежде всего живописание, раскрывающее сущность вещей и явлений в их диалектическом развитии. Для натурализма характерно изображение не сущности, а внешних отношений вещей между собою.

Натурализм в его классическом определении характеризуется тем, что утверждает крайний объективизм, протоколизм и аполитичность во имя будто бы «общечеловеческой правды». Натурализм не допускает, чтобы личность писателя заявляла о себе в произведении. Одним из типических представителей натурализма является Пьер Амп в своих производственных романах. Преклонение перед вещью и машиной, которое еще было у Золя, у Ампа является основой творчества и совершенно отстраняет человека. Натурализм в нашей литературной практике имеет приблизительно следующие признаки: это слабость идейно-художественной обрисовки образа, стремление к беспартийности в искусстве, отсутствие интереса к изображению социальных процессов, любовь к частностям, к обильному собиранию фактов, тяга к эмпиризму. В таких произведениях социальные проблемы разрабатываются очень

поверхностно, художественный синтез почти отсутствует.

Создаваемый нами *социалистический реализм* по существу своему определяет именно *образное познание сущности диалектического развития нашей действительности*, то есть действительности *в ее напряженной борьбе, в самодвижении, в создании новых, социалистических ценностей*. Поэтому социалистический реализм устраняет противоречие между общественным и индвидуальным, между объектом и субъектом, между творческой мечтой и действительностью. Наша эпоха — это эпоха социализма. Мы участники борьбы за созидание бесклассового общества. Мы активные борцы на фронтах величайших преобразований жизни во всех областях, мы свидетели величайших перемен, которые переживают и коллектив и отдельная личность. Художественное изображение этих процессов и есть задача социалистического реализма.

Наш реализм активен, насыщен философско-политической мыслью; он ярчайшее проявление борьбы нашей партии, рабочего класса за утверждение власти трудящихся во всем мире, он весь в практике классовой борьбы и творческого созидания. Он монументален, образы его полны напряжения и энергии.

Наше время не чуждо романтики. Наша эпоха — это эпоха обыкновенных людей, но людей-героев, потому что сама действительность по существу героична. Наши герои — не былинные богатыри, стоящие над другими людьми; это простые люди из массы рабочих и колхозников, которые вдохновенно, с энтузиазмом, с глубоким убеждением борются за завтрашний день. Это — всякий горячий новатор, который борется за высокие темпы, за максимальную производительность труда, за каждодневные достижения, за отличное освоение механизмов, за любовное отношение к орудиям производства, за политические знания, за коммунистическое воспитание. Во имя чего? Во имя будущего, во имя великого нашего идеала — идеала коммунизма.

«Энергию», как и «Цемент», я стремился строить в плане социалистического реализма. Как создавалась

конструкция «Энергии»? Материал нужно было организовать так, чтобы в стройной системе образов, во всей полноте их отразилась подлинная суть социалистического строительства: и формы коммунистического труда, и движение масс, и ведущая роль партии, и рождение новых людей, и борьба в годы первой пятилетки, и быт — все коренные проблемы современности. В первую голову нужно было создать ряд типических фигур: партийцев, рабочих, инженеров, молодежи, женщин, детей, колхозников, сезонников. А для того чтобы стройность образов получила отчетливость и впечатляемость, нужно было построить сюжет.

Что такое сюжет? Это строго организованное развитие действия, когда события и люди находятся в определенных отношениях, когда нарушение биографии ведущих лиц определяет ряд драматических коллизий. Сюжет — это прежде всего борьба за достижение целей, борьба за собственное или коллективное утверждение, борьба с препятствиями и враждебными силами. Без сюжета материал хаотичен, рассыпан, как перед стройкой кирпичи, дерево, металл и вся масса строительных материалов. Для того чтобы произведение стало художественным и цельным, надо весь материал превратить в организованное целое, надо людей расставить по местам, надо сделать так, чтобы события закономерно вытекали одно из другого, развивались поступательно, с непререкаемой необходимостью. Все это должно быть правдиво, вполне реально, чтобы произведение, сотворенное художником, воплощало в себе подлинную жизнь.

Учитывая это, я и строил сюжет «Энергии» на ведущих фигурах Мирона Ватагина, партийного руководителя стройки, начальника стройки Балеева, на борьбе рабочего коллектива с прорывом, на развитии энергии масс по созданию величайшей в мире гидростанции. Мне нужно было отразить в моей книге по возможности все коренные проблемы современности, все напряжение борьбы рабочего класса и партии в период первой пятилетки. Образы людей в их типических проявлениях — партийцев, молодежи, рабочих, инженеров, женщин — нужно было воплотить в яркие

индивидуальные характеры. С одной стороны, биография Мирона нарушена событиями его личной жизни — исчезновением сына, и это гнетет его постоянно; Мирон и жена его Ольга, с которой он принужден жить раздельно по условиям работы, все время заняты розысками сына. С другой стороны, у Мирона — огромная ответственность за судьбу стройки, за многолюдный коллектив. События ставят его перед лицом большого прорыва в строительных работах. Этот прорыв сразу обнажает все недостатки партийного руководства и административного управления. Старые формы труда — уже тормоз для дальнейшего движения вперед. Вредительство находит себе в этих условиях благоприятную почву. Слабость бытовой и культурно-воспитательной работы резко бьет в глаза. Мирон, как партруководитель и как хозяйственник, испытывает всю тяжесть и сложность совершающихся событий. Борьба за новую систему труда, за новые кадры, за перевоспитание людей — вот что является главным содержанием его жизни в этот период времени.

Что это за характер? Мирон — старый большевик, подпольщик, участник гражданской войны. Как личность, он сложился в бурные годы классовых боев. Он — организатор, с крепкой волей, с привычной выдержкой. У него нет жизни вне партии, вне борьбы за дело рабочего класса. Он не колеблется, когда дело идет о партийной линии в работе и в отношении к людям, кто бы они ни были. Он резок и даже жесток и кажется недобрым. Его холодная прямолинейность кажется бездушием, она пугает и подавляет. Эта черта характера стала одной из причин расстройства его семейной жизни. Жена, Ольга, с первых же дней Октября тоже ушла в партработу со страстью и пылом свежего человека, у которого вся жизнь с Мироном была опалена дыханием революции. Они забыли о ребенке, у них не было времени следить за ним, и он, безнадзорный, живущий своею жизнью, жизнью улицы, был подхвачен ветром и унесен в безвестность. Мать это потрясло, ранило на всю жизнь, Мирон перенес горе легче. Ну что ж, не бросать же дело и партийные обязанности ради ребенка. Партия — выше

семейных неурядиц. Погиб парнишка—не спасешь его. Жив — закалится, будет хорошим работником или оболтусом, которому грош цена. Но сердце у него все-таки всегда ныло.

Вот эта неряшливость к себе и к родным людям постоянно является причиной собственных ошибок и неудач. Мирон по существу добрый человек, даже часто склонен к нежности; но как только дело доходит до выявления своих чувств, он беспомощен и неловок. Здесь он уязвим со всех сторон. Холодный и суровый с виду, он тоскует по молодой любви, он завидует Кольче и Фене, он поддается обаянию даже некрасивой Паши. Тут он хромает на обе ноги, спотыкается, изменяет себе, кается и мечется. Но он и здесь остается честным до конца. Он — живой, мятежный человек, простой, даже увлекающийся, подчас доходящий до ребячества (случай с купаньем, игра с мальчиком, увлечение Феней). К жизни относится без рефлексии, в противоположность Байкалову.

Борьба Мирона и начальника строительства Балеева — это борьба двух людей, стоящих на разных позициях. Балеев — индивидуалист, зараженный кастовым духом. Он хотя и был когда-то подпольщиком, партийцем, но не был по сути революционером-большевиком. По нутру он типический представитель радикальной технической интеллигенции. К массам, к простым людям он относится с некоторым пренебрежением. Люди из рабочей среды для него слишком примитивны, в его понимании они способны только к простой исполнительности. Слова же «пролетариат», «рабочий класс», которыми Балеев охотно орудует, — всего лишь отвлеченные категории. Мирон и Балеев хорошо понимают друг друга, но уступить друг другу не могут. Мирон лучше разбирается в характере Балеева: он, как большевик, как человек масс, привык узнавать птицу по полету. Поэтому он не нервничает, не бесится в скрытой борьбе с Балеевым: он знает, что начстрою нет иного пути, как капитулировать перед силою организованного коллектива. А Балеев, как зверь в клетке, бросается в разные стороны, бьется о стены своей кастовой ограниченности и недостаточно понимает и себя

и действительность. Нужно было больно ударить по его гордости, чтобы заставить переоценить свои понятия и поведение.

В борьбе Мирона и Балеева — все элементы классовой борьбы, ибо в Балееве, наряду с несомненной связью его с нашей революцией и социалистическим строительством, есть и классово чуждые черты. Одной ногой он с партией, а другой — вязнет в пережитках прошлого. Текучесть рабочей силы, прорыв на стройке, вредительство, мобилизация основных кадров рабочих на ликвидацию прорыва, энтузиазм рабочих масс, их героизм и самоотверженность, разброд и скептицизм среди старых инженеров, их рутина — все это производит переворот в Балееве. С этого момента путь его становится прямым. Но он еще долго не освобождается от старых привычек и предубеждений, еще часто подчиняется влиянию кастовых сил в лице Стрижевского и других, и это вызывает многократные столкновения с Мироном. Но переделка его совершается, цепи с него сорваны.

С судьбой Мирона связаны и другие люди: это Байкалов, Паша и молодежь — Феня, Кольча, Татьяна. Он любит их, ему хорошо с ними, он сам молодеет в их среде. По своей темпераментности, по свойству своей жизнерадостной натуры Мирон не свободен от страстных порывов. Он увлекается Феней, которая влечет его к себе и юностью, и весельем, и простотой, и живостью мысли. Но Феня отрезвляет его.

Паша —иная, она любит его по-женски, всем нутром, и отдается ему просто, без игры, открыто, зная, что он не любит ее так, как она этого желает. Ей больно, но ей хочется счастья.

Байкалов и Мирон — старые товарищи: они вместе прошли трудный путь гражданской войны и теперь работают бок о бок на фронте борьбы за социализм. Байкалов безнадежно болен, он доживает последние дни, но он не боится смерти и не завидует Мирону, ядреному, налитому здоровьем. Для него конец его существования определяется содержанием его жизни. Смерть для него — это тоже поведение. Он так подготовил себя к смерти, что страх перед нею у него совсем

исчез. Это — не только философия, не только рассудочное отношение к собственной катастрофе, а состояние психики. *Мысль у него превратилась в чувство.* И он доказал это последними минутами своей жизни, когда с энтузиазмом бросился в работу, забыв о том, что это для него верная гибель. Байкалов для Мирона был как бы двойником: в Байкалове он видел свое отражение. Вот почему он так неотрывно привязался к нему, вот почему проводил с ним в волнующих беседах бессонные ночи, и вот почему в момент смерти друга он почувствовал, что вместе с Байкаловым закрылась книга его прошлой жизни и открывается страница новой книги. В этой новой книге жизни Мирона тень Байкалова будет жить до конца.

В Кольче тоже заключена часть души Мирона. Кольча —это его молодость, это и его будущее. Он и любуется Кольчей и завидует ему. Это хорошая зависть, от которой и грустно и радостно. В Кольче бодрость, порыв, стремительность. Для Кольчи его личные дела сливаются с общим делом масс. Революция, борьба, любовь к Фене — это нераздельно, это — он сам, это — его жизнь. Поэтому его ревность не переходит в ненависть и вражду к Мирону. Ведь Мирон — это любимый старший товарищ. Мирон никогда не сделает ничего плохого. Вся его боль, вызванная ревностью, быстро исчезает, забывается в работе, в постоянном кипении и напряжении. Да он и виду не подает, что любит Феню, и ему в голову не приходит упрекать ее в равнодушии или в неверности. Он бы и слова не сказал, если бы однажды Феня предпочла ему Мирона: она свободна в выборе любимого. Свою любовь, свои муки он переключил бы на тяжелую работу и стал бы изо всех сил добиваться высших возможностей. Одно ему не нравится в Мироне — это его эгоизм: он не считается с заветными желаниями и характерами молодежи. Он видит, что Кольча любит Феню, и мнет его чувство — грубо становится между ним и Феней.

Приезд Ольги и смерть Байкалова совпали с переломом жизни стройки (кризис миновал, энтузиазм и ударная работа кадровых рабочих выдвинули новые,

социалистические формы труда) и завершают один из важнейших периодов жизни Мирона. За грань этого этапа он вышел изменившимся, более сложным, с новыми мыслями и новыми чувствами. Между Мироном прошлым и теперешним — большое расстояние. Они не совпадают, как не совпадают два Кряжича — вчерашний и сегодняшний. Не только Кряжич, но и Мирон претерпел большое развитие. Кряжич живет с трагедией, с отрицанием самого себя, а Мирон пережил некий синтез, который дался ему тоже не легко. Так драматически идет переплавка людей в условиях нашей действительности, так действительность непрерывно создает все новые материальные и душевные качества.

Я всегда помню одно очень важное обстоятельство: надо писать интересно, занимательно, так, чтобы от книги нельзя было оторваться. Скучные книги не заражают, не волнуют, в них нет образов, которые бы оставались в памяти навсегда. Если же такие образы есть, то они загромождены словесностью и бытовизмом, утомительными длиннотами и медленным развитием действия.

Книга должна возбуждать стремления к борьбе, к творчеству, к труду, постоянно будить мысль читателя, беспокоить его, развивать бодрость, силу и волю. Если книга этого не достигает, она скучна, бесцветна. Но бывает так, что книга очень занимательна, но бессодержательна. Такая книга написана для забавы праздных людей (так называемые «бульварные романы»). Бывает, что книга написана с серьезными намерениями, но художественный ее уровень очень слаб; прочесть ее можно только при огромном усилии, потому что она не увлекает читателя, не заражает, он не поддается ее обаянию. Поэтому и польза от такой книги слаба. Художественное произведение должно включать в себя и занимательность и полезность как единую художественную суть. Такую книгу может создать только опытный, горячий художник. А талант готовым не рождается: его нужно развивать, как всякую способность. Писатель — это мастер высшего

порядка, и добиться этого мастерства очень и очень нелегко.

История литературы свидетельствует, что писательское мастерство завоевывается многими годами огромного труда, необычайно упорной работой над собой. Чтобы отразить жизнь в типических, художественных образах, чтобы произведение трепетало подлинной жизнью, а люди светились, играли и живыми фигурами сходили со страниц книги, писателю нужно не только превосходно и проникновенно знать жизнь, но и быть образованным человеком своей эпохи, с глубоким и ясным мировоззрением. Без этого писателя из себя не выработаешь, а всегда будешь любителем и неудачником.

Из этого положения следствие: важнейшей стороной художественного произведения является его облик — внешнее оформление. Содержание и форма в художественном произведении неразрывны, то или иное содержание неизбежно выльется в присущую ему форму; содержание обязательно заговорит своим языком, покажет свое лицо. Но это вовсе не значит, что не нужно работать над формой. Наоборот, работа над оформлением — напряженный, кропотливый труд. Нельзя содержание механически влить в любую форму, потому что от этого пострадает самое содержание. Напрокат форму взять тоже нельзя. Вот почему подражательство всегда приводит к ничтожным результатам и снижает ценность произведения. Подражатель не в силах выразить своих мыслей, его образы не адекватны требованиям современной ему действительности.

Так, изучая действительность, вслушиваясь в нее, я искал созвучия слова и полнокровного образа, который с наибольшей правдивостью отражал бы действительность. Я стремился к тому, чтобы фигуры людей были живы, ярки, чтобы они были ощутимы до иллюзий. Цель же романа состояла в том, чтобы отразить нашу эпоху в ее движении в будущее, в ее развитии, со всем ее напряжением борьбы за социалистическое содержание жизни. Надо было дать людей в их росте, в их борьбе, в преодолении пережитков, в рож-

дении нового сознания. Моя задача состояла в том, чтобы социалистический труд, в его пламенности, самоотверженности, в творческой направленности, возбуждал, звал, возвышал, зажигал человека энтузиазмом и глубокой верой в свои творческие силы и воспитывал в нем высокое сознание.

Нужно было, чтобы человек знал, во имя чего он живет и какую ценность представляет для нашего общества. Мне хотелось, чтобы он волновался от ярких и больших картин и от слияния с образами моей книги. Иными словами, чтобы он осознал себя, почувствовал и убедился, что путь и великая борьба под руководством нашей партии — единственно правильное движение к реальному идеалу, к коммунистическому строю, что только наша борьба, наш труд, наше марксистско-ленинское учение — единственная истина и жизнь. Насколько я могу судить по дискуссиям среди рабочих-читателей и по письмам читателей, эта цель и эта задача достигнуты. А это для художника высшая награда.

К сожалению, мне не удалось довести до конца «Энергию»: по некоторым причинам книга прервана на половине. Может быть, я еще и возвращусь к работе над этим повествованием, но жизнь идет и предъявляет новые требования.

Профессиональные критики меня ругали и хвалили обычно без конкретных доказательств. В их критических статьях было больше предвзятого, подчас группового подхода, а это обстоятельство не только не помогает росту искусства, но вредит ему, задерживает его развитие и подавляет писателя, обессиливает его. Прямая же задача нашей критики — помогать писателю, способствовать развитию его таланта, поднимать художника на высшую ступень.

Критика должна быть ведущей литературой: она должна быть на высоте философского мировоззрения и художественной чуткости. Чтобы быть настоящим, авторитетным критиком, надо быть художником в душе, надо глубоко понимать и чувствовать искусство, надо бороться за искусство честно, нелицеприятно, как подобает ленинцу. Надо уметь отвечать

за себя и не прикрываться готовой схемой и трафаретом.

Правда, в последнее время критики начали преодолевать групповые навыки и схоластические штампы. Но и подъем критики на должную высоту еще дело будущего.

Меня часто упрекали, что и в «Цементе» и в «Энергии» язык тяжелый. Может быть, это так, но нельзя забывать, что те серьезные задачи, которые положены в основу больших моих произведений, и то содержание, которое в них вложено, не могли не отразиться и на языке. Наша языковая культура растет, усложняется, несмотря на постоянное стремление к предельной простоте.

История художественного языка совершается не по капризам отдельных людей, а по законам диалектики. Хочешь не хочешь, а с этим надо считаться. И я сознательно орудовал тем языком, которым написаны мои книги. Тут я допустил, по торопливости, много ошибок, словесной неряшливости, но это было искреннее и трудное искание нового слова. Это искание идет и сейчас. «Энергия» тоже живет в своих языковых особенностях. Написана она просто, но не упрощена. В ней много было (ввиду спешности работы) недоглядок, недомолвок, излишеств, неотработанности. В последующих изданиях большая часть их устранена без нарушения стилевой ткани.

Общественная польза искусства неразрывна с высокой художественностью образов и культурой языка. Чем выше по художественному качеству произведение, тем оно убедительнее, заразительнее, неотразимее. Я говорю о литературе советской. Нельзя отрывать языковое оформление от содержания произведения.

Наша действительность энергична, полна напряжения и борьбы, наши люди — люди воли, дерзания, творческого упорства и настойчивости. Поэтому и язык этих людей, а следовательно и советских писателей, должен быть сильным, четким, энергичным, простым и ударным. Стиль наш — стиль монументальный, широкий, объемный, конкретный и многокрасочный. Он не лишен и некоторой грубости, но эта грубость, непри-

вычная для слуха людей, которые сжились со старыми формами, есть грубость новизны. В нем много новых слов, рожденных бурным развитием производительных сил, массовым трудом, борьбой, партийной работой, социалистической практикой. Мы поэтому с тем большей энергией должны работать над языком. Как никогда, сейчас писатель обязан бороться за чистоту и высокую культуру языка.

Творчество требует упорной, большой работы над собой. Надо не только систематически трудиться над литературным языком, но и много учиться, расширять свой умственный горизонт. Надо быть передовым человеком своего общества и своего времени.

1930—1936

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман *«Энергия»* впервые опубликован в 1—10-й книгах журнала «Новый мир» за 1932 год (части первая и вторая) и в том же журнале за 1937 год — книги 6, 7, 8, 10, 12 и за 1938 год — книги 10, 11, 12 (части третья, четвертая и пятая). Отдельное издание первой книги было осуществлено в 1933 году издательствами «Федерация» и «Советская литература». В 1939 году Гослитиздат выпустил роман в двух книгах. Тем же издательством в 1947 году роман переиздан в одной книге. Кроме того, «Энергия» неоднократно переиздавалась как столичными, так и областными издательствами, вошла во второй том пятитомного собрания сочинений Ф. В. Гладкова (Гослитиздат, 1950).

«Энергия» вызвала большой интерес и у зарубежного читателя. Роман переведен на многие европейские языки. Его неоднократно издавали в Польше, Чехословакии, Франции, Болгарии и в других странах.

Работа Ф. В. Гладкова над романом «Энергия» продолжалась с перерывами более десяти лет. В этот период он активно выступал как прозаик и публицист. Им были созданы повесть «Новая земля», рассказы «Кровью сердца», «Головоногий человек», «Непорочный черт», «Вдохновенный гусь» и другие. В журналах и газетах часто печатались его очерки и статьи, которые являются живым откликом на важнейшие вопросы жизни и литературы тех лет.

Новый роман о советском рабочем классе автор задумал вскоре после выхода в свет «Цемента» «как естественное его продолжение» и приступил к собиранию и изучению материала.

«В 1926 году я приехал на Волховстрой, — рассказывал Гладков. — В это время там заканчивались работы по сооружению Волховской ГЭС. Здесь я встретил замечательных людей, которые потрясли мое воображение, — это были подлинные герои нашего времени. Но большинство строителей уже начало разъезжаться. Мне сказали, что все эти люди, которые так самоотверженно работали на Волховстрое, едут строить Днепрогэс» («Знамя», 1957, № 11). Весной 1927 года, когда развернулись подготовительные работы по созданию днепровского гидроузла, Гладков впервые посетил Днепрострой и в последующие годы по нескольку месяцев находился на строительстве.

Чтобы глубже познать особенности строительства социализма, разобраться в жизни рабочего класса, почувствовать подлинное дыхание новой эпохи, писатель выезжал на другие стройки: в Магнитогорск, на Сельмашстрой в Ростов-на-Дону, на Челябстрой, посещал московские заводы и фабрики. Гладков, по собственному признанию, не только наблюдал жизнь во всех ее многообразных проявлениях, но и занимался изучением специальной литературы.

Многое из того, что увидел писатель на Днепрострое, он изложил в двух циклах очерков и статей — «Дніпрельстан» и «Письма с Днепра», печатавшихся в газете «Известия» на протяжении 1928—1931 годов и затем собранных в книгу «Письма о Днепрострое».

В его очерках запечатлена история строительства днепровского гидроузла в ее неразрывной связи с характерными явлениями, происходившими в жизни всей страны. «Днепрострой, — писал Гладков в одном из них, — это — микрокосм всей нашей страны со всеми её особенностями и противоречиями. Это—капля, в которой отражаются все сложнейшие процессы жизни Союза Республик».

В том же очерке он так охарактеризовал одну из особенностей своего художественного метода: «Я заражен особой склонностью искать прежде всего в нашей действительности ростки нового, своеобразного, — того, в первую очередь, *чем мы живы, чем и как* мы движемся в будущее. Мне важен не «живой человек», *как он есть,* а живой человек в *становлении*, в постоянном росте, в своей творческой мятежности, в борьбе за будущее, — человек, в сегодняшнем дне которого уже воплощается завтрашний день» («Известия», 1930, 9 сентября № 249).

Здесь, на Днепрострое, и сложился замысел романа, определились его образы и проблематика. Очерки о днепровском строительстве явились как бы первым этапом работы писателя над романом. Многие из поднятых в них проблем впоследствии нашли свое отражение на страницах «Энергии».

Первым этюдом к роману был рассказ Гладкова «Осада реки», опубликованный в журнале «Красная нива» (1927, № 45). Писатель развернул широкую картину гидроэлектростроя. Часть этого рассказа, где повествуется о немецкой рабочей делегации, осматривающей строительство, в переработанном виде вошла в одну из глав журнальной редакции первой книги романа. Сохранилась она и в первом отдельном издании «Энергии» (1933) в главе «День взрывов». В редакции 1939 года Гладков, значительно сократив роман, исключил этот эпизод.

В 1929 году был напечатан еще один этюд — «В тот вечер» с подзаголовком «(Отрывки из романа «Энергия»)» — в журнале «Красная новь» (№ 1). Действие его развертывается в Москве 1924 года. Отрывок этот в печатный текст романа не вошел.

Планы, черновые наброски и варианты глав, сохранившиеся в архивах Гладкова, свидетельствуют, что по первоначальному замыслу роман должен был представлять грандиозную летопись жизни нашей страны, жизни рабочего класса, начиная с восстановительного периода.

Сохранились рукописи глав, отрывков и с иным содержанием. Так, в неопубликованных главах «Майский разлив» автор рассказывает о жизни интеллигента Шагаева в Москве, о его дружбе с работницей Марусей. Глава «У гроба вождя» представляет раннюю редакцию опубликованного отрывка «В тот вечер». В главе «На бульваре» нарисована картина московского «дна» периода нэпа. Среди отрывков, не вошедших в роман, сохранились и рассказы о том, как Мирон получает в ЦК назначение на гидрострой, как он и его товарищи переживают известие о смерти Ленина.

О широте замысла свидетельствуют также наброски планов первых его глав. Таков, например, план первой части романа:

«1) Вызывают М[ирона] в ЦК. Приемов командирует его на гидр. эл. строй.

2) Через неделю — смерть Ленина... Ольга бродит по Москве — ищет Яшика [1]. Она еще крепче привязывается к Мирону. Он чувствует это, наступают дни давно не испытанной любви. Отрываться трудно.

3) Он — в почетном карауле, вспоминает.

Ольга бродит по Москве в дни траура; трущобы, ночлежки, ямы. Заходит к Маше, Любаше, Ульяне, в отдел подростков.

4) В тот вечер.

5) Ленинский призыв. Мирон — в горячке, увлечен. Он — в массе...

6) Любовь Лизы, ее ревность, плохо учится, плохо работает...

Мирон уезжает. Ольга страдает. Она с большей энергией отдается работе...»

Все эти материалы показывают, как формировался замысел романа, как много труда затратил писатель на первом этапе работы над ним. Впоследствии часть этих материалов была использована автором для других произведений. Так, среди черновых фрагментов «Энергии» большое место занимают эпизоды из жизни работниц московского электролампового завода.

Судя по главам, отрывкам и планам, можно заключить, что Гладков намеревался широко развить в романе сюжетные линии, связанные с характерами Мирона Ватагина и его жены Ольги. На это указывает один из планов-конспектов наиболее раннего варианта первой книги романа, в котором автор особо выделяет пометкой на полях «главное» следующую запись:

«Ольга борется за расширение и концентрацию производства — электрозавода.

Мирон борется за живой творческий дух в парторганизации.

У них точно обострились чувства и мысли после пережитого потрясения» (ЦГАЛИ СССР, Архив Гладкова Ф. В., фонд 1052, оп. 1, ед. хр. 92, л. 54).

Первоначально замысел романа включал показ жизни и труда строителей крупнейшей гидроэлектростанции и заводских рабочих столицы. Но в процессе создания романа Гладков отказался как от детального изображения судьбы Ольги, так и от изображения жизни московских рабочих, избрав основным

[1] В опубликованном тексте «Энергии» — Кирюшка.

местом действия романа строительство гидростанции. Кроме того, он значительно сузил и хронологические рамки «Энергии», ограничив действие всего лишь несколькими месяцами. Что же касается жизни Мирона Ватагина до приезда на гидрострой, его взаимоотношений с Ольгой в прошлом, то об этом писатель экономно рассказал в воспоминаниях своего героя, в диалогах Мирона и Ольги, в кратких авторских отступлениях и ремарках.

История создания романа показывает, что уже в период черновой работы над первой книгой «Энергии» Гладков убрал некоторые второстепенные персонажи и побочные сюжетные линии.

Среди рукописного материала, относящегося к роману «Энергия», имеются заметки Гладкова, в которых указывается, что роман этот не завершен автором. В архивах писателя находятся и планы третьей книги, а так же наброски отдельных ее глав. Действительно, Гладков после опубликования романа в двух книгах в 1938 году, задумал его продолжение, но так и не осуществил своего намерения, увлеченный новыми замыслами.

После выхода романа в свет Ф. В. Гладков не прекратил работы над ним.

Текст первого отдельного издания «Энергии» 1933 года отличается от журнального прежде всего тем, что в нем писатель произвел значительную перестройку композиции романа. Если в журнальном тексте было пятьдесят шесть глав, то в книжной редакции их стало лишь двадцать две, причем внутри каждой из них было образовано от двух до пяти подглавок, многие из которых соответствуют главам журнального текста. Каждая из новых глав получила название, определяющее ее основное идейно-тематическое содержание. Такая перегруппировка позволила автору устранить излишнюю раздробленность действия и достигнуть большей целостности отдельных эпизодов и картин.

Укрупняя главы, Гладков стремился более четко выделить основные моменты в развитии характеров. Это хорошо видно на примере глав «Встряска» или «Неустойчивое равновесие».

Автор проделал большую и сложную творческую работу, в процессе которой многое пришлось писать заново, вносить

значительные изменения в содержание ряда глав, придавать им большую выразительность и законченность.

Все это дает основание считать текст отдельного издания «Энергии» второй редакцией романа.

Вторая книга романа Гладкова была завершена в конце 1938 года, а в следующем году «Энергия» вышла в свет в двух книгах, пяти частях. В издании 1939 года вторая книга в основном соответствует журнальной редакции. Изменения, внесенные автором главным образом в третью часть, коснулись прежде всего ее композиции. В ней Гладков произвел перестройку внутри некоторых глав. Так, I глава отличается от журнального варианта тем, что писатель снял первую подглавку, сократив три остальных, и изменил название главы (вместо «Накануне» глава названа «Доброе утро»). Сокращению также подверглись четыре главы этой части — VI и VII, IX и X, и были попарно объединены. Поэтому в третьей части «Энергии» вместо двенадцати глав стало десять.

При издании «Энергии» в 1939 году вновь значительной правке подверглась первая книга романа. В данном случае необходимость новой редакции определилась тем, что два издания первой книги — 1933 и 1939 годов — разделял сравнительно большой и насыщенный важными историческими событиями отрезок времени: развитие стахановского движения, разгром остатков троцкистско-бухаринской оппозиции, принятие новой Конституции.

Гладков внес серьезные изменения в характеры таких действующих лиц, как Ватагин, Балеев, Кряжич, Шагаев, Паша Погадаева, Татьяна Братцева, Кольча и сезонники, сократил количество персонажей. В главах VI и XI он снял образ Гнедова, в VI главе — Прохладного, Петухова, Чубука, Водкина и литейщика Макухи, в VIII и XVIII главах — Мадрыгина. Автор устранил у отдельных персонажей те черты характеров и их особенности, которые не соответствовали основному содержанию образов. Так, он более четко обрисовал мысли и чувства секретаря парткома Мирона Ватагина в различных ситуациях, устранил его жалобы на неудачи в личной жизни, глубже обосновал его увлечение Феней, а в главе «Граниты» снял подчеркнутое изображение растерянности и беспомощности перед прорывом на стройке. В результате образ Мирона Ватагина приобрел большую цельность и типичность.

Автор целиком снял главу III — «Турнир», которая состояла из пространного диалога между Мироном Ватагиным и Шагаевым и отвлекала внимание читателя от основной линии развития действия. Кроме того, Шагаев в ней был изображен как пустой, пошлый человек, что противоречило главным чертам его характера, показанным в других главах. Значительно переработан был в романе и сам образ Шагаева. В нем автор усилил положительные качества сознательного и дельного советского инженера.

Писатель разделил первую книгу на две части и ряду глав дал новые названия. Так, первая глава — «Встряска» — была переименована в «Призрак сына», глава «Наступление» — «Каждый болеет по-своему», а «Незаконченная глава» получила название — «Бессонная ночь». Новые заголовки более четко и ясно определяли содержание главы.

Сокращению и правке в различной степени подверглись все без исключения главы первой книги. Во многих из них писатель, учитывая замечания критики и читателей, снял вставные эпизоды, которые нарушали и задерживали развитие действия в романе. Например, в VI главе редакции романа 1933 года подробно описывалось собрание партийного и профсоюзного актива строителей. Этот эпизод автор снял, заменив его коротким сообщением о состоявшемся собрании. Вместе с тем в последующих картинах, изображающих труд рабочих на плотине, он усилил мотив борьбы за встречный план. Аналогичную работу проделал автор и над II, IV, V, VIII, X, XIII, XVII и другими главами. В них он произвел сокращения излишне растянутых речей персонажей.

Гладков заново переписал, а местами снял ряд картин, абстрактно и неопределенно изображавших коллективный труд, индустриальные пейзажи, перегруженные мелкими, несущественными подробностями. Освобождая текст романа от ненужных деталей, он стремился к лаконичности изображения, к экономному и целесообразному использованию художественно-выразительных средств.

В результате всей этой работы первая книга «Энергии» была приведена в соответствие со второй книгой, приобрела композиционную стройность, динамичность в развитии действия, более четко определились в ней характеры и проблематика, существенно улучшился ее стиль.

В издании 1947 года наибольшей переработке подверглись главы: «Граниты», «Каждый болеет по-своему», «Прилив», «Муха». В главу «Граниты» писатель ввел образы Балеева и других инженеров строительства. В главу «Каждый болеет по-своему» он вставил развернутую характеристику Татьяны Братцевой. В главу «Прилив» была введена биография и характеристика Сеньки-цыгана, молодого рабочего-поэта. В главе «Муха» существенные изменения внесены в 3 и 4 подглавки. Здесь был снят образ Гнедова и вместо него введены инженеры Шепель и Шагаев.

В пятую часть романа Гладков ввел новую главу «Душонка, обремененная трупом», в которой разоблачается человеконенавистническая психология врагов социализма.

Редакция 1947 года отличается от предшествующей еще и тем, что автор отказался от разделения романа на две книги, оставив лишь его членение на пять частей.

Повесть *«Новая земля»* впервые была напечатана в альманахе «Земля и фабрика» (кн. 10) за 1930 год. Затем она вошла в собрание сочинений Федора Гладкова (т. IV, ГИХЛ, М. — Л. 1931), и на протяжении 1931—1932 годов четыре раза публиковалась отдельным изданием. В 30-е годы повесть была переведена на многие европейские языки и издавалась в Болгарии, Югославии, Румынии, Германии, Австрии и других странах Западной Европы.

В 1928 году, находясь на Украине, в районе Гуляй-Поля, Гладков посетил большую, хорошо организованную сельскохозяйственную коммуну «Авангард», которая создана была демобилизованными красноармейцами и партизанами в голодные 1921—1922 годы. На основании наблюдений над жизнью коммунаров он написал очерк «Оазис будущего (Коммуна «Авангард»)». Очерк был напечатан в газете «Известия» за 1928 год (№№ 72, 73) и вслед за этим вышел отдельным изданием в Госиздате под названием «Коммуна «Авангард» (1928). Позже в коммуне побывал М. Горький. В своих очерках «По Союзу Советов», рассказывая об этом посещении, Горький отметил, что все, что ему довелось увидеть, «очень хорошо описано Федором Гладковым».

В 1930 году были опубликованы отрывки из повести: в журнале «Пролетарский авангард», № 5 — «Из повести

«Новая земля», в журнале «Тридцать дней», № 6 — «Судороги земли», № 7 — «Очаг».

Жизненный материал, отраженный в очерке «Оазис будущего (Коммуна «Авангард»)», был положен писателем и в основу повести «Новая земля». В настоящем издании эта повесть публикуется в новой редакции. Автор снял подзаголовок и отказался от деления повести на «Тетради». Многие из глав переписаны автором заново, отдельные он слил с соседними или совсем исключил из текста, некоторым дал новые названия. Значительной переработке подверглись характеры действующих лиц и язык повести.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭНЕРГИЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Федор Васильевич
ГЛАДКОВ
Собрание сочинений, том 4

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Т. Гончарова
Корректор *Т. Лукьянова*

Сдано в набор 26/VII 1958 г. Подписано к печ. 25/X 1958 г. Бумага 84×108 1/32. 16,5 печ. л. = 27,06 усл. печ. л. 25,0 уч.-изд. л. Тираж 75 000. Зак. № 3373. Цена 9 р. 30 к.

Гослитиздат
Москва, Б — 66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

